РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

PER LINGUAM AD COMMUNICATIONEM

Ключевые вопросы лингвистической теории в режиме дискуссии

Коллективная монография

Издательство ИЯз РАН
Москва 2019

УДК 81.23
ББК 81
Р

Исследование выполнено
при поддержке РНФ (грант № 17-18-01642)
в Институте языкознания РАН

Рецензенты:
доктор филологических наук, профессор Н.В. Уфимцева,
доктор филологических наук, профессор Б.Л. Бойко

Per linguam ad communicationem. Ключевые вопросы лингвистической теории в режиме дискуссии. Коллективная монография, под ред. А.В. Вдовиченко, Е.Ф. Тарасова, И.В. Журавлева. – М.: Институт языкознания, 2019. – 436 с.

Коллективная монография создана совместными усилиями исследовательской группы, работающей по проекту РНФ «Разработка коммуникативной модели вербального процесса в условиях кризиса языковой модели», грант № 17-18-01642. Содержательная сторона предлагаемого труда в прямом смысле возникла из противоречий, которые обнаружились среди участников проекта при обсуждении ключевых вопросов описания вербальных феноменов. Данную противоречивую стадию работы группы было решено зафиксировать путем публикации не только статей, но и комментариев на статьи друг друга. Перед читателем возникает картина живой полемики, в которой каждый автор сохраняет концептуальную верность своим воззрениям, спроецированным на воззрения коллег. Монография, таким образом, «прошита» позициями участников, которые в тексте неоднократно выступают как авторами собственных статей, так и верификаторами чужих (иногда даже чуждых) теоретических позиций. Авторы обращаются к коллегам-лингвистам, а также всем заинтересованным гуманитариям с приглашением к дискуссии, неизбежно провоцируемой коммуникативными новациями в современном языкознании.

ISBN 978-5-6041117-2-7

© Текст. Коллектив авторов, 2019.
© Оформление. Издательство ИЯз РАН, 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ **6**

ЧАСТЬ 1. ПРОБЛЕМА СМЫСЛООБРАЗОВАНИЯ В ЕСТЕСТВЕННОМ КОММУНИКАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ **9**

1.1. Проблема субъективности знания и естественный вербальный процесс (А.В. Вдовиченко) **10**
Комментарии
И.В. Журавлев, Ю.В. Журавлева **37**

1.2. «Эй, подожди, вот твоя шляпа»: что порождается и понимается в естественном коммуникативном процессе (А.В. Вдовиченко) **40**
Комментарии
И.В. Журавлев **56**
Г.В. Дьяченко **58**

1.3. Проблема активности субъекта и антиномия присвоения-отчуждения (И.В. Журавлев, Ю.В. Журавлева) **61**
Комментарии
А.В. Вдовиченко **73**
Г.В. Дьяченко **86**

ЧАСТЬ 2. ПРОБЛЕМА ТОЖДЕСТВА ЗНАКА И ТОЖДЕСТВА СУБЪЕКТА **87**

2.1. О несамотождественности языкового знака. Причины и следствия лингвистического «имяславия» (А.В. Вдовиченко) **88**
Комментарии
И.В. Журавлев **108**
Г.В. Дьяченко **110**

2.2. Проблема тождества субъекта коммуникации (И.В. Журавлев) **112**
Комментарии
А.В. Вдовиченко **126**

2.3. Мифологические аспекты коммуникации (на примере профессионального общения) (И.В. Журавлев) **133**
Комментарии
И.В. Журавлев **145**

ЧАСТЬ 3. ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ГОВОРЕНИЯ (ПИСЬМА) И КОГНИТИВНОГО ПРОЦЕССА («СЛОВА» И «МЫСЛИ») **147**

3.1. Вербальные данные в составе коммуникативного действия: язык, текст, автор, интерпретатор (А.В. Вдовиченко, Е.Ф. Тарасов) **148**
Комментарии
И.В. Журавлев **170**

3.2. Слово и объект (возможна ли бессловесная мысль) (И.В. Журавлев, Ю.В. Журавлева) **172**
Комментарии
А.В. Вдовиченко **188**
М.О. Матвеев **199**

3.3. «Язык» и коммуникативное действие в поэтическом тексте (А.В. Вдовиченко) **208**
Комментарии
Г.В. Дьяченко **233**
И.В. Журавлев **235**

3.4. Восприятие текста в зависимости от коммуникативной позиции испытуемого (М.О. Матвеев, А.А. Нистратов, Е.Ф. Тарасов) **237**
Комментарии
А.В. Вдовиченко **250**
Г.В. Дьяченко **254**
И.В. Журавлев **255**

ЧАСТЬ 4. ОНТОЛОГИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ВЕРБАЛЬНОГО ПРОЦЕССА **257**

4.1. Онтологические предпосылки теории речевого общения (Е.Ф. Тарасов) **258**
Комментарии
Г.В. Дьяченко **266**
И.В. Журавлев, Ю.В. Журавлева **267**
А.В. Вдовиченко **269**

4.2. Антропологические основания коммуникативной модели естественного вербального процесса
(Г.В. Дьяченко) **286**
Комментарии
И.В. Журавлев **330**
А.В. Вдовиченко **334**

4.3. Коммуникативная стратегия: уточнение понятия
(Ю.В. Журавлева, И.В. Журавлев) **342**
Комментарии
А.В. Вдовиченко **347**

4.4. Производство речи в теории речевого общения
(Е.Ф. Тарасов) **350**
Комментарии
И.В. Журавлев **364**
А.В. Вдовиченко **367**

БИБЛИОГРАФИЯ **385**
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ **403**
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ **427**
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ **432**

Введение

На первой стадии работы исследовательской группы (проект РНФ № 17-18-01642 «Разработка коммуникативной модели вербального процесса в условиях кризиса языковой модели», 2017-2019) между участниками обнаружились многочисленные пункты разногласий по ключевым вопросам лингвистической теории. Было решено зафиксировать эту стадию в виде публикации настоящего сборника, который в итоге сложился из двух принципиально важных разделов: 1) *статьи* участников исследовательской группы и 2) *комментарии* на них со стороны коллег по проекту, не согласных или не вполне согласных с высказанными в статьях позициями. Один и тот же исследователь, таким образом, заручался возможностью проявить себя в своей обычной роли добропорядочного автора научного нарратива, а также в роли строгого критика, возмущенного несоответствием воззрений коллеги своим собственным обоснованным воззрениям. В результате возникла живая рельефная картина, которая самим фактом возникновения подтверждает шаткость мифа о незыблемости и единообразии фундаментальных лингвистических идей, переживших трансплантацию (с возможной попутной трансформацией) в сознание современного отдельно взятого лингвиста (филолога, психолога, семиотика, философа и пр.).

На фоне противоречий и споров среди участников дискуссий особо ценными следует считать исходные *признаки единой концептуальной почвы*, что сделало принципиально возможным сам заинтересованный диалог-полемику. Такой примиряющей на первых порах почвой стало, как ни странно, не знание «единого языка как системы говорения», не «единство культурной и языковой картины мира», не мнимая «общность сознаний носителей», а убежденность в том, что естественный *процесс порождения и понимания речи имеет исключительно психологические основания* и что он представляет собой *деятельность*.

На этом, кажется, общая концептуальная территория – хоть этого и немало – заканчивалась. Далее простиралась *зона разногласий*, спровоцированных широким спектром вопросов:

Оставлять ли традиционный объект исследования «язык» в качестве основания описательной модели (и тем самым поступать вопреки личной психологической реальности естественного вер-

бального процесса, где новизну, которая интересует говорящего и ради которой он говорит, можно найти только за пределами всеобщего безличного «языка»)?

Довольствоваться ли статической (непроцессуальной) моделью происходящего в сфере порождения коммуникативного смысла (оставляя опорой статики вербальный «язык»)?

Рассматривать ли смыслообразование в прямой связи с традиционными вербальными знаками «языка» (закрывая глаза на очевидную комплексность любого семиотического процесса)?

Признавать ли знак и знаковый код существующим независимо от индивидуальной процедуры смыслопорождения (тем самым постулируя автономность знака и не замечая глубокой условности его выделения в комплексном семиотическом действии)?

Продолжать ли по существующей традиции поиски смыслообразования в знаках (игнорируя факт понимания даже незнаковых некоммуникативных действий – субъектных и внесубъектных)?

Полагаться ли на стандартизированность знаковых процессов в порождении смысла (не замечая всегда присутствующую в коммуникативной реальности интерпретацию, возможность непонимания, недопонимания и пр.)?

Продолжать ли настаивать на общности и коллективности сознаний, основанной на общности «языка», языковой картины мира, культуры (на фоне реальной пестроты и неоднородности «языковых» навыков, картин мира и индивидуальных культурных профилей)?

Акцентировать ли роль всеобщих лексических и грамматических значений в смыслопорождении (постулируя тем самым автоматизированный бессознательный механизм, работающий в индивидуальном сознании и лишающий его последнего диапазона самостоятельности и свободы)?

Признавать ли вербальность актов сознания (заключая обладателя сознания в хайдеггеровский казенный «дом бытия» с перспективой для «носителя языка» разглядывать мир сквозь нерушимую стену)?

Вызванное этими вопросами оживленное обсуждение иногда принимало довольно эмоциональные формы, которые – ради пущего драматизма и аутентичности происходящего – оставлены в сборнике в своем первозданном полупричесанном виде.

Нужно отметить, что впоследствии в кромешной полемике (в том числе благодаря ей) забрезжил просвет – след некоего

консенсуса, основанного на двух принципильно важных положениях, а именно:

– что в естественных семиотических интеракциях производятся и понимаются *комплексные коммуникативные (воз)действия* (а не просто потоки «единиц» в искусственно изолированных каналах – вербальном, жестовом, видео, аудио и пр.).

– и что акциональность, комплексность и коммуникативность любого семиотического воздействия имеет *далеко идущие последствия для теории вербального процесса*.

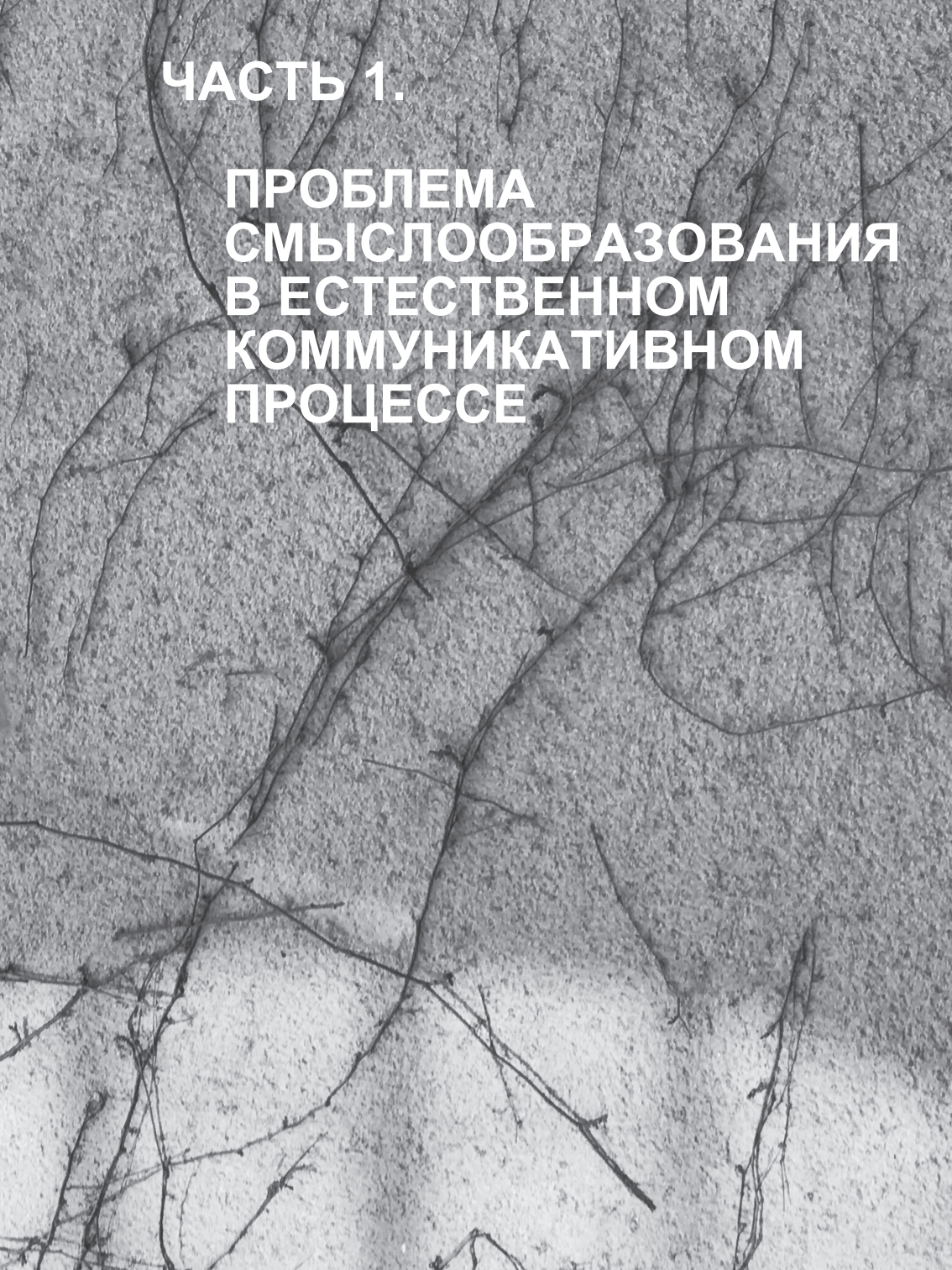
Однако лелеять и расширять этот консенсус – уже другая история и другие тексты с комментариями.

Нужно отметить, что предлагаемый сборник имеет *открытую форму*. По замыслу участников, любой заинтересованный исследователь должен иметь возможность присоединиться к обсуждению, и для этого было решено, после бумажной публикации, поместить сборник в соответствующем формате на Интернет-ресурс проекта:

https://the-philosophy-of-language.org/category/проект-рнф/

где каждый сможет стать соавтором или критиком настоящей публикации (которая, благодаря такой форме, будет расширяться и всегда представать в обновленном актуальном виде). Ввиду этого предлагаемый сборник не имеет традиционного послесловия или заключения.

А.В. Вдовиченко



ЧАСТЬ 1.

ПРОБЛЕМА СМЫСЛООБРАЗОВАНИЯ В ЕСТЕСТВЕННОМ КОММУНИКАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ

1.1. Проблема субъективности знания и естественный вербальный процесс (А.В. Вдовиченко)[1]

1. Опубликовано: *Вдовиченко А.В.* Проблема субъективности знания и естественный вербальный процесс // Вестник ПСТГУ. Серия III: Филология. 2016. Вып. 3 (48). С. 22-44.

Проблема субъективности знания рассматривается в проекции на естественный коммуникативный (прежде всего, вербальный) процесс. В новых теоретических условиях прежние формулы «знание языка», «знание знаков», «знание языковой картины мира» теряют объяснительный потенциал ввиду очевидной несамотождественности автономных знаков (в том числе вербальных), поглощения языка коммуникацией, отсутствия способности языка к смыслообразованию, конечной невербальности мыслимых значений. Более твердым теоретическим основанием для объяснения смыслообразования в вербальном факте становится личное коммуникативное действие, поскольку единственным источником мысли, чувства, ценности и пр. является индивидуальное сознание коммуниканта. Коммуникативная природа смыслообразования позволяет отделить мысль от естественного вербального факта, как неакциональное от акционального, а также позволяет с определенностью утверждать, что в процессе вербальной коммуникации порождаются и понимаются многофакторные коммуникативные действия, а не вербальные формулы, которым невозможно приписать автономное значение. На этом фоне дискурс определяется динамически, как осознанная говорящим ситуация коммуникации в каждый из ее моментов. Несмотря на субъективность индивидуального знания, коммуникация представляет собой стремление к тождеству сознаний, в которых локализованы знания, для искомого позитивного взаимодействия. Проблема субъективности индивидуального знания (в отношении к вербальному факту) имеет перспективу решения только в поле коммуникации, а не вербальных данных (языка).

Категория знания интересует лингвистическую науку по мере участия этого понятия в описательной модели, создаваемой (созданной) для концептуализации вербальных данных. Лингвисты по необходимости, то есть по роду своих занятий в области «языка», предлагают свой специфический ракурс: *знание в отношении к вербальному материалу*.

Сразу возникает вопрос: если в результате лингвистических рассуждений окажется, что знание частично невербально или невербально совсем, станет ли знание вследствие этого неинтересным лингвистике? Конечно, нет, поскольку целью языковедческого исследования является не соблюдение искусственных границ, некогда очерченных вербальностью для теоретических упражнений исследователей, а *эффективная и адекватная модель вербального процесса*. Если для ее построения необходимо выйти

за пределы прежней схемы и нарушить границы вербального, то в этом и состоит подлинная эволюция любой научной дисциплины (гуманитарной или естественнонаучной, и даже точной), а именно: в переназначении смыслов прежних объектов, в расширении номенклатуры вовлекаемых в схему объектов, создании новых объектов, констатации новых актуальных связей и новой этиологии прежних феноменов, и пр. Экспансионизм современной парадигмы лингвистики (термин Е.С. Кубряковой)[1], органично вписанный в постструктуральные тенденции и подтвержденный интуициями реальности, обязывает к деконструкции (термин Ж. Деррида)[2] и новой реконструкции, или даже созданию совершенно новой постройки на месте старой. В этой новой модели место, занимаемое знанием, может оказаться неожиданным и чреватым («пост-пост-структуральным»).

Нужно признать, что список различных спецификаций знания может быть очень обширным: всеобщее, универсальное, национальное, культурно-специфическое, частичное, профессиональное, духовное, мистическое, априорное, недосягаемое, бесполезное, а также, соответственно, полное, дилетантское, не-духовное («плотское»), и пр. В то же время лингвистический ракурс позволяет исследователю занять сколько-нибудь определенную исходную позицию и выделить (или хотя бы наметить) специфическую составляющую этих понятий, актуальную для моделирования вербального, а не какого-то иного, процесса.

В подтверждение того, что категория знания необходима и неизбежна в номенклатуре способов описания вербальных фактов я сошлюсь на несколько уже существующих терминов, в разное время и в разных теоретических условиях созданных лингвистами или сочтенных полезными для описания вербального процесса: данные, информация, сознание, память, гештальт[3], фрейм[4], презумпция[5], пресуппозиция[6], топик[7], тема[8], подлежащее, конкретный «язык», языковая компетенция[9]. В каждом из этих понятий, используемых для объяснения вербального факта, знание заявляет о себе вполне определенно или, по крайней мере, брезжит. Многообразие этих понятий заставляет признать, что знание не интересует лингвистов как таковое. Речь идет о поисках *эффективной описательной модели* вербального факта (подобно стандартной модели «атома» в физике) и некоем условном полувакантном месте в этой модели, занимаемом чем-то, что может быть названо знанием.

1. *Кубрякова Е. С.* Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века – (опыт парадигмального анализа) // Язык и наука конца XX века / под ред. Ю.С. Степанова.– М.: Российский гос. ун-т, 1995.– С. 144-238.
2. *Derrida J.* Positions. Paris: Editions de Minuit, 1972. P. 44-45.
3. *Lakoff G.* Linguistic gestalts // Beach W.A., Fox S.E., Philosoph S. (eds.), Papers from the Thirteenth Regional Meeting, Chicago Linguistic Society, April 14-16, 1977, Chicago Linguistic Society, University of Chicago, Chicago, Illinois 1977. P. 236-287.
4. *Bateson G.* Steps to an Ecology of Mind. N.Y.: Ballantine, 1972 (Бейтсон Г. Экология разума. Избранные статьи по антропологии, психиатрии и эпистемологии / Пер. с англ. Д. Я. Федотова, М. П. Папуша. М.: Смысл. 2000); *Minsky M.* A Framework for Representing Knowledge. (M.I.T., Artificial Intelligence Laboratory, AI Memo 306). Cambridge, Mass., June 1974. (Минский М. Фреймы для представления знаний. М.: Энергия, 1979); *Fillmore Ch.* The need for a frame semantics within linguistics." Statistical Methods in Linguistics. Stockholm: Skriptor. 1976. P. 5-29.
5. *Падучева Е.В.* Понятие презумпции в лингвистической семантике // Семиотика и информатика. – 1977. – № 8
6. *Baker A.* Presupposition and types of clause // Mind 65, 1956; Lakoff G. Presuppositions and Relative Grammaticality // Studies in Philosophical Linguistics, v. 1, № 1, 1971; *Арутюнова Н.Д.* Понятие пресуппозиции в лингвистике // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. – М.: Изд-во АН СССР, 1973. – Т. XXXII. Вып. 1. – С. 84-89; *Демьянков В. З.* Логические аспекты семантического исследования предложе-

ния // Проблемы лингвистической семантики. – М.: ИНИОН АН СССР, 1981. – С. 115-132.

7. *Демьянков В. З.* Субъект», «тема», «топик» в американской лингвистике последних лет (Обзор II) // Изв. АН СССР. Сер. литературы и языка. 1979. Т. 38. № 4. – С. 368-380.

8. *Firbas J.* On defining the theme in functional sentence analysis, в сб.: Travaux linguistiques de Prague, v. 1, Prague, 1966; *Матезиус В.* О так называемом актуальном членении предложения, пер. с чеш., в сб.: Пражский лингвистический кружок, М., 1967.

9. *Хомский Н.* Синтаксические структуры // Новое в лингвистике. Вып. 1. М., 1962; Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. М., 1972.

Нужно заметить, что в отличие от лингвистов, сами участники естественной коммуникации не испытывают никаких проблем с тем, чтобы пользоваться словом «знание» и соответственно иметь о нем какое-то понятие. Однако исследователь, создающий или уточняющий теоретическую модель, не может довериться «обыденному языку» и производить исследование включений данного слова по произвольно ограниченному корпусу текстов, поскольку его целью является создание специальной операциональной схемы, вскрывающей и демонстрирующей скрытые основания естественного вербального процесса. Подобным образом исследование контекстов слова «атом» не может быть эффективными для создания или уточнения «стандартной модели».

В общем смысле потребность в знании со стороны лингвистов можно сформулировать так: *чтобы говорить (понимать), нужно что-то знать*.

Проблема субъективности (субъектности) знания

С*убъектность знания* следует считать *отправной точкой* в попытках определить эту категорию в ее отношении к вербальным фактам. Как любой естественный вербальный материал всегда *кем-то* сказан или написан, так и знание в естественном состоянии неизбежно *кому-то* принадлежит, локализовано в *чьем-то* сознании. Среди положений, на основании которых возможно дальнейшее возведение теории, субъектность знания нужно признать аксиомой, а предикат «субъектное» – бесспорным и неотъемлемым свойством того, что может быть названо знанием.

Поступить так необходимо, поскольку мыслящие (и говорящие) индивиды никогда не тождественны в содержании своих сознаний, а попытки навязать им (или целому сообществу, в каких бы границах его ни мыслить) общезначимое тождественное знание бесперспективны. Первый же тест на всеобщность и единообразие даст отрицательные результаты на какой-то из стадий выяснения степени мнимого тождества. Это верно как для общего объема знания, присутствующего в каждом индивидуальном сознании, так и для отдельных индивидуально мыслимых понятий, личностей, явлений, процессов, неизбежно обнаруживающих несовпадения в своих объемах среди «обладателей» знания о них.

С точки зрения исследователя вербальных данных, здесь возникает проблема, требующая разрешения. Если для того,

чтобы говорить, нужно что-то знать, а знания нетождественны в сознаниях говорящих, то *как возможно говорение*? Иными словами, если целевой причиной естественного говорения является смыслообразование, в основании которого лежит то, что мыслит (знает) говорящий, то понимающему (адресату), вследствие отсутствия тождества, сказанное становится заведомо недоступным (доступным лишь отчасти или «по-своему»).

Эту проблему можно сформулировать и более приближенным к вербальным данным способом: если слова, за которыми как будто стоят понятия, нетождественны в сознаниях говорящих, то *как возможно* вербальное общение (общение посредством слов)?

(Так, например, слова [категория], [интересовать], [лингвистический], [наука], [участие], [это], [понятие], [описательный], [модель], [созданный], [концептуализация], [вербальный], [данное] – по своему значению нетождественны, неконкретны и неединообразны в индивидуальных сознаниях «носителей русского языка», например, хотя бы тех, которые представляют далекие друг от друга социальные слои и различаются по специфике образования, интеллектуальных занятий и деятельности, тем более, тех, которые не участвуют в данном коммуникативном взаимодействии. Впрочем, даже среди представителей одной общности (профессии) и участников одной ситуации тождество совсем не гарантировано).

Субъектность (субъективность) знания, таким образом, как будто является непреодолимым препятствием для интересующей лингвистов вербальной коммуникации, если понимать под коммуникацией процесс, построенный на мнимом тождестве индивидуальных знаний. Это и составляет указанную проблему, требующую разрешения.

Знание языка

На этот вызов субъективности (субъектности) можно дать быстрый пессимистичный ответ: понимания (финального тождества знания) в действительности нет и не может быть. Всё и все в последнем основании одиноки и непроницаемы. Субъектность становится непреодолимым препятствием для единства и тождества.

Проблема только усугубляется тем, что краеугольный камень лингвистической теории – антично-соссюровский язык

– в современных теоретических условиях не может исполнять свою прежнюю роль фундамента, твердой почвы, поскольку знание субъективно (субъектно), а в языке личность (субъект знания) принципиально отсутствует. Поэтому, например, в языке неконфликтно могут сосуществовать две взаимоисключающие пропозиции [Земля имеет форму шара] и [Земля не имеет формы шара]. В отличие от языка, личное знание такого себе позволить не может (последнее стало теоретически ясно уже Аристотелю, сформулировавшему закон исключенного третьего[1], а практически применялось гораздо раньше, с тех пор как человек мыслит).

В самом деле, ссылки на знание языка в попытках объяснить естественную вербальную коммуникацию (а она иногда все же считается участниками успешной) не достигают искомой убедительности и не способствуют формированию эффективной описательной модели. Дело в том, что любой естественный вербальный процесс преследует *смыслообразование* в качестве главной *целевой причины*, вне которой говорящий (пишущий) не станет брать на себя труд что-то сказать или написать. Если за смыслообразование отвечает язык, и в нем содержатся все смыслы (значения звуков, морфем, слов, синтаксических конструкций), то именно вследствие этого и окажется, что говорящему просто незачем говорить: в языке уже все есть, и зачем, в таком случае, еще раз повторять общеизвестное языковое «одно и то же»?

Очевидно, что смыслообразование (то, ради чего вербальный факт порождается) локализуется в иных сферах. Для объяснения естественного вербального факта следует оставить язык грамматистам, а теорию вербального процесса обосновать на *личном коммуникативном действии*, которое и есть то, что на самом деле интересует говорящего/пишущего.

Концепт мыслимого действия, постепенно введенный (и до сих пор продвигаемый) в поле рассуждений о вербальных фактах, начиная с гадательных прозрений Витгенштейна[2], революционных опытов сомнения Остина[3], более определенных констатаций Серля[4] и пр., влечет за собой для теории языка значимые последствия (или даже тектонические сдвиги), поскольку в результате возникают *новые теоретические условия* существования науки о вербальном процессе[5]. Язык, как прошлое теории, поглощается коммуникацией, как ее вечным настоящим, прежде отодвигаемым в теоретическую тень. Соответственно,

1. *Аристотель.* Сочинения в четырех томах. (Философское наследие, 65), М.: Мысль. 1976-1983. Метафизика. Т. 1, 1976. С. 141.

2. *Витгенштейн Л.* Философские работы / Пер. с нем. М.С. Козловой и Ю.А. Асеева. М., 1994. Ч. 2.

3. *Остин Дж.* Избранное / Перевод с англ. В.П. Руднева. М., 1999. С. 15-138.

4. *Серль Дж.* Что такое речевой акт? // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. М., 1986. С. 151-169

5. Подробнее см.: *Вдовиченко А.В.* Расставание «языком». Критическая ретроспектива лингвистического знания. М.: Издательство ПСТГУ, 2008.

знание языка в деле объяснения процессов смыслообразования приобретает иной статус и радикально переосмысливается.

Как это происходит?

Идея действия, изначально сформулированная на вербальном материале, радикально меняет расстановку теоретических объектов, вовлеченных в описательную схему, таких как знак, значение, мысль, сознание, понимание и др.

Действие не существует вне деятеля, который оказывается единственным бесспорным источником порождения смысла в вербальных данных (как, впрочем, и в иных семиотических актах, использующих иные коммуникативные каналы). Фактом своего существования деятель ставит точку в рассуждениях о смысле сказанного, обозначая собой предел смыслообразования. Интерпретация естественного вербального материала – в своей первозданной сути – представляет собой восхождение к когнитивному состоянию источника действия. Именно поэтому текст, который сам себя не создавал, не может содержать в себе больше смыслов, чем помышлял автор. Зачастую встречающаяся растерянность интерпретатора перед действием, от которого остался только вербальный след, не ведет к отрицанию автора в пользу мнимо-автономного текста (Р. Барт[1] и др.), но обязывает признать недостаточную способность проникнуть в индивидуальные «чертоги смыслопорождения».

При этом мысль и вербальное действие естественным образом не совпадают, как не совпадают процесс открывания двери ключом (действие) и внутреннее рассуждение о необходимости открыть дверь ключом (мысль). Смысл сказанного не имеет прямой («прямоточной») связи с мыслью – гораздо более объемным и комплексным процессом, чем следующее за ним коммуникативное влияние (для иллюстрации этого достаточно представить случай лжи, где воздействие и мысль особо рельефно не совпадают). Мысль не акциональна, в отличие от действия. В момент говорения (письма) размышление говорящего состоит в том, чтобы осуществить нужные говорящему (пишущему) изменения в сознании адресата.

Иными словами, *смыслообразование* в естественном вербальном процессе – *исключительно коммуникативный феномен*, который возникает только в процессе акционального («перформативного», «совершительного», действенного) выхода за пределы сознания в коммуникативное пространство.

1.

2. *Барт Р.* Смерть автора / Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 384-39[1]

Здесь, на ясно очерченной границе между внутренней мыслью и коммуникативным по природе смыслообразованием, становится заметным *различие между естественным и неестественным* (сконструированным, подмененным, искусственным) вербальным материалом. Так, примером искусственного материала может служить высказывание [Куда ты идешь?], взятое вне конкретной коммуникативной синтагмы (данной коммуникативной ситуации и ее момента). В этой вербальной последовательности нет смыслообразования, которое возникает в момент интеракции говорящего и адресата. В естественных условиях этот материал входит в состав многофакторной системы координат, констатированных говорящим для совершения конкретного действия, и только в этой системе параметров данный вербальный комплекс приобретает актуальность, ради которой и был произнесен. Только в этой системе вербальный комплекс становится тождественно интерпретируемым, имеющим подлинный смысл и значение (замечу даже, что тот же самый комплекс, в зависимости от ситуации, может быть грамматически правильным или неправильным).

Подобным же образом вербальная часть уже существующего («отыгранного») коммуникативного действия, изъятая из актуальных условий его совершения, лишается своих подлинных свойств, главное из которых – способность к смыслообразованию. Естественное высказывание, которое уже было произнесено и понято в актуальных условиях, будучи изъятым из этих актуальных условий, перестает быть смыслообразующим:

[Мне очень дорого, что в выступлениях коллег (вчера и сегодня) были в различной мере затронуты идеи, которые и я считаю важными].

Здесь ни одно из актуальных для говорящего значений не содержится в вербальной форме. Чтобы «означить» пустые формы, говорящему и слушающему необходимы конкретно мыслимые параметры, не присутствующие в самой вербальной форме: не ясно, «кому дорого», «какие выступления», «кто коллеги», по отношению к чему «вчера» и «сегодня» и пр.[1]

Поэтому интерпретация смысла сказанного по необходимости представляет собой восхождение к когнитивному состоянию того, кто произвел данное действие в данной многофакторной ситуации. И только такие вербальные данные – коммуникативные и акциональные – могут считаться естественными, обладающими полнотой реальности.

1. *Вдовиченко А.В.* Коммуникативное оправдание грамматики. К вопросу о пределах условности грамматического описания // Русский язык за рубежом, 2016. № 3.

На фоне этих естественных условий существования вербального факта следует констатировать три важных следствия для наук, интерпретирующих вербальные данные.

Во-первых, единицы вербального процесса сами по себе *нетождественны*, их невозможно изучать как элементы со своими валентностями. Они не существуют вне действия данного говорящего, который предоставляет им возможность принимать участие в смыслообразовании на его, говорящего, условиях.

Во-вторых, антично-соссюровский *язык* (система смыслопорождающего говорения) *теряет свою теоретическую эффективность как метафора*. В новых условиях (когда личное действие становится главным объектом интерпретации, и порождение смысла в вербальном факте локализуется в индивидуально приуроченной коммуникативной процедуре) это понятие становится непригодным для моделирования естественного вербального процесса, суть которого – исполнение личной коммуникативной задачи, коммуникативное смыслопорождение. В языке нет деятеля, нет адресата, нет тождественной закрепленной между означающим и означаемым связи (означаемого в принципе не может быть вне индивидуального сознания, поскольку означаемое представляет собой не денотат «вещь в себе», а некий образ, понятие, представление, локализованные в сознании). Источником мысли, эмоции, чувства является только индивидуальное сознание. Объекты не формируются независимо от сознания, связи (причинно-следственные, пространственные, временные и пр.) не строятся сами собой. Причинность представляет собой довольно произвольное соположение двух выделенных (интересующих говорящего) объектов (явлений). Всего этого язык не может производить сам, он принципиально на это не способен. В нем с полной очевидностью отсутствует мысль и все прочее, имеющее отношение к смыслопорождению, поскольку в нем принципиально нет мыслящей личности, которая является источником любого смыслообразования. Возможно, где-то в иных сферах диспозиция иная, но в естественном вербальном процессе безраздельно господствует номинализм, релятивизм, относительность, субъективность, отсутствие истинности и пр.

И, наконец, в-третьих, следует констатировать, что *говорящие (пишущие) порождают и понимают актуальные коммуникативные действия*, а не вербальные формулы (элементы структуры языка). Источником нетождественности и изменчи-

вости вербальных клише как раз и является то обстоятельство, что коммуникант, производящий коммуникативное смыслообразование, сосредоточен на действии, а не на соблюдении единообразных правил употребления слов. Правила и коммуникативное смыслообразование в некотором смысле антагонистичны: коммуниканту необходимо добиться изменений в сознании адресата, внести что-то новое в коммуникативное пространство, а язык, существующий по правилам, «всегда говорит нам одно и то же», как всерьез утверждал Витгенштейн[1]. В действительности «одно и то же» в принципе не интересует коммуниканта, который берет на себя труд что-то сказать (написать): зачем, в таком случае, говорить, если в результате удастся лишь произнести то, что уже сказано много раз кем-то и где-то, в том числе им самим? Чтобы продемонстрировать знание правил? Безусловно, нет. В реальности говорящий говорит не языком («одно и то же»), а добивается изменений в мыслимом коммуникативном пространстве. «Одни и те же слова» в новых условиях входят в состав нового действия, актуального для говорящего и по мере того нужного и интересного для него. Он как бы строит здание из подручных средств, он занят постройкой, а не строительными блоками, каждый из которых может стать частью арки, пола, потолка, стены, в зависимости от замысла строителя. Осуществляемый им процесс семиозиса настолько многофакторный, что «правила употребления слов» («язык») просто растворяются в коммуникативном синтаксисе. Коммуникант пускает в ход все, что ему доступно: известные ему и адресату вербальные клише, визуальные образы, таблицы и схемы, модуляции голоса, выражение лица, невербальные знаки, неожиданные фреймы, сдвиги смыслов, вновь созданные объекты, измененные формы слов, новые фокусировки, шрифтовые выделения, «разноязычные» вербальные формулы, ритм, рифму, игру слов и прочее и прочее, лишь бы искомое воздействие было произведено.

1. *Витгенштейн Л.* Философские работы / Пер. с нем. М.С. Козловой и Ю.А. Асеева. М., 1994. Ч. 2.

В этих условиях теоретический конструкт «язык» уже не может сохранять прежний статус автономного «средства общения», поскольку общение осуществляется не словами «языка», а комплексными коммуникативными действиями. Соответственно, любая исследовательская процедура, которая ранее пыталась опереться на правила работы «словесного механизма», вместе с прежним статусом языка мутирует в новое состояние.

В возникшей ситуации турбулентности (резко возросшей комплексности объекта, несамотождественности элементов, поглощения вербального материала и самого языка коммуникацией) более основательную почву для дисциплин, интерпретирующих вербальный текст, предоставляет *дискурс* – одна из главных методологических констант современных гуманитарных дисциплин. Ввиду ясно обозначенного источника смыслообразования в вербальном (и не вербальном) коммуникативном действии дискурс можно определить как осознанную говорящим ситуацию коммуникации в каждый из ее моментов. Понимание сказанного (написанного) возможно только как возвращение в исходную точку смыслопорождения, приобщение к когнитивному состоянию деятеля-говорящего (на основе всех имеющихся у интерпретатора возможностей), что достигается путем анализа параметров мыслимого говорящим коммуникативного пространства и его, говорящего, участия в производимых изменениях.

Если дискурс понимать неакционально, то он как понятийный инструмент становится статичным коррелятом соссюровского языка. Так, в лингвистических трудах часто встречаются указания на поэтический, философский, литературный и другие дискурсы, как при неакциональном (статическом) понимании языка («системы-механизма») часто возникают заведомо неопределимые в своих очертаниях поэтический, философский, литературный и другие «языки». И в том, и в другом случае теория, соглашаясь на неэффективную дефиницию, сразу понуждается к тому, чтобы приступить к девальвации собственного потенциала, например, сразу вводить исключения из правил, очерченных неэффективным инструментарием. Такой дискурс получает автономное существование, подобно языку, которому придается статус автономного объекта. Такой дискурс терпит синонимию «литературный дискурс – литературный язык», «поэтический дискурс – поэзия» и пр. И, наоборот, не терпит синонимии «дискурс – коммуникативное событие». Такой дискурс операционально не эффективен, как не эффективен язык для объяснения процессов смыслообразования в естественном вербальном факте. Если естественный вербальный факт представляет собой действие, процесс, то теоретическая рамка для него должна иметь свойства, пригодные для моделирования процесса.

Динамическое понимание дискурса, вытекающее из акциональности естественного вербального факта, указывает на мы-

слимые условия совершения отдельно взятого коммуникативного действия. Ввиду постоянно меняющихся условий коммуникации (в том числе вследствие уже совершенных в последовательности действий, вовлечения новых, известных автору, фреймов, исключения потенциально релевантных фреймов, вовлечения новых мыслимых объектов, и пр. и пр.) дискурс представляет собой подвижную систему координат, в которой всякий раз заново интерпретируется новое действие (в том числе произведенное с участием вербального канала). С этой точки зрения дискурс не может быть единым для всей области литературы, или философии, или поэзии, или обыденного общения и др., поскольку «семиотические поступки» могут менять область своей помысленной говорящим прописки на минимальном пространстве. Обрамляющая их ситуация в своих осознаваемых коммуникантом параметрах подвижна и изменчива от действия к действию, и даже от момента к моменту одного и того же действия. Дискурс, для операциональной эффективности, должен быть лишен качеств, в том числе литературности, философичности, поэтичности, обыденности, и пр.

Таким образом, на фоне нового комплексного объекта (коммуникативное действие), который своим появлением несколько проясняет причину несамотождественности элементов «языка», а также обнаруживает неэффективность самой метафоры «язык» для объяснения процессов смыслообразования в естественном вербальном факте, формула «знание языка», по-видимому, не может удовлетворить современного исследователя, размышляющего о том, что нужно знать говорящему (пишущему), чтобы говорить (писать).

Знание вербальных знаков

Упомянутая *несамотождественность* элементов языка все же нуждается в дополнительной аргументации, хотя бы потому, что рассуждения о естественном вербальном факте часто опираются на формально единообразные фонетические (и графические) комплексы, называемые знаками. По умолчанию они *обладают тождеством* в тех вариантах описательной модели, где постулируется язык как система смысло-формальных элементов. Знак, признанный единством формы и содержания, традиционно замыкает на себе и исчерпывает собой проблему знания («то,

что известно говорящему (пишущему)»). Так, некогда античным стоикам представлялось достаточным обнаружить подлинные значения слов и букв (звуков) для познания мирового Логоса, который с ними сливается и из них состоит.

Между тем проблема знаковости (наличие/отсутствие воспринимаемого тождества) получает перспективу решения только в связи с упомянутым коммуникативным смыслообазованием, упирается в коммуникативный (а не языковой) процесс.

Попытки вычленения единиц, которые было бы уместно мыслить в качестве обособленных слагаемых какой-то общей суммы (явления, предмета, вещества), часто оправдываются надеждой обнаружить присущие этим единицам свойства, которые задают собой составленное из них целое. Так, парк оказывается состоящим из лиственных деревьев, каждое из которых является источником кислорода для города, и чем больше в парке этих продуцирующих кислород единиц, тем лучше дышится горожанам.

Однако сам объект, подвергаемый ан-атомизации, а также элементарные единицы, обнаруживаемые в его составе, не вызывают сомнений лишь до тех пор, пока рефлексия не коснулась самой процедуры выделения объекта, критериев выделения составляющих его единиц, а также целеполагания самой процедуры деления на элементы. Даже не задаваясь неразрешимым вопросом, что такое парк, само это «подлежащее» можно разбить не только на деревья, но и на совсем другие «атомы»: квадратные метры, гектары, футы, сектора, крылья, зоны, полезные площади, человекометры и пр. В зависимости от того, считает ли аналитик парк геометрической областью или зеленым массивом, а также в зависимости от целей дробления, выделяемые «атомы» принимают форму, которая стремится быть оптимальной для решения задач, поставленных практиком и/или теоретиком. Ясно, что процесс приспособления единиц к объектам, и объектов к единицам носит утилитарный характер. Из каких «атомов» состоит парк, невозможно определить до тех пор, пока кем-то и для чего-то не назначена цель деления.

Соответственно, расчет на то, что сами элементы (единицы) сообщат что-то об объекте аналитической процедуры, пожалуй, обнаруживает неправильную методологическую установку. Скорее, следует говорить о том, какие единицы будут более удобными для решения поставленных задач и, собственно, как решать эти задачи с использованием назначенных единиц. Так,

парк может вовсе оставаться «монадой», не состоящей из единиц, до тех пор, пока не потребуется, скажем, установить площадь, занимаемую этим объектом. Для исполнения этой задачи будут привлечены квадратные метры в России или квадратные ярды и футы в Великобритании. Онтологический смысл метров явно не следует драматизировать ввиду того, что в сфере онтологии метры непременно вступят в конфликт с ярдами, из которых парк также очевидным образом может состоять.

Похожим образом *лингвистический знак* представляет собой результат процедуры, в ходе которой делению на элементы подвергается вербальная («телесная») часть коммуникативного действия. Единицы, «нарезанные» при разбиении его вербальной составляющей, не могут иметь автономного «онтологического» значения, поскольку значение действия (т.е. помысленный коммуникантом эффект воздействия) существует независимо от слов, жестов, рисунков и пр., как факт личного сознания, интенция к действию, мыслимый результат. Так, в желании сообщить об изменениях погоды нет ничего словесного, жестового, графичного, как и в желании открыть окно, предупредить об опасности, сообщить какие-то «факты», и пр. Внутренний когнитивный процесс приобретает сколько-нибудь осязаемые формы после того, как коммуникант принял решение произвести воздействие на постороннее сознание (или на иное состояние своего собственного сознания, напр., представив его в будущем). Соответственно, в конкретной ситуации коммуникации желание сообщить о погоде выливается в изображение условных рисунков и цифр, или в жестикуляцию, или в произнесение соответствующих вербальных клише, которые, к тому же, могут приобретать не только фонетическую, но и графическую форму, и пр.

Порожденная таким образом телесная часть коммуникативного действия вполне произвольно, в зависимости от целей предпринимаемой «анатомизации», разбивается на элементы: «Здесь почему-то на картинке и облако, и солнце, и дождь, ничего не понятно»; «А что ты на небо показываешь? Есть надежда на просветление?»; «Ничего себе [«ясно»], в крайнем случае [«ничего не ясно»]»; «Слово [дождь] пишется не так: на конце не [щь], а [ждь]»; «Ты здесь палочку у буквы [Д] очень странно нарисовал, получилось [А]», и пр. Ясно, что в приведенных примерах (если, конечно, представить их себе как эпизоды актуальной коммуникации) единицами для говорящего выступают,

соответственно, нарисованные предметы, указательный жест, слово, фонетический и графический элемент слова, графический элемент буквы. При этом в каждом из этих случаев имеет место процесс приспособления элемента к целому, а целого к элементу, осуществляемый индивидуальным сознанием, которое видит перед собой определенную цель разбиения на знаки и владеет соответствующим инструментарием.

Оставляя в стороне жесты и картинки и рассматривая только вербальные знаки, наблюдатель убеждается в том, что «атом» словесной коммуникации в своем точном и последнем выражении ускользает от измерительной процедуры вследствие все той же произвольности назначения критериев. Задаваясь вопросом, является ли знаком звук, буква, палочка или завиток графемы, морфема, иероглиф, слово, сочетание слов, предложение, устный или написанный текст и пр., – наблюдатель, доверившийся спонтанной концепции «знак–значение», приходит к выводу о том, что *любая* из этих предметных единиц может считаться знаком, поскольку, как будто бы, означает нечто, как, например, в предложении [Куда ты идешь?]. Так, во-первых, сказанное как будто понятно, во-вторых, состоит из дискретных единиц (которые можно даже изобразить), в-третьих, любая попытка изменить звуки, слова, их сочетания, целое предложение как будто приводит к изменению общей смысловой суммы.

Однако именно здесь следует констатировать торжество коммуникативной концепции вербального материала, ее полное и безоговорочное преимущество перед «знако-значенческой» концепцией в моделировании естественного вербального процесса, поскольку [Куда ты идешь?] *в действительности не означает ничего, если не рассматривается в составе коммуникативной синтагмы* (конкретного коммуникативного действия): сказанные сами по себе слова не имеют смысла ни по отдельности, ни в совокупности; представляют собой набор неопределенных в своих границах налагающихся друг на друга единиц; возможные оппозиции элементов не выстраиваются в общей аморфной бессмысленности, являются всецело произвольными (знак может оппозиционировать другому знаку, сочетанию знаков, отсутствию знаков, при этом множества «участников» оппозиций не ограничены ничем).

Иными словами, если неизвестно, кто, зачем, в отношении кого, в каких мыслимых условиях и прочее производил действие

с использованием данных вербальных клише, то в самих звуках, буквах, словах, и даже целом тексте смыслообразование отсутствует (оно, как уже было замечено, коммуникативно по своей природе, присутствует в индивидуальном сознании взаимодействующих участников коммуникативного пространства). То, ради чего говорящий (пишущий) мог потрудиться произнести [Куда ты идешь?], не может интерпретироваться в тождестве, поскольку коммуникативные параметры смыслообразования всегда конкретно мыслимы индивидуальным сознанием, которое определяет адресанта и адресата, объекты внимания и обсуждения, а также отношения между ними, позицию в возможной интеракции, обстоятельства совершения действия, фрейм отношений между коммуникантами и пр. Мнимая «понятность» слов [Куда ты идешь?] у русскоговорящего наблюдателя возникает только оттого, что данные вербальные клише уже были когда-то восприняты им в актуальных условиях и могут быть использованы им в актуальных условиях.

Пребывание вербальных клише в мыслимом пространстве коммуникативного действия, как уже было замечено, представляет собой *естественную форму существования вербального материала* и, поэтому является обязательной составляющей его интерпретации. Подлинное знание «языка» состоит во владении способами вербального действия в сегментах коммуникативного пространства – от обыденных ([мне чашку кофе, пожалуйста]) до сугубо специфических (напр., [не бери этот мусор на хаях], [здесь ввернем преюдицию]). Знание коммуникативной типологии приобретается носителем «языка» с детства (практически) или путем различных дидактических приемов (теоретико-практически).

Иными словами, в типовой ситуации произносится фонетический комплекс, который обычно вызывает в сознании участников коммуникативного сообщества изменения, мыслимые говорящим, как, например, в случае, когда он принимает решение указать адресату на себя. Эта интенция (привлечь внимание к себе) универсальна для представителей различных культур и внутрикультурных сообществ. Поэтому в различных «языках» непременно присутствует вербальное клише, используемое в таких случаях ([я], [I], [ich], [je] и пр.). Переводить такие «слова» не составляет труда ввиду того, что рамочное для этих слов коммуникативное действие (передачей которого в тождестве озабочен переводчик) повсеместно распространено, фактически

представляет собой «коммуникативную универсалию»[1]. Вследствие тождества коммуникативных синтагм различные слова имеют одинаковое «значение». Усвоение «языка» как раз и состоит в овладении типологическими дискурсивными единицами коммуникации.

Ту же «историю» наблюдатель застает и в других случаях говорения и распознавания слов, каждое из которых само по себе известно говорящему как элемент мыслимой ситуации действия в типологических условиях и которое вводится в состав заново актуальной, необходимой ему, коммуникативной синтагмы и по мере того приобретает смысл и новизну.

Изъятое из коммуникативной синтагмы слово (тем более, звук, буква и пр.) невозможно рассматривать как единицу смыслообразования, ввиду того, что у самой единицы нет основания, на котором зиждется здание смысла: в «автономном» слове нет личного когнитивного начала, источника мысли, отправной и конечной точки смыслообразования. Зато в естественных условиях любое слово, входя в состав коммуникативного действия, всегда стоит на этом основании – отсылает к когнитивному состоянию коммуниканта, которое понимается в ходе коммуникативной интеракции. Как нельзя понять камень или звездное небо (ввиду чуждости и неясности «внутренних мотиваций» собственного поведения этих «объектов»), так нельзя понять слово (тем более звук или морфему), пребывающие в состоянии автономного покоя, не вовлеченные в динамику личного коммуникативного действия. Как звездное небо и камень всего лишь «вписываются» в созданную коммуникантом схему с назначенными им функциями и получают, таким образом, «понимание» в рамках назначенной схемы, так слово не может быть понято само по себе, вне созданного коммуникантом пространства действия. Во всех случаях пониматься будут не поведение выделенных в сознании объектов (звездное небо, камень, слово), а сама процедура вписывания, практическая, развернутая к субъекту когниции, индивидуально мыслимая *схема моделирования реальности и действия в ней*. Порождение и интерпретация коммуникативного действия (не путать с внезнаковым внутренним мыслительным процессом) всегда обращены к установлению тождества когнитивных процедур и оценке их эффективности, а не к «вещам в себе».

Так, «элементарную» часть актуального высказывания (слово [«попытки»], см. выше, начало третьего абзаца насто-

1. *Vdovichenko A.V.* From Relative Words to Universal Acts. The Limit in Studying "Language". Proceedings of the 39th SLE (Societas Linguistica Europaea) Congress, Bremen, 2006. P. 32-33. http://www.fb10.uni-bremen.de/sle2006/pdf/Tagungsband.pdf.

ящего раздела), изъятую из коммуникативной синтагмы (тем более, звук или букву этого слова) невозможно рассматривать как «атом» смыслообразования, ввиду неопределенности его свойств. «Атом» не может быть разделенным и неопределенным в себе, указывая одновременно на единственное и множественное число, одновременно на именительный и родительный падеж, к тому же он не может фонетически совпадать с формой [попытке], и [по пытке] и пр. В этой мнимой «единице», взятой независимо от сознания автора высказывания, *собственное* значение отсутствует. Для «иностранца», не знающего «русского языка», данное вербальное клише вовсе представляет собой «пустой звук» ввиду отсутствия в его сознании хотя бы какой-то типологии коммуникативных действий с вовлечением данного фонетического комплекса. Заполнить это пустое место (бессмысленное само по себе [«попытки»]) способен только говорящий (пишущий), который производит коммуникативное действие, а также тот, кто пытается интерпретировать его, говорящего, когнитивное состояние на основе своих возможностей.

Для внутреннего размышления субъекту когниции не нужны «телесные» знаки. Предметы, явления, связи, а также цели и перспективы своего участия в ситуации он «видит» без участия знаков. Однако для воздействия на внешнего мыслимого адресата говорящему приходится прибегать к их посредству, по мере необходимости и желания совершить коммуникативное действие. При этом слова произносятся им не для того, чтобы продемонстрировать знание связанной с этим фонетическим элементом коммуникативной типологии (напр., «русского языка»), а для нового, актуального для него воздействия на мыслимое коммуникативное пространство с выделенными в нем адресатами, объектами, условиями и возможными способами такого воздействия. В отличие от бессодержательности слова, содержание коммуникативного действия (т.е. помысленная говорящим «иллокутивная сила» высказывания, или личная интенция действия) может вызвать к жизни различные знаковые формы и оцениваться самим говорящим в зависимости от того, насколько эффективной будет данная форма. Так, вместо приведенного слова [«попытки»] в составе данного действия можно представить употребление другого слова, например, [«усилия»], или совсем другой фразы, напр., [«Поиски предельных, далее не расчленимых элементов» и т.д.], или слова другого «языка», в зависимости от определяемых параметров

замысленного автором коммуникативного действия. Понятно, что без авторского замысла вся конструкция коммуникативного действия, в которую входит [«попытки»], не может возникнуть и иметь какой-то собственный, не-авторский, замысел и значение.

На фоне коммуникативного смыслообразования вербальный язык, постулированный как система упорядоченных смыслоформальных единиц (слов, букв, звуков, правил, составляющих специфическую морфологию, семантику, синтаксис и пр.), оказывается *мнемотехнической схемой* имеющей сугубо утилитарное значение для постороннего (не вовлеченного в языковой коллектив) наблюдателя, и совершенно не востребованной со стороны носителя-«информанта». «Родной язык» известен говорящему как *коммуникативная типология*, которая постепенно усваивается им с детства и постоянно расширяется в направлении различных сегментов осознаваемой реальности. Непосредственный участник языкового коллектива, даже если он получил специальные филологические знания, позволяющие ему идентифицировать и отличить именительный падеж от родительного, в живой коммуникативной практике никогда не пользуются этим знанием. Он не играет в игру «построй высказывания по грамматическим правилам», а делает гораздо более сложную и важную работу, осуществляя влияние на мыслимого адресата – с привлечением слов – в рамках параметрированных ситуаций. Наоборот, грамматические правила впоследствии создаются для тех, кто усвоил «по умолчанию» иную («инокультурную, иноязычную») типологию вербальных действий и по каким-то причинам желает овладеть чужой типологией. В таком случае специалистами-грамматистами предлагается описательная схема («грамматика языка»), позволяющая спроецировать собственное знание «родных» коммуникативных синтагм на инокультурные синтагмы («иностранный язык»). Без обнаружения невербальных оснований возможного тождества (например, общего «несловесного» желания китайца и русского открыть окно, и пр.) установление таких проекций было бы в принципе невозможно. При этом понимание «иностранного языка» в любом случае будет пониманием конкретных коммуникативных действий конкретных говорящих, а не «общего поля» мысли и чувства, выраженных в «языке».

Отметить бессмысленность и бессодержательность «языка» тем более важно, что зачастую в рассуждениях о слове и смысле этот концепт («язык») выступает некоей формой од-

новременно знания, мышления и говорения, которая содержит в своих внешних границах и внутренних ячейках, тем самым, упорядочивая и детерминируя, различные элементы, включая «слова-значения». Необходимо иметь в виду меру условности этой мнемотехнической схемы и не рассчитывать на точность и эффективность системно-орудийно-биологической метафоры («язык») для достижения реалистичных результатов исследования вербальных данных. Так, невозможно изучать вспомогательную мнемотехническую схему и ее элементы, принимая их за свидетельства реальности, или автономные «знаки реальности». Если реальность естественного вербального материала – это свободные осмысленные действия коммуникантов (а другие вербальные факты просто отсутствуют), то вне личных коммуникативных действий у элементов и всей «системы» нет и не может быть «чтойности» и самотождественности.

Нужно отметить, что, в конечном счете, причиной появления языковой модели естественного вербального процесса является приверженность древнему платоновскому «словомыслию»: вольный или невольный (сознательный или неосознанный) последователь условного Платона уверен, что у любого значения есть предметное выражение, материализованное в звуке, морфеме, корне, слове, сочетании слов, и, наконец, в предложении. И, наоборот, у любого телесного знака («имени») есть свое значение. На этой презумпции воздвигнуты как глобальные лингвистические концепты, такие как «язык», «эволюция языковой системы», «взаимодействие языков», так и более частные опыты построения теории в специализированных сегментах языкознания, таких как этимология, семантика, морфология и пр.

Так, несмотря на то, что оперативный арсенал говорящего состоит из коммуникативных клише и ситуаций их использования, т.е. из известной говорящему коммуникативной типологии, в которой никоим образом не присутствует номенклатура привычных для грамматиста понятий и терминов («падежей», «склонений», «корней», «суффиксов», «гнезд» и пр.), – тем не менее, глубоко условная мнемотехническая схема «язык» зачастую узурпирует не подобающий ей статус, становится избыточно безусловным и избыточно онтологическим понятием, едва ли ни «вещью». Грамматический «язык», некогда возникший как вспомогательный инструмент для обеспечения перехода с одной коммуникативной типологии на другую, более знакомую грамматисту (такой

«переходник» необходим по преимуществу иностранцам), может всерьез, несмотря на свою вторичность и вспомогательность, рассматриваться в исследованиях как инструмент общения (механизм, система), воссоздаваться в конкретных грамматических и лексических формах («грамматика плюс словарь»), изучаться как источник сведений о нации, о сознании каждого из ее представителей, о внутреннем устроении и организации социолингвистических сообществ, об интеллектуальном и эмоциональном профиле носителей, и пр.

Эта и подобные аберрации, в конечном счете, являются следствием неправомерной онтологизации единиц, признания знаков реально существующими смысло-формальными атомами, автономными носителями значений («знаний»). Только из таких стабильных и твердых «блоков» можно составить априорно введенный инструмент-механизм, или предъявить его функциональные части.

В то же время очевидная утилитарность выделения знаков, признание их неспособности производить автономное смыслообразование, их несамотождественность вне конкретного коммуникативного действия служит хорошим поводом вспомнить об условности исследовательских моделей и концептов, создаваемых для удобного ситуативного «схватывания» моделируемой реальности в выделенных сегментах. Так, несмотря на мнемотехническую и лингводидактическую пользу «языка» как систематизированного набора знаков (т.е. несмотря на локальное торжество атомизирующего подхода), «языку» невозможно отказать в полной бессмысленности и онтологической непригодности, ввиду того, что его принципиальная всеобщность означает столь же принципиальное отсутствие личностного начала, т.е. отсутствие автора коммуникативного действия, который является единственным и незаменимым источником смыслообразования в вербальном материале.

Национальное и прочее знание. Вместо выводов

Язык как лингвистический объект и как традиционное именование единого инструмента общения нередко мыслится *фактором создания* (возникновения) *идентичности* в широком спектре научной гуманитарной и обыденной аргументации (языкознание, история, культурология, философия, социология,

СМИ, художественная литература, обыденное общение и пр.). «Говорить на каком-то языке» часто означает (или понимается по умолчанию как) «мыслить специфически», «иметь особые практики», «принадлежать к уникальной культуре». Если предположить, что в хайдеггеровской метафоре «Язык есть дом Бытия»[1] позицию подлежащего занимает конкретный язык (а сделать это весьма просто и даже необходимо в контексте рассуждений самого автора метафоры), то «образы Бытия» будут идентифицироваться и подсчитываться по числу языков, соответствовать количеству существующих «домов». Говорящие на этих языках (они же «обитатели домов Бытия») помещаются, таким образом, в более или менее замкнутые резервации, очерченные их языковыми навыками.

1. *Хайдеггер М.* Письма о гуманизме / Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления. М., 1993. С. 192.

Между тем современное состояние лингвистического знания, о котором было сказано, дает шанс на менее масштабный языковой сепаратизм. По крайней мере, фактор «языка» уже не выглядит столь безапелляционным и неотвратимым в деле форматирования сознания его носителей, воздвижения границ между лингво-культурными сообществами, создания анклавов «единомышленников», говорящих на одном «языке», по образцу пресловутого «русского мира».

Де факто языки никогда не воздвигали непреодолимых преград между искренне желающими вступить в коммуникацию, но теоретически, своего рода *де юре*, им полагалось быть резервуарами «духа народа», «сокровищницами» знания и культуры этноса, выражением идеальной картины мира нации («языковая картина мира»), и вообще «особняками бытия» для живущих в них (говорящих на них). На этих высоко патриотичных, однако, по сути архаичных и пещерных идеях паразитирует – открыто или подспудно – гомогенная им националистическая риторика, черпающая нерушимое доказательство единства нации в очевидном факте единого национального «языка» – дома, резервуара, сокровищницы, души, идеальной матрицы национального сознания. Миф о роли языка в формировании идентичности, как и любой предрассудок, следует, скорее, преодолевать и развенчивать, чем полагать в основание методологических схем, в т.ч. академически ориентированных описаний, достигая, тем самым, пущей авторитетности самого мифа и пущей шаткости конструкции гуманитарного знания.

Как более специализированные (лингвистические и лингвофилософские) рассуждения, так и менее тяжеловесные жанровые зарисовки (см. выше) позволяют показать, что понятие «язык» не эффективно для моделирования процесса естественного говорения (письма), и не может играть прежней доминирующей роли в формировании идентичности, понимаемой как осознанное и признанное неким сообществом единство.

Как было отмечено, рамочной идеей, способной охватить тенденции переосмысления «языка» в описательных схемах, выступает *коммуникация* и личное *коммуникативное действие*. Для вербальных фактов, составляющих естественное говорение/письмо, эти понятия задают единственно возможную систему, в которой вербальный материал может быть корректно интерпретирован и описан.

Вследствие тотальной вовлеченности в коммуникативные ситуации, естественный вербальный материал всегда и непременно существует в связном, дискурсивном, состоянии. Элементы, выделяемые на различных уровнях анализа вербальной материи, имеют значение только как часть личного действия говорящего, который оказывает возможное, с его точки зрения, влияние на осмысленную ситуацию коммуникации. Иных источников смыслообразования, кроме сознания действующего коммуниканта, в материи слов не присутствует. В пространстве *мыслимой ситуации коммуникативного действия* говорящий (и затем следующий за ним интерпретант) выделяет объекты (дотоле не существовавшие *здесь и сейчас*, не выделенные из гомогенной панорамы, прежде не оформленные в «объект» и не развернутые в направлении данного коммуникативного действия), назначает связи, фиксирует внимание адресатов, подбирает вербальные клише, соизмеряя их с типологическими условиями их использования и возможными особенностями восприятия их адресатом, и пр. Конкретная коммуникативная синтагма, параметрированная говорящим, а затем интерпретатором, становится той единственной системой координат, в которой приобретают значение формальные элементы вербального процесса. В свою очередь, чтобы воссоздать значение изолированного элемента (способность слова «обозначать что-то» без «соединения или разъединения», согласно Аристотелю[1]), необходимо воссоздать некоторую известную интерпретатору коммуникативную синтагму, в которой возможно употребление данного элемента

1. *Аристотель*. Сочинения в четырех томах. (Философское наследие, 65), М.: Мысль. 1976-1983. Об истолковании. М.: «Мысль», 1978. т. 2. С. 93.

(фонетического/графического комплекса). Порождаются и понимаются, таким образом, не слова, а многофакторные *коммуникативные действия*.

Коммуникативный подход к вербальным фактам ведет к признанию теоретической неэффективности понятия «язык» для многих (зачастую принципиальных) эпизодов. Поскольку смыслообразование является единственной причиной говорения/письма, то именно его невозможно добиться от лингвистического материала, лишенного субъекта, т.е. безличного, не вовлеченного в конкретную коммуникативную синтагму «слова». Выбирая между формой и содержанием, теоретик, так или иначе, вынужден исходить из критерия коммуникативного смыслопорождения.

Место формального «языка» в дискурсивной модели вербального процесса занимает *коммуникативная типология*, известная участнику коммуникации из опытов реализации коммуникативных действий в аутентичном (родном) сообществе. Она же является источником для создаваемой (если это зачем-то необходимо) грамматической матрицы. В этом смысле говорящему «на родном языке» известен не «язык», а *типология коммуникативных синтагм, или ситуаций* (охватить которую *неаутентичному* участнику лингвокультурного сообщества помогает грамматика, представляющая собой неточный, но в ряде случаев удобный инструмент мнемотехники; напротив, *аутентичному* участнику известны способы коммуникативного действия в сегментах лингвокультурного пространства, в т.ч. соответствующие вербальные модели реализации коммуникативных ситуаций, или клише, на основании которых потом и создается грамматическое – не нужное носителю языка – мнемотехническое описание).

В свою очередь, «письменный язык» (или «письмо») представляет собой один из модусов коммуникации, который опирается, безусловно, на фонетическую составляющую коммуникативного действия, производимого с использованием вербального канала. Письмо (и в целом графический способ представления данных) обладает множеством дополнительных возможностей коммуникативного воздействия и, наоборот, – по необходимости лишается некоторых факторов, релевантных для не опосредованной графикой вербальной коммуникации. Орфография любого «языка», понимаемая в широком смысле, служит по преимуществу для моделирования вербальной составляющей коммуникативного

действия. Для пущей полноты эффекта могут вводиться схемы, иллюстрации, рисунки, «смайлики», цветовые пятна, выделения, варьирование расположения текстовых блоков на носителе, и пр.

Вместе с тем графическая передача вербальной составляющей коммуникативного действия глубоко условна по своей сути. Написать [Барысава] (белорус.), [Борисово] (рус.) или Borisovo (интернац.) имеет исключительно инструментальное значение для воссоздания фонетического облика вербального клише, представляет собой как бы сделанный по условным правилам намек на фонетический облик, который «хранится» в сознании участника (ср. использование сокращений или знаков пунктуации).

В вопросах идентичности лингвокультурного коллектива переосмысление (или даже упразднение в прежнем статусе) понятия «язык», признание его мнемотехнической, утилитарной, но не онтологической ценности, ведет к девальвации языкового фактора. Если язык представляет собой набор пустых несамотождественных форм (ввиду безличности, бессмысленности и бессодержательности), и если эту пустоту способно заполнить только индивидуальное сознание – источник смыслов, содержания, значения, эмоций, ценностей (сознание параметрирует коммуникативное пространство, определяет адресатов, создает объекты, формирует классы и виды, вводит критерии назначения множеств, строит связи, фокусирует внимание и пр.), приписывание нации (или иному лингво-культурному коллективу) некоей идентичности на основании пустых форм не корректно. «Носители русского языка» настолько различны между собой, насколько отличны, например, значения единообразного по форме [я] в актуальной коммуникации: ни один словарь, как ни странно, не даст подлинного значения для данного фонетического комплекса, абсолютно пустого и бессмысленного самого по себе вне актуальной коммуникативной синтагмы. В этой связи, тем, кто говорит на одном «языке», нельзя на этом основании приписывать единые идеи, базовые ценности или эмоции. Употребление одних и тех же слов не обязательно означает присутствия одних и тех же «концептов» в сознании, и наоборот, – употребление различных слов не означает обязательного присутствия различных «концептов». Форматирование сознания вербальными «отпечатками» (формирование «языковой картины мира») нельзя считать объективной данностью, несмотря на объективность («телесность» и определенность) вербальных форм. Границы сообществ (в т.ч. этнических) независимы от

имеющихся языковых навыков. «Сокровищницы народного духа» с тем же основанием могут быть сочтены собранием народных заблуждений и предрассудков. Процессы понимания коммуникантов осуществляются в тождестве на основании мыслимых практик, далеких от «чистой» вербальности. Ценность самого «языка» (в т.ч. стремление к сохранению мнимо-самоценных вербальных форм) не имеет под собой достаточных (бытийственных) оснований. Истинная ценность, скорее, содержится в стремлении к позитивному взаимодействию, в котором вербальные формы сами по себе глубоко вторичны и утилитарны, и в котором понимаются не слова, а целостные семиотические поступки. Интерпретация форм бескачественного «языка» помещается в перспективу межличностного взаимодействия, становится более свободной от детерминирующей систематики, более независимой от обманчивого единообразия вербальных форм. Хайдеггеровская метафора значительно корректируется и приобретает форму: «Осознанное бытие есть дом вербальной (и невербальной) коммуникации». Знать чужой язык означает владеть приблизительной мнемотехнической схемой вербальных практик в различных коммуникативных сферах, в то время как знание «родных» коммуникативных клише не нуждается в мнемотехнической матрице (письмо на родном «языке» представляет собой отдельную условную практику, построенную по своим правилам). Владение мнемотехнической схемой не идентично порождению и пониманию *конкретных коммуникативных действий*, интерпретация которых нуждается в целом комплексе несловесно мыслимых параметров.

Таким образом, поставленная в начале проблема субъективности («как возможно говорение, если тождество любого знания – «всеобщего», «универсального», «личностного», «национального» и «культурно-специфического» и др. – в индивидуальных сознаниях отсутствует?») разрешается в поле коммуникации: говорение (письмо) представляет собой не трансфер мыслей при отсутствующем твердом основании (знании), а целенаправленное воздействие в параметрированном коммуникативном пространстве, представленном сознанию в данный момент. Несамотождественность индивидуальных знаний (знания «языков» и отдельных вербальных клише, объектов, связей, момента коммуникации, позиции говорящего и адресата, когнитивных состояний и пр.) преодолевается в ходе коммуникативной процедуры, суть которой состоит в искомом воздействии: в зависимости от поставленных

целей коммуникант может быть заинтересован найти «общее и единое», на основании которого в данный момент производится успешное воздействие; он может называть или всего лишь подразумевать это знание в момент совершения очередного семиотического поступка. Говорящий, в конце концов, добивается не полного тождества некоего знания, а согласия адресата принять его действие, «вместить» и одобрить коммуникативное воздействие.

Коммуникативное действие представляет собой новую теоретическую оболочку для интерпретации семиотических поступков (в т.ч. имеющих вербальную составляющую). Внутри этой оболочки (дискурса) работают собственные механизмы смыслопорождения, устанавливаемые ситуативно, индивидуально и целенаправленно. Актуальное смыслообразование возникает как помысленный эффект коммуникативного действия (со стороны коммуниканта) и как усвоение когнитивного состояния (со стороны прямого и косвенного адресата). В этих условиях изменяется и статус знания в его отношении к «слову».

Для иллюстрации изменения в представлениях о знании (в его отношении к вербальному процессу), пожалуй, будет уместным сослаться на концепцию Аристотеля, который, создавая логическую грамматику («аналитику»), некогда посчитал «подлежащим» то, что является общеизвестным, не вызывающим сомнения. Для Стагирита логическая пропозиция оказалась возможной как присоединение «сказуемого» к «подлежащему», которое (подлежащее) по умолчанию мыслилось тождественным и единым для всех (иначе, вне такой твердой основы, концепция логического высказывания утверждалась бы не на чем), и даже своими свойствами задавало правильное или неправильное «сказуемое»[1]. «Подлежащее», таким образом, согласно Аристотелю, занимало в лингвистическом материале «место знания», «место тождества и единства», причем слова, сопрягаясь со «вторыми сущностями» (видами и классами вещей), как раз и маркировали собой «всеобщее и единое»: знание слова (которое могло исполнять роль подлежащего, а также «означало нечто само по себе») теоретически означало некое тождественное знание.

Новое, неаристотелевское, понимание знания в его отношении к вербальному материалу приходит с акциональным (коммуникативным) видением вербального процесса: «подлежащее» высказывания, вопреки концепции Аристотеля, представляет собой объект, выделенный и созданный говорящим, а также знак,

1. *Аристотель.* Сочинения в четырех томах. (Философское наследие, 65), М.: Мысль. 1976-1983. Об истолковании. М.: «Мысль», 1978. т. 2. С. 138.

наложенный говорящим на мыслимый объект в интересах эффективной коммуникации (этот знак, заметим, может быть не только словесный, но и жестовый, остенсивный, графичный и пр.). Такой комплекс не может быть всеобщим и тождественно мыслимым всеми. Он порождается сознанием в личном коммуникативном процессе, как одно из средств достижения успеха коммуникативного воздействия. Языковое аристотелевское «подлежащее» становится (оборачивается) коммуникативным «сказуемым»: оно тоже «сказывается» («предицируется») коммуникантом, не существуя вне говорящего и вне данного акта.

В акциональной (дискурсивной) модели вербального факта область «подлежащего» («место знания») занимает, скорее, сама коммуникативная ситуация в каждый из ее моментов (дискурс). Ее, ситуацию, участники коммуникации действительно не могут подвергнуть какому-либо сомнению, отрицать, «по умолчанию не знать». Несмотря на то, что дискурс неизбежно интерпретируется, стремление к успешности коммуникации заставляет говорящего искать в его рамках подлинные единства и тождества («знания»), общие и актуальные для участников коммуникативного взаимодействия. Коммуникация, таким образом, по своей природе стремится к тождеству и знанию, т.е. к согласию и эффективному взаимодействию.

Комментарии

И.В. Журавлев, Ю.В. Журавлева

Проблема *субъективности (субъектности) знания*, затрагиваемая в данной работе, действительно является одной из ключевых проблем современной науки. Из тезиса о субъективности знания можно сделать определенные выводы относительно коммуникативного процесса. Однако выводы эти могут оказаться совершенно различными в зависимости от того, как при этом мыслится субъект, как задается его онтология. *Можно ли приравнять субъекта к индивиду?* Вот главный вопрос.

Попытка индивидуализации субъекта (как и сознания) основана на «очевидной данности», которую, однако, следует проблематизировать. Индивид, как и индивидуальное сознание, появляется в человеческой культуре и истории достаточно поздно. Кристаллизация индивидуального сознания, как и соотнесение его с индивидуальным (дискретно выделяемым) телом – это дело «последних секунд» на часах культуры, которые (часы), кстати сказать, благополучно «стояли» в течение всего «золотого века» человечества (периода первобытной культуры) и «пошли» лишь с появлением исторического времени. Согласно некоторым взглядам, феномен индивидуальности вообще появляется лишь в XVII-XVIII веках. Так или иначе, *общественное сознание предшествует индивидуальному*, «мы» с необходимостью возникает раньше, чем «я» (здесь можно говорить даже не столько о «предшествовании во времени», сколько о «предшествовании» как онтологическом конституировании). Отсутствие индивида, однако, еще не означает отсутствия субъекта: только речь идет уже о *субъекте коллективном*. Если смотреть на историю культуры «с конца», то, конечно, можно увидеть индивидов как субъектов индивидуального сознания (ничего иного такой взгляд увидеть и не позволяет). Здесь и возникает проблема обоснования коммуникации и связанная с ней проблема тождества индивидуальных сознаний. Если же мы отказываемся от гипостазирования индивидуального сознания и смотрим на субъекта исторически (в широком смысле), то эти проблемы оказываются мнимыми.

Тезис о том, что в естественной коммуникации порождаются и понимаются не лингвистические единицы, а действия, совершаемые коммуникантами, представляется отчасти верным. Можно согласиться с тем, что *коммуникант в естественных условиях всегда сосредоточен именно на действии, а не на соблюдении единообразных правил употребления слов*. Поскольку общение происходит между людьми, вовлеченными в совместную деятельность, источником смысла «передаваемых» сообщений являются ни в коем случае не средства их «передачи», а действия людей, направленные на предмет их деятельности или (если мы говорим о деятельности общения) на самих коммуникантов. *Именно действие первично нагружено смыслом*, хотя сам человек обычно воспринимает смысл своего действия как смысл предмета, с которым он действует. Действия человека остаются осмысленными и вне любой актуальной коммуникации (вопрос о коммуникации человека с самим собой мы сейчас опускаем).

Однако правомерно ли проводить жесткое различие между порождаемым/понимаемым действием и порождаемым/понимаемым словом (знаком)? Судя по всему, здесь дает о себе знать ключевой для формируемой модели коммуникативного процесса вопрос – *вопрос о сущности знака*. Напомним в связи с этим идею Л.С. Выготского о том, что знак есть единство общения и обобщения. Мы понимаем знак не как соссюровское «означающее», не как акустический/зрительный/кинестетический образ и даже не как единство этого образа с «означаемым», а как превращенный предмет. В этом предмете «свернута» форма деятельности с любым реальным предметом, который обозначается данным знаком. Словом «чашка» можно обозначить любую чашку (обобщение). При этом слово «чашка» означает не предмет как таковой (зачем его обозначать?!), а действие с ним. *Генезис действия состоит в «обмене деятельностями»* (А.Н. Леонтьев), т.е. любое действие по своему происхождению связано с совместной деятельностью (соответственно, любое обобщение есть обобществление). Поэтому *употребление знака в общении уже неизбежно подразумевает обмен деятельностями, т.е. обобщение и обобществление*.

В ходе общения коммуникантами порождаются/понимаются и знаки, и действия, поскольку *между знаком и действием невозможно провести жесткую границу*. Основанием для проведения подобной границы может быть лишь узколингви-

стический взгляд на знак, игнорирующий его деятельностную природу. Как будто мы смотрим на мир, в котором уже есть действия сами по себе и знаки сами по себе. И снова: это взгляд «с конца». Если же смотреть «с другого конца», т.е. начинать сначала, то обнаружится иная картина. Порождая действие, мы порождаем знак. Порождая знак, мы порождаем действие.

Мы понимаем под субъектом не абстрактного «человека», а субъекта деятельности, исходно – коллективного, социального. Мы понимаем под предметом не абстрактную вещь, «материальный» объект, а предмет деятельности, тождество которого задается не его «материей», а деятельностью с ним. Мы понимаем под словом не *flatus vocis*, не звук, «ассоциированный» с мыслью, а превращенный предмет, воплощающий ту же форму деятельности, что и предмет обозначаемый.

1.2. «Эй, подожди, вот твоя шляпа»: что порождается и понимается в естественном коммуникативном процессе (А.В. Вдовиченко)[1]

1. Опубликовано: *Вдовиченко А.В.* Акциональное смыслообразование: что порождается и понимается естественном коммуникативном процессе // Вопросы психолингвистики 2018 Вып. 3 (37). С. 112-125.

В статье на основании наблюдений над группой испытуемых, которые участвовали в просмотре фильма У. Чейфа «Мальчик, похищающий груши», представлен ряд положений, значимых для интерпретации смыслообразования в коммуникативном действии (в том числе вербальном). 1) Естественный вербальный процесс (говорение) представляет одну из составляющих всегда комплексной коммуникации; 2) в естественном говорении осуществляется не «смыслообмен словами», а производятся коммуникативные воздействия (в том числе с участием вербального канала); 3) мысль и коммуникативное (в т.ч. вербальное) действие принципиально различны между собой по признаку акциональности; 4) смыслообразование в коммуникативном акте непосредственно связано с акциональным характером любого семиотического поступка. Смыслом порождения коммуникативного акта (в том числе с участием вербального канала) является мыслимое воздействие; 5) интерпретация смыслообразования в семиотическом поступке представляет собой понимание того, что осознанно делает автор поступка; 6) знак или последовательность знаков может иметь значение (интерпретироваться) только как часть конкретного семиотического действия; 7) то, что анализируется и осознается как «контекст» для знака, представляет собой многофакторную ситуацию коммуникации, в которой главным предицирующим элементом является семиотическое действие коммуниканта; 8) коммуниканты порождают и понимают комплексные многофакторные коммуникативные действия, а не знаки «языка», или иные знаки; 9) коммуникативные (семиотические) и некоммуникативные действия понимаются посредством интериоризации когнитивного состояния того, кто совершает действие.

2. *Chafe W.* The Pear Stories: Cognitive, Cultural, and Linguistic Aspects of Narrative Production. Norwood: 1980.

В ходе подготовки статьи мной был организован просмотр небольшого фильма (июнь 2017 г.) с условным названием «О мальчике, похищающем груши», который У. Чейф некогда демонстрировал своим испытуемым для уяснения особенностей концептуализации и вербализации визуального опыта[2]. В просмотре участвовали учащиеся выпускного гуманитарного класса (7 человек, московская школа № 2086), посещавшие спецкурс

«Язык и коммуникация: модели описания вербальных данных», который автор настоящей статьи читал в течение учебного года (2016-2017).

Цель созданного события состояла в том, чтобы на основании сюжетного видеоряда, а также наблюдаемой и анализируемой процедуры его восприятия, зафиксировать интересующие меня аспекты смыслообразования в вербальных и невербальных данных. Таким образом, настоящая статья продолжает ряд работ, авторы которых испытывают глубокую благодарность к своему американскому коллеге У. Чейфу, создателю фильма и интерпретатору полученных от испытуемых интерпретаций, положившему начало целой традиции обсуждения данного когнитивного объекта[1]. В то же время фокус исследовательского внимания в данной статье сформирован собственными, важными для меня позициями.

1. *Mazur I., Chmiel A.* Towards common European audio description guidelines: Results of the Pear Tree Project, Perspectives: Studies in Translatology, 2012, Vol. 20 (1). P. 5–23.

Хотя в статье организованный просмотр называется экспериментом, речь, скорее, идет о целенаправленном создании таких условий для коммуникативной деятельности, которые в совокупности можно признать соответствующими естественным и интерпретировать как естественные. В том же смысле (как это признавал и У. Чейф) можно опираться на любые естественные формы «устного дискурса»[2] для получения лингвистической информации (добавим от себя: не только «устного», и не только «лингвистической», если речь идет о разноформенном процессе коммуникации).

2. *Кибрик А.А.* Когнитивные исследования по дискурсу // Вопросы языкознания, 1994. №4. С. 128.

Способность того, что говорится, производить смыслообразование имеет прямое отношение к вынесенному в заглавие вопросу: говорящим (пишущим) порождаются и затем понимаются некие смыслы. Именно ради порождения какого-то смысла говорящие говорят, а пишущие пишут.

1. Однако можно ли согласиться с распространенным суждением, что в ходе говорения (письма) «*словами передаются мысли*» и вследствие этого происходит «смыслообмен», который можно считать смыслообразованием? Это первый вопрос, требующий ответа в рамках обсуждаемой темы.

1а. Некоторая странность предлагаемых лингвистических рассуждений состоит в том, что видеосюжет, в котором мальчик похищает у фермера собранные им груши, нарочито *свободен от слов*: «Мужчина на дереве собирает груши. Мимо проходит мужчина с козой. Приезжает мальчик на велосипеде, берет одну

корзину с грушами и уезжает. По дороге навстречу мальчику едет девочка на велосипеде; у мальчика слетает шляпа; велосипед наезжает на камень; мальчик падает; груши рассыпаются. Три подошедших мальчика помогают собрать груши и отдают потерянную шляпу. Мальчик дает им три груши; они уходят в разные стороны. Мужчина на дереве продолжает собирать груши; он обнаруживает пропажу одной корзины с грушами. Мимо проходят три мальчика, жуя подаренные груши. Мужчина смотрит им вслед»[1].

1. *Федорова О.В.* Интродукция референта в русских устных пересказах (на материале «рассказов о грушах» УЧейфа) // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Материалы конференции, 2015 // http://www.dialog-21.ru/media/2777/dialogue-2015_vol1.pdf.

Как со стороны создателя фильма, так и со стороны испытуемых смыслообразование происходит *без участия вербальных единиц*, которые в ходе эксперимента возникают только на стадии, когда испытуемые излагают содержание фильма устно посредством вербального канала («словами») или отвечают на содержательные вопросы по фильму в письменной форме. Приведенный выше пересказ видеосюжета представляет собой подобный случай возникновения (привлечения) вербальных единиц.

Однако именно эта свобода от слов является залогом более конструктивного понимания семиотической процедуры: вербальный материал не должен заслонять собой гораздо более глобальной области коммуникации, которая всегда осуществляется комплексно и в которую несамостоятельные вербальные данные всегда включены.

Ответы испытуемых позволяют со всей однозначностью утверждать, что видеосюжет в момент просмотра воспринимался и интерпретировался *независимо от вербального канала*. Более того, визуальный канал оказался гораздо более эффективным и информативным, чем словесный (если условно считать его автономным). Так, испытуемые могли конкретизировать и детализировать то, что было первоначально изложено в пересказе (например, дополнительно описывать ранее не упомянутые в своих же пересказах внешность фермера, число корзин с грушами, подробности самой процедуры собирания груш, и пр.), тем самым, демонстрируя, что образ видеосюжета, возникший в сознании испытуемых после просмотра, шире, объемнее и многомернее, чем любой словесный пересказ (например, тот, что приведен выше).

Промежуточные выводы. В ходе просмотра видеосюжета следует констатировать *изменение когнитивного состояния* испытуемых. Это изменение было вызвано действиями эксперимен-

татора, показавшего видеоролик аудитории старшеклассников, а также самого автора видеосюжета, который некогда рассматривал свой видеонарратив как средство воздействия на заранее неизвестного, но принципиально необходимого («какого-то») адресата.

В действиях экспериментатора и автора нужно констатировать факт целенаправленного воздействия на чье-то когнитивное состояние, или факт спланированной и осуществленной коммуникации, которая имела как предварительно мыслимый, так и реально произведенный эффект.

Этот эффект в каждый отдельный момент просмотра достигался путем использования *невербального канала*.

Если все же считать, что экспериментатор и автор так или иначе прибегали к вербальному каналу при взаимодействии с данной аудиторией (экспериментатор до просмотра «словами» приглашал на эксперимент, объяснял его регламент и пр.; автор некогда сформулировал словесное название видеосюжета, дал его описание и др.), то произведенное воздействие можно считать *комплексным*, осуществленным путем совместного использования вербального и невербальных каналов. При этом отрицать невербальное воздействие, производимое только через визуальный (и отчасти слуховой) канал в момент просмотра, в любом случае невозможно: изменения в сознании испытуемых с очевидностью происходили на этапе бессловного (невербального) восприятия видеосюжета.

Возможность считать производимое коммуникативное воздействие вербальным, визуальным или аудиовизуально-вербальным свидетельствует о том, что вербальный канал является *одной из составляющих* при коммуникативном воздействии.

В свою очередь, отношение между содержанием сознания испытуемых после просмотра видеосюжета, с одной стороны, и, с другой, так называемых «вербальных репрезентаций» их сознания, сделанных после просмотра по просьбе экспериментатора, – можно описать следующим образом: первое гораздо «объемнее» и «больше» второго; содержание сознания непременно имеет часть, не соотносимую ни с какими формами вербальных (или иных) репрезентаций; напротив, формы репрезентации (в том числе вербальные) не имеют никакой части, которая не была бы соотносима с сознанием.

Очевидное несовпадение «репрезентации» и «контента сознания» часто обозначается оппозицией «высказанные и не-

высказанные мысли»: репрезентации облачены в вербальную (или какую-то иную) форму, а содержание сознания еще таковой формой не обладает, хотя, вероятно, имеет какую-то иную форму (образную, стяженно-вербальную, усеченную, неопределенную и пр.). Такой способ концептуализации вполне традиционен[1], однако тем самым различие между «репрезентацией» и «никак не проявленным контентом» стирается – и то, и другое признается «мыслями».

1. Ср.: *Зимняя И.А.* Речевая деятельность и психология речи, в кн.: Основы теории речевой деятельности. Под ред. А.Н. Леонтьева, ИЯз РАН. М.: Наука. 1974. С. 65.

Между тем для построения адекватной модели вербального процесса это различие принципиально важно. Определить его, с моей точки зрения, нужно по признаку *акциональности*: контент сознания, независимо от формы, степени определенности, законченности и пр., не представляет собой действие, направленное на достижение изменений в постороннем сознании (во внешних когнитивных состояниях), в то время как любая «репрезентация» направлена исключительно на достижение изменений во внешнем (мыслимом как постороннее) когнитивном пространстве. Такую совершительность, или «перформативность» (некогда Остин подозревал ее в избранных глаголах, а Серль уже пытался распространить на все коммуникативные акты[2]) можно наблюдать как в действиях экспериментатора и автора видеосюжета, так и в действиях испытуемых, которые производили ответные действия, имея целью изменения в когнитивном состоянии экспериментатора.

2. *Вдовиченко А.В.* Расставание с «языком». Критическая ретроспектива лингвистического знания. М., 2008. С. 375.

Нужно заметить, что термин «репрезентация» оказывается не вполне точным, так как внутренняя мотивация субъекта действия состоит не в том, чтобы явить (обнаружить, репрезентировать) содержание собственного сознания, а в том, чтобы *произвести изменения* внешнего когнитивного состояния. Так, коммуникант, желающий обмануть собеседника, не обнаруживает вовне содержание собственного сознания (скорее, наоборот, тщательно скрывает его), но при этом пытается произвести воздействие, обещающее нужный ему (выгодный для него) эффект. При этом его мысль и его вербальное действие радикально не совпадают, как содержательно, так и формально. По общей конструкции коммуникативный акт того, кто не желает обмануть, ничем не отличается от акта лжеца: он тоже мотивирован предполагаемыми изменениями в сознании адресата, но его автор, в отличие от лжеца, не сознает за собой двойственного нетождественного состояния при совершении

действия – изображаемого и подлинно осознаваемого, то есть поступает искренне.

Таким образом, мысль как содержание сознания (независимо от внутренней формы и завершенности) принципиально отлична от вербального высказывания по признаку акциональности (совершительности, перформативности). Мысль созерцательна и неакциональна. Зато высказывание деятельно и практично: в своей естественной форме оно представляет собой личное коммуникативное действие, или семиотический поступок, цель которого видится говорящим в достижении изменений в представимом коммуникативном пространстве.

Так, можно сколь угодно долго пребывать в сфере мысли («иметь мысль») – скажем, думать о том, что нужно открыть дверь. Анализ возможностей и условий совершения предполагаемого действия, а также размышление о причинах и следствиях, необходимости и ценности такого поступка будут признаками неакциональности мысли. Дверь останется закрытой до тех пор, пока внутренний процесс не обернется действием. Само открывание двери уже нельзя считать мыслью вследствие очевидно совершившегося акционального выхода субъекта во внешнее пространство из замкнутости (изнутри) и непроницаемости (извне) сознания.

Поэтому *невозможно утверждать*, что «словами передаются мысли» и вследствие этого происходит «смыслообмен»; что в вербальном процессе «понимается мысль, выраженная словом». Воздействие на сознание, произведенное словом (или каким-то иным способом, с использованием иного канала или сочетания каналов) уже представляет собой нечто, имеющее *косвенное отношение к мысли* (ср. намеренная ложь). Смыслообразование, которое обычно ставится со словами в тесную (и даже прямую) связь, следует, скорее, искать в акциональности, свойственной коммуникации (воздействию), ради чего производятся любые (вербальные и невербальные) семиотические поступки.

2. Второй важный вопрос при построении коммуникативной модели смыслообразования в вербальных данных состоит в том, как возможны порождение и последующая интерпретация, если слова (а равным образом и другие единицы) уже не являются полноправными представителями мысли, имеют к ней косвенное отношение. Иначе говоря, если в прежней языковой модели но-

сителями значений (и потом смыслов) являются единицы, в т.ч. слова, то после снятия слов в качестве непосредственных слагаемых смысла почва для смыслообразования как будто исчезает.

2а. В самом деле, из простого опыта рассмотрения изолированных лексем или из опыта работы с любым словарем лексики становится доподлинно ясно, что слова как минимум не имеют определенных значений (смыслов) и потому не могут быть однозначными слагаемыми общей суммы, которая часто мыслится как высказывание. Это может показаться странным, но именно такое положение дел следует констатировать в реальном говорении (письме): *автономные слова не обладают мыслимым тождеством*, способным нести конкретный понимаемый смысл (значение).

Так, каждое слово, входящее в состав последнего, только что воспринятого адресатом предложения, будет иметь гораздо больше значений, чем одно определенное, нужное для твердого понимания составленного из них целого: [это], [положение], [казаться], [такой], [дела], [письмо], [именно], [странный], [говорение] и пр.

Заметим на всякий случай, что спасительная ссылка на «слово в контексте», которое, якобы, благодаря контексту приобретает способность восприниматься в тождестве, как раз и свидетельствует о *семантической недостаточности (неполноценности) автономного слова*: необходимо нечто постороннее, выходящее за пределы слова, – тот самый так называемый контекст, без которого предъявить самостоятельный смысл (значение) слова не представляется возможным.

Впрочем, даже те вербальные данные, которые организованы в предложения (высказывания), будут далеко не всегда казаться понятными в их составе:

[Безусловно, нет. Не достает исполнения, самого звучания, слышимого мелодического рисунка, интерпретации, ощущения уподобления человеческому голосу и интонации в музыкальной фразе и пр., – всего того, к чему нотный текст лишь пунктирно готов направить и послужить вспомогательным средством достижения[1]].

Или:

[Так, можно сколь угодно долго пребывать в сфере мысли («иметь мысль») – скажем, думать о том, что нужно открыть дверь (см. выше по тексту)]

1. *Вдовиченко А.В.* Текст и дискурс в свете коммуникативного смыслообразования, Рукопись. 2017.

Поэтому если контекстом для слова считать предложение, то такой «гарант тождества» и сам не может быть признан независимым и смыслообразующим. Кажется, здесь напрашивается как минимум «конситуация», или «коммуникативный (то есть комплексный, не только вербальный) контекст»[1], который выносит причины смыслообразования далеко за пределы словесной последовательности как таковой. Тогда и другие, заведомо бессмысленные в автономной позиции предложения (типа [Да], [Он совсем не собирается это делать], [Безусловно, нет]), помещенные в аутентичную конситуацию, обретут искомое тождество, тем самым снова утверждая смысловую несамостоятельность вербальных данных – не только слов, но даже предложений.

1. *Кафкова О.* О роли контекста в разных типах коммуникатов // Синтаксис текста: Сб. науч. тр. М., 1979. С. 236-247.

Заметим здесь же, что при оформлении коммуникативной модели смыслообразования стоит иметь в виду и тот неоспоримый (уже продемонстрированный выше) факт, что смыслообразующую процедуру можно реализовать полностью без участия слов. Жесты, остенсивы, выразительные взгляды, вздохи, поступки «напоказ», последовательность видеонарратива и пр. и пр. могут иметь ничуть не менее (а зачастую и гораздо более) определенное значение, чем слова.

Вопрос, в таком случае, приобретает следующую форму: как возможен *семиотический процесс в условиях нетождественности* (неопределенности, многозначности, бессмысленности, неавтономности) *знаков*, будь то слова, морфемы, звуки, предложения, картинки, жесты и пр.?[2].

2. Об утилитарности выделения знаков см.: *Вдовиченко А.В.* О несамотождественности языкового знака. Причины и следствия «лингвистического имяславия» // Вопросы философии, 2016 №6. С. 164-175.

Для ответа на этот вопрос видеонарратив У. Чейфа предоставляет множество эпизодов, из которых особенным, отличным от иных выглядит «сцена со свистом»: «похититель груш» пережил падение с велосипеда, содержимое корзины рассыпалось, широкополая шляпа слетела с его головы за несколько мгновений до падения; трое проходящих мальчуганов помогли ему встать и собрать груши, и уже отошли на некоторое расстояние, как вдруг один из них увидел лежащую в пыли шляпу; он поднимает ее, окликает непродолжительным свистом не успевшего уехать «похитителя груш», подходит к нему, отдает шляпу и получает от него в награду три груши.

Этот эпизод замечателен тем, что только в нем зритель застает героев видеонарратива за *семиотической* деятельностью. В остальной части фильма никто из действующих лиц не совершает коммуникативные поступки (хотя совершает множество

других). Из всего многообразия возможных семиотических знаков в фильме присутствует только свист. Как возможно его понимание?

Ответы испытуемых. В ходе эксперимента, еще до просмотра видеосюжета, испытуемым был предложен вопрос: «Какое значение (смысл) имеет свист?». Ответы всецело подтверждают, что понимать свист как «знак, имеющий смысл или значение», невозможно: испытуемые в сомнениях задавали уточняющие вопросы («Чей свист?», «В каком контексте?», «А свист долгий или короткий?», «Свист механизма или человека?» и пр.), пытались прояснить, к какому произведению и месту в нем приурочен данный свист, и пр.

После просмотра фильма вопросов о значении (смысле) свиста не возникало. В том, что означал свист в просмотренном видеосюжете, испытуемые не сомневались. Ответы, сформулированные по-разному, совпадают в том, что мальчик, издавший свист, привлекает внимание и как бы говорит: «Вот твоя шляпа, возьми», «Эй, подожди, ты потерял шляпу, вот, держи», «Подожди, это ведь твоя шляпа от солнца».

Предварительные выводы. Выделенный в видеосюжете знак (свист мальчика) не имеет автономного смысла (значения) и понимается только в составе так называемого контекста. Однако в прямом смысле контекста (окружающих его слов) в видеосюжете не наблюдается, но знак все равно понимается без каких-либо затруднений. По-видимому, то, что анализируется и осознается как контекст, в действительности представляет собой *многофакторную комплексную ситуацию коммуникации* (в данном случае – актуальная диспозиция участников, предметов, их свойств и отношений), в которой главным предицирующим элементом является *семиотическое действие коммуниканта* (в нашем случае свист, который в данных условиях, вместе со шляпой, которую свистящий мальчишка держит в руках, означает «Эй, подожди, вот твоя шляпа» и пр.).

Важно то, что знак получает возможность интерпретации только в том случае, если исследуется как часть коммуникативного действия, предпринятого целенаправленно и осознанно. Иначе говоря, порождается и понимается не знак как таковой («свист»), а целостный *коммуникативный поступок* («эй, вот твоя шляпа, возьми»), который, в отличие от автономного знака, включен в коммуникативную синтагму и производит коммуникативное

смыслообразование: действие коммуниканта вызывает изменения в когнитивном состоянии адресата. В отличие от знака, в коммуникативном действии есть мыслимая акциональность и результат (предполагаемый или достигнутый).

Понять этот «знак» можно только как поведение коммуниканта (вернее, как выделенный интерпретатором отрезок его поведенческого континуума и соответствующее когнитивное состояние): мальчишка вместе с друзьями идет по дороге (в этот момент еще нет того поведения и состояния его сознания, которые связываются с интерпретацией «свиста»), затем он замечает шляпу и поднимает ее (этот поступок понятен интерпретатору, поскольку до того он наблюдал, как именно эта шляпа слетела с головы «похитителя груш» и упала на дорогу). И здесь уже можно, пожалуй, зафиксировать начало того отрезка поведенческого континуума, который непосредственно связан с последующим свистом, с которым сознание интерпретатора чуть позже объединит свист. Понятно, что свист можно связать с любым другим из предшествующих и последующих моментов (что и делает сознание интерпретатора всегда, совершая нелинейные процедуры при анализе параметров коммуникативного действия). Но находка шляпы представляет собой локальный пик развития событий, который влечет за собой значимое изменение когнитивного состояния коммуниканта (свистящего мальчика), которое воссоздается интерпретатором.

Иными словами, *понимание представляет собой интериоризацию состояния* мальчика как в момент совершения коммуникативного действия, так и в иные моменты. Именно в сознании этого мальчика произошли резкие изменения в момент, когда он увидел и поднял шляпу. Интерпретатор фиксирует этот скачок в его осознанном поведении и понимает, что возникшая ситуация должна во что-то разрешиться.

Наконец, фокус внимания зрителя вслед за движением камеры перемещается с мальчишки, держащего шляпу, на уезжающего «похитителя груш». В этот момент раздается свист, на который «похититель» поворачивается, понимая одновременно целую сцену – свист, мальчишку и шляпу в его руках – как «знак». Затем свистнувший мальчуган направляется к «похитителю» и отдает шляпу, получая в награду три груши.

Понятным, таким образом, становится *коммуникативное действие*, как в этом, так и в иных случаях семиотического

поведения (при использовании иных каналов коммуникации в комплексе).

Характерно, что *вербальный знак* «Эй, ты потерял шляпу, вот, возьми» (не говоря уже об отдельных словах [эй], [ты], [потерял] и пр.), если представить это высказывание или его элементы автономными и не интегрированными в ситуацию, будут такими же непонятными и нетождественными, как и «автономный свист», пока не станут частью конкретной коммуникативной синтагмы, в составе которой уже смогут интерпретироваться («интериоризироваться») как семиотическое действие конкретного субъекта, «подобного мне».

3. На основании этого эпизода можно ответить еще на один вопрос, который неизбежно возникает при обсуждении коммуникативного действия: можно ли понимать *некоммуникативное* действие (несемиотический поступок), и как это происходит?

Заметим, что этот вопрос тесно связан с другим: если понимание некоммуникативного действия или объекта происходит каким-то особым образом, тогда, вероятно, и слово можно принять за некоммуникативный объект (несемиотический объект) и понять вне субъектных коммуникативных процедур, без вовлечения его в действие?

Иначе говоря, если можно вне коммуникации идентифицировать, скажем, появившегося на экране фермера, который собирает груши, то можно ли, в таком случае, «понимать» и дорогу, по которой идут мальчишки, и любые другие объекты, а заодно и слова, которыми они называются?

3а. Отвечая на вопрос, как возможно понимание некоммуникативного действия, нужно иметь в виду, что в видеонарративе У. Чейфа интерпретация происходящего представляет собой понимание, прежде всего, семиотического (коммуникативного) процесса, который организован *автором* видеосюжета. Перед зрителем разворачивается созданная для него история, рассказанная и представленная режиссером по законам кинематографического жанра, то есть с учетом особенностей коммуникации в условиях, свойственных избранному формату: события, герои и объекты показываются в определенных ракурсах, последовательность сцен и действий персонажей строго выверена для «упаковывания» в понимаемый зрителем сюжет, фокус внимания постоянно направлен на развитие нарратива, персонажи

и объекты играют роли, работая на обеспечение понимания «авторского замысла», и пр.

Иными словами, наблюдатель, просматривая видеонарратив, без сомнения интерпретирует не что иное, как коммуникативную деятельность (последовательность коммуникативных действий) автора фильма. В этом смысле данный материал как будто не дает возможности выйти за пределы коммуникации.

Однако можно рассчитывать на то, что зритель (по крайней мере, временами) забывает о том, что он целиком помещен в искусственно созданное русло. Осуждать его за эту забывчивость и призывать вернуться к реальности (а она коммуникативная и авторская) было бы избыточным условием эксперимента, требованием нереалистичной стерильности. В действительности если зритель наблюдает за происходящим на экране, то тем самым он соглашается на данный модус коммуникации и как бы забывает об условности происходящего (иначе смотреть на заведомую имитацию и хотя бы отчасти доверять ей было бы совсем странным). В результате то, что разворачивается перед зрителем, происходит как будто столь же естественно, как и то, что происходит каждодневно вне искусственного нарратива, в обыденной реальности. Вследствие этого становится возможным обсуждать и понимать поступки персонажей, а не коммуникативные действия режиссера и артистов (в двух предыдущих пунктах было предпринято как раз это – выяснение мотиваций и действий персонажей, а не артистов в организованных автором фильма сценах).

Понятно, что в случае некоммуникативного поведения персонажей зрителем понимается все та же *субъектная деятельность*, путем ее интериоризации. Чтобы понимать, что делает фермер, стоя на лестнице посреди ветвей и срывая фрукты зеленого цвета, интерпретатор должен иметь какой-то собственный опыт собирания груш или иных плодов, или хотя бы стояния на лестнице, и пр.

Здесь, впрочем, нужно заметить, что при ближайшем рассмотрении становится понятно, что опыт собирания груш или чего-то еще у каждого свой, поэтому в попытках интериоризировать действия фермера возникающее понимание будет настолько успешным, насколько оно близко к опыту фермера. Обычно несовпадениями между индивидуальными опытами можно пренебречь, но иногда эти зазоры становятся критическим для

интерпретации обстоятельством (можно представить, например, как персонаж срывает какой-то неизвестный наблюдателю плод и откусывает от него часть, ощущая *какой-то вкус*; его состояние в данный момент будет наблюдателю не вполне понятно).

Тем не менее, нужно признать, что автор видеосюжета выстраивает свой нарратив на основе навыков зрителя интерпретировать некоммуникативные действия, как если бы настоящие мальчишки были увидены им идущими по настоящей дороге; как если бы «похититель груш» был увиден им реально падающим с настоящего велосипеда, и пр. Автор видеонарратива рассчитывает на эти интерпретационные навыки и не имеет каких-то иных точек опоры для эффективной коммуникации (в избранном модусе коммуникации).

Таким образом, принципиальных отличий между интерпретацией коммуникативного и некоммуникативного действий нет.

Иными словами, понимать, как человек смотрит на свои наручные часы или поднимается по ступеням, и понимать, как человек говорит собеседнику – «Вот твоя шляпа, возьми», «Который час?», «Сегодня идем вместе», «В этом смысле данный материал не дает возможности выйти за пределы коммуникации» (см. выше) и пр. – принципиально одно и то же, поскольку предполагает *интериоризацию когнитивного состояния того, кто совершает действие,* коммуникативное или некоммуникативное.

Что же касается *объектов и явлений*, которые не вовлечены в деятельность, а также слов, которыми они могут быть названы, то такие сущности представляют собой непроницаемые и недоступные «вещи в себе». Как нельзя понять камень или звездное небо ввиду чуждости и неясности для наблюдателя «внутренних мотиваций» собственного поведения этих «объектов», так нельзя понять слово, пребывающее в состоянии автономного покоя, не вовлеченное в динамику личного коммуникативного действия. Как звездное небо и камень всего лишь «вписываются» в созданную коммуникантом схему коммуникативного или некоммуникативного действия с назначенными им функциями и получают, таким образом, «понимание» в рамках назначенной схемы действия, так любое слово и объект (явление) не могут быть поняты сами по себе, вне созданного актором (в том числе коммуникантом) пространства действия. Во всех случаях пониматься будет не поведение выделенных в сознании объектов (звездное небо, камень, какое-то слово), а *сама процедура*

вписывания, практическая, развернутая к субъекту когниции, индивидуально мыслимая схема моделирования реальности и действия в ней. Порождение и интерпретация коммуникативного действия (не путать с неакциональным и потому незнаковым внутренним мыслительным процессом) всегда обращены к установлению тождества когнитивных процедур и оценке их эффективности, а не к «вещам в себе». Понимание человеком выделенного (созданного) объекта по сути представляет собой поиск возможностей вовлечь его в схему целенаправленного действия.

Выводы

На основании наблюдений над группой испытуемых, которые участвовали в просмотре краткого шестиминутного фильма У. Чейфа «Мальчик, похищающий груши», можно сформулировать следующие выводы, значимые для разработки коммуникативной модели вербального процесса, и, прежде всего, для модели смыслообразования в естественных вербальных данных.

1) Естественный вербальный процесс (говорение) представляет собой одну из возможных составляющих коммуникативного процесса. Отсутствие вербальных данных в просмотренном видеосюжете позволяет констатировать, что изменения когнитивного состояния испытуемых в момент просмотра наступают в результате коммуникативного воздействия, произведенного без участия слов.

2) Формула «мысли передаются речью, словами, предложениями и пр.» неэффективно описывает процесс коммуникативного смыслообразования. В естественном говорении осуществляется не «смыслообмен посредством слов», а производятся коммуникативные воздействия (в том числе с участием вербального канала).

3) Мысль и коммуникативное (с использованием вербального канала) действие принципиально различны между собой по признаку акциональности (совершительности, перформативности): первая неакциональна, недейственна во внешнем (за пределами данного сознания) пространстве, второе является акциональным феноменом, направленным на достижения изменений во внешнем когнитивном пространстве. Мысль ло-

кализована на стадии планирования действия. Феномен лжи (семиотический поступок посредством вербального канала) позволяет иллюстративно представить кардинальное различие между мыслью и коммуникативным действием.

4) Смыслообразование в коммуникативном акте (в том числе с участием вербального канала) непосредственно связано с акциональным характером любого семиотического поступка. Смыслом порождения коммуникативного акта (в том числе с участием вербального канала) является мыслимое воздействие.

5) Интерпретация смыслообразования в семиотическом поступке (в том числе, совершенном с участием вербального канала) представляет собой понимание того, что осознанно делает автор поступка.

6) Знак или последовательность знаков может иметь значение (интерпретироваться) только как часть конкретного семиотического действия. Источником акционального значения (смысла) знака может быть только автор семиотического поступка.

7) То, что анализируется и осознается как «контекст» для знака, представляет собой многофакторную ситуацию коммуникации (актуальная диспозиция участников, предметов, их свойств, отношений и пр.), в которой главным предицирующим элементом является семиотическое действие коммуниканта.

8) В естественном коммуникативном (в т.ч. вербальном) процессе порождается и понимается не знак как таковой (напр., «свист»), а целостный коммуникативный поступок, который, в отличие от не вовлеченного в действие знака, включен в коммуникативную синтагму (дискурс) и производит коммуникативное смыслообразование. Коммуниканты порождают и понимают комплексные многофакторные коммуникативные действия, а не знаки (например, жесты, вербальные формулы, элементы структуры «языка»).

9) Как коммуникативные (семиотические), так и некоммуникативные действия интерпретируются и понимаются посредством интериоризации когнитивного состояния того, кто совершает действие. Принципиальных отличий между интерпретациями коммуникативного и некоммуникативного действий нет.

10) Наконец, понимать объект или явление (например, камень или звездное небо) невозможно ввиду чуждости и неяс-

ности для наблюдателя «внутренних мотиваций собственного поведения» этих объектов (которые всегда остаются «вещами в себе»). Пониматься может только индивидуально мыслимая схема моделирования объектов (явлений) и действий с ними. Подобным же образом невозможно понимать слово, когда оно пребывает в состоянии автономного покоя и не вовлечено в динамику личного коммуникативного действия.

Комментарии

И.В. Журавлев

Снова мы возвращаемся к вопросу о правомерности *гипостазирования индивидуального сознания* при построении модели естественной коммуникации. Следствием такого гипостазирования (видимо, практически неизбежным) является *отрыв внутреннего от внешнего, интрасубъективного от интерсубъективного*. И тогда с одной стороны мы обнаруживаем мысль (индивидуальную, неакциональную), а с другой – внешнее действие (в т.ч. словесное), с одной стороны – значение действия как факт личного сознания, а с другой – систему семиотических средств как принципиально безличную мнемотехническую схему.

В этом случае исследователь рискует столкнуться с невозможностью объяснения перехода от мысли к слову (высказыванию), как и объяснения коммуникации в принципе: монады, как известно, не имеют окон. Понимание этих рисков побуждает исследователя к правомерному отказу от формулы «мысли передаются словами» и погружению «вербального процесса» в естественную (комплексную, многофакторную) коммуникацию (и, соответственно, в деятельность). Индивид торжествует: наконец мы рассматриваем то, что он *делает*, а не то, что он *говорит* (ибо последнее обретает смысл исключительно в контексте первого). Торжество индивида, однако, оказывается недолгим: монада, погруженная в деятельность (во взаимодействие с другими монадами), начинает смутно чувствовать сквозняк. Ее онтология отныне поставлена под вопрос.

Отрезая внутреннее от внешнего, мы рискуем вообще потерять внутреннее. Индивидуальное сознание, к тому же очищенное от каких бы то ни было знаковых конструкций, индивидуальная неакциональная мысль оказываются *предельными феноменами* (именно потому, что мы их гипостазировали): мы вынуждены принять их как данность, но что будет, если мы эту данность поставим под вопрос? Какова онтология мысли? Откуда берется индивидуальное сознание и как оно функционирует? Представленная позиция, по-видимому, требует молчаливого «эпохе» в отношении всех подобных вопросов.

На наш взгляд, погружение «вербального процесса» в коммуникацию – это только первый шаг на пути исследования онтологии коммуникации. Вторым шагом должно быть преодоление разрыва между внешним действием и сознанием, обоснование *деятельностной природы всего внутреннего*. Но этот шаг уже обернется торжеством субъекта, а не индивида, *торжеством субъекта над индивидом*.

Комментарии

Г.В. Дьяченко

Один из выводов А. В. Вдовиченко о том, что «принципиальных отличий между интерпретациями коммуникативного и некоммуникативного действий нет», является хорошей иллюстрацией того логического тезиса патристического богословия, что природа человека в целом *словесна*. Человек, в понимании христианских антропологов, есть «словесное существо» (τὸ λογικὸν ζῶον)[1], имеющее сложную умно-телесную природу и наделённое способностью проявлять внутреннее состояние своего ума вовне посредством тела. Человек «словесен», то есть по его действиям и поведению можно умозаключать о состоянии его души, даже без его словесных сообщений об этом. Данный факт обусловлен тем, что как коммуникативное, так и некоммуникативное действия человека производятся одним и тем же наличным составом его природы – ум проявляется телесно. И понимаются оба эти действия также по наличному составу человеческой природы, только в обратном направлении – от телесных проявлений к когнитивным состояниям. Поэтому хотя человек не осуществляет никакой словесной деятельности, но мы всё равно его понимаем «словесным» образом – интериоризируем по внешним признакам его когнитивное состояние. Тем самым можно полагать, что различие между семиотическим и несемиотическим действиями проходит не по процедуре их понимания, а по наличию или отсутствию у их производителя сознательного намерения быть понятым адресатом и понятым каким именно образом.

Это интересное наблюдение автора статьи можно также развить следующим образом. Если семиотические и несемиотические действия (не только поведение человека, но и явления самих вещей) мы понимаем одинаково, то есть через телесный покров (знака, поведения, явления вещи), минуя его, стремимся к проникновению в когнитивное состояние, и если когнитивное состояние может принадлежать только какой-либо разумной природе, тогда не только у семиотических действий и несемиотического поведения есть автор – человек как существо *словесное*, но и у несемиотических вещей есть Автор – Бог, задумавший их и вложивший в них Свои идеи о них. В традиции православного богословия эти разумные идеи, вложенные в тварей,

1. *Григорий Нисский, свт.* Об устроении человека (De opificio hominis) 8 // Творения святого Григория Нисского: В 8 ч. (Т. 37-45). М.: Типография В. Готье, 1861-1872. («Творения святых отцов Церкви»). (Далее: **ТСО**). Т. 37 (Ч. 1). С. 98-99; *Migne J.-P.* Patrologiæ Cursus Completus. Series Græcæ. Vols. 44-46. Paris, 1857-1866. (Далее: **PG**) Vol. 44. Col. 144-145.

называются словами, или логосами (λόγος), Божиими. Логосы сущего представляют собой нетварные мысли и воления Божии о каждой твари[1]. Только тогда так ли уж несемиотична природа? Не является ли и она как возогводящая через вещественное к разумному, *словесной* по своему устройству, как *словесен* по своему устройству человек? Будучи понимаема, природа трубит о своём Авторе[2]. Это можно назвать лингвистическим, или *словесным*, доказательством бытия Божия.

«Во всех случаях пониматься будет не поведение выделенных в сознании объектов (звездное небо, камень, какое-то слово), а *сама процедура вписывания*, практическая, развернутая к субъекту когниции, индивидуально мыслимая схема моделирования реальности и действия в ней». – Хотелось бы согласиться с А.В. Вдовиченко в том, что невозможно понимать слово вне коммуникативного действия. Однако эта невозможность обусловлена не тем же самым основанием, что и невозможность понимания объектов внешнего мира, поскольку слово не является объектом ни в каком своем статусе. Слово представляет собой только энергию, или деятельность, человека. Слово невозможно понимать вне умно-телесной коммуникативной деятельности человека просто потому, что вне её его нет.

Наконец, различать «контент сознания» и «репрезентацию», или мысль и действие, по признаку акциональности представляется не совсем точным. Поскольку мысль также является действием, или энергией ума. Например, в общении с Богом мысль вполне действенна и акциональна, то есть достигает искомого «воздействия на другой ум». Вспомним Моисея, который ободрял возроптавший у Чермного моря еврейский народ, когда их настигало войско фараона, и вдруг обращённые к нему слова Господа: *И рече Господь к Моисею: что вопиеши ко мне?* (Исх 14:15). Безмолвная молитва Моисея была без слов, но по силе своей акциональности была приравнена Господом к «воплю». И вопль этот достигает такого «изменения когнитивного состояния Адресата», что Бог разверзает для народа избранного море. Таким образом, точнее было бы различать «мысль» и «действие» не по признаку акциональности, а антропологически по признаку невещественности/вещественности, или бестелесности/телесности. Человек потому вынужден пользоваться вещественными именами, что облечён «завесой» тела и ум другого человека не может видеть его ум непосредственно. Бесплотные ангелы общаются без посредства телесных имён одними энергиями ума.

1. См., например, у прп. Максима Исповедника: «Логосы сущих (Οἱ τῶν ὄντων λόγοι), прежде веков предуготовленные в Боге, как ведает [только] Он Сам, обычно именуются у божественных мужей также благими произволениями (ἀγαθὰ θελήματα) Божиими; и они, хотя и невидимы, мысленно созерцаются [нами через рассматривание] творений. Ибо все творения Божии, с должным искусством умозрительно созерцаемые нами сообразно естеству, сокровенно возвещают нам те логосы, в соответствии с которыми они получили бытие, и вместе с собой обнаруживают в каждом творении цель Божественного [Промысла]» [*Максим Исповедник, прп.* Вопросоответы к Фалассию (Quaestions ad Thalassium) XIII // Творения преподобного Максима Исповедника. Кн. II. Вопросоответы к Фалассию. Ч. 1. Вопросы I-LV / Пер. с др.-греч. и ком. С. Л. Епифановича, А. И. Сидорова. М.: «Мартис», 1993. С. 47; PG 90:293-296])

2. *Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь* (Пс 18:2); *Подлинно суетны по природе все люди, у которых не было ведения о Боге, которые из видимых совершенств не могли познать Сущего и, взирая на дела, не познали Виновника* (Прем 13:1); *ибо от величия красоты созданий сравнительно познается Виновник бытия их* (Прем 13:5); *что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от сознания мира через рассматривание творений видимы* (Рим 1:19-20).

1.3. Проблема активности субъекта и антиномия присвоения-отчуждения (И.В. Журавлев, Ю.В. Журавлева)[1]

1. Текст данной главы основан на статье: *Журавлев И.В., Журавлева Ю.В.* К построению коммуникативной модели речевого процесса: методологические проблемы // Вопросы психолингвистики. 2017. №2. №3 (33). С. 48-61.

В статье обсуждаются теоретико-методологические проблемы, связанные с разработкой коммуникативной модели естественного речевого процесса. Основная характеристика данной модели связана с признанием вербального действия частным случаем коммуникативного действия, которое, в свою очередь, трактуется как частный случай осознанного действия человека. В качестве центральной проблемы рассматривается вопрос о порождении смысла, в связи с чем коммуникативная модель смыслопорождения сопоставляется с теорией французской школы анализа дискурса. Методологическое различие между языковой и коммуникативной моделями естественного речевого процесса рассматривается как отражение оппозиции онтоцентризма и антропоцентризма, характерной для современной европейской науки. Демонстрируется связь проблемы порождения смысла с проблемой активности субъекта. Основной из возникающих здесь методологических вопросов заключается в том, обладает ли субъект коммуникации полномочиями порождения смысла и управления собственными коммуникативными действиями. В связи с этим описывается антиномия присвоения-отчуждения и анализируется онтологический статус говорящего субъекта. Главный вывод заключается в демонстрации методологических ограничений позиции психологизма, приравнивающей говорящего субъекта к индивиду. В качестве альтернативной позиции рассматривается подход отечественной психологии общения, в ключевых понятиях которой отражается диалектическое единство социального и индивидуального.

1. Коммуникативная модель речевого процесса

В данной работе мы будем обсуждать ряд теоретико-методологических проблем, связанных с формированием *коммуникативной модели* речевого процесса. Эта модель, представляемая как альтернатива (а лучше сказать – модель более высокого уровня) по отношению к традиционной для лингвистического дискурса *языковой модели*, основывается на принципиальном положении, согласно которому *в процессе естественного говорения/письма говорящий/пишущий совершает осмысленные (воз) действия*. Соответственно, смыслообразование в естественном речевом процессе предстает как коммуникативный феномен; при этом в качестве источника смысла рассматриваются не элементы речевого процесса, а коммуникативные действия[2]. «Сказанные сами по себе, слова не имеют смысла ни по отдельности, ни

2. *Вдовиченко А.В.* «Разработка коммуникативной модели вербального процесса в условиях кризиса языковой модели»: проект, смыслообразование, общение // Вопросы психолингвистики. 2017. № 2 (32). С. 50-61.

в совокупности… …коммуникативные параметры смыслообразования всегда мыслимы индивидуальным сознанием, которое определяет адресанта и адресата, объекты внимания и обсуждения, а также отношения между ними, позицию в возможной интеракции, обстоятельства совершения действия, фрейм отношений между коммуникантами и пр.»[1].

Эта позиция, если ее рассмотреть подробней, основывается на трех тезисах:

1) В естественном речевом процессе «*производятся и понимаются целостные коммуникативные действия, а не отдельные слова*»;

2) Слово как таковое «*невозможно рассматривать как единицу смыслообразования*, ввиду того что у самой единицы нет основания, на котором зиждется здание смысла»;

3) На фоне естественного коммуникативного процесса язык следует рассматривать как *мнемотехническую схему*; «он принципиально безличен, а следовательно, лишен источника мысли, чувства и вообще всякого содержания»[2].

Принципиальными особенностями данной модели являются признание смысловой нетождественности вербальной формы вне личного коммуникативного действия (семиотического поступка), перенос фокуса исследования на смыслообразующее коммуникативное действие во всех без исключения случаях использования вербального канала, последовательный отказ от концепции языка как методологического принципа, признание мнемотехнической и вспомогательной функции теоретического конструкта «язык»[3].

Отметим, что близкие аргументы высказывались в истории науки и ранее. Так, в традиции *социальной феноменологии* различаются объективный и субъективный контексты значения и вводится понятие *ситуативной детерминации значения*. Ситуативная детерминация значения состоит в том, что в различных речевых практиках слово «обрастает» эмерджентными смыслами, которые содержат следы прошлого опыта коммуниканта и нагружены лексически невыразимыми и рациональными импликациями (указания на невербальную коммуникацию и т.д.). «Значение знака определяется как взаимным отношением знаков, так и тем, как их используют»[4]. Как Гумбольдт считал, что человек присваивает язык целиком в акте высказывания, так А. Шюц пришел к утверждению, что язык каждый раз рождается заново в процессе его употребления[5].

1. *Вдовиченко А.В.* О несамотождественности языкового знака. Причины и следствия «лингвистического имяславия» // Вопросы философии. 2016. №6. С. 166.

2. Там же. С. 167-169.

3. *Вдовиченко А.В.* «Разработка коммуникативной модели вербального процесса в условиях кризиса языковой модели»: проект, смыслообразование, общение // Вопросы психолингвистики. 2017. № 2 (32). С. 50-61.

4. *Garfinkel H.* Ethnomethodological Studies of Work. Studies in Ethnomethodology. London, 1986. P. 114.

5. См.: *Schutz A.* On Phenomenology and Social Relations. The University of Chicago Press, 1979; *Смирнова Н.М.* Интерсубъективность речевых коммуникаций // Интерсубъективность в науке и философии / Под ред. Н.М. Смирновой. М.: «Канон+» «РООИ Реабилитация», 2014. С. 226-248; *Шюц А.* Избранное: Мир, светящийся смыслом. М.: РОССПЭН, 2004.

Представители Оксфорской лингвистической школы рассматривали значения высказывания и слова в неразрывной связи с условиями их употребления (контекстом, ситуацией, участниками коммуникации, ее целями). Г.П. Грайс, формулируя известный «принцип кооперации», трактовал диалог как совместную деятельность участников, соответствующую общей цели: «Твой коммуникативный вклад на данном шаге диалога должен быть таким, какого требует совместно принятая цель (направление) этого диалога»[1]. Данная проблематика детально исследуется в современных работах по феноменологии разговора[2].

В психологически ориентированных лингвистических теориях присутствует различение ближайшего и дальнейшего значений (А.А. Потебня) и др. В общепсихологической теории деятельности и в отечественной психолингвистике присутствует понимание того, что смысл (действия или предмета, а также высказывания или знака) порождается мотивом. Мотив деятельности человека практически всегда является неречевым, соответственно, и смысл высказывания, строго говоря, порождается мотивом деятельности человека, а отнюдь не речевыми процессами.

Однако для обоснования коммуникативной модели вербального процесса важно не столько найти близкие научные позиции и обозначить место данной модели среди них (это может быть темой отдельной публикации), сколько – в первую очередь – проблематизировать ее исходные положения вопреки их кажущейся очевидности.

2. Антиномия присвоения – отчуждения

В качестве центрального вопроса, возникающего при сопоставлении языковой и коммуникативной моделей речевого процесса, предстает именно *вопрос об источнике смысла* – вопрос, являвшийся камнем преткновения для целого ряда лингвистических, психологических и философских учений, имеющих своим предметом речевой процесс. Но при более глубоком рассмотрении вопрос этот оказывается тесно связан с проблемой активности субъекта и, как следствие, с *проблемой субъективности*, пути формулировки и решения которой создавали и создают облик европейской гуманитарной мысли начиная с эпохи Просвещения и до настоящих дней.

1. *Грайс Г.П.* Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. М., 1985.

2. *Улановский А.М.* Феноменология разговора: метод конверсационного анализа // Вопросы психолингвистики. 2016. № 1(27). С. 218-237.

Проблема субъективности имеет длинную историю. Однако при любом способе ее постановки и решения неизбежно обнаруживается странное противоречие, которое можно представить как *антиномию присвоения-отчуждения*. Акт конституирования субъективности всегда есть акт индивидуализации, присвоения, выстраивания перспективы, организующей мир. Но в то же время это неизбежно акт отчуждения, деиндивидуализации, совершающийся по законам надиндивидуальной формы – языка, культуры, истории, бессознательного. По словам Э. Кассирера, «здесь каждое начинающееся проявление есть начало отчуждения. В этом судьба и, в некотором смысле, имманентная трагедия каждой духовной формы, которая не может преодолеть это внутреннее напряжение»[1]. Указанная антиномия, демонстрируя себя то с одной, то с другой стороны, проявлялась в развитии современной науки в двух взаимоисключающих и в то же время дополняющих друг друга формах – «срезании» индивидуального (в качестве примера можно привести аргумент Л. Витгенштейна о невозможности «личного языка») и «срезании» общезначимого, высвечивании индивидуального, неповторимого, личного (вспомним, хотя бы, формулу «моё не-алиби в бытии» М. Бахтина).

1. *Кассирер Э.* Избранное. Опыт о человеке. М.: Гардарика, 1998. С. 63.

Является ли субъект «хозяином» своих действий и источником их смысла? Или, напротив, субъект предстает лишь как точка индивидуации, «место» воплощения смыслов, порождаемых культурой (языком, историей)? Гуманистическая и антропоцентрическая позиция противостоит здесь антигуманистической и онтоцентрической. Методологическое различие между языковой и коммуникативной моделями вербального процесса, ставшее предметом настоящего исследования, мы можем теперь представить как отражение оппозиции «*онтоцентризм – антропоцентризм*», пронизывающей методологию современных гуманитарных наук и конкретизируемой, в частности, в таких оппозициях, как «язык – речь», «коллектив/социум–индивид». Оппозиция онтоцентризма и антропоцентризма, в свою очередь, может мыслиться как *форма* европейского научного мышления как такового, в наиболее строгом виде эксплицированная в классической немецкой философии, а в языкознании – в работах В. фон Гумбольдта (антиномии субъективности и объективности, свободы и необходимости, индивида и народа, божественного и человеческого, присвоения и отчуждения). Однако прояснение теоретических оснований коммуникативной модели речевого

процесса мы начнем с упоминания проблемы сугубо методологической – *проблемы психологизма*, которая является методологической постольку, поскольку связана с вопросом о *статусе* тех или иных утверждений, моделей, теорий как научных или ненаучных.

3. Психологизм vs антипсихологизм

В истории науки позиция психологизма связывается с утверждением производности закономерностей, выявляемых в той или иной объектной области, по отношению к закономерностям человеческого мышления. Одна из наиболее убедительных программ преодоления психологизма была предложена в «Логических исследованиях» Э. Гуссерля (ставших, в частности, настольной книгой для молодого Р. Якобсона). Анализ самостоятельных и несамостоятельных значений, различий между законами, позволяющими избежать отсутствия смысла (*круглый квадрат*), и законами, позволяющими избежать бессмыслицы (*король но или подобно*), привел Гуссерля к строгому различению между эмпирическими и априорными универсалиями и обоснованию идеи чисто логической грамматики. Вот, в частности, что он пишет: «Все соединения вообще подчиняются чистым законам… Ни в одной области мы не можем объединить произвольные единичности посредством произвольных форм, но определенная область единичностей ограничивает *a priori* число возможных форм и определяет закономерности их наполнения. <…> язык имеет не только свои физиологические, психологические и культурно-исторические, но также свои априорные основания. Последнее касается сущностных форм значений и априорных законов их комплексов, соответственно, модификаций, и нельзя помыслить язык, который не был бы сущностно определен посредством этого Apriori. …внутри чистой логики отделяется чистое учение о формах значений как некоторая рассматриваемая в себе первая и основополагающая сфера. Рассматриваемая с точки зрения грамматики, она дает просто идеальный каркас, который различным образом наполняется эмпирическим материалом и облачается в иные одеяния каждым фактическим языком, который следует частью общечеловеческим, частью случайно изменяющимся эмпирическим мотивам»[1]. В отечественной науке позиции антипсихологизма придерживались Г.Г. Шпет, Г.П. Щедровицкий, Э.В. Ильенков и др.

1. *Гуссерль Э.* Собрание сочинений. Т. III (1). Логические исследования: Исследования по феноменологии и теории познания. М.: Дом интеллектуальной книги, 2001. С. 297, 316.

Именно преодоление психологизма позволило в XX веке ряду гуманитарных наук (таких, как социология, лингвистика, история, антропология) обрести подлинно научный статус. Социология изучает *социальные факты* (для описания которых любая ссылка на происходящее «в головах» членов социума оказывается излишней), лингвистика – *языковые сущности и процессы*, не сводимые к физиологии или психологии, и т.д. Если вернуться к проблеме субъективности, то проявлением психологизма было бы отождествление субъекта с субстанцией – индивидом, психикой, мозгом (чем грешат многие современные научные работы). Говоря о субъекте (деятельности, речи, коммуникации), следует поэтому прежде всего избавиться от иллюзии его индивидуальности. Так, у Шпета *реальным* оказывается коллектив как субъект совокупного действия, у П. Рикера субъект речевого акта предстает как пара собеседников, и т.д. Позиция антипсихологизма, как мы видим, напрямую связана с *проблематизацией статуса субъекта как индивида*. Тем самым, и вопрос о том, является ли говорящий источником/носителем смысла говоримого, становится еще более сложным в связи с принципиальной возможностью усомниться в статусе *говорящего субъекта* в качестве индивида. Иллюзия профанного сознания, побуждающая нас мыслить себя «владельцами» «наших» коммуникативных намерений, не может служить отправной точной научного исследования коммуникации.

4. О расщепленности «говорящего субъекта»

В XX веке в различных гуманитарных дисциплинах (философия, психология, лингвистика, психоанализ) была продемонстрирована возможность определения субъективности как процесса или актов репрезентации-присвоения, осуществляемых в языке и средствами языка. Этому были посвящены, в частности, работы Э. Бенвениста и исследования французской *школы анализа дискурса*. Несколько ранее Э. Кассирер в своей «Философии символических форм» и параллельных ей работах отмечал, что посредством языка «субъекты не сообщают друг другу то, чем уже владеют, но лишь здесь вступают в это владение»[1].

1. *Кассирер* Э. Избранное. Опыт о человеке. М.: Гардарика, 1998. С. 61.

В работах о субъективности в языке Э. Бенвенист отводил центральное место анализу того, как проявляет себя субъект в том, что он говорит. Показатели этого проявления (например, такие слова, как «я», «здесь», «сейчас», «обещаю») Бенвенист

называет показателями дейксиса, «прицепляющими» высказывание-результат к обстоятельствам акта высказывания. Говорящий «присваивает» язык целиком, соотнося языковые формы с собственным лицом, т.е. определяя самого себя как *я*, а собеседника – как *ты*. Соотношение между *я* и *ты* как участниками коммуникации и составляет, как считал Бенвенист, языковую основу субъективности, а сама языковая коммуникация, исходя из этого, определяется только как проявление основного свойства языка – свойства формирования субъекта высказывания.

Субъект высказывания приобретает существование только потому и только тогда, когда он говорит: «именно в языке и благодаря языку человек конституируется как субъект… "субъективность", рассматривать ли ее с точки зрения феноменологии или психологии, как угодно, есть не что иное, как проявление в человеке фундаментального свойства языка. Тот есть "ego", кто говорит "ego"»[1]. Субъект способен обнаружить себя лишь в ситуации порождения высказывания, обращаясь к *другому* и обретая (присваивая) язык как место встречи с *другим*.

1. *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974. С. 293.

Но субъект, *проявляющий* себя в языке, и субъект, который в языке *появляется*, – это не одно и то же. Дело в том, что сам «говорящий субъект» может показаться фигурой без лица: если мы, используя для коммуникации *язык*, что-либо произносим, то владеем ли мы в этот момент языком, и вкладываем ли мы сами смысл в говоримое нами? Кто бы ни *говорил*, вопрос в том, *кто* это делает. Мы ведь достаточно часто произносим не совсем то или совсем не то, что «хотели» сказать… Стоит нам попытаться что-то произнести – и за нас говорит *язык*. Но нам при этом всегда кажется, что именно мы сказали то или иное слово, а потому и ответственны за него – иначе бы нам не приходилось краснеть за слова, которые «сказались сами». Значит, хотя любой акт конституирования субъективности и происходит «между» Я и *другим* (например, любой акт высказывания «вытягивается» *другим*), тем не менее он осуществим лишь как акт встраивания в форму, изначально внешнюю по отношению к индивиду.

Итак, говорящий субъект лишен полного владения своим языком и своими коммуникативными намерениями – поскольку в смысл, который он хочет придать своим словам, «история и бессознательное вносят свою непрозрачность»[2]. Так обнаруживает себя расщепленность говорящего субъекта: сквозь произносимую им наивную речь всегда проступает «другая речь» как форма

2. *Серио П.* Как читают тексты во Франции // Квадратура смысла: французская школа анализа дискурса. М.: ОАО ИГ «Прогресс», 1999. С. 16.

неполноты, постоянно создающей субъект путем «забвения» того, что его определяет[1]. Для того, чтобы «вскрыть невскрытое в самом тексте», надо «соотнести его с *другим текстом*, присутствующим в нем через необходимое отсутствие», т.е. под невинностью говорения раскрыть скрытую глубинность иного дискурса – дискурса бессознательного[2].

Концепция дискурса, «пронизанного» бессознательным, основывается на концепции субъекта, «который является не однородной сущностью, внешней по отношению к речевой деятельности, но комплексной структурой, порождаемой ею: субъект децентрализован, разделен – неважно, какой термин мы употребим, лишь бы подчеркнуть структурный, конституирующий характер этой разделенности и исключить мысль о том, что раздвоение, или разделенность, субъекта – всего лишь следствие его столкновения с внешним миром, ибо такую разделенность можно было бы попытаться преодолеть в ходе работы по восстановлению единства личности»[3].

Мы продемонстрируем указанную расщепленность субъекта на простом примере. Когда говорящий произносит одно слово вместо другого слова, совершая тем самым *lapsus linguae*, возникает своеобразный «эффект смысла» (Ж. Лакан): означаемое явного означающего, сменившего собой скрытое (вытесненное) означающее, само не является скрытым означаемым, но представляет собой *новый смысл*, высвобожденный в результате замены одного означающего на другое[4]. Вследствие этого высказывание становится высказыванием о том, о чем нельзя говорить, т.е. высказыванием о смысле желания. «Именно в замещении означающего на означаемое и осуществляется воздействие значения…»[5]. Говорящий субъект подчинен *закону означающего*, поскольку произносимые им слова не наделяют смыслом довербальный опыт, а, напротив, сам смысл рождается вместе с означающим, т.е. является «смыслом, который опыт может *получить* в дискурсе»[6]. Поэтому вопрос о том, «кто говорит», не такой уж праздный[7]. Иллюзию того, что субъект и есть источник смысла, М. Пешё назвал «эффектом Мюнхгаузена» – в память о бессмертном бароне, который «поднимался в воздух, таща самого себя за волосы»[8].

По словам Ж. Лакана, «речь представляет собой матрицу той части субъекта, которую он игнорирует: именно это и есть уровень аналитического симптома как такового – уровень, эксцентричный по отношению к индивидуальному опыту, ибо это уровень того

1. См.: *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974. С. 116; Пешё М. Прописные истины. Лингвистика, семантика, философия // Квадратура смысла: французская школа анализа дискурса. М.: ОАО ИГ «Прогресс», 1999. С. 268.
2. *Althusser L.* Freud et Lacan // Althusser L. Positions. Paris, 1976. P. 34.
3. *Отье-Ревю Ж.* Явная и конститутивная неоднородность: к проблеме другого в дискурсе // Квадратура смысла: французская школа анализа дискурса. М.: ОАО ИГ «Прогресс», 1999. С. 81.
4. *Декомб В.* Современная французская философия. М., 2000. С. 95.
5. *Lacan J.* Ecrits. Paris, 1966. P. 515.
6. *Декомб В.* Современная французская философия. М., 2000. С. 96.
7. *Лакан Ж.* Психозы (Семинары, Книга III). М.: Издательство «Гнозис», Издательство «Логос», 2014. С. 52-61.
8. *Пешё М.* Прописные истины. Лингвистика, семантика, философия // Квадратура смысла: французская школа анализа дискурса. М.: ОАО ИГ «Прогресс», 1999. С. 264.

исторического текста, в который субъект вписывается»[1]. Тем самым, любая речь в момент своего появления уже как бы «есть заранее»: субъект, начинающий говорить, всегда «уже есть» в том месте, которое определено ему для его самообнаружения в определенном символическом порядке, в сети означающих. Для иллюстрации этого Лакан приводит историю о мальчике и девочке, сидящих в купе поезда друг напротив друга и видящих поэтому разные надписи на туалетных комнатах у перрона. «Смотри, – говорит мальчик, – мы приехали в Дамы». «Дурень, – отвечает сестренка, – ты что, не видишь, что мы приехали в Господа?»[2].

Чтобы пояснить сказанное, рассмотрим предложенную М. Пешё теорию «двух забвений» (под «забвением» здесь понимается «сокрытие причины субъекта внутри его эффекта»).

«Забвение №1» есть «затемнение» (по аналогии с «вытеснением») того факта, что «говорящий субъект не может, по определению, находиться вне дискурсной формации, которая над ним господствует»[3]. Говорящий всегда «уже» занимает определенное место «в купе», как в лакановском примере. Это «забвение» относится одновременно и к дискурсному процессу, и к интердискурсу (т.е. специфическому «окружению», определяющему данный дискурсный процесс). Оно имеет место всегда, когда «процесс, в результате которого порождается или воспринимается как осмысленная некоторая конкретная дискурсная цепочка, скрывается от глаз субъекта»[4]. Иными словами, говорящий как бы «забывает», что *смысл того, что он говорит, формируется в процессе, являющемся для него внешним*. Зона «забвения №1» абсолютно недоступна субъекту (т.е. аналогична зоне *бессознательного*), но именно поэтому это «забвение» является составляющей субъективности в языке.

«Забвение №2» – это «частичное затемнение», которое относится к процессу порождения высказывания, представляющему собой серию последовательных операций, устанавливающих границу между тем, что сказано (т.е. отобрано), и тем, что не сказано (т.е. отброшено). «Таким образом, примерно вырисовывается область того, «что для субъекта было бы возможно сказать (но что он не сказал)», или «что противостоит тому, что он сказал». Эта сфера «отбрасываемого» может ощущаться более или менее сознательно, и случается, что вопросы собеседника, направленные на уточнение у говорящего того, «что он хотел сказать», заставляют его переформулировать границы и пересмотреть эту

1. *Лакан Ж.* «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа (Семинары. Книга II). М.: Гнозис, Логос, 1999. С. 65.

2. *Лакан Ж.* Инстанция буквы в бессознательном, или судьба разума после Фрейда. М., 1997. С. 60.

3. *Пешё М.* Прописные истины. Лингвистика, семантика, философия // Квадратура смысла: французская школа анализа дискурса. М.: ОАО ИГ «Прогресс», 1999. С. 277.

4. *Пешё М., Фукс К.* Итоги и перспективы по поводу автоматического анализа дискурса // Квадратура смысла: французская школа анализа дискурса. М.: ОАО ИГ «Прогресс», 1999. С. 109.

зону»[1]. «Забвение №2», тем самым, оказывается источником впечатления доступности смысла для самого говорящего. При этом говорящий может сознательно проникать в зону «забвения №2» (аналогичную зоне *подсознательного/сознательного*): дискурс постоянно возвращается к самому себе, предвосхищая производимое воздействие и учитывая несогласованности, которые вносятся в него дискурсом собеседника.

Отношение между этими двумя типами «забвения» сводятся к отношению между *условиями* существования субъективной «иллюзии» и субъективными формами ее реализации. Парадоксальность рассматриваемого с этой точки зрения процесса порождения высказывания заключается в сопровождающей его иллюзии субъективности: говорящий субъект как будто появляется из продуцируемой речевой цепочки, чтобы быть застигнутым в качестве причины сказанного[2].

Безусловно, у представленной позиции есть свои ограничения. Но, так или иначе, она демонстрирует тот факт, что с субъектом высказывания не всё так просто, как нам хотелось бы, если мы стремимся наделить его полномочиями порождения смысла и управления коммуникацией. Если мы, вслед за представителями Оксфордской школы философии языка, утверждаем, что референцию совершают не слова и даже не фразы, а говорящие, то мы рискуем нарваться на аргументированное возражение: «… фраза, сказанная по-французски, служит референцией независимо от намерений автора высказывания. Это не он решает. *Никто* не решает, решает только язык»[3]. Если бы мы в полной мере владели языком, видимо, не было бы ни поэзии, ни философии, ни науки, ибо, как сказал в Нобелевской лекции Иосиф Бродский, «Пишущий стихотворение пишет его потому, что язык ему подсказывает или просто диктует следующую строчку. …Это и есть тот момент, когда будущее языка вмешивается в его настоящее». Автор, не обремененный иллюзией произвольности, лишь фиксирует то, что диктует ему язык. Но не вмешивается ли будущее языка в его настоящее и в обычном повседневном общении, т.е. даже там, где мы ощущаем произвольность процесса говорения? Не транслируем ли мы в ходе общения всевозможные мифы, не отдавая себе отчета в том, что смысл говоримого *произведен* где-то в других местах, произведен, если точнее, самой социальной системой и нашим (случайным для нас, но закономерным для системы) положением в ней?

1. *Пешё М., Фукс К.* Итоги и перспективы по поводу автоматического анализа дискурса // Квадратура смысла: французская школа анализа дискурса. М.: ОАО ИГ «Прогресс», 1999. С. 116-117.

2. *Пешё М.* Прописные истины. Лингвистика, семантика, философия // Квадратура смысла: французская школа анализа дискурса. М.: ОАО ИГ «Прогресс», 1999. С. 263.

3. *Декомб В.* Дополнение к субъекту: Исследование феномена действия от собственного лица. М.: Новое литературное обозрение, 2011. С. 147.

5. Возможное диалектическое решение

Указанные проблемы, слишком серьезные, чтобы не обращать на них внимания при разработке научной модели коммуникации, во многом обусловлены взглядом на коммуникацию (а также и любую другую социальную активность) как на нечто внешнее по отношению к индивидам, в коммуникацию вступающим (или не вступающим) по собственному произволению. Антиномия присвоения-отчуждения может трансформироваться в оппозицию (индивид – коллектив, речь – язык), как это произошло, к примеру, во французской социологической школе, но оппозицию «снять» существенно сложнее, чем антиномию, мыслимую как диалектическое противоречие. Диалектическое противоречие подразумевает возможность взаимопереходов и даже тождества рассматриваемых сущностей, в то время как оппозиция эту возможность исключает.

Как продемонстрировала отечественная психология, можно не выносить процесс порождения смысла за «предел» субъекта, но и не рассматривать при этом субъекта как индивида. В формуле А.Н. Леонтьева «личность ≠ индивид» заложено больше, чем просто указание на уровень организации. Личность социальна как «внутренний момент деятельности» и «ансамбль социальных отношений», но индивидуальна («пристрастна») как носитель потребностей. «В отличие от индивида личность человека ни в каком смысле не является предсуществующей по отношению к его деятельности, как и его сознание, она ею *порождается*»[1]. И если для индивида социальные отношения неизбежно являются внешними, то для личности они являются столь же внешними, сколь и внутренними. Здесь уместно привести следующее рассуждение А.А. Леонтьева: «…особенно важным представляется не ограничивать понимание социальности языковых явлений… пониманием, сводящим социальное начало в речевой деятельности к разного рода *социальным взаимоотношениям* говорящих индивидов, каждый из которых берется как *внесоциальная* реальность. …мы должны искать социальное начало прежде всего не *вне*, а *внутри* личности говорящего человека. …коммуникация (общение) есть не столько процесс *внешнего взаимодействия изолированных личностей*, сколько способ *внутренней организации и внутренней эволюции общества как целого*»[2].

1. *Леонтьев А.Н.* Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1975. С. 173.

2. *Леонтьев А.А.* Психология общения. 5-е изд., стер. М.: Смысл; Издательский центр «Академия», 2008. С. 19-21.

Если коммуникацию (общение[1]) рассматривать как способ (или процесс) внутренней организации общества, то в каком процессе порождается смысл самой коммуникации? Где *локализован* этот процесс? Опять-таки, отечественная психология (в т.ч. психология общения) предлагает диалектическое решение данной проблемы.

С одной стороны, как только начинается коммуникация, происходят уже такие процессы и действуют такие закономерности, которые не выводимы из состояния коммуникантов (более того: участники коммуникативного процесса становятся коммуникантами только в самом этом процессе, они «лишь здесь», как писал в приведенной выше цитате Э. Кассирер, вступают во владение тем, чем делятся друг с другом). С другой стороны, коммуникация служит внутренней организации общества, а если точнее – она организует совместную деятельность людей. Деятельность (всегда совместная, социальная, даже если выполняется от начала и до конца одним-единственным субъектом) побуждается *мотивом*, который имеет двоякую природу: это одновременно предмет совместной деятельности и предмет индивидуальной потребности. *Мотив деятельности как раз и выполняет функцию порождения смысла действий субъекта* (в т.ч. коммуникативных). Как это происходит?

Мотив как предмет деятельности придает ей направленность; «деятельности без мотива не бывает»[2]. Появление у деятельности внутренней структуры связано с возникновением таких процессов, мотив которых не совпадает с их предметом – что возможно только в рамках совместной деятельности людей, ибо требует от человека взгляда на предмет не только своими глазами, но и глазами других (человек должен субъективно отражать связь своих действий с достижением общего результата). Если понятие деятельности соотносительно с понятием мотива, то понятие *действия* – с понятием *цели*. Действие и представляет собой целенаправленный процесс, мотив которого не совпадает с его предметом. Смыслом действия является, поэтому, отношение мотива (побудителя деятельности) к цели. «Сознание смысла действия и совершается в форме отражения его предмета как сознательной цели»[3].

Таким образом, отношения между человеком и предметом всегда являются отношениями между предметом и обществом. Соответственно, и понятия, в которых описываются деятельность

1. В данном контексте мы употребляем термины «коммуникация» и «общение» как синонимы.

2. *Леонтьев А.Н.* Общее понятие о деятельности // Основы теории речевой деятельности. М.: Наука, 1974. С. 12.

3. *Леонтьев А.Н.* Эволюция психики. М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 1999. С. 224-225.

и общение («мотив», «действие», «личность», «смысл» и т.д.), всегда в своем содержании обнаруживают диалектическое единство индивидуального и социального. Отсюда можно переходить к анализу процесса воплощения смысла в значениях и т.д.

Эти рассуждения и рассматриваемая проблема имеют отношение не только к феномену коммуникации, но и к феномену сознания, ибо при анализе явлений сознания часто обнаруживают себя те же антиномии, о которых мы говорили выше. Современные ученые и философы, занимающиеся сознанием, порой не могут устоять от соблазна «заключить» его в индивидуальную голову или представить как эпифеномен деятельности мозга. Тем самым совершается ошибка индивидуализации и субстанциализации, о которой предупреждал еще Г.Г. Шпет[1]. При исследовании сознания, деятельности, общения необходимо отказаться от наивного психологизма, но в то же время сохранить *положительное* содержание понятия субъекта.

1. *Шпет Г.Г.* Введение в этническую психологию. М.: Издательство ЛКИ, 2010. С. 10-12.

Комментарии

А.В. Вдовиченко

На всякий случай предварительно заметим (авторы комментируемой статьи И.В. Журавлев и Ю.В. Журавлева также касаются этой темы, но ее не развивают), **чем отличается коммуникативная модель от иных**.

Прежде всего, в рамках коммуникативной модели «язык» признается неэффективным средством концептуализации естественного вербального процесса, в то время как **повсеместно** эта метафора («язык») не провоцирует сомнений, принимается по умолчанию как тождественно мыслимый объект исследования и как модуль при построении теоретической схемы.

Центральное место в коммуникативной модели занимает понятие коммуникативного (семиотического) (воз)действия (поступка), принципиально отличного от неакциональной «мысли» (работы сознания в различных формах): знаковые действия нужны только для изменения внешних когнитивных состояний (мыслимых как внешние). **Повсеместно** знаковая деятельность смешивается (отождествляется) с когнитивными (психическими, аффективными, интеллектуальными) процессами.

Затем, в рамках коммуникативной модели вербальные данные (фонетические и графические комплексы произвольного состава, а также любые «знаки» – жесты, рисунки, схемы, телодвижения и пр.), взятые в автономном не-коммуникативно-синтаксическом режиме, однозначно признаются пустыми формальными клише, или «фантиками, в которые ничего не завернуто»: так, «свист вообще» не означает ничего. Их выделение в качестве элементов смыслообразования имеет условный характер, «знак назначается». В области вербальных данных «язык» и его «знаки» помещаются в сферу клишированной коммуникативной практики (где он в реальности и обретается). **Повсеместно** знаки воспринимаются модулями «тело-значение», самостоятельными слагаемыми смысла.

В рамках коммуникативной модели ключевое значение имеет единственный несомненный источник смыслообразования в любом (воз)действии – действующий субъект, обладающий активным сознанием и добивающийся изменений в мыслимых им внешних когнитивных состояниях. В семиотических случаях

порождаются и интерпретируются только коммуникативные (воз) действия (некоммуникативные воздействия тоже могут интерпретироваться как действия субъекта, их понимание принципиально не отличается от понимания коммуникативных действий – в обоих случаях понимается интериоризируемый субъект). Констатированный знаковый состав действия (слова, жесты, рисунки и пр.) не тождествен самому действию коммуниканта. **Повсеместно,** вместо коммуникативного действия, интерпретируются знаки, сопряженные со смыслом, и составленные из них тексты (иногда с некоторыми оговорками).

В рамках коммуникативной модели семиотическое действие принципиально мыслится более масштабным, иным, чем любой искусственно изолированный канал и свойственные ему знаки (вербальный канал, жестовый, визуально-остенсивный, графический, акустический, и пр.). Семиотические воздействие признается всегда комплексным, многоканальным, многофакторным. Любой «язык» (в том числе вербальный) на современной стадии развития знания и коммуникативной практики поглощается полимодальной многофакторной коммуникацией (с соответствующими теоретическими последствиями для прежних локальных дисциплин – лингвистики, психологии, истории и пр.). **Повсеместно** семиотические процедуры интерпретируются в изолированных каналах (речевые акты, язык жестов, язык пиктограмм, и пр.).

В рамках коммуникативной модели смыслопорождение рассматривается как длящийся процесс, с презумпцией динамики и «совершительности» происходящего. **Повсеместно** создаются, скорее, статические модели «смыслосуществования» в слове, знаке, языке, тексте и пр.

Ценностными основаниями коммуникативной модели можно считать свободу **когнитивных процедур, субъектность** и **опосредованность воздействий** (семиозис). **Повсеместно** речь идет о различных вариациях детерминирования свободы и ущемления субъектности. Воздействие на когнитивное состояние зачастую вовсе не рассматривается как целевая причина смыслообразования.

Для коммуникативной модели методологически важно не уходить (по разным причинам) от полемики с авторитетами прошлого. Они чаще противоречат, чем подтверждают коммуникативный подход к вербальному (и невербальному) семиозису. Однако не следует сомневаться в необходимости более работоспособных объяснительных схем. Авторитеты прошлого

и настоящего (упомянутые авторами комментируемой статьи Гуссерль, Шпет, Кассирер, Бенвенист, Леонтьев, Лакан, Грайс, Пешё, Декомб) сами друг друга и других отрицают и развивают. Мы ничуть не менее свободны проходить тот же путь. Тем более, что не нужно слишком серьезно относиться к собственному стоянию в конце пути. Нас тоже будут исправлять и отменять. Даже сейчас можно ощутить, что некоторые наши суждения настолько странны, что должны, казалось бы, нас самих удивлять и держать в тонусе – тем более потомков (чего стоит хотя бы идея **волшебного единообразного языка**, который неизвестно откуда берется, совсем не единообразен в сознаниях, да еще и постоянно изменяется и вовсе не существует как объект нигде. Но мы пестуем этот фантом – с нашим-то «научным мышлением»!)

Итак, авторы комментируемой статьи стоят на позициях научного позитивизма и объективности: «Социология изучает *социальные факты* (для описания которых любая ссылка на происходящее «в головах» членов социума оказывается излишней), лингвистика – *языковые сущности и процессы*, не сводимые к физиологии или психологии, и т.д.».

Именно против этого я и выступаю: смысл и значение говоримого (написуемого) – исключительно психологический лично когнитивный феномен, формируемый как индивидуальный план воздействия на постороннее сознание, с личными целями и лично мыслимым эффектом воздействия. Смысл происходящего можно найти только в области индивидуального сознания и психики, обладатель которых производит акциональную (изменительную) семиотическую процедуру.

На фоне очевидной индивидуальности происходящего в естественном вербальном процессе, можно только недоумевать от таких слов авторов комментируемой статьи: «Говоря о субъекте (деятельности, речи, коммуникации), следует поэтому прежде всего избавиться от иллюзии его индивидуальности. Так, у Шпета *реальным* оказывается коллектив как субъект совокупного действия, у П. Рикера субъект речевого акта предстает как пара собеседников, и т.д. Позиция антипсихологизма, как мы видим, напрямую связана с *проблематизацией статуса субъекта как индивида*. Тем самым, и вопрос о том, является ли говорящий источником/носителем смысла говоримого, становится еще более сложным в связи с принципиальной возможностью усомниться

в статусе *говорящего субъекта* в качестве индивида. Иллюзия профанного сознания, побуждающая нас мыслить себя «владельцами» «наших» коммуникативных намерений, не может служить отправной точкой научного исследования коммуникации».

Ввиду очевидной индивидуальности коммуникативного действия и работы индивидуального же сознания, избавиться от «владельца коммуникативных намерений» при объяснении вербального факта крайне сложно. Но авторы все же пытаются.

Для этого они берут в союзники, скажем, Бенвениста, который делал только первые шаги в осознании того, что происходит в момент актуального говорения (письма):

«В работах о субъективности в языке Э. Бенвенист отводил центральное место анализу того, как проявляет себя субъект в том, что он говорит. Показатели этого проявления (например, такие слова, как «я», «здесь», «сейчас», «обещаю») Бенвенист называет показателями дейксиса, «прицепляющими» высказывание-результат к обстоятельствам акта высказывания. Говорящий «присваивает» язык целиком, соотнося языковые формы с собственным лицом, т.е. определяя самого себя как *я*, а собеседника – как *ты*. Соотношение между *я* и *ты* как участниками коммуникации и составляет, как считал Бенвенист, языковую основу субъективности, а сама языковая коммуникация, исходя из этого, определяется только как проявление основного свойства языка – свойства формирования субъекта высказывания.»

Э. Бенвенист хотя и подозревает субъектность (а не строгую объективно-языковую основу) происходящего, но продолжает воспринимать вербальный процесс по прежним древним паттернам – ища обязательные «телесные» знаки для значений: именно поэтому для указания на субъекта в тексте ему нужен знак [я] или еще какие-то знаки (первое лицо глагола, указание на место и пр.). Сторонникy коммуникативной модели хочется воскликнуть: O sancta simplicitas! Мы-то уже знаем, что порождается и понимается **не знак, а коммуникативное действие**, и нет ничего более очевидного, чем сам факт совершения коммуникативной процедуры: когда говорящий сознательно демонстративно (а по-другому в коммуникации не бывает) выходит в коммуникативное пространство, то самим этим выходом он заявляет о своей персоне, демонстрирует свое [я], которое ни с каким другим [я] не перепутаешь, когда наблюдаешь авторский процесс речи (письма). Коммуниканту не нужно произносить [я], **ему нужно**

просто начать актуально говорить (или как-то еще семиотически действовать). В этом смысле Бенвенист выступает характерным представителем языковой («знако-значенческой») модели, в рамках которой **описываются знаки, на которые возлагается процесс смыслообразования:** ego только там, где есть знак (слово, передающее) ego. Типичный пример рассуждения, ограниченного концепцией знаков-значений, – «присвоение языка» и «маркеры субъективности» в речи. Ну что тут сказать…

Тем не менее, авторы комментируемой статьи полагаются на это авторитетное мнение, от чего можно только плечами пожать и руками развести:

«Субъект высказывания приобретает существование только потому и только тогда, когда он говорит: «именно в языке и благодаря языку человек конституируется как субъект… “субъективность”, рассматривать ли ее с точки зрения феноменологии или психологии, как угодно, есть не что иное, как проявление в человеке фундаментального свойства языка. Тот есть “ego”, кто говорит “ego”»[1]. Субъект способен обнаружить себя лишь в ситуации порождения высказывания, обращаясь к *другому* и обретая (присваивая) язык как место встречи с *другим*.»

1. *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974. С. 293.

Хочется спросить, почему такой исключительностью наделяется вербальный «язык», на фоне обилия признаков субъектности за пределами вербальности? Как насчет понимания невербальных коммуникативных поступков, где субъект проявляется не менее отчетливо (стиль одежды, демонстративное поведение, жесты, выражения лица, живопись, пластика, музыка и прочие смайлики, картинки, видео)? А как насчет некоммуникативных действий, в которых вне какого-либо вербального «языка» распознается и понимается субъектность совершаемого поступка? А как насчет мотива, который вообще невербален, но исключительно субъектен (авторы статьи сами это признали не так давно)? Кажется, знако-значенческий подход («язык»), требуя верности себе, понуждает одновременно не замечать очевидное.

Дальше – больше:

«Но субъект, *проявляющий* себя в языке, и субъект, который в языке *появляется*, – это не одно и то же. Дело в том, что сам «говорящий субъект» может показаться фигурой без лица: если мы, используя для коммуникации *язык*, что-либо произносим, то владеем ли мы в этот момент языком, и вкладываем ли мы сами смысл в говоримое нами? Кто бы ни *говорил*, вопрос в том, *кто*

это делает. Мы ведь достаточно часто произносим не совсем то или совсем не то, что «хотели» сказать… Стоит нам попытаться что-то произнести – и за нас говорит *язык*. Но нам при этом всегда кажется, что именно мы сказали то или иное слово, а потому и ответственны за него – иначе бы нам не приходилось краснеть за слова, которые «сказались сами». Значит, хотя любой акт конституирования субъективности и происходит «между» Я и *другим* (например, любой акт высказывания «вытягивается» *другим*), тем не менее он осуществим лишь как акт встраивания в форму, изначально внешнюю по отношению к индивиду».

Других расписок в принадлежности к секте «языковствующих» (и готовности на все ради «языка») уже не нужно: «стоит нам попытаться что-то произнести – и за нас говорит *язык*»; «акт высказывания» есть «встраивание» во внешнюю не зависимую от индивида форму, следствием чего становится утрата (умаление, расщепление) субъектности. Спасибо авторам комментируемой статьи за то, что оставили столь яркий ископаемый след для будущего палео-антропо-лингвиста. Лапидарная формулировка, достойная предшественников, говоривших о стакане, который перестает им быть, если утрачивает «онтологический конституент» («имя») «стакан».

Заметим, что, как и прочие сторонники спонтанной модели вербального процесса (Платон, Аристотель, стоики, Соссюр и др.), авторы статьи поддаются визуальному обману: они констатируют единообразие физических форм (звуков, слов, словосочетаний и вообще «языка»), которые произносятся и пишутся в момент коммуникативного поступка, и далее ведутся на провокацию – соглашаются приписать этим вербальным формам столь же единообразную тождественную семантику (способность производить автономное смыслообразование). В то же время в результате любых опросов и экспериментов **подтвердить единообразную семантическую валентность автономной вербальной формы невозможно**. Форма не может прямо отсылать к тождественно мыслимому контенту. Так, авторы статьи и читатель этих строк не могут сказать, что конкретно означает автономное слово [модель], [я], [так], [субъект], [звук], [язык], кто такой [Пушкин], [Тарасов], [Журавлев] и пр., пока все эти телесно определенные, но абсолютно непонятные формы не встанут на твердую почву субъектного сознания и конкретно мыслимого лично совершаемого коммуникативного поступка (как, например, в предыдущем

абзаце слово [Платон] было без труда интерпретировано читателем как элемент актуального семиотического действия, хотя «Платонов» в мире очень много).

На всякий случай укажем на совсем уже очевидное: **язык (и вербальные формы)** не могут **полемизировать** с авторами статьи (как это делаю сейчас я, автор комментария), не могут **мыслить**, не могут **выбирать адресата**, не могут **фокусировать объекты и связи**, не могут **лгать или говорить правду**, не могут **просить**, констатировать, аргументировать, и пр. **Язык абсолютно, стерильно пуст и свободен от смысла и значения, которые возникают только в субъектном осмысленном коммуникативном действии**. Ничего ни за кого говорить язык не может. Никто никогда не слышал и не видел, как говорит сам язык. Воспринимать можно только коммуникантов, производящих коммуникативные воздействия, в рамках которых коммуникантами же избираются каналы и средства (не всегда вербальные, заметим), выделяются объекты, строятся связи, назначаются адресаты, ставятся цели, отслеживаются ценности и пр. – все это не языковое, не всеобщее, не общаковое, не коллективное, etc.). У коммуниканта один мозг, одна гортань, один собственный ракурс видения мыслимого пространства (которое может по его велению стать коммуникативным и референтным), собственная цель и задача, собственный ресурс памяти, знания, нравственных и природных черт, и пр.

Хочется прямо возмутиться. Если «язык за нас говорит» (как говорят И.В. Журавлев и Ю.В. Журавлева), то в чем тогда наша, коммуникантов, роль? Неужели родился, подрос, сказал пару слов – и сразу пожалуйте к Барту добровольно сдать свое тело: «Я автор этих двух строк, так что закопай меня, литературовед, живьем. Мне все равно – меня ведь как не было, так и нет. А заместо меня всегда был, есть и будет язык (ну, и конечно, культура там, языковая картина мира, и прочая колхозная собственность). Давай, не ленись, бери лопату, слушайся языка, он тебе плохого не посоветует»?

В приведенном чуть выше пассаже И.В. Журавлева и Ю.В. Журавлевой самоизобличительно то, что «говорит язык», «слова сказываются сами», но «**краснеть» почему-то приходится тому, через кого «они сами сказались»**. Значит, есть все-таки в говорящем какая-то вина и причинность, не так ли? Заметим, что из двух условных участников вербального процесса (язык и комму-

никант) «краснеть» умеет только второй – и авторы статьи своей оговоркой это подтвердили. Сделаем осторожное предположение, что и думать, и говорить, и показывать, и выделять адресаты и объекты, и воздействовать, и формировать множества и связи, и актуально реагировать, и иметь ценности, и переживать и пр. и пр. **умеет только коммуникант (и он делает это не одинаково по сравнению с другим коммуникантом, представляющем ту же культуру, тот же «язык», то же сообщество и пр.)**.

Все-таки хорошо, что «язык» к смыслообразующей коммуникации не имеет никакого отношения, будучи весьма неэффективной метафорой. Иначе в теоретической программе французских и российских деконструкторов субъекта (к коим относится и авторы комментируемой статьи) этот «язык» все время норовит помешать процессу: сперва он говорит вместо реального коммуниканта, а затем становится откровенным препятствием говорению/пониманию, эдаким «троянским конем», сперва допущенным на процедуру говорения, а потом ее разрушающим:

«Итак, говорящий субъект лишен полного владения своим языком и своими коммуникативными намерениями – поскольку в смысл, который он хочет придать своим словам, “история и бессознательное вносят свою непрозрачность”[1]. Так обнаруживает себя расщепленность говорящего субъекта: сквозь произносимую им наивную речь всегда проступает «другая речь» как форма неполноты, постоянно создающей субъект путем «забвения» того, что его определяет[2]. Для того, чтобы «вскрыть невскрытое в самом тексте», надо «соотнести его с *другим текстом*, присутствующим в нем через необходимое отсутствие», т.е. под невинностью говорения раскрыть скрытую глубинность иного дискурса – дискурса бессознательного[3]».

Ведь «история», «бессознательное» и «другие тексты» – это все от «языка», не так ли? По крайней мере, у Барта так.

Если от языка, то бедный коммуникант страдает от этого монстра (фантома) нешуточно. **«Язык» путается у него под ногами и мешает ему дважды**: сперва вещает вместо реального коммуниканта (как бы говорит ему «подвинься, дай мне, я тут лучше справлюсь»), а потом еще и оказывается, что он говорит **вовсе не то, что нужно** коммуниканту (которого не зря предварительно оттеснили), а именно – несет какую-то отсебятину,

1. *Серио П.* Как читают тексты во Франции // Квадратура смысла: французская школа анализа дискурса. М.: ОАО ИГ «Прогресс», 1999. С. 16.
2. См.: *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974. С. 116; Пешё М. Прописные истины. Лингвистика, семантика, философия // Квадратура смысла: французская школа анализа дискурса. М.: ОАО ИГ «Прогресс», 1999. С. 268.
3. *Althusser L.* Freud et Lacan // Althusser L. Positions. Paris, 1976. P. 34.

начиненную «историей», «бессознательным» и «другими текстами», чего коммуникант вовсе не хочет.

(Кстати, по поводу истории, подсознания и других текстов. Например, этимология, которая теоретически есть у любого слова, в реальной коммуникации полностью отсутствует: все слова в естественном коммуникативном («рабочем») состоянии полностью деэтимологизированы. Это хороший пример истории и бессознательного в языке. Нету их, нету, если коммуникант того не желает. Захочет – появится и академическая этимология, и народная этимология, и все что ему угодно. И это появление произойдет только потому, что появится благодаря коммуниканту, как и все в смыслообразующей семиоитческой процедуре.

При этом проблемы интерпретации авторских «текстов» – это уже совсем другое дело. Интерпретант может вчитать в текст все что угодно (чем также продемонстрирует свободу от «языка»). Но если он честен в своей роли интерпретанта – то, интерпретируя, он будет продвигаться к автору и его когнитивному статусу, составляющему смысловой предел семиотического действия; если же интерпретатору нужна **какая-нибудь** интерпретация (исполнение собственной риторической миссии), то подойдет любой инструмент ее добывания, в том числе ничейный «язык». См. в сборнике статью Вдовиченко и Тарасова, в частности, об интерпретационной шкале).

Такие причудливые картины (как двойное вредительсто «языка») рисуются теоретиками в рамках тех концептуальных конструкций, в которых основанием порождения и понимания смысла признаются **самоорганизованные и самозначные слова** (образующие «язык») – концепции Барта и прочих французских деконструкторов (см. мою статью «С возвращением, автор, но где же твой текст и язык? О вербальных данных в статике и динамике»[1]. Изначально ошибочная посылка доводит теорию до противоречиво-забавного состояния (см. мою книгу «Расставание с “языком”»): теоретику приходится «закачивать» весь многофакторный и многоканальный смыслопорождающий процесс в вербальные формы. На определенных стадиях контент уже явно (и причудливо) перестает помещаться в неподобающую оболочку. И здесь нужна не казуистика закачивания, а радикальная смена парадигмы, включая признание, что адрес приложения теоретических усилий по закачиванию смыслов (слова) – неверный.

1. *Вдовиченко А.В.* С возвращением, автор, но где же твой текст и язык? О вербальных данных в статике и динамике. Часть I // Вопросы философии 2018 № 6. С. 156-167: Часть II // Вопросы философии 2018 № 7. С. 57-69.

Коммуникативная модель дает теории шанс быть более когерентной. Автономные слова пониматься в принципе не могут (см. выше [модель], [я], [язык], [Платон], [Журавлев] и пр.). От них нужно просто отказаться как от самостоятельных слагаемых смысла. «Язык» (искусственно сконструированная и неэффективная метафора) в принципе пониматься не может, ввиду отсутствия в нем субъекта (личности) – источника мысли, чувства, ценностей и пр. Могут пониматься только личные действия (семиотические, со словами или без, и несемиотические, см. статью: Вдовиченко А.В. Акциональное смыслообразование: что порождается и понимается естественном коммуникативном процессе // Вопросы психолингвистики 2018 Вып. 3 (37). С. 112-125, и др.). Смыслообразование, как ему и положено, локализуется в сознании коммуникантов, а не в платоновских словах-идеях-вещах, внешних и оторванных от коммуникантов.

Кроме того, хочется обратить внимание на желание авторов (в том числе авторов комментируемой статьи) объяснить сознательные (относительно свободные) процессы фактором бессознательного или подсознательного, уничтожить (расщепить) субъекта (личность). Такое занятие есть поистине разрушительная работа, ввиду того что личность составляет единственную ценность и последнее основание всего. Космос не имеет никаких свойств вне системы координат, вводимых индивидуальным человеческим сознанием. Только сознательное и свободное представляет подлинную ценность. Только при условии свободы можно говорить о поступках (действиях), оценивать их, применять различные фильтры видения. У шарика, катящегося по наклонному желобу, никакого выбора нет, и вследствие этого никакой деятельности (действия) он не совершает. Он вписан в континуум как составная полностью детерминированная часть. Живая субстанция, наоборот, может катиться, может остановиться, может карабкаться. Живое, взятое на разных уровнях и стадиях, демонстрирует нарастание (расширение) диапазона свободы, который в *homo sapiens sapiens* достигает относительной полноты. Подсознательное (и/или бессознательное) играет такую же роль, как и прочие космические силы, не зависимые от субъектного выбора. По этой причине оно так же не интересно, как и прочие объективные факторы (длинна рук и ног, форма черепа, цвет кожи и волос, отправления тела и пр.), если они не развернуты к субъекту. Интересными и важными могут быть только

свободные действия (в том числе коммуникативные, включая те, что с участием вербального канала). Попытки уничтожения субъекта – странная самоубийственная стратегия разбазаривания единственного поистине драгоценного капитала. Кроме личности, у нас больше ничего нет. Личное сознание собирает единства, обеспечивает тождества, инициирует взаимодействия, планирует, и пр. Язык, как показывает опыт И.В. Журавлева, Ю.В. Журавлевой и французских (нео)структуралистов (Р. Барт, Лакан и пр.), представляет собой одну из наиболее существенных теоретических угроз концепции личности, то заменяя ее, то мешая ей, то расщепляя или вовсе ее уничтожая.

Хочется посетовать на французско-российских деконструкторов. Нужно, конечно, деконструировать, но не субъекта, а структуралистские (архаичные) понятия и концепции: 1) язык как единый инструмент общения (метафора не эффективная в реальности), 2) наивный знако-значенческий подход (прямые корреляции «знак-значение» не подтверждаются реальностью), 3) спонтанная словесная модель вербального процесса (в реальности понимаются не слова, а комплексные действия коммуниканта), 4) непреодолимая интенция объявить сознания комуникантов тождественными благодаря культуре и совместной деятельности (они в реальности в сознательной своей части точно разные, – тем и замечательны), и пр.

В целом мысль автора статьи вращается вокруг **идеи понимания слов и, в конечном счете, употребления и понимания языка**. Характерна следующая цитата:

«Если мы, вслед за представителями Оксфордской школы философии языка, утверждаем, что референцию совершают не слова и даже не фразы, а говорящие, то мы рискуем нарваться на аргументированное возражение: "…фраза, сказанная по-французски, служит референцией независимо от намерений автора высказывания. Это не он решает. *Никто* не решает, решает только язык"[1]. Если бы мы в полной мере владели языком, видимо, не было бы ни поэзии, ни философии, ни науки, ибо, как сказал в Нобелевской лекции Иосиф Бродский, "Пишущий стихотворение пишет его потому, что язык ему подсказывает или просто диктует следующую строчку. …Это и есть тот момент, когда будущее языка вмешивается в его настоящее". Автор, не обремененный иллюзией произвольности, лишь фиксирует то, что диктует ему язык. Но не вмешивается ли будущее языка в его настоящее и в

1. *Декомб В.* Дополнение к субъекту: Исследование феномена действия от собственного лица. М.: Новое литературное обозрение, 2011. С. 147.

обычном повседневном общении, т.е. даже там, где мы ощущаем произвольность процесса говорения? Не транслируем ли мы в ходе общения всевозможные мифы, не отдавая себе отчета в том, что смысл говоримого *произведен* где-то в других местах, произведен, если точнее, самой социальной системой и нашим (случайным для нас, но закономерным для системы) положением в ней?»

Заметно, что автор статьи воспринимает сказанное и написанное (вербальные данные) **как слова и тексты (вместе с Декомбом и Бродским)**. Словесные тексты как будто развешены в пространстве беспричинно и безадресно, да еще и как-то сами собой. Их никто не создавал, кроме языка, который, начиненный мифами и социальной системностью, транслирует их через медиумов (позиция Бродского; вспомним «говорение языка» через коммуникантов, отодвинутых языком от процесса говорения и превращенных в зомби) и позволяет их интерпретировать.

Именно против такой исследовательской позиции направлена коммуникативная модель: сказанное и написанное – это последовательные (воз)действия коммуникантов, с индивидуально мыслимой причинностью и адресатом (попробуйте вне автора поступка интерпретировать фразу [Это не он решает.] – и Вы ощутите, что в момент действия (в том числе в графическом режиме) интерпретируется когнитивное состояние говорящего автора (Декомб), а не слова «языка»).

В то же время идея коммуникативного **воздействия фактически не затрагивает умонастроение автора комментируемой статьи, но именно воздействие** радикально меняет диспозицию теоретических объектов и все ставит на свои места, в том числе перечеркивает попытки принизить роль субъекта, сохранить «язык» в качестве эффективной теоретической метафоры, признать говорение делом общественным, и пр. **Действие не может существовать вне деятеля и принадлежать одновременно кому-то еще, кроме данного актора-коммуниканта.** Его сознание заведомо не тождественно сознанию адресата. Смысл (возможность совершения воздействия) видится индивидуально как внесение изменений в когнитивное состояние адресата (тем самым решается вопрос о смысле и причине происходящего в ходе говорения). Попытки приписать смыслообразование языку – в котором, якобы, содержится все (мифы, мысли, дискурсы и пр.) – выдает **прежнюю знако-значенческую парадигму, в которой вращается мысль авторов комментируемой статьи**. Говорящим было бы незачем говорить, если бы язык, известный

всем, охватывал все вербальные практики и сознательные процессы. В реальности говорящие видят смысл в говорении только потому, что преследуют целью **новизну** – изменение когнитивного состояния мыслимого адресата. Говорение (письмо) представляет собой частный случай семиотического воздействия. Попытка изменения когнитивных состояний является смыслом любого семиотического процесса. Возможность новизны отличает живое от неживого, тем более, сознание от несознания.

«Язык» исповедуется всеми исследователями, выше перечисленными авторами статьи, включая представителей школы обыденного языка и аналитической философии. Одновременно «язык» образует ахиллесову пяту любой теории, возникающей из ошибочного признания того, что в вербальном процессе понимаются слова (см. мое «Расставание с “языком”»). Коммуникативная модель справляется с этой аберрацией и утверждает, что неэффективный концепт «язык» явился в результате приписывания словам автономной роли в порождении смысла. В действительности понимается только коммуникант, мыслящий несловесно и действующий в коммуникативном пространстве не-только-словесно. Субъект понимается не только в коммуникативных словесных и коммуникативных несловесных действиях, но и в некоммуникативных (как он мыслит, было иллюстрировано в кратких экспериментах (удар локтем, «жалми», просмотр видеосюжета «Мальчик, похищающий груши»); отдельная полемика с авторо-похоронной концепцией Р. Барта и других французов содержится в моей статье «С возвращением, автор, но где же твой текст и язык? О статике и динамике вербальных данных»[1].

Только свободное сознание и выбор (субъектные процессы) дают шанс на то, чтобы отличаться от камней. В сознании и его потенциальной активности содержится разнообразие, смысл, новизна, оправдание существования обладателя сознания.

Интерес представляет не единое подсознательное (если оно едино у всех), а **осознанные** (субъектные) творческие процессы по созданию актуальных множеств, обнаружению свойств, нового синтаксиса объектов, явлений, отношений и пр. Ничего этого в языке и «мышлении, детерминированном обществом», нет и быть не может. В области теории (а практика уже давно все учла) важно отказаться от ошибочной концептуальной опоры («язык») и переместить фокус смыслообразования на субъектное действие, отделить высказывание от мышления, признать свободную активность (диапазон активности) сознания, и пр.

1. *Вдовиченко А.В.* С возвращением, автор, но где же твой текст и язык? О вербальных данных в статике и динамике. Часть I // Вопросы философии 2018 № 6. С. 156-167: Часть II // Вопросы философии 2018 № 7. С. 57-69.

Комментарии

Г.В. Дьяченко

Антиномия «отчуждения-присвоения» существует только до тех пор, пока не прояснена категориально по существу происходящего, то есть является антиномией только в избранном научном подходе. «Онтоцентризм-антропоцентризм», «язык-речь», «коллектив/социум-индивид» точно также не будут оппозициями после категориального выяснения в терминах другого методологического подхода. Так, из основных положений христианской антропологии вытекает то, что онтологически нет такой сущности, как «язык», а «коллектив» – онтологически представляет собой совокупность «индивидов», носителей личных сознаний, но не нечто самостоятельное и самосознающее.

«Говорящий субъект подчинен *закону означающего*, поскольку произносимые им слова не наделяют смыслом довербальный опыт, а, напротив, сам смысл рождается вместе с означающим, т.е. является "смыслом, который опыт может *получить* в дискурсе"»[1]. – Постмодернисты не обманывают, пишут вполне серьёзно – они действительно описывают реальность, но реальность своего ума. Он у них расщеплён и деструктурирован. Вне здравых понятий о сущем, о том, что есть и чего нет, вне понимания подлинных причин и следствий происходящего – смысла в их умах действительно нет. И ищут они его в языке. Он им заменяет ум. Оттого сплетения их слов похожи на бред и мечтания. А подлинным «субъектом» становится у постмодернистов язык – по причине их собственной бессмысленности.

«В отличие от индивида личность человека ни в каком смысле не является предсуществующей по отношению к его деятельности, как и его сознание, она ею *порождается*»[2]. – Личность порождается деятельностью... Перевернутые причинно-следственные отношения. Деятельность не может порождать производителя деятельности. О соотношении категорий *деятельности* и *лица*, *деятельности* и *природы* см., например, паламистские споры XIV века.

1. *Декомб В.* Современная французская философия. М., 2000. С. 96.

2. *Леонтьев А.Н.* Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1975. С. 173.

ЧАСТЬ 2.

ПРОБЛЕМА ТОЖДЕСТВА ЗНАКА И ТОЖДЕСТВА СУБЪЕКТА

2.1. О несамотождественности языкового знака. Причины и следствия лингвистического «имяславия» (А.В. Вдовиченко)[1]

1. Опубликовано: *Вдовиченко А.В.* О несамотождественности языкового знака. Причины и следствия «лингвистического имяславия» // Вопросы философии, 2016. №6 С. 164-175.

В статье рассматривается утилитарность процедуры выделения лингвистического знака, и связанная с этим несамотождественность знака. В вербальной коммуникации понимаются действия коммуниканта, а не слова (звуки, буквы и пр.), соответственно, «единицы измерения» назначаются и интерпретируются в комплексной системе координат, определяемой когнитивным состоянием участников (адресанта, адресата, вторичного интерпретанта). «Лингвистическим имяславием» автор предлагает считать ошибочную исследовательскую установку, представленную богословско-философской и академической версиями, согласно которой у автономного смысла (значения) есть свой автономный знак, и, наоборот, у автономного знака – свое присущее ему значение. В статье констатируются причины и следствия онтологической трактовки знака.

Попытки вычленения единиц (в т.ч. не делимых далее частиц, элементов), которые было бы уместно мыслить в качестве обособленных слагаемых какой-то общей суммы (явления, предмета, вещества), часто оправдываются надеждой обнаружить присущие этим единицам свойства, которые задают собой составленное из них целое. Так, парк оказывается состоящим из лиственных деревьев, каждое из которых является источником кислорода для города, и чем больше в парке этих продуцирующих кислород единиц, тем лучше дышится горожанам.

Однако сам объект, подвергаемый ан-атомизации, а также элементарные единицы, обнаруживаемые в его составе, не вызывают сомнений лишь до тех пор, пока рефлексия не коснулась самой процедуры выделения объекта, критериев выделения составляющих его единиц, а также целеполагания самой процедуры анатомизации. Даже не задаваясь неразрешимым вопросом, что такое парк, само это «подлежащее» можно разбить не только на деревья, но и на совсем другие «атомы»: квадратные метры, гектары, футы, сектора, крылья, зоны, полезные площади, человекометры и пр. В зависимости от того, считает ли анатомист парк геометрической областью или зеленым массивом, а также в зависимости от целей дробления, выделяемые атомы принимают

форму, которая стремится быть оптимальной для решения задач, поставленных практиком и/или теоретиком. Ясно, что процесс приспособления единиц к объектам, и объектов к единицам носит утилитарный характер. Из каких «атомов» состоит парк, невозможно определить до тех пор, пока кем-то и для чего-то не назначена цель деления.

Соответственно, расчет на то, что сами элементы (единицы) сообщат что-то об объекте анатомизации, пожалуй, обнаруживает неправильную методологическую установку. Скорее, следует говорить о том, какие единицы будут удобнее для решения поставленных задач и, собственно, как решать эти задачи с использованием назначенных единиц. Так, парк может оставаться «монадой», не состоящей из единиц, до тех пор, пока не потребуется, скажем, установить площадь, занимаемую этим объектом. Для исполнения этой задачи будут привлечены квадратные метры в России или квадратные ярды и футы в Великобритании. Онтологический смысл метров явно не следует драматизировать ввиду того, что в сфере онтологии метры непременно вступят в конфликт с ярдами, из которых парк также очевидным образом может состоять.

Похожим образом лингвистический знак представляет собой результат процедуры, в ходе которой делению на элементы («атомы») подвергается вербальная («телесная») часть коммуникативного действия. Единицы, «нарезанные» при разбиении его вербальной составляющей, не могут иметь автономного «онтологического» значения, поскольку значение действия (т.е. помысленный коммуникантом иллокутивный эффект) существует независимо от слов, жестов, рисунков и пр., как факт сознания и интенция к действию. Так, в желании сообщить об изменениях погоды нет ничего словесного, жестового, графичного, как и в желании открыть окно, предупредить об опасности, сообщить какие-то «факты», и пр. Внутренний когнитивный процесс приобретает сколько-нибудь осязаемые формы после того, как коммуникант принял решение произвести воздействие на постороннее сознание (или на иное состояние своего собственного сознания, напр., представив его в будущем). Соответственно, в конкретной ситуации коммуникации желание сообщить о погоде выливается в изображение условных рисунков и цифр, или в жестикуляцию, или в произнесение соответствующих вербальных клише, которые, к тому же, могут приобретать не только фонетическую,

но и графическую форму, и пр. Порожденная таким образом телесная часть коммуникативного действия вполне произвольно, в зависимости от целей предпринимаемой анатомизации, разбивается на единицы: «Здесь почему-то на картинке и облако, и солнце, и дождь, ничего не понятно», «А что ты на небо показываешь? Есть надежда на просветление?», «Ничего себе [«ясно»], в крайнем случае [«ничего не ясно»]», «Слово [дождь] пишется не так: на конце не [щь], а [ждь]», «Ты здесь палочку у буквы [Д] очень странно нарисовал, получилось [А]», и пр. Ясно, что в приведенных примерах (если, конечно, представить их себе как эпизоды актуальной коммуникации) единицами для говорящего выступают, соответственно, нарисованные предметы, указательный жест, слово, фонетический и графический элемент слова, графический элемент буквы. При этом в каждом из этих случаев имеет место процесс приспособления элемента к целому, а целого к элементу, осуществляемый индивидуальным сознанием, которое видит перед собой определенную цель анатомизации и владеет соответствующим инструментарием.

Оставляя в стороне жесты и картинки и рассматривая только вербальные знаки, наблюдатель убеждается в том, что «атом» словесной коммуникации в своем точном и последнем выражении ускользает от измерительной процедуры вследствие все той же произвольности назначения критериев. Задаваясь вопросом, является ли знаком звук, буква, палочка или завиток графемы, морфема, иероглиф, слово, сочетание слов, предложение, устный или написанный текст и пр., – наблюдатель, доверившийся спонтанной концепции «знак–значение», приходит к выводу о том, что *любая* из этих предметных единиц может считаться знаком, поскольку, как будто бы, означает нечто, как, например, в предложении [куда ты идешь]. Так, во-первых, сказанное понятно, во-вторых, состоит из дискретных единиц (которые можно даже изобразить), в-третьих, любая попытка изменить звуки, слова, их сочетания, целое предложение как будто приводит к изменению общей смысловой суммы.

Однако именно здесь следует констатировать торжество коммуникативной концепции вербального материала, ее полное и безоговорочное преимущество перед «знако-значенческой» концепцией в моделировании естественного вербального процесса, поскольку [куда ты идешь] в действительности *не означает ничего, если не рассматривается в составе коммуникативной*

синтагмы (конкретного коммуникативного действия): сказанные сами по себе слова не имеют смысла ни по отдельности, ни в совокупности; представляют собой набор неопределенных в своих границах налагающихся друг на друга единиц; возможные оппозиции элементов не выстраиваются в общей аморфной бессмысленности, являются всецело произвольными (знак может оппозиционировать другому знаку, сочетанию знаков, отсутствию знаков, при этом множества «участников» оппозиций не ограничены ничем).

Иными словами, если неизвестно, кто, зачем, в отношении кого, в каких мыслимых условиях и прочее производил действие с использованием данных вербальных клише, то в самих звуках, буквах, словах, и даже целом тексте смыслообразование отсутствует. То, ради чего говорящий (пишущий) мог потрудиться произнести [куда ты идешь], не может интерпретироваться в тождестве, поскольку коммуникативные параметры смыслообразования всегда мыслимы индивидуальным сознанием, которое определяет адресанта и адресата, объекты внимания и обсуждения, а также отношения между ними, позицию в возможной интеракции, обстоятельства совершения действия, фрейм отношений между коммуникантами и пр. Мнимая «понятность» слов [куда ты идешь] у русскоговорящего наблюдателя возникает только оттого, что данные вербальные клише уже были когда-то восприняты им в актуальных условиях.

Пребывание вербальных клише в мыслимом пространстве коммуникативного действия представляет собой *естественную форму существования вербального материала* и, поэтому является обязательной составляющей его интерпретации. Подлинное знание «языка» состоит во владении способами вербального действия в сегментах коммуникативного пространства – от обыденных ([мне чашку кофе, пожалуйста]) до сугубо специфических (напр., [не бери этот мусор на хаях], [здесь ввернем преюдицию]). Знание коммуникативной типологии приобретается носителем «языка» с детства (практически) или путем различных дидактических приемов (теоретико-практически).

Иными словами, в типовой ситуации произносится фонетический комплекс, который обычно вызывает в сознании участников коммуникативного сообщества изменения, мыслимые говорящим, как, например, в случае, когда он принимает решение указать адресату на себя. Эта интенция (привлечь внимание

к себе) универсальна для представителей различных культур и внутрикультурных сообществ. Поэтому в различных «языках» непременно присутствует вербальное клише, используемое в таких случаях ([я], [I], [ich], [je] и пр.). Переводить такие «слова» не составляет труда ввиду того, что рамочное для этих слов коммуникативное действие (передачей которого в тождестве озабочен переводчик) повсеместно распространено, фактически представляет собой «коммуникативную универсалию». Вследствие тождества коммуникативных синтагм совершенно различные слова имеют одинаковое «значение». Усвоение «языка» как раз и состоит в овладении типологическими дискурсивными единицами коммуникации.

Ту же «историю» наблюдатель застает и в других случаях говорения и распознавания слов, каждое из которых само по себе известно говорящему как элемент мыслимой ситуации действия в типологических условиях и которое включено в состав заново актуальной, необходимой ему, коммуникативной синтагмы.

В этой вполне очевидной (и даже банальной) коммуникативной перспективе вербальный материал обнаруживает свою *вторичность и несамодостаточность*, что, в свою очередь, имеет значимые последствия для исследовательских процедур, вовлекающих «слово» и «язык» в поле рефлексии и аргументации.

Рассматривая проблему лингвистического «знака» в атомистическом ракурсе (с последующей проекцией на проблему «лингвистического имяславия»), нужно отметить, как минимум, три следствия коммуникативного подхода.

1. При использовании вербальных «единиц» в *естественных* (повсеместных, универсальных для всех культурных и внутрикультурных сообществ) условиях *производятся и понимаются целостные коммуникативные действия*, *а не отдельные слова* (тем более, не звуки, буквы, иероглифы и пр.). Адекватное замыслу коммуникативное действие составляет целевую точку смыслообразования, к которой стремится процесс генерирования и интерпретирования естественного говорения (написания). Поскольку смыслообразование в вербальном процессе есть его целевая причина (то, чего добивается говорящий и ради чего, собственно, он порождает речь), и поскольку оно реализуется только во внешнем действии, то объектом науки о «языке» – осознанно или неосознанно со стороны исследователя – является *дискурс*, т.е. *мыслимая ситуация коммуникативного действия*, которая

осознается комплексно и объемно, и в пространстве которой говорящий и затем интерпретант выделяет объекты (дотоле не существовавшие *здесь и сейчас*, не выделенные из гомогенной панорамы, прежде не оформленные в «объект» и не развернутые в направлении данного коммуникативного действия), назначает связи, фиксирует внимание адресатов, подбирает вербальные клише, соизмеряя их с типологическими условиями их использования и возможными особенностями восприятия их адресатом, и пр. Без решения произвести воздействие субъект когнитивного процесса не утруждает себя подбором вербальных клише и остается в тайне внутреннего рассуждения. Вербальный материал вне мыслимых коммуникантом условий коммуникативного действия (вне дискурса) не обладает потенциями к смыслообразованию и превращается (в случае его обособленного изучения) в *искусственный объект*, возникший вследствие укорененной в традиции методологической ошибки. Последняя как раз и состоит в том, что говорящий так или иначе исключается из процесса смыслообразования, а автономные единицы, такие как звуки-атомы, слова-атомы, наделяются неотъемлимыми свойствами, сами формируют общую сумму высказывания.

2. *Слово*, изъятое из коммуникативной синтагмы (тем более, звук, буква и пр.), *невозможно рассматривать как единицу смыслообразования*, ввиду того, что у самой единицы нет основания, на котором зиждется здание смысла: в «автономном» слове нет личного когнитивного начала, источника мысли, отправной и конечной точки смыслообразования, поскольку искусственно изолированный «атом» не вовлечен в личное коммуникативное действие. Напротив, в естественных условиях любое слово, входя в состав коммуникативного действия, отсылает к *когнитивному состоянию коммуниканта*, которое понимается в ходе коммуникативной интеракции. Как нельзя понять камень или звездное небо (ввиду чуждости и неясности «внутренних мотиваций» собственного поведения этих «объектов»), так нельзя понять слово, пребывающее в состоянии автономного покоя, не вовлеченное в динамику личного коммуникативного действия. Как звездное небо и камень всего лишь «вписываются» в созданную коммуникантом схему с назначенными им функциями и получают, таким образом, «понимание» в рамках назначенной схемы, так слово не может быть понято само по себе, вне созданного коммуникантом пространства действия. Во всех случаях пониматься будут

не поведение выделенных в сознании объектов (звездное небо, камень, слово), а сама процедура вписывания, практическая, развернутая к субъекту когниции, индивидуально мыслимая *схема моделирования реальности и действия в ней*. Порождение и интерпретация коммуникативного действия (не путать с внезнаковым внутренним мыслительным процессом) всегда обращены к установлению тождества когнитивных процедур и оценке их эффективности, а не к «вещам в себе».

Так, «элементарную» часть актуального высказывания (слово [«попытки»], см. начало статьи), изъятую из коммуникативной синтагмы (тем более, звук или букву этого слова) невозможно рассматривать как «атом» смыслообразования, ввиду неопределенности его свойств. «Атом» не может быть разделенным и неопределенным в себе, указывая одновременно на единственное и множественное число, одновременно на именительный и родительный падеж, к тому же он не может фонетически совпадать с формой [попытке], и [по пытке] и пр. В этой мнимой «единице», взятой независимо от сознания автора высказывания, *собственное* значение отсутствует. Для «иностранца», не знающего «русского языка», данное вербальное клише вовсе представляет собой «пустой звук» ввиду отсутствия в его сознании хоть какой-то типологии коммуникативных действий с вовлечением данного фонетического комплекса. Заполнить это пустое место (бессмысленное само по себе [«попытки»]) способен только говорящий (пишущий), который производит коммуникативное действие, а также тот, кто пытается интерпретировать его, говорящего, когнитивное состояние.

Для внутреннего размышления субъекту когниции не нужны «телесные» знаки. Предметы, явления, связи, а также цели и перспективы своего участия в ситуации он «видит» без участия знаков. Однако для воздействия на внешнего мыслимого адресата говорящему приходится прибегать к их посредству, по мере необходимости и желания совершить коммуникативное действие. При этом слова произносятся им не для того, чтобы продемонстрировать знание связанной с этим фонетическим элементом коммуникативной типологии (напр., «русского языка»), а для нового, актуального для него воздействия на мыслимое коммуникативное пространство с выделенными в нем адресатами, объектами, условиями и возможными способами такого воздействия. Само по себе слово, никем и ни к кому не обращенное, не может быть

действенным, на что-то указывать или что-то означать. В отличие от бессодержательности слова, содержание коммуникативного действия (т.е. помысленная говорящим «иллокутивная сила» высказывания, или личная интенция действия) может вызвать к жизни различные знаковые формы и оцениваться самим говорящим в зависимости от того, насколько эффективной будет данная форма. Так, вместо приведенного слова [«попытки»] в составе данного действия можно представить употребление другого слова, например, [«усилия»], или совсем другой фразы, напр., [«Поиски предельных, далее не расчленимых элементов» и т.д.], или слова другого «языка», в зависимости от определяемых параметров замысленного автором коммуникативного действия. Понятно, что без авторского замысла вся конструкция коммуникативного действия, в которую входит [«попытки»], не может возникнуть и иметь какой-то собственный, не-авторский, замысел и значение.

3. Наконец, *язык*, как система упорядоченных единиц (слов, букв, звуков, правил, составляющих специфическую морфологию, семантику, синтаксис и пр.), на фоне естественного коммуникативного процесса представляет собой, скорее, *мнемотехническую схему*, имеющую сугубо утилитарное значение для постороннего (не вовлеченного в языковой коллектив) наблюдателя, и совершенно не востребованную со стороны носителя-«информанта». Знатоку родного «языка» последний известен как *коммуникативная типология*, которая постепенно усваивается им с детства и постоянно расширяется в направлении различных сегментов осознаваемой реальности. Непосредственный участник языкового коллектива, даже если он получил специальные филологические знания, позволяющие ему отличить именительный падеж от родительного, в живой коммуникативной практике никогда не пользуются этим знанием. Он не играет в игру «построй высказывания по грамматическим правилам», а делает гораздо более сложную и важную работу, осуществляя влияние на мыслимого адресата – с привлечением или без привлечения слов – в рамках параметрированных ситуаций. Наоборот, грамматические правила впоследствии создаются для тех, кто усвоил «по умолчанию» иную («инокультурную, иноязычную») типологию вербальных действий и по каким-то причинам желает овладеть чужой типологией. В таком случае специалистами-грамматистами предлагается описательная схема («грамматика языка»), позволяющая спроецировать собственное знание «родных» коммуникативных

синтагм на инокультурное знание («иностранный язык»). Без обнаружения невербальных оснований тождества (например, общего «несловесного» желания китайца и русского открыть окно, и пр.) установление таких проекций было бы в принципе невозможно. При этом понимание «иностранного языка» в любом случае будет пониманием конкретных коммуникативных действий конкретных говорящих, а не «общего поля» мысли и чувства, выраженных в «языке».

Язык предстает мнемотехнической схемой особенно отчетливо на фоне того, что он принципиально безличен, а, следовательно, лишен источника мысли, чувства и вообще всякого содержания. Так, «язык» («грамматика и словарь») не могут дать ответа на вопрос, имеет ли Земля форму шара. «Мысль» как утверждение или отрицание не может присутствовать в «языке» (грамматике и словаре) вне коммуниканта, вследствие чего как утверждение, так и отрицание могут быть сказаны и интерпретированы в зависимости от параметров, определяемых коммуникантом, в т.ч. целесообразностью и необходимостью данного коммуникативного действия. Поэтому и то, и другое будет присутствовать в «языке»: [Земля имеет форму шара], [Земля не имеет формы шара]. Ясность в этот вопрос внесет только то, что Аристотель определил как одну из своих категорий – категория отношения (греч. «pros ti»). Однако отношение и есть то, что вводится субъектом когнитивного процесса, а не «языком». Поэтому, благодаря фактору индивидуального сознания, вопреки бессмысленности «языка», коммуникативные действия с участием вербального канала все же производятся и интерпретируются в актуальных коммуникативных синтагмах («сказать можно что угодно, было бы кому и зачем»).

Отметить бессмысленность и бессодержательность «языка» тем более важно, что зачастую в рассуждениях о слове и смысле этот концепт («язык») выступает некоей формой одновременно мышления и говорения, которая содержит в своих внешних границах и внутренних ячейках, тем самым, упорядочивая и детерминируя, различные элементы, включая «слова-значения» (напр., хайдеггеровское «Язык есть дом Бытия»). Необходимо иметь в виду меру условности этой мнемотехнической схемы и не рассчитывать на точность и эффективность системно-орудийно-биологической метафоры для достижения реалистичных результатов исследования «языковых» данных. Так, невозможно изучать вспомогательную мнемотехническую схему и ее элемен-

ты, принимая их за свидетельства реальности, или автономные «знаки реальности». Если реальность естественного вербального материала – это свободные осмысленные действия коммуникантов (а другие вербальные факты просто отсутствуют), то вне личных коммуникативных действий у элементов и всей «системы» нет и не может быть «чтойности» и самотождественности.

«Лингвистическим имяславием» можно считать «знакозначенческую» исследовательскую установку, согласно которой у автономного смысла (значения) есть свой автономный знак. Интенция находить «атомы» вербального процесса подминает под себя холистическую («когнитивно-синтаксическую», «активно-творческую») исследовательскую перспективу и, таким образом, то, что обнаруживается в результате (а это – некий «телесный», буквенный или словесный, комплекс), приобретает не условное, а онтологическое значение: единицы существуют; они не утилитарны (назначаемы по мере удобства оперирования с коммуникативной реальностью), а бытийственны.

«Знакозначенческая» установка свойственна как 1) одноименному направлению в греческой и русской философско-религиозных традициях («ономатодоксия», «имяславие»), так и 2) значительному числу исследовательских, вполне академических, опытов изучения «языков» и их элементов. Оба направления восходят к спонтанной атомизирующей практике интерпретации вербального процесса как набора всеобщих «знаков-значений».

Первый случай (возьмем только «русское имяславие») следует считать предельным, заостренным, акцентированным выражением «знакозначенческой» установки, доведенной до тирании бытийственного «знака». В трудах участников «афонского спора» (Булатович, Илларион) и затем «великой тройки» (Флоренский, Булгаков, Лосев), где так или иначе затрагивается вербальный материал, присутствуют все традиционные аберрации «телесного» (вне-коммуникативного) видения слова и смысла. Российские имяславцы исповедуют, по сути, основную (усвоенную школьной традицией) концепцию платоновского «Кратила», избавив ее от авторских сомнений, осторожности и самоиронии, и усугубив прямолинейностью и нечувствительностью к естественному вербальному процессу.

В основании всех рассуждений, так же как и в «Кратиле», лежат несколько «очевидных» положений, составляющих *спонтанную модель* речевого и мыслительного процесса:

Люди говорят одинаковыми для всех словами.

Одинаковость и всепонятность слов позволяет не рассматривать говорящего как «переменную» в описываемом процессе говорения.

Слова называют и выражают вещи (являются одновременно именами и характеристиками вещей).

Вещи существуют по умолчанию, как «монады».

Говорящие передают друг другу мысли о вещах словами.

Ключевым элементом этой спонтанной архаичной модели, описывающей естественный вербальный процесс, является *слово,* или *имя* (часто смешиваемое в русской традиции с «логосом», что происходит, по-видимому, не без той роли, которую сыграл вводящий в заблуждение перевод канонического текста Ин 1:1 «В начале было *Слово*»).

Приведенная спонтанная модель служит матрицей для всех прочих метафор и обобщений, которые используются в рассуждениях о словоцентричном процессе мысли и говорения. Если слово назначено главным слагаемым («элементом», «единицей») в теоретической схеме, то на него сторонникам спонтанной концепции приходится возлагать всю (или почти всю) ответственность за происходящее в сфере смысла и говорения. Основные следствия спонтанной модели можно обобщить в следующем виде:

1. Деятельность сознания осуществляется именами (у всех авторов «великой тройки» повсеместно).

2. Имя ассоциируется с эйдосом (идеей), т.е. сущностью вещи. Если вещь не существует без эйдоса, то она не существует и без имени («отнимите у стакана имя, и он перестанет быть стаканом») (у всех авторов повсеместно).

3. Мысль есть то, что говорится. Высказанная мысль есть развернутое имя (у всех авторов повсеместно).

4. Имя имеет магические свойства, магия при этом по умолчанию оправдывается тем, что это божественная магия (у всех авторов повсеместно).

5. Имя обладает энергиями, действующими через фонетико-графические единицы, составляющие имя (онтологический анализ имени «Мариула» у Флоренского).

6. «Вспомогательные слова языка» не важны для онтологической концепции имени (определенно у Булгакова).

7. Имена в совокупности составляют сумму смысла (у всех авторов повсеместно).

Каждое из этих положений не применимо для моделирования естественного вербального процесса, однако, выводится из наблюдений над ним и обращено именно к нему. По крайней мере, авторы, претендуя на универсальность концепции, имеют в виду всеобщие понятия «сознание», «вещь», «слово», «язык», «смысл». Чтобы уяснить некорректность предложенной ими диспозиции этих элементов, нужно заметить, что:

1. Деятельность сознания независима от имен. Потребность в вербальных клише («именах», «словах») возникает только в коммуникативном процессе, когда «обладатель сознания» считает необходимым осуществить коммуникативное воздействие на мыслимого адресата. Тогда на помощь приходят сочтенные возможными (в данной коммуникативной ситуации и в данной коммуникативной типологии) знаки – от слова до картинки и жеста, лишь бы воздействие имело нужный коммуниканту результат. Для мыслительного процесса слова и имена не нужны.

2. Слово (имя) не может указывать на определенную идею, а идея – на определенное слово. Процессом «указания» руководит индивидуальное сознание, которое в перспективе личного целеполагания избирает и назначает объекты внимания, группирует и оценивает объекты, формирует их «классы» и «виды» (в т.ч. признает достаточными или недостаточными уже существующие «классы» и «виды»), вводит критерии и границы и пр. Любое слово, даже если оно относится к т.н. номинативным единицам, само по себе не может указывать на какое-то определенное множество объектов вне применения субъективно мыслимых критериев создания множеств. Ввиду того, что в осознанной реальности действует свободное сознание (которое может превращать ее в «знаковую» при необходимости коммуникации), в ней нет и не может быть конечного числа объектов, тем более, связей между ними. Иными словами, между множеством мыслимых объектов (явлений, связей) и множеством слов (имен) нет одно-однозначного соответствия. Любые попытки представить отношения между ними упорядоченными (или могущими быть упорядоченными) не имеют никаких шансов реализоваться.

3. Мысль весьма опосредованно связана с тем, что говорится. Мысль не акциональна, в отличие от коммуникативного действия. Так, мысль открыть дверь может реализоваться в открывание двери («порождает» открывание двери), однако, последнее уже не есть мысль. Подобно этому, желание произвести воздействие (сообщить, потребовать, задать вопрос и пр.) может «породить»,

или «перейти в» (если коммуникант все же примет решение действовать) словесный (а, вероятно, какой-то иной по форме, например, жестовый, графический) вопрос или сообщение, или просьбу и пр. Каждый из этих актов будет уже не мыслью, а лишь косвенным проявлением некоего когнитивного состояния, в котором пребывал говорящий, решивший действовать в коммуникативном пространстве. То же самое в случаях констатации фактов, выражения радости, отдания приказа и пр.

Зазор между мыслью и вербальным действием обнаруживает себя еще более отчетливо в случае лжи, когда внутреннее размышление *всецело* не совпадает со сказанным. При этом лгущий коммуникант, говоря не то, что он «думает» (а, вернее, думая, что представление «неистинного» положения вещей позволит добиться своих коммуникативных целей), пытается достигнуть, и зачастую достигает, искомого коммуникативного эффекта.

Иными словами, если мысль получила словесную форму, она (вопреки мнению имяславцев) перестала быть мыслью, став *действием в коммуникативном пространстве*, где присутствует адресат, обстоятельства действия, избранные коммуникантом цели и способы действия и пр. Мысль (идея) и вербальные клише настолько далеки между собой, что говорить можно «не то, что думаешь», а думать можно, не говоря.

4. Гипотеза о магических свойствах имени, продвигаемая сторонниками имяславия, имеет древнюю традицию. Как собственно имяславская, так и любая архаическая концепция совершительного слова так или иначе связана с *естественной акциональностью речевого процесса*, возникая из более или менее осознанных интуиций этого свойства коммуникации. Так, стоит лектору всего лишь произнести [«Внимание»], и в аудитории слушающих его студентов произойдут изменения, вызванные сказанным *словом*. Это «чудо» совершается в любой актуальной коммуникации, поскольку смыслом (целевой причиной) любого вербального процесса является воздействие адресанта на сознание мыслимого адресата, и только ради этого говорящий утруждает себя произнесением слов. Однако нужно отметить, что эффект, оказываемый на аудиторию, является *производной не от слова*, а от обширного комплекса условий, в которых планируется и интерпретируется коммуникативное действие (которое может включать или не включать вербальный компонент).

При этом ссылки на божественные аспекты «словесной магии», подразумеваемые или эксплицированные ономатодоксами, способны, скорее, дискредитировать саму идею святости и божественности, чем подтвердить и без того очевидную акциональность коммуникации. Так, некогда взгляды «древнего имяславца» Евномия (согласно которым некоторые имена тождественны сущностям, а остальные имена говорятся людьми «по примышлению», kat'epinoian, будучи затемненными несовершенством человеческого понимания вещей) встретили у каппадокийских отцов (Василий Кесарийский и Григорий Нисский) принципиальное отторжение ввиду грубого насилия над субъектностью любого употребления слова, свойственного вульгарно-платоновскому, знако-значенческому подходу: *все сказанное*, утверждали каппадокийские авторы, всегда и везде является сказанным «по примышлению», зависимым от говорящего, не самостоятельным, не самодостаточным вне человека, не-«онтологичным»[1]. Иными словами, процесс форматирования сознания словом (божественным или не божественным), де факто декларируемый в имяславской концепции, должен быть, по их справедливому мнению, теоретически упразднен ввиду недолжного понимания человеческой свободы и отношения с Богом и миром.

5. Попытки найти в звуках и слогах какой-то смысл были подозрительны и смехотворны уже для самого Платона. Он посвятил, тем не менее, значительную часть «Кратила» фоносемантическим исследованиям, но сделал это от неизбежности: уверенность в том, что в целом «телесном» слове присутствует целый смысл («правильность») заставляет теоретика искать части смыслов в «телесных» частях слова (Платон. Кратил 424b, 425d)[2].

Однако на фоне коммуникативной трактовки значения нет необходимости (неизбежности) так поступать: *вне коммуникативной синтагмы, организуемой говорящим, в слове вовсе отсутствует какое-либо собственное значение* (смысл, «энергия», «правильность» и пр.). Если единственным источником мысли (смысла, значения, «энергий», «эйдоса» и пр.) является индивидуальное сознание, которое формирует объект, определяет цели, назначает значение словам, и в целом параметрирует ситуацию коммуникации (в которой только и нужны слова, никому не нужные до создаваемой ситуации), то можно более не участвовать в подозрительных опытах обнаружения «энергий»

1. Подробнее: *Вдовиченко А.В.* «Примышление» и «порождение»: Евномий и каппадокийцы о современных проблемах философии языка // Языковые параметры современной цивилизации. Сборник трудов конференции памяти Ю. С. Степанова. М.-Калуга, 2013. С. 314-321; *Эдельштейн Ю.М.* Проблемы языка в памятниках патристики / История лингвистических учений. Средневековая Европа. Ленинград, 1985. С. 156-206.

2. *Платон.* Сочинения в 4-х томах. Т. 1. М.: Мысль, 1990. С. 661, 663.

там, где их заведомо не может быть ввиду отсутствия сознания (как, например, в фоносемантических этимологиях платоновского «Кратила» или в случае истолкования звуков и букв, составляющих имя «Мариула» в «Именах» Флоренского[1]).

1. *Флоренский П.А.* Сочинения в 4-х томах. Т. 3. М.: Мысль, 2000. С. 301.

6. Деление слов на основные и вспомогательные возникает из спонтанного ассоциирования автономного слова с якобы присущим ему смыслом. В знако-значенческой трактовке пройти тест на наличие значения могут только те единицы, которые якобы «указывают» на какой-то объект-признак-процесс сами по себе, вне коммуникативного контекста: «Значение имеет всякое слово, нет слов бессмысленных, слово есть смысл. Язык имеет также и вспомогательные слова, смысл которых понятен лишь в контексте речи; оставляя пока в стороне такие слова, чтобы не осложнить вопроса, мы должны сказать, что всякое слово означает идею, и сколько слов, столько же и идей с их бесконечными оттенками и переливами»[2]. В приведенном тексте сам автор, вероятно, назвал бы «вспомогательными» слова «всякое», «нет»(?), «есть»(?), «также», «и», «которых», «лишь», «в», смысл которых никак нельзя понять вне «контекста речи».

2. *Булгаков, о. Сергий.* Философия имени. Париж, 1953. С. 7.

Однако в действительности «бесконечные идеи», их «оттенки и переливы», которыми не может не восхищаться любой внимательный наблюдатель (как это делает и Булгаков), возникают не из слов, которых гораздо меньше, чем «переливов», а из индивидуального сознательного процесса, который гораздо более разнообразен и вариативен, и не ограничен количеством «слов-идей». Для индивидуума, решившего действовать в коммуникативном пространстве, все слова принципиально едины в своем функционале: способствовать тому, чтобы *вызывать в сознании адресата такие изменения, которые приняты в данном коммуникативном сообществе в типологических условиях*, т.е. служить приблизительной разметкой для понимания внутреннего когнитивного процесса говорящего, который производит воздействие в данной ситуации. Поэтому тот, кто сказал слово [«бог»] в актуальной коммуникации, делает принципиально то же самое, что и сказавший слово [«он»], [«лишь»[, [«этот»], [«чтобы»] и пр. Все эти вербальные клише необходимы говорящему для помысленного воздействия в данных условиях, и более ни к чему иному не приспособлены. С этой точки зрения, все вербальные клише («слова» и их сочетания) можно считать как «полноценными», так и «вспомогательными», поскольку вне деятельности

нуждающегося в них говорящего сами они ни на что не могут указывать или означать.

7. Наконец, архаичная концепция «суммы смыслов слов», используемая ономатодоксами для интерпретации осмысленного высказывания, не может быть признана адекватной, поскольку в естественном вербальном процессе понимаются не слова, а коммуникативные действия (которые, например, могут совершаться и без слов). Классический пример применения «смыслословной» концепции дает рассуждение Булгакова:

«Беру фразу: море сверкает ослепительно. Она состоит из трех слов, которые входят в совокупности в один смысл. Но они только потому и входят в этот смысл, что они и в отдельности суть слова, каждое имеет свой собственный смысл, чем, значит, выражает свою идею: идею моря, идею сверкания, идею ослепительности»[1].

1. *Булгаков, о. Сергий.* Философия имени. Париж, 1953. С. 36.

Как видно, слова воспринимаются автором в качестве готовых модулей (смыслосодержащих единиц). Фраза, согласно позиции Булгакова, имеет свое собственное независимое существование, отражает реальность, представляет собой «ничью правильную мысль».

Доверившись «словам-идеям-вещам», автор оказался абсолютно нечувствителен к всецело субъектным причинам порождения любого, в том числе этого, высказывания, которое вне конкретно мыслимых условий, определяемых позицией говорящего, не может быть ни истинным, ни ложным, ни правильным, ни ошибочным, ни модальным, ни пропозитивным, ни имеющим смысл, ни лишенным смысла, ни обладающим эмоцией, ни лишенным ее, и пр. Иными словами, автор не заметил, что такой вербальный факт («море сверкает ослепительно»), в приведенном автором статусе и параметрах, не может существовать в реальности, является искусственным и нежизнеспособным порождением ошибочной концептуальной схемы.

В целом нереалистичность (неадекватность реальности) спонтанной знако-значенческой модели состоит в игнорировании того, что смыслообразование в вербальном материале имеет исключительно коммуникативную природу. Оно возникает не в тот момент, когда «ничьи» слова отражают (называют) «факт» реальности, а когда конкретный говорящий производит запланированное воздействие на адресата. Смысл, или целевая причина порождения вербального высказывания, состоит в воздействии,

которое зачем-то нужно коммуниканту. «Фактов» в реальности слишком много, чтобы говорящий позволял себе играть в бессмысленную игру «назови факт реальности», подобно той, что приведена у Булгакова. Зато воздействие в рамках параметрированной ситуации вполне доступно конкретному сознанию, оно вписывается в личное целеполагание, отвечает избранным характеристикам момента коммуникации. Фраза не может возникнуть сама собой, а лишь вследствие того, что конкретный разумный индивидуум принял решение вступить в коммуникацию, выделил объекты воздействия (адресаты), признал данные вербальные клише эффективными и данную коммуникативную типологию – доступной для адресата, сфокусировал внимание на акте высказывания и на избранных назначенных объектах (создал факт высказывания и, возможно, факт реальности), и пр. Весь этот обширный комплекс интерпретируется в рамках процедуры естественной коммуникации как порождающим, так и воспринимающим коммуникативное событие.

В этой реалистичной перспективе становится понятным, что интерпретация вербального процесса, произведенная платоником (напр., Булгаковым), начинается с середины пути и заканчивается на промежуточной стадии, не достигая конечного пункта: интерпретируемый объект не охвачен взглядом теоретика целиком – от замысла вербального действия до порождения речи в финальной форме и интерпретации когнитивных процессов говорящего. В поле внимания интерпретатора оказываются только спонтанно выделенные единицы (слова), которые в принятой «знако-значенческой» усеченной системе координат принуждаются иметь значение, формировать смысл высказывания, быть носителями идей, будучи в действительности вне говорящего и вне мыслимой им коммуникативной ситуации пустыми, бескачественными, неопределенными и бессмысленными. Подлинные причины появления смысла в бессмысленном (фактор индивидуального сознания, свобода когнитивных процедур и пр.) остаются вне концептуального поля, определенного изначальной моделью, выносятся за пределы формулы, описывающей вербальный процесс.

Спонтанная модель, а также ее прямые следствия (за исключением пп. 4 и 5, см. выше) образуют фундамент и для многих вполне академических опытов интерпретации естественного вербального процесса и его элементов. В своей концептуальной

сердцевине эти опыты сохраняют приверженность древнему платоновскому «словомыслию», «знако-значенчеству». В установке видеть в «телесном» знаке значение, и для любого значения предполагать (искать) «телесный» знак, как раз и состоит «лингвистическое имяславие», представленное не только философско-богословской, но и филологической (лингвистической) версией.

Вольный или невольный (сознательный или неосознанный) последователь условного Платона уверен, что у любого значения есть предметное выражение, или «имя», материализованное в звуке, морфеме, корне, слове, сочетании слов, и, наконец, в предложении. И, наоборот, у любого телесного знака («имени») есть свое значение. На этой презумпции воздвигнуты как глобальные лингвистические концепты, такие как «язык», «эволюция языковой системы», «взаимодействие языков», так и более частные опыты построения теории в специализированных сегментах языкознания, таких как этимология, семантика, морфология и пр.

Так, несмотря на то, что оперативный арсенал говорящего состоит из коммуникативных клише и ситуаций их использования, т.е. из известной говорящему коммуникативной типологии, в которой никоим образом не присутствует номенклатура привычных для грамматиста понятий и терминов («падежей», «склонений», «корней», «суффиксов», «гнезд» и пр.), – тем не менее, глубоко условная мнемотехническая схема «язык» зачастую узурпирует не подобающий ей статус, становится избыточно безусловным и избыточно онтологическим понятием, едва ли ни «вещью». Так, грамматический «язык», некогда возникший как вспомогательный инструмент для обеспечения перехода с одной коммуникативной типологии на другую, более знакомую грамматисту (такой «переходник» необходим по преимуществу иностранцам), может всерьез, несмотря на свою вторичность и вспомогательность, рассматриваться в академических исследованиях как инструмент общения (механизм, система), воссоздаваться в конкретных грамматических и лексических формах («грамматика плюс словарь»), изучаться как источник сведений о нации, о сознании каждого из ее представителей, о внутреннем устроении и организации социолингвистических сообществ, об интеллектуальном и эмоциональном профиле носителей, и пр.

Эта и подобные аберрации, в конечном счете, являются следствием неправомерной онтологизации единиц, признания знаков реально существующими смысло-формальными атомами,

автономными носителями значений. Только из таких стабильных и твердых «блоков» можно собрать мнимо-работоспособный инструмент-механизм-систему, или предъявить его функциональные части.

В то же время очевидная утилитарность выделения знаков, признание их неспособности производить автономное смыслообразование, их несамотождественность вне конкретного коммуникативного действия служит хорошим поводом вспомнить об условности исследовательских моделей и концептов, создаваемых для удобного ситуативного «схватывания» моделируемой реальности в выделенных сегментах. Так, несмотря на мнемотехническую и лингводидактическую пользу «языка» как систематизированного набора знаков (т.е. несмотря на локальное торжество атомизирующего подхода), «языку» невозможно отказать в полной бессмысленности и онтологической непригодности, ввиду того, что его принципиальная всеобщность означает столь же принципиальное отсутствие личностного начала, т.е. отсутствие автора коммуникативного действия, который является единственным и незаменимым источником смыслообразования в вербальном материале.

По-видимому, водораздел между прежним и обновленным пониманием лингвистического знака проходит по приписываемому ему функционалу: если платоновский знак (как, например, в имяславской доктрине) автономно *отражает* (*передает, выражает*) эйдос, сущность вещи, саму вещь и пр., то обновленный знак *выделяется произвольно* и *утилитарно*; он *не способен к самостоятельному выражению или отражению*; приобретает *тождество только в процедуре воздействия* на адресата, организуемой смыслопорождающим коммуникантом; становится *чем-то* только в составе коммуникативного действия. Подобно тому единообразные строительные блоки сами по себе не могут быть арками или нишами, пока не окажутся встроенными в общий замысел и план возводимого здания. Если нет конкретного действия (со своим деятелем, мыслимым объектом воздействия, мыслимыми обстоятельствами и пр.), то нет и знака. Иными словами, в отличие от нарративности (отражательности) и статичности платоновского знака, обновленный знак (в т.ч. лингвистический) всецело акционален, коммуникативен и динамичен. В свою очередь, индивидуальное сознание (когнитивный процесс) – ак-

тивно и свободно от диктата статического элементарного мира платоновских имен-идей-сущностей.

Ввиду того, что значение лингвистического элемента (атома, единицы) создается позицией наблюдателя-носителя сознания, т.е. адресанта, и/или адресата, и/или вторичного интерпретатора, сама собой напрашивается параллель с квантовой теорией, отводящей похожую роль сознанию, которое, с появлением этой теории, неожиданно актуализовалось в строго объективном физическом мире, на пути исследователей от одного «неделимого» к «еще более неделимому», в хранилище строительных блоков мироздания. Вероятно, для обоих случаев (как для условного микро-мира, так и для условного вербального процесса) речь идет не только о внешнем, но и сущностном сходстве. В сравнении с той зависимостью от наблюдателя, которую констатирует квантовая механика, зависимость поведения лингвистических «атомов» от индивидуального сознания еще более осязаема и еще более доступна невооруженному глазу.

Комментарии

И.В. Журавлев

Трудно поспорить с тем, что слова «сами по себе», взятые в отрыве от коммуникативной ситуации, мало что значат: об этом, как говорится, знал еще Шалтай-болтай.

Но мы чуточку поспорим.

Итак: можно ли признать за средствами коммуникации собственные «валентности» (смыслы, свойства и пр.)? Не являются ли фишки, взятые вне процесса игры, пустыми безделушками, которые при случае можно использовать в каких угодно целях? Казалось бы, с этим можно согласиться. Действительно: шахматный ферзь вне шахматной игры ферзем вовсе не является. Более того: и в самой партии, на доске, ферзь *как материальный объект* не обладает тождественным «значением». Игроки могут использовать ферзя вместо потерянного слона или короля, просто помня, что данная фигура – слон или король. Тождественного «значения» у ферзя нет также и потому, что вместо него можно поставить на доску катушку от ниток или вообще любой другой предмет. Но, продолжая так рассуждать дальше, мы вдруг обнаруживаем, что играть в шахматы можно вообще без фигур и даже без доски (в уме). Куда же девается в этом случае наш несчастный ферзь с его претензиями на самотождественность? Он что, исчез?

А вот и нет.

Сравним ферзя со словом, знаком. Знак – это такой объект, в котором «материальное» бытие поглощено бытием функциональным. Ферзь остается ферзем вне зависимости от того, сделан ли он из дерева или пластмассы, нарисован ли он на бумажке или просто представлен игроком «в уме». И – далее – он остается ферзем вне любой конкретной партии. Он существует до тех пор, пока существует шахматная игра. «Субстанцией» ферзя является не материя, из которой он сделан, но также и не мысль о ферзе или его свойствах в голове шахматиста. Ни позиция вульгарного материализма, ни позиция субъективного идеализма не позволяют ответить на вопрос о том, «где» существует ферзь. Вульгарный материализм «ищет» ферзя если и не в материи физического объекта, именуемого ферзем, то во всяком случае в материи мозга игрока. А поскольку ни там, ни там найти ферзя не удается, логично объявить, что он в принципе не существует… Точно так же элиминирует ферзя и субъективный идеализм: полагая мышление/восприятие гарантом существования (*esse est percipi*), субъективный идеализм «видит» ферзя лишь до тех пор, пока

ферзь мыслится конкретным игроком в конкретной партии. Но если мы утверждаем, что шахматы существуют лишь в то время, когда идет игра, то мы оказываемся в ловушке крайнего солипсизма, который не снился даже епископу Беркли. Тут-то и возникает вопрос, как ферзя из вчерашней игры «перенести» в сегодняшнюю, не потеряв его по дороге… Почему слово, произнесенное и понятое вчера, может быть произнесено и понято сегодня? Как не потерять тождество слова, лишая его собственной онтологии?

Тут кроется и более глубокая методологическая проблема. Когда мы мыслим фишки как «материальные» объекты, а игру – как мыслительный процесс, мы вольно или невольно делим мир на две субстанции (физическую и психическую), которые взаимодействовать никак не могут, но мистическим образом всё равно взаимодействуют. Это знаменитая *психофизическая проблема*, путь решения которой для любого исследователя, ее обнаруживающего, может быть только один: гипостазировать одну из субстанций и признать «вторичной» (или вовсе не существующей) другую. Есть мысль, а есть слово. Есть игра, а есть фишка. Есть знак как материальный объект, а есть его «значение» в голове коммуниканта. Если мы так «разрезаем» мир на психическое и физическое, то – будем уверены! – психофизическая проблема с нетерпением ждет нас в свои объятия.

Исследователь, «разрезающий» мир на «психику» и «физику», подобен канатоходцу, который непременно упадет, вот только пока неясно, в какую сторону. Долго занимать позицию дуализма нельзя: рано или поздно ты все-таки «снимешь неопределенность» и склонишься в сторону ложного монизма. Но ложный монизм не является решением психофизической проблемы. Если мы ее уже сформулировали, то решить мы ее никак не сможем. *Монизм должен быть принципом, из которого мы исходим вначале, а не миражом, который грезится нам в конце*. «Действительная противоположность», как говорил А.Н. Леонтьев, есть противоположность образа и процесса, а не противоположность сознания и физического мира. Эта идея А.Н. Леонтьева, снимающая психофизическую проблему, и должна лежать в основе формирования теоретических представлений о сущности знака и знаковой (семиотической) деятельности. С этой фундаментальной идеей согласуются положения об *опредмечивании и распредмечивании* (Г.С. Батищев), *«двойной жизни значений»* (А.Н. Леонтьев) и *объективности идеального* (Э.В. Ильенков).

Комментарии

Г.В. Дьяченко

«Ключевым элементом этой спонтанной архаичной модели, описывающей естественный вербальный процесс, является *слово,* или *имя* (часто смешиваемое в русской традиции с «логосом», что происходит, по-видимому, не без той роли, которую сыграл вводящий в заблуждение перевод канонического текста Ин 1:1 «В начале было *Слово*»)». – Скорее всего, это мы спустя тысячу лет стали понимать термин «слово» по-другому, чем это было во времена переводчиков Евангелия от Иоанна святых Кирилла и Мефодия. Для греческого Λόγος они выбрали именно славянское «Слово», а не, например, «Имя». Если обратиться к греческой традиции объяснения этого имени для Второго Лица Пресвятой Троицы, то можно увидеть, что святые отцы подчёркивали в данном именовании как раз умную природу Слова, то есть Его единосущие с Умом-Отцом. У свт. Василия Великого читаем: «Почему Слово (Λόγος)? Чтобы показано было, что произошел из Ума (ἐκ τοῦ νοῦ). Почему Слово? Потому что рожден бесстрастно. Почему Слово? Потому что Сын – образ Родившегося, всецело показывающий в Себе Родившего, ничего не отделивший от Него, и Сам в Себе совершенный, как наше слово изображает собою целое наше понятие. <...> Ибо и наше слово – порождение ума, рождаемое бесстрастно; оно не отсекается, не отделяется, не истекает, но всецелый ум, пребывая в собственном своем составе, производит всецелое и совершенное слово; и происшедшее слово заключает в себе всю силу породившего ума»[1]. Подобно и у свт. Григория Нисского: «Как о своем слове (τὸν λόγον) говорим, что оно от ума (ἐκ τοῦ νοῦ), несовершенно одно и то же с умом и не вовсе иное с ним; поелику оно от ума, – то есть нечто иное, а не ум; а поелику приводит в обнаружение самый ум, то не может быть представляемо инаковым от ума, напротив того, будучи одно с ним по естеству, инаково в подлежащем: так и Слово Божие по самостоятельности Своей отличается от Того, от Кого имеет ипостась; а поелику показывает в Себе то же, что усматривается в Боге, то по естеству есть одно и то же с Ним, находимым по тем же самым признакам»[2]. Таким образом, очевидно умно-телесное, или, в современных терминах, когнитивно-вербальное, понимание *слова* святыми отцами Церкви. Такое именно понимание *слова*

1. Василий Великий, свт. Беседа 16. На слова: *В начале бе Слово* (Ин 1:1) 4 // Василий Великий, свт., архиеп. Кесарии Каппадокийской. Творения: В 2 т. М.: Сибирская Благозвонница, 2008. Т. 1: Догматико-полемические творения. Экзегетические сочинения. Беседы. 1136 с. (Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе; т. 3). С. 1015-1016. PG 31:477-480.

2. Большое огласительное слово (Oratio catechetica magna) 1 // TCO, T. 40 (Ч. 4). С. 8-9; PG 45:16; GNO, 3.4:11.12-22. Согласно замечанию А.И. Сидорова, «обозначение Отца как “Ума” (соответственно обозначению Сына как “Логоса” – то есть и Слова, и Разума) было широко распространено в святоотеческом богословии (особенно александрийского направления), начиная с Климента Александрийского. Примеры см.: *Lampe G. W. H.* A Patristic Greek Lexicon. Oxford, 1978. P. 926» [Творения преподобного Максима Исповедника. Кн. II. Вопросоответы к Фалассию. Ч. 1. Вопросы I-LV / Пер. с др.-греч. и ком. С. Л. Епифановича, А. И. Сидорова. М.: «Мартис», 1993. Прим. 13 на с. 202].

как когнитивно-вербального единства вместе с византийским Православием наследуется и русской традицией богословия. В церковнославянском переводе Библии для греческого λόγος термин «слово» принят последовательно и единообразно (см. в Псалтири: *не суть речи, ниже словеса (λόγοι), ихже не слышатся гласи их* (Пс 18:4); *и отвещаю поношающим ми слово (λόγον), яко уповах на словеса (λόγους) Твоя* (Пс 118:42); *не уклони сердце мое в словеса (λόγους) лукавствия* (Пс 140:4); *за словеса (λόγους) устен Твоих аз сохраних пути жестоки* (Пс 16:4) и т. д.). Церковнославянский библейский текст составил затем основу русского богослужения и послужил образцом для перевода на русский язык творений святых отцов Церкви, а всё это в совокупности задало понятийно-терминологическую традицию русского богословия. Поэтому, на наш взгляд, не совсем верно говорить, что перевод канонического текста Ин 1:1 как «В начале было *Слово*» «вводит в заблуждение». Скорее, этот перевод обличает наш отход – отход не только обывателей, но и представителей академической лингвистики – от традиционного когнитивно-вербального понимания *слова* и сведение его только к звуко-буквенному факту. Исправив данное «имяславское» понимание *слова*, мы как раз-таки возвратимся к традиции христианской гуманитарной мысли. Понятие *коммуникативного действия*, разрабатываемое А. В. Вдовиченко, является удачным примером такого отхода от объективирующего понимания *слова*. *Коммуникативное действие*, также трактуемое как когнитивно-вербальное единство, по существу совпадает с понятием *слова* в святоотеческом богословии. Эти два термина – *слово (λόγος) и коммуникативное действие* – можно запараллелить. И проложить тем самым мост от богословия к лингвистике и из лингвистики в богословие.

2.2. Проблема тождества субъекта коммуникации (И.В. Журавлев)[1]

1. Данная глава представляет собой существенно дополненный и переработанный текст публикации: *Журавлев И.В.* Философские проблемы современной психолингвистики и психологической теории деятельности // Язык и сознание: психолингвистические аспекты. Сборник статей / Под ред. Н.В. Уфимцевой, Т.Н. Ушаковой. М. – Калуга: Издательство «Эйдос», 2009. С. 32–41.

В статье обсуждается ряд фундаментальных проблем психологической теории деятельности и теории речевой деятельности. Рассматривается возможность построения неклассической онтологии субъекта деятельности и коммуникации. Обсуждается вопрос о тождественности (говорящего) субъекта, с необходимостью оказывающегося расщепленным в любом акте высказывания (или в любом акте деятельности). Демонстрируется, что сознательный акт всегда есть акт нашего «невозвращения» к самим себе и в то же время обретения себя в других.

В качестве центрального различения, задающего композиционные ходы любой неклассической теории субъективности, рассматривается различение существования (уровень событий, происходящих «здесь и сейчас») и содержания (уровень предметов). В связи с этим анализируется понятие феноменальной ткани сознания и отношение между феноменальной тканью и значением, а также введенное А.Н. Леонтьевым противопоставление «образ – процесс».

Кроме того, в статье обосновывается идея о многоуровневости системы средств категоризации (или моделирования) объекта в сознании. Средствами, о которых идет речь, являются сенсомоторные схемы, предметные и вербальные значения, образ мира, язык, система «профанных» знаний, система научных знаний и т.д. С привлечением примеров из области психологии, патопсихологии, семиотики, искусствоведения демонстрируется возможность описать отношение между образом и процессом на разных уровнях сознания. Отмечается, что форма активности, задаваемая тем или иным средством сознания, выступает в качестве правила, которому подчиняется движение средств низшего уровня (как форма предмета, ощупываемого рукой, подчиняет себе движения руки).

> Акт понимания людьми друг друга нельзя представить как передачу посредством внешних знаковых и логических средств сформулированного сообщения. Если не произошла иная передача, которая является условием, предпосылкой возможности первой, знаково-логической, то ничего не произойдет.
>
> *М. Мамардашвили*[2].

2. *Мамардашвили М.К.* Эстетика мышления. М.: Московская школа политических исследований, 2000. С. 408.

1. Проблема субъекта является одной из ключевых, фундаментальных проблем современной науки. Эта проблема имеет длительную историю изучения (в философии, психологии, культурологии, лингвистике), но представляется особенно ак-

туальной в последнее время в связи с различными процессами, происходящими в современном обществе и в современном мире (кризис национальных идентичностей, разграничение «своего» и «чужого» в самых разных областях человеческой деятельности и коммуникации, определение роли и статуса человека как субъекта деятельности, целый пласт этических проблем, связанных с определением границ ответственности человека за собственные деяния и мн. др.). Именно поэтому по данной проблеме публиковалось и публикуется огромное количество исследований, авторы которых придерживаются зачастую диаметрально противоположных онтологий субъективности. В общих чертах можно различить классическую онтологию субъекта, восходящую к философии Декарта и Канта, неклассические концепции субъективности (провозгласившие децентрацию субъекта, его непрозрачность, «смерть» либо расщепленность и т.д.), а также концепции современных авторов, представляющие собой попытки «воскрешения» субъекта в различных сферах познания и деятельности.

Категория субъекта выступает в современном знании и как философская, и как общенаучная, и как конкретно-научная категория. Она имеет свое особое содержание в целом ряде наук, включая лингвистику, психологию и психолингвистику. Парадоксальным, однако, является то, что в психолингвистике категория эта присутствует скорее имплицитно, не будучи раскрытой средствами философско-методологического анализа. Часто в работах по психолингвистике свободно используются и функционируют как взаимозаменяемые понятия «субъект», «человек», «индивид», «личность» и т.д., что является методологической ошибкой.

Лингвистику, в той мере, в какой она вообще замечала проблему субъекта, интересовал прежде всего субъект общения, «говорящий субъект», субъект как носитель языка, как человек, овладевающий языком, изучающий иностранный язык, продуцирующий и понимающий речь, а также проявляющий себя в речи, говорящий о себе в первом лице и т.д. Этот субъект как таковой (говорящий, пишущий, понимающий речь) оказывается для лингвистики предельным понятием, его статус, его онтологию невозможно проблематизировать, как, например, ассоциативная психология не может проблематизировать статус ощущений как некоей «первичной» реальности. Поэтому лингвистический взгляд на субъекта может обнаружить его как данность, но *проблемы субъекта* при этом может и не увидеть.

Эту проблему, однако, достаточно легко обнаружить, как только мы обратимся не к языку и не к речи как таковой, а к коммуникативным ситуациям, к условиям, в которых производится речь (так, в частности, поступили представители французской школы анализа дискурса). Например, анализ ошибочных действий, оговорок, случаев «неправильного» понимания и т.п. может указывать на «расщепленность» говорящего субъекта, на недоступность его сознательному контролю целого ряда процессов, участвующих в построении речевой цепочки (вплоть до полной недоступности субъекту смысла произнесенной им фразы). Анализ речи людей с психическими заболеваниями, как и анализ ряда болезненных симптомов (таких, как вербальный галлюциноз), демонстрирует еще более яркие примеры нарушения *субъективности* речи, отрыва речевой цепочки от субъекта или даже тотального исчезновения субъекта при относительной сохранности и связности речи, которая продолжает продуцироваться (кем?). Ключевым для лингвистики (и психолингвистики) в данном случае оказывается вопрос о том, как связаны, *как соединяются онтология субъекта и онтология речи*, ибо, как свидетельствуют по крайней мере примеры из области патологии, связку «речь – субъект» мы не можем рассматривать как априорную данность; правило «если есть речь – значит, есть и говорящий субъект» выполняется лишь на ограниченном материале и сталкивается с огромным числом «исключений». Эта проблема – *связь онтологии субъекта и онтологии речи* – представляется нам фундаментальной проблемой современной психолингвистики.

2. Современная философия науки прежде всего различает картезианскую и антикартезианскую парадигмы субъективности. Отечественная психолингвистика развивалась в русле антикартезианской парадигмы, что подчеркивал А.А. Леонтьев, уделявший особое внимание концепции субъект-объектного пространства как концепции, определяющей методологию психологической теории деятельности и теории речевой деятельности.

В работах западных (в основном французских) авторов разрабатывались проблемы субъективности в языке и онтологии говорящего субъекта. Основная проблема исследований этого направления заключается в принципиальной невозможности перекинуть мост от форм или маркеров субъективности, выявляемых в речи, к субъекту речи (коммуникации, общения), который ока-

зывается принципиально недостижимым для средств лингвистического анализа. Крайнее заострение этой проблемы – признание «смерти автора». Невидимый, недоступный для лингвистического анализа субъект здесь аналогичен «невидимому миру» (миру вне языка) В. фон Гумбольдта или «структурированному как язык» бессознательному Ж. Лакана.

Для решения подобных проблем и придания положительного смысла категории субъекта следует возвратиться к методологическим принципам антипсихологизма и онтоцентризма. Как уже указывалось, во многих исследованиях проводится ошибочное (пусть даже явно не декларируемое) отождествление субъекта с человеком, личностью, психикой и даже мозгом. Тем самым перечеркивается традиция исследований субъективности, восходящая к классическим работам Канта, Гегеля, Гумбольдта, позднее – Гуссерля, Шпета и многих других ученых, следовавших строгому *различению эмпирического и трансцендентального субъекта*: с первым может иметь дело наивная психология, со вторым – строгая наука, будь то философия, логика или лингвистика. Говоря об антипсихологизме, мы имеем в виду не отказ от психологии или психологических моделей субъективности и идентичности, а *отказ от наивно-психологического отождествления субъекта с человеком* (психикой, мозгом). Можно говорить о познающем субъекте, субъекте деятельности, субъекте говорящем, имея в виду соответствующую систему научных категорий или моделей и исследуя при этом (в духе традиции трансцендентализма) *условия возможности* познания, деятельности, говорения. Соответственно, субстанцию изучаемых процессов (таких, как говорение) следует искать не в индивидуальной голове (психике, мозге), а в условиях бытия, т.е. в онтологии субъекта (онтоцентризм).

Реализация данных принципов позволяет *подойти к субъекту как к субъекту деятельности и снять заложенные в классических теориях субъективности антиномии* «присвоение – отчуждение», «индивид – общество», «Я – Другой».

3. Вернемся теперь к словам М.К. Мамардашвили, приведенным нами в качестве эпиграфа. Что это за «иная передача», являющаяся условием знаково-логической? Очевидно, что М.К. Мамардашвили имел в виду отнюдь не коммуникацию при помощи невербальных средств. Но тогда что? Чтобы попытаться ответить на этот вопрос, необходимо проблематизировать ряд

положений и понятий, формирующих теоретико-методологический облик нашей науки.

Обратимся прежде всего к формулировке предмета психолингвистики, предложенной А.А. Леонтьевым: *предметом психолингвистики является соотношение личности со структурой и функциями речевой деятельности, с одной стороны, и языком как главной «образующей» образа мира, с другой*[1]. Нетрудно увидеть в этом определении конкретизацию идеи А.Н. Леонтьева о трех моментах, образующих предмет психологии:

«Психологическая наука *целиком* охватывается тремя взаимосвязанными и переходящими одна в другую проблемами:

I. Психология *образа* (*все* когнитивные процессы, включая внимание *etc.*).

II. Психология *деятельности* (*всех* видов и форм, включая общение, эстетическую деятельность).

III. Психология *личности* (индивид – личность, плюс дифференциальная психология личности)»[2].

Или, более «просто»: «…психология имеет своим предметом деятельность субъекта по отношению к действительности, опосредствованную отображением этой действительности»[3].

Такое видение предмета (и психолингвистики, и психологии) основывается на *принципе монизма*, хотя в случае психолингвистики монистическое понимание ее предмета не столь очевидно, как в случае психологии (хотя бы потому, что в некоторых современных психолингвистических исследованиях воскрешается психофизическая проблема). Именно принцип монизма, реализованный в философии Спинозы, Гегеля, Маркса, стал методологическим принципом неклассической психологии, сущностная черта которой – отказ от картезианского противопоставления двух субстанций, мыслящей и протяженной, и, соответственно, отказ от попыток описания «чудесного» взаимодействия между ними. Согласно А.Н. Леонтьеву, «действительная противоположность есть противоположность образа и процесса, безразлично внутреннего или внешнего, а вовсе не противоположность сознания, как внутреннего, предметному миру, как внешнему»[4]. Кстати, сказано это было в 1930-е годы, т.е. задолго до появления знаменитых статей Э.В. Ильенкова об идеальном (напомню, что, по Ильенкову, идеальное существует исключительно «во встречном движении» формы вещи и формы деятельности)[5]. Итак, *противоположение «образ – процесс»* легло в основу определения предмета как психологии деятельности, так и отечественной психолингвистики.

1. *Леонтьев А.А.* Основы психолингвистики. М.: Смысл, 1997. С. 19.
2. *Леонтьев А.Н.* К психологии образа // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 1986. С. 75-76.
3. *Леонтьев А.Н.* Философия психологии. Из научного наследия. М.: Издательство Московского университета, 1994. С. 163.
4. *Леонтьев А.Н.* Становление психологии деятельности: Ранние работы. М.: Смысл, 2003. С. 368.
5. *Ильенков Э.В.* Идеальное // Философская энциклопедия. Т. 2. М.: Издательство «Большая Советская Энциклопедия», 1962. С. 219-227.

4. Вопрос, однако, в том, насколько последовательно в теории деятельности (в т.ч. в теории речевой деятельности) может быть реализован принцип монизма. И, в частности, вопрос в том, каким образом теории деятельности удается (или не удается) *удержать понятие субъекта*, которое в ряде других не- и постнеклассических теорий закономерно подверглось деконструкции.

Согласно А.Н. Леонтьеву, «категория деятельности открывается... в своей действительной полноте в качестве объемлющей оба полюса: и полюс объекта, и полюс субъекта»[1]. В этой идее таится возможность двоякого противоречия:

1) сознание (субъект) рождается в деятельности, но – деятельность осуществляется сознательным субъектом (аналогично у Гегеля: круг цель–действие).

2) источником или «афферентатором» деятельности является предмет (здесь лучше сказать – объект), – но, опять-таки, деятельность осуществляется сознательным субъектом.

Субъект как бы расщепляется: некий «телесный, материальный субъект»[2], т.е. индивид, «вступает в практические контакты с предметным миром»[3] и становится субъектом деятельности.

Объект тоже расщепляется: объект, будучи потенциальной деятельностью, т.е. ее источником, в самой деятельности становится ее предметом. Здесь у А.Н. Леонтьева возникает несколько странная, но очень точная формулировка: «*Не восприятие полагает себя в предмете, а предмет – через деятельность – полагает себя в образе*»[4].

В этой трансформированной модели взаимодействия субъекта и объекта, между которыми «встраивается» деятельность, некоторые исследователи видели скрытый дуализм[5]: действительно, может создаться впечатление, что от классического противопоставления субъекта и объекта избавиться достаточно сложно. Однако «решающей» в этом вопросе все же должна быть идея А.Н. Леонтьева (восходящая к Гегелю и Спинозе) о том, что функция образа есть самоотражение мира[6]. Это – монизм чистейшей воды. Но каким тогда оказывается онтологический статус действующего субъекта?

5. Задавая вопрос о субъекте, в первую очередь обычно имеют в виду необходимость выяснить, что же является гарантом его субъектности, его *тождественности* (идентичности). Нетрудно увидеть, что такая постановка вопроса есть наследие

1. *Леонтьев А.Н.* Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1975. С. 159.

2. *Леонтьев А.Н.* Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1975. С. 81.

3. *Леонтьев А.Н.* Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1975. С. 109.

4. *Леонтьев А.Н.* Психология образа // Вестник МГУ. Серия 14. Психология. 1979. №2. С. 11.

5. *Вересов Н.Н.* Выготский, Ильенков, Мамардашвили: опыты теоретической рефлексии и монизм в психологии // Вопросы философии. 2000. №12.

6. *Леонтьев А.Н.* К психологии образа // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 1986. №3. С. 73.

7.

классики. Однако используя классические критерии субъектности (активность, единство, идентичность и т.д.), мы найдем (либо не найдем) именно классического субъекта, необходимо противополагаемого классическому объекту. Можно ли задать вопрос о субъекте как-то иначе, сохранив при этом представление о нем как о субъекте деятельности?

Здесь нет необходимости подробно говорить о «смерти» субъекта, случившейся в минувшем столетии, или, наоборот, о попытках его «воскрешения». Приведем только слова французского философа и социолога А. Турена, в которых четко обозначена возможная стратегия «воскрешения» субъекта: «…главное заключается в необходимости заново определить субъекта, ориентируясь при этом не столько на его способность господствовать над миром и трансформировать его, сколько на дистанцию, которую он занимает по отношению к самой этой способности и к приводящим ее в действие аппаратам и дискурсам»[1]. Здесь и возникает расщепленный или децентрированный субъект, здесь завязывается интрига, здесь обретает смысл вопрос Ницше и Лакана: «Кто говорит?» (варианты ответов – бессознательное, язык, культура, Я, собеседник, другой и т.д.). Важно правильно понять, что это за дистанция, отделяющая субъекта от него же самого. Должен ли расщепленный субъект оставаться тождественным?

1. *Турен А.* Возвращение человека действующего. М.: Научный мир, 1998. С. 10.

Проблема тождества, казалось бы, имеет отношение к психолингвистике лишь постольку, поскольку психолингвистику интересуют процессы синтаксиса (план соотнесения высказывания с самим собой). Но проблема состоит не столько в том, как субъект «приплюсовывает» одну единицу к другой, располагая их в цепочку (синтаксис, т.е. тождество объекта=речи), сколько в том, как субъект, действуя, «приплюсовывается» к самому себе, остается равным себе (*идентичность*). Тождество субъекта – вещь далеко не очевидная, и даже тождество действия, которое он выполняет, еще не гарантирует тождества (и существования) его самого. Ибо, как демонстрирует ряд исследователей, любое действие (требующее мотива или интенции) в принципе может быть редуцировано к событию (для которого достаточно причины, а не мотива)[2]. «Я делаю то, что происходит»[3]. Во всяком случае, основания для приписывания действия кому-либо являются предметом философских дискуссий[4].

2. *Davidson D.* Essays no actions and events. Oxford: Clarendon Press, 1980.

3. *Anscombe E.* Intention. Basil Blackwell, 1979.

4. См.: *Вригт Г.Х.* Объяснение и понимание действий // Логос. 2001. №2. С. 123-140; *Рикер П.* Я-сам как другой. М.: Издательство гуманитарной литературы, 2008.

Когда мы говорим, мы, как заметил П. Рикер, осуществляем «надписывание» феноменального *теперь–здесь–я* над космо-

логическим (публичным) *временем–местом–именем*, получая *датированное* «теперь», *локализованное* «здесь» и *названное* «я»[1]. Есть правила этой процедуры, которые либо выполняются, либо нет, но мы никогда не сможем узнать, не могли ли бы они быть совсем другими. Как ни странно, для нас это не имеет принципиального значения – ибо дело не в том, какие они, а в том, что они есть. Проблема тождества, поэтому, может быть увидена как *проблема правил*. Принципиально важно, что такое понимание тождества избавляет нас от необходимости выводить его из субстанции: тождественное в нас – это не субстанция, это не «нечто постоянное», к которому отсылает слово «Я» (идея субстанциальности Я ушла со сцены более ста лет назад). Если, как сказал Э. Бенвенист, «тот есть “ego”, кто говорит “ego”»[2], то тождество “ego” обеспечивается не субстанцией “ego”, а, скорее, правилами употребления данного слова.

1. *Рикер П.* Я-сам как другой. М.: Издательство гуманитарной литературы, 2008. С. 74-75.

2. *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974. С. 293.

Эта парадоксальная идея восходит к Канту с его понятием трансцендентального субъекта (фактически, совокупность форм синтеза – это и есть система правил). Кстати, именно так Кант и прочитывается структурализмом. Идея очень проста: все мы «приплюсовываем» себя к самим себе в акте апперцепции, и этот акт выполняется постоянно и «каждый раз заново» (М.К. Мамардашвили). Он должен выполняться даже в том случае, если мгновение назад мы не существовали (представим, что Господь нас создал только что вместе со всей нашей памятью, вместе с нашей апперцепцией, с багажом прошлого и интенциями в будущее). Субъект есть тогда, когда выполняется правило синтеза; тождество субъекта есть внеопытный принцип: оно дано *a priori*. Но *как ввести субъекта с его априорным тождеством*, если, как мы уже показали, тождественность выполняемого им (или приписываемого ему) действия еще не гарантирует тождественности (и существования) его самого? Как задать его онтологию, оставаясь в рамках монистической логики и понимая субъекта как субъекта деятельности? И останется ли субъект тождественным, если он будет (закономерным образом) расщеплен, децентрирован в самом акте своей деятельности?

Предварительный ответ на эти вопросы может звучать следующим образом: *в момент, когда совершается действие согласно правилу, субъект этого действия является тождественным*. Это утверждение в определенном смысле является тавтологией: тождество субъекта определяется через тождество

действия, тождество действия – через тождество правила, а где искать тождество правила, как не в тождестве действующего субъекта? Разрубить эту тавтологию, не ссылаясь на идею предустановленной гармонии, можно лишь путем последовательной *абстракции бытийного уровня в сознании*.

6. В западной философии проблема тождества расщепленного субъекта решалась как *проблема различия* (тождественное есть иное)[1]. (Ср. в связи с этим «дистанцию», о которой писал А. Турен.) Мы полагаем, что леонтьевская идея о противоположности образа и процесса была призвана решить те же проблемы, т.е. может быть интерпретирована как идея различия. Вариациями этой идеи в отечественной философии и психологии являются противоположения феномена и явления[2], бытийного и рефлексивного слоев сознания[3], пространства событий и пространства предметов[4]. Чтобы проиллюстрировать идею различия, снова обратимся к М.К. Мамардашвили, в полной мере осознавшему ее, по-видимому, не без посредства любимых им французских интерпретаторов Гегеля.

Речь у Мамардашвили шла о том, чтобы акты извлечения знания рассмотреть как события в самом мире, иначе говоря – о необходимости *различать знание как событие и знание как объективированное содержание*, или отличать то, что «в действительности произошло», от знания о действительности, которое обладает характеристиками воспроизводимости и «включенности в цепь сообщения». С этим связано, по Мамардашвили, различие между «феноменом» и «явлением». Феномен – это «то обладающее чувственной тканью образование сознания, которое выступает в объективирующем расщеплении ментального понимательного сочленения и от бытия в котором мы не можем сместиться к представлению (как психическому объекту), содержащемуся в этом сращении и соотнесенному с предметными референтами, доступными и внешнему (или абсолютному) наблюдателю»[5]. Чтобы найти «действительно» испытанное, найти «собственную опытную реальность деятельности и сознания», нужно провести феноменологическую редукцию, «сдвинуться» на существование от содержания, «отцепить» эту реальность от «узнающих ее ментальных состояний». Так проясняется смысл феноменологической редукции: «найти непосредственное, но путем срезания или приостанавливания связей, ассоциаций и готовых проложенных

1. См.: *Декомб В.* Современная французская философия. М.: Издательство «Весь Мир», 2000.
2. *Мамардашвили М.К.* Классический и неклассический идеалы рациональности. М.: Издательство «Логос», 2004.
3. *Зинченко В.П.* Проблема «образующих» сознания в деятельностной теории психики // Вестник МГУ. Серия 14, Психология. 1988. Т.3. С. 25-34.
4. *Леонтьев А.А.* Деятельный ум. М.: Смысл, 2001.
5. *Мамардашвили М.К.* Классический и неклассический идеалы рациональности. М.: Издательство «Логос», 2004. С. 39.

дорожек, которые лежат в более высоком или надстроившемся слое сознания и по которым нижний автоматически, привычно приходит в движение»[1]. Если выразить это несколько иначе, то задача редукции – «это как раз задача *восстановления* по отношению к тому, что редуцировалось включением в цепь сообщения тогда же, когда произошло: все, что происходит в человеческой реальности, происходит, рефлексировавшись в себе и со-общившись по всей связи сознательных существ как таковых»[2].

В этом заключается суть проясняемой идеи, которую сам Мамардашвили связывал с гегелевским понятием «являющегося знания». Мы процитируем несколько фраз, в которых Гегель демонстрирует возникновение предмета в сознании. «Сознание знает *нечто*, этот предмет есть сущность или *в-себе*[-бытие]; но он и для сознания *в-себе*[-бытие]; тем самым выступает двусмысленность этого истинного. Мы видим, что у сознания теперь два предмета: один – первое «в себе», второй – *бытие этого «в себе» для сознания*. Второй предмет кажется прежде всего только рефлексией сознания в самого себя, процессом представления – не некоторого предмета, а только знания сознания о том первом предмете. Однако, как уже было указано, для сознания при этом изменяется первый предмет: он перестает быть *в-себе*[-бытием] и становится для него таким, который составляет *в-себе*[-бытие] только для него; но тем самым это есть тогда *бытие этого «в себе» для сознания*, истинное, а это значит, что оно есть *сущность* или *предмет* сознания. <…> новый предмет возник благодаря *обращению* (Umkehrung) самого сознания. <…> *возникновение* нового предмета, который предстает перед сознанием, не знающим, как это происходит, есть то, что совершается для нас как бы за спиной сознания»[3].

Итак, есть феномен как нечто непосредственное, нечто «действительно испытанное», а есть – явление, т.е. тот же феномен, но – смоделированный для воспроизведения в сообщении. Однако Мамардашвили, который, как он сам говорил, «энергично отталкивался» от Гегеля, не мог не понимать, что *ничего непосредственного не существует*. Возникает видимость круга: нечто вводится до того, как быть обоснованным своими же следствиями. У Мамардашвили при первом приближении можно увидеть достаточно много таких кругов: например, чтобы произошло понимание, нужно, чтобы оно *уже* было, и т.д. (на самом же деле, конечно, никаких кругов тут нет – они появляются лишь в случае, если мы лишаем сознание *жизни*).

1. *Мамардашвили М.К.* Классический и неклассический идеалы рациональности. М.: Издательство «Логос», 2004. С. 51.
2. *Мамардашвили М.К.* Классический и неклассический идеалы рациональности. М.: Издательство «Логос», 2004. С. 34.
3. *Гегель Г.В.Ф.* Феноменология духа. М.: Наука, 2000. С. 52-53.

Вот как эта же проблема звучит применительно к теории коммуникации: «актуально данное» единичное, подлежащее сообщению, перестает быть самим собой, как только становится предметом сообщения (другим и себе как другому). Подлежит сообщению то, что единично (поскольку общее нет нужды сообщать), но сообщается уже не то, что подлежало сообщению, и, более того, мы в акте сообщения никогда не возвращаемся к самим себе, к нашим актуальным состояниям. Мысль изреченная есть ложь… Парадокс состоит в том, что вне акта сообщения мы ничего подлежащего сообщению не найдем, да и самих себя вне этого акта мы тоже не найдем. Ибо не только то, *что* сообщается, не является «заранее данным» готовым материалом для сообщения, но и тот, *кто* сообщает, никогда не равен самому себе.

Каков выход? Его следует искать в последовательно проведенной *абстракции бытийного уровня сознания*. Чтобы осуществить эту абстракцию, необходимо прежде всего отказаться от статического представления сознания, необходимо увидеть сознание как *подвижную живую систему*. И тем самым мы вернемся к леонтьевской идее о том, что «за» сознанием стоит жизнь: *«Исходное – жизнь»*[1] (или: «за спиной сознания», но – в нем самом, если следовать за Гегелем). Ведь если мы говорим: вот – феномен, «здесь и сейчас» пережитое, а вот – явление, «наросший» слой, образовавшийся в результате моделирования пережитого в формах сознания, то мы тут же наталкиваемся на вопрос: правомерно ли полагать, что нечто может быть данным *вне* акта моделирования, какую бы форму или какой бы уровень моделирования (или категоризации) мы ни имели в виду? Ответ на этот вопрос, конечно, должен быть отрицательным, и тогда все разговоры о «действительно пережитом» оказываются нелепицей.

1. *Леонтьев А.Н.* Становление психологии деятельности: Ранние работы. М.: Смысл, 2003. С. 368.

Но можно сказать по-другому: феномен *живет* в явлении, в акте моделирования (или – в других терминах: мысль *живет* в слове, событие *живет* в предмете). Необходимо попытаться увидеть сознание как динамичную систему, в которой различение «уровня феномена» и «уровня явления» достаточно условно, ибо феномен не *за* явлением, не *за* моделирующими образованиями: он *внутри* явления, и его можно понимать лишь как *движение в самом явлении*, обусловленное скольжением разных способов моделирования, категориального оформления друг относительно друга.

Именно при таком понимании феноменальная (чувственная/биодинамическая) ткань оказывается *моментом*, а не элементом сознания (и тогда снимается проблема ощущений как исходных элементов образа). Ведь если учесть, что образ сознания никогда не есть *ставшее*, но всегда – *становящееся*[1], что он *постоянно создается*, то и феноменальную ткань сознания тогда можно будет определить как момент *движения* средств категориального «прощупывания» мира, причем движения, взятого в отношении к его формам-«организаторам» (образ, по А.Н. Леонтьеву, отстает от процесса!). Иначе говоря, движение средств категориального «прощупывания» мира любого уровня создает чувственную базу для форм более высокого уровня; соответственно, и «манипулирование» образами сознания относится к словесной форме так же, как «работа» перцептивных схем – к форме предмета («слово есть его поиск»[2]). Так мы избавляемся от необходимости вводить в концептуальный аппарат теории сознания категорию ощущения, которая была одной из главных категорий в «ленинской теории отражения», но в современной эпистемологии практически не используется – ибо поставлены под сомнение философские предпосылки, в рамках которых понятие ощущения имело смысл[3].

7. Если иметь в виду *многоуровневость средств моделирования*, или средств категориального «прощупывания» мира, то отношение «образ–процесс» будет обнаруживаться для нас на любом из выделяемых уровней. То, в чем я не «живу», в буквальном смысле перестает для меня существовать. Например, чтобы воспринимать предмет (константно), я должен постоянно приплюсовывать его к нему самому, должен в нем «жить», производить определенную «работу» (микродвижения глаз и т.д.), «опрашивать» предмет (как говорил Т. Липпс), но образ будет инертным, он отстает от процесса (я вижу стол, а не свою «работу» по восприятию стола) – потому что предметное значение по отношению к перцептивным схемам есть модель более высокого уровня. Любая модель служит как организатор движения на низших уровнях (образ выступает как форма или правило процесса). Например, когда возникают противоречия в рамках определенной научной теории, они должны быть сняты в новой модели, которая их «покроет». Движение средств категориального «прощупывания» мира уровня научной теории создаст «феноменальную ткань» для новой теории или модели, в которой прежнее противоречие будет «жить» в качестве снятого.

1. *Леонтьев А.А.* Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психологии. М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2003. С. 263.

2. *Леонтьев А.А.* Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психологии. М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2003. С. 178.

3. *Лекторский В.А.* Эпистемология классическая и неклассическая. М.: УРСС, 2001.

Идея о многоуровневости средств моделирования (или категориального «прощупывания» мира) позволяет объяснить открытость или незавершенность сознания. Ибо далеко не все происходящее с нами находит себе модель (т.е. может быть осознано, переведено «во образ», «пред-ставлено») – отсюда идея ускользающей рефлексии и т.д. (Естественно, такое понимание сознания возможно лишь в том случае, если мы видим его как подвижную «живую» систему). Кроме того, эта идея хорошо объясняет феномены фонового и неартикулируемого знания (а в широком смысле – феномена идеологии). Ибо *любая модель (любое средство категоризации) выступает как «зонд», т.е. не объективируется, до тех пор, пока служит средством объективации (обнаружения, схватывания, организации) чего-либо другого*. Объективация «зонда» происходит тогда, когда он «не срабатывает»[1] (как в примере с научной теорией, приведенном выше), или же тогда, когда создается модель нового уровня, «обнаруживающая» для себя «чувственную ткань», конструируемую из подлежащих моделей (это так называемая «вторичная» предметность: так, например, в психопатологии можно объяснять возникновение галлюцинаций из бредовой убежденности; аналогичным образом конструируются представления в массовом сознании). Здесь же появляется возможность говорить о разных уровнях представленности в сознании самих средств категоризации, объективации, осознания (или о различных уровнях рефлексии[2]).

1. *Тхостов А.Ш.* Психология телесности. М.: Смысл, 2002.

2. См.: *Леонтьев А.А.* Деятельный ум. М.: Смысл, 2001. С. 271.

8. Абстрагируя существование от содержания, мы приходим к бытийному слою в сознании, который, парадоксальным образом, в самом сознании (в его «моделях», его категориальных структурах) найти нельзя – ведь речь идет о движении или *жизни* сознания, всегда совершающейся (напомним Гегеля) как бы за его спиной. Иначе говоря, в бытийный слой сознания нельзя просто выйти из слоя рефлексивного (отменив или срезав модели, в которых нечто было *явлено*, «включено в цепь сообщения»). Но сам этот слой правильнее называть слоем *событий*, памятуя о том, что любое извлечение опыта как событие, отличное от своего содержания, как нечто глубоко и интимно личное, есть вместе с тем и со-бытие, в котором сознательные существа жизненно, *сущностно* (а не на уровне предметно-рефлексивном!) связаны друг с другом[3].

3. См.: *Мамардашвили М.К.* Опыт физической метафизики. М.: Прогресс-Традиция, 2009. С. 40.

Что значит «сущностно связаны»? Любой сознательный акт есть акт нашего «невозвращения» к самим себе и в то же время обретения себя в других. Сообщается всегда нечто единичное, имтимно-личностное, но оно существует (как снятое) исключительно в акте сообщения и ради такого акта. *Сообщающий субъект обретает себя, свою тождественность только через различие* (тождественное есть иное). Вот поэтому (вернемся к цитате, с которой мы начали эту статью), если на уровне со-бытия или со-общности понимания нет, то и на уровне знаково-логическом ничего не произойдет…

Комментарии

А.В. Вдовиченко

Автор комментируемой статьи исходит из предпосылки, что пониматься или не пониматься может речь (которую он готов рассматривать в качестве **отдельного обособленного объекта**, например, говоря об «отрыве речевой цепочки от субъекта» или даже о «тотальном исчезновении субъекта при относительной сохранности и связности речи, которая продолжает продуцироваться (кем?)»). С точки зрения автора комментируемой статьи, есть субъект и есть речь, которая может сама быть какой-то, что-то означать (по-видимому, здесь проявляет себя именно та позиция, против которой я и выступаю: **речь рассматривается как самозначная**).

Таким образом, рассуждение автора статьи И.В.Журавлева, с моей точки зрения, изначально помещается в неточную, или ущербную, недостаточно реалистичную, систему координат.

Реалистичной выглядит иная концептуальная «система»: нет ничего более очевидного, чем то, что слова (речь) в естественных условиях всегда являются частью **субъектного коммуникативного (воз)действия, производимого кем-то**. Связь между тем, кто говорит (и вообще ведет знаковую деятельность), и тем, что говорится, разорвать нельзя, поскольку смыслообразование коммуникативного акта реализуется только в этом сопряженном состоянии.

Так, в строгом смысле нельзя говорить о том, что «данная речь» обладает какими-то свойствами («сохранностью» и «связанностью», например, как об этом говорит автор статьи), поскольку любое свойство «речи» выясняется при анализе комплексной ситуации коммуникативного действия (вспомним проведенный мною эксперимент с финалом анекдотов, где демонстрируется различие между автономным высказыванием и действием, в состав которого входит данное высказывание). Нет ничего более очевидного, чем сопряженность говоримого с тем, кто говорит (пусть даже мы не наблюдаем этот процесс непосредственно, но понимаем, что текст вне активного индивидуального сознания явиться не мог). Говорящий занят не речью, а сложной семиотической процедурой, куда «речь» входит как несамостоятельный и заведомо подчиненный, интегрируемый, компонент.

Принципиально важным в дискуссии с автором статьи (И.В. Журавлевым) я бы назвал признание того, что **слова («речь», «язык», лексемы) не могут пониматься как таковые**. **Чтобы приписать им значения, необходимо помыслить их в составе коммуникативного воздействия, осуществляемого субъектом многофакторно и комплексно**. Вербальный канал (речь, язык, слово) невозможно рассматривать в качестве тождественных обособленных объектов (как это делает автор, говоря о «сохранности речи» и пр.). Они не могут быть отделены от процедуры личного действия.

Пример 1: первая фраза комментария («Автор комментируемой статьи исходит из предпосылки, что пониматься или не пониматься может речь…»). Попробуем опереться на слова – и увидим, что у нас ничего не получится: кто говорит (пишет)? Кто такой «автор комментируемой статьи»? В чем новизна сообщения и интенция того, кто пишет эти слова, при этом не говоря, кто он такой сам? Или это тот самый «Вдовиченко», который в самом начале текста, но в данном предложении его нет? Впрочем, а может быть, нужно понять, что это за книга и ее формат, как и сам принцип организации материалов в этой книге? И пр. и пр.)

Изобличающей для автора статьи будет следующая причинно-следственная связь: если сама речь обладает качеством сохранности и связности, то на основании каких признаков можно диагностировать психическое заболевание (болезненные симптомы) людей, говорящих сохранно и связанно? Думаю, что **патологическое состояние их сознания явно не следует из связности и сохранности их речи**. Чтобы установить патологию, нужно анализировать гораздо более сложный комплекс параметров их когнитивного статуса. А это уже и есть их **семиотические (и несемиотические) поступки**, которые действительно можно понимать и оценивать, в отличие от автономных слов и конструкций, говоримых «связно и сохранно».

Пример 2: представим, что вышесказанное (от 1-го до 3-го абзаца включительно) говорит человек, который сидит перед психиатром и отвечает на заданный им вопрос: «Какие у Вас отношения в семье?». Речь (см. 1-3 абзацы комментария), как видно, вполне сохранна и связна. Но специалист вряд ли признает, что такой ответ свидетельствует об отсутствии когнитивной патологии у пациента. В чем же психиатр усмотрит патологию? Явно не в самой речи, а в целом комплексе семиотического (и/

или несемиотического) поведения, в том числе, в семиотических действиях с участием вербального канала. Если, отвечая на простой вопрос об отношениях в семье, человек повествует об отрыве субъекта от его речи, о семиотическом действии, о сохранности и связности речи, и пр., значит, он не может адекватно мыслить диспозицию коммуникации и коммуникантов, объекты, связи, интенциональность, и пр.

В том же смысле о прогрессирующей старческой деменции можно заключить, например, по несемиотическому действию, когда человек, чтобы приготовить себе яичницу, разбивает яйца на кухонный пол (реальный случай). В самом факте попадания яиц на пол нет ничего странного (ср. «сохранная речь»). Странность состоит в том, что это делает субъект, собираясь приготовить себе завтрак (ср. «комплексное действие»).

Итак, первая неточность автора статьи – **признаваемая возможность оторвать речь от субъекта и рассматривать ее в качестве обособленного объекта интерпретирования (исследования)**. Речь не может существовать и быть какой-то вне личного многофакторного семиотического процесса (в каждый из его моментов). Любая речь (письмо) – безальтернативно компонент субъектного семиотического процесса, исследуемый только как его встроенный блок.

Между тем, **отделение речи от субъекта** в структуре статьи И.В. Журавлева является **установочным, ключевым положением**, позволяющим проблематизировать субъекта, показать его нестабильность и спорность: человек может говорить «связно и сохранно», а в сознании у него в этот момент непонятно что (возможны даже патологические изменения); поэтому субъекта нет, а речь есть, отношения между ними неоднозначные. Если же мы все-таки снимаем допускаемую автором разделенность субъекта и речи, то проблема субъекта (в рамках данной статьи Журавлева) не может быть констатирована, она изначально упраздняется, исчезает как главная тема рассуждения. Остальные наблюдения и размышления автора комментируемой статьи выглядят, с моей «неотделенческой» точки зрения, несколько искусственными и непонятными.

Пример 3: Автор статьи, приведя, с его точки зрения, убедительный пример существования **связной речи вне субъекта**, подводит промежуточный итог и одновременно выстраивает всю

перспективу своего последующего рассуждения: «Ключевым для лингвистики (и психолингвистики) в данном случае оказывается вопрос о том, как связаны, *как соединяются онтология субъекта и онтология речи*, ибо, как свидетельствуют по крайней мере примеры из области патологии, связку «речь–субъект» мы не можем рассматривать как априорную данность; правило «если есть речь – значит, есть и говорящий субъект» выполняется лишь на ограниченном материале и сталкивается с огромным числом «исключений».»

Заметно, что автору статьи приходится говорить нечто **вопреки очевидному**: он пытается отделить субъекта от речи, но **ни одно высказывание не самопорождается**. За любым высказыванием всегда стоит тот, кто его производит. И это всегда **кто-то**, как бы его ни называть (субъект, индивидуальное сознание, «мозг в сосуде», говорящий, коммуникант, и пр.). Поэтому **нет никакой проблемы и вопроса** о том, «как соединяются онтология субъекта и онтология речи»: в реальности (от которой не стоит удаляться) **они всегда соединены**, и только в таком связном виде речь в принципе существует как элемент акционального смыслообразования (**другое дело**, что установить и предъявить субъекта семиотической процедуры бывает не так-то легко; но если задача состоит в том, чтобы понять смысл сказанного, то следует признавать, что вне субъекта этот смысл не рождается и не интерпретируется: действие невозможно мыслить вне актора).

Конечно, хотелось бы еще понять, что автор статьи имеет ввиду, когда говорит об «огромном числе» примеров **внесубъектной речи,** и где еще, кроме приведенных им «патологических» примеров, наблюдается **речь без говорящего**. В статье таких случаев больше не приводится, но я подозреваю, что смысл говоримого **всегда – даже в случаях патологии –** будет выстраиваться от коммуниканта как **точки отсчета** (см. статью А. Вдовиченко и Е.Ф. Тарасова, в которой вводится шкала интерпретации с двумя крайними значениями: «когнитивное состояние автора» и «никто, произвольная точка отсчета интерпретации»).

Вообще, все точки над «и» изначально расставляет **понимание речи как воздействия**. Воздействие невозможно концептуализовать вне того, кто совершает семиотическую процедуру, т.е. (воз)действующего. В концепции действия смыслообразующая речь невозможна вне субъекта. Наоборот, в различных вариациях языковых (автономно-знаковых) концепций возможно все, в том

числе смыслы вне смыслопорождения, сознание вне индивидуального сознания, личные поступки вне личности и пр.

Далее приведем несколько наиболее провокативных (вызывающих несогласие или удивление) высказываний автора статьи, передающих то, что автор является – имплицитно и эксплицитно – сторонником **самозначности знаков**.

1. «В работах западных (в основном французских) авторов разрабатывались проблемы субъективности в языке и онтологии говорящего субъекта. Основная проблема исследований этого направления заключается в принципиальной невозможности перекинуть мост от форм или маркеров субъективности, выявляемых в речи, к субъекту речи (коммуникации, общения), который оказывается принципиально недостижимым для средств лингвистического анализа. Крайнее заострение этой проблемы – признание «смерти автора».»

Заметим, что **проблематизация субъекта,** предпринимаемая в статье И.В. Журавлевым, есть по сути заявление о приеме на работу в похоронную контору Р. Барта (или даже демонстрация самого ID «Bartes's funeral service»): проблематизированный («расщепленный», «отсутствующий», «несвободный», «подсознательный» и пр.) субъект – все равно что «мертвый» субъект. Однако деловитость и решительность могильщиков при закапывании автора (проявляемая Бартом и его компатриотами и сторонниками) вызвана ошибочными наивными древними аргументами, следы которых рассеяны и в статье И.В. Журавлева. Суть этих аргументов – в однозначной **опоре на знаки текста** («языка», «письма» и пр.) при интерпретации смыслообразования (в то время как знаки лишены смыслового тождества; тождественным может быть только когнитивное состояние субъекта, на которое условно выделенные «знаки» делают непрямые «намеки»).

2. В только что приведенном отрывке из статьи И.В. Журавлева упоминается «принципиальная невозможность перекинуть мост от форм или маркеров субъективности, выявляемых в речи, к субъекту речи (коммуникации, общения)». Иными словами, будущие могильщики ищут среди знаков те, которые передавали бы характеристики субъекта, а находят лишь **одинаковые для всех знаки языка** – и никакой специфики. Такой знаково-ориентированный подход заставляет Барта в финале взяться за лопату и копать, копать, копать (см. статью «С возвращением,

автор, но где же твой текст и язык? О статике и динамике текста»[1]). В действительности от телесных знаков вообще ничего нельзя добиться. Добиться можно только от субъекта, который организует семиотическую процедуру – строит для себя шалаш смысла-воздействия из любых подручных средств. Все вопросы только к нему, а не к знаку, который автономно не существует в смыслообразующем статусе.

Еще примеры, передающие приверженность автора статьи (И.В. Журавлева) самозначному знаку:

3. Цитата А.А. Леонтьева: *«предметом психолингвистики является соотношение личности со структурой и функциями речевой деятельности, с одной стороны, и языком как главной "образующей" образа мира, с другой»*[2], в которой «языку» отводится роль создателя «образа мира» (несмотря на реальное отсутствие единства между говорящими как в сфере знания языка, так и в сфере представлений о мире, «образе мира»).

4. Автор статьи пишет: «Здесь и возникает расщепленный или децентрированный субъект, здесь завязывается интрига, здесь обретает смысл вопрос Ницше и Лакана: «Кто говорит?» (варианты ответов – бессознательное, язык, культура, Я, собеседник, другой и т.д.). Важно правильно понять, что это за дистанция, отделяющая субъекта от него же самого. Должен ли расщепленный субъект оставаться тождественным?»

Такие вопросы могут возникать только тогда, когда замечено, что «**мысль изреченная есть ложь**» (ср. другое высказывание автора статьи: «Вот как эта же проблема звучит применительно к теории коммуникации: «актуально данное» единичное, подлежащее сообщению, перестает быть самим собой, как только становится предметом сообщения (другим и себе как другому). Подлежит сообщению то, что единично (поскольку общее нет нужды сообщать), но сообщается уже не то, что подлежало сообщению, и, более того, мы в акте сообщения никогда не возвращаемся к самим себе, к нашим актуальным состояниям. Мысль изреченная есть ложь… Парадокс состоит в том, что вне акта сообщения мы ничего подлежащего сообщению не найдем, да и самих себя вне этого акта мы тоже не найдем. Ибо не только то, *что* сообщается, не является «заранее данным» готовым материалом для сообщения, но и тот, *кто* сообщает, никогда не равен самому себе»).

1. Вдовиченко А.В. С возвращением, автор, но где же твой текст и язык? О вербальных данных в статике и динамике. Часть I // Вопросы философии 2018 № 6. С. 156-167: Часть II // Вопросы философии 2018 № 7. С. 57-69.

2. *Леонтьев А.А.* Основы психолингвистики. М.: Смысл, 1997. С. 19.

Однако из различия мысли и говорения не следует расщепленность или децентрация субъекта, или факт того, что вместо субъекта говорит культура, язык, бессознательное и пр. Ложность «изреченной мысли» возникает не из видоизменений и исчезновений субъекта, а из **принципиального различия говорения и мысли**: говорение есть коммуникативное действие, в то время как мысль не является внешним действием. Она скрыта, не демонстративна и не акциональна. Она представляет собой планирование, оценку ситуации, воспоминание, обдумывание, и пр. Мыслить и говорить – два разных занятия одного и того же субъекта.

Вывод. Барт отказал субъекту в праве на жизнь, поскольку признал реальность языка и письма. Тот же путь отчасти совершает и автор статьи. Однако ни «языка» (смыслообразующего), ни «письма» (смыслообразующего) в реальности отыскать невозможно. Смыслообразование – полностью личный процесс, и других источников, кроме индивидуального сознания (ума, личности и пр.) отыскать в мыслимой вселенной невозможно. Поэтому субъект выживает и здравствует, несмотря ни на что. И остается одним из наиболее важных операциональных понятий, пригодных для построения описательной модели смыслообразующих семиотических (и несемиотических) интеракций.

2.3. Мифологические аспекты коммуникации (на примере профессионального общения) (И.В. Журавлев)[1]

1. Текст данной главы основывается на публикации: *Журавлев И.В.* Мифологические аспекты профессионального общения // Организационная психолингвистика: Электронный научный журнал. 2018. №1 (1). С. 54-71.

При построении коммуникативной модели речевого процесса необходимо учитывать существование различных видов, форм и уровней коммуникации. Одной из актуальных задач современной психолингвистики является изучение коммуникации в профессиональной среде. При этом следует понимать, что коммуникация осуществляется в разных формах и на разных уровнях: отнюдь не всё в коммуникативном процессе доступно рефлексивному взгляду и критической оценке его участников. В работе предпринят теоретический анализ мифологических аспектов профессионального общения. Обосновано понимание профессионального мифа как системы знаний и ожиданий участников профессионального сообщества, которая в момент общения не подвергается сознательной рефлексии. Проведено разграничение между категориями «профессиональный образ мира» и «профессиональный миф». Показано, что функционирование профессионального мифа можно изучать с опорой на идею А.Н. Леонтьева о диалектической противоположности образа и процесса. Хотя миф не поддается рефлексии, в ходе его усвоения необходима частичная его объективация (что и происходит при овладении профессиональным языком). В ходе педагогической деятельности происходит переход от надгруппового общения (когда представитель профессии обращается к людям, не являющимися носителями данного профессионального образа мира и профессионального мифа) к внутригрупповому (т.е. общению внутри профессиональной группы).

Введение

Разрабатывая коммуникативную модель естественного вербального процесса, исследователь неизбежно сталкивается с существованием различных видов, форм и уровней общения (коммуникации). Например, можно выделять сознательную и бессознательную коммуникацию или говорить о том, что степень рефлексии коммуникантов над передаваемыми (воспринимаемыми) сообщениями может быть различной. Исключительно сознательная, «прозрачная» коммуникация является, по-видимому, крайне редким случаем коммуникативного процесса; существенно чаще коммуниканты поддерживают и транслируют друг другу скрытые, имплицитные знания и установки, недоступные в момент коммуникации для их сознательной рефлексии. Это характерно для разных видов общения, но особенно четко проявляется

в общении представителей социальных групп, объединенных особенностями образа мира и, соответственно, особенностями мифа, которого придерживаются представители социальной группы. Так, можно говорить о специфике образа мира и общения в различных религиозных группах или политических объединениях. Особый интерес в связи с этим представляет общение в профессиональной среде.

1. Общение в профессиональной среде: аспекты рассмотрения

Общение в профессиональной среде может быть объектом различных научных дисциплин. *Социально-психологический* аспект рассмотрения данного объекта связан с выделением профессионального сообщества как социальной группы и описанием психологии группового поведения. Такое описание может ориентироваться также и на различные наработки из области групповой психотерапии (описание групповой динамики, иерархии, ролевого поведения и т.п.). В *психологии труда* рассматриваются механизмы формирования мотивации профессиональной деятельности, а также факторы, влияющие на ее организацию и динамику (включая формирование установок, навыков, личностных ориентиров, ценностей и т.п.). Кроме того, здесь же могут быть рассмотрены и условия совместной трудовой деятельности и общения в трудовом коллективе.

Можно также говорить об *экологии или гигиене* профессионального общения, т.е. о совокупности факторов, влияющих на психологическое состояние членов трудового коллектива и связанных напрямую либо косвенно с формами, стилями, стратегиями их коммуникативного поведения. Это, в свою очередь, соотносится с *этическим* аспектом рассмотрения профессионального общения, который заключается во вскрытии, описании и трансляции правил коммуникативного поведения участников коллектива, создании «этических кодексов» и т.д.

Лингвистический подход к анализу профессионального общения заключается в описании характеристик языка профессионального сообщества. *Психолингвистический* аспект проблемы может быть связан с раскрытием закономерностей восприятия и производства субъектом профессиональных текстов[1], а также с выявлением характеристик профессионального образа мира и профессионального языкового сознания. Кроме того, психолин-

1. *Мыскин С.В.* Психолингвистическая модель профессионального самоопределения личности // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 2. Языкознание. 2014. № 4 (23). С. 114-124.

гвистический подход к профессиональному общению может быть направлен на описание различных видов общения в профессиональных группах: предметом рассмотрения в данном случае может стать как деловое, так и неделовое, как формальное, так и неформальное общение в рамках трудового коллектива.

В качестве самостоятельного подхода, связанного с психолингвистическим, может быть назван подход с точки зрения *психологии влияния и управления*. Здесь можно анализировать и описывать механизмы речевого и неречевого воздействия на сознание человека, управления его поведением в различных условиях. Такое управление и воздействие может осуществляться в различных формах, приемлемых либо неприемлемых с точки зрения этики.

Мы попытаемся очертить круг теоретических и практических проблем, возникающих при рассмотрении профессионального общения как механизма формирования, поддержания и трансляции *профессионального мифа*. Этому аспекту рассмотрения профессионального общения в современных исследованиях уделяется меньше внимания, чем другим. Мы полагаем, тем не менее, что профессиональный миф является неотъемлемой составляющей профессионального сознания, а стало быть, и фактором, подчиняющим себе существенную часть коммуникативных процессов, происходящих в профессиональном сообществе.

2. Категория образа мира и категория мифа

Категория мифа в современной науке достаточно расплывчата; в различных контекстах она наполняется различным конкретным содержанием. В лингвистике и семиотике наиболее широкой известностью пользуются структурная модель мифа К. Леви-Стросса и модель мифа как вторичной знаковой системы Р. Барта.

Мы будем трактовать миф как структуру сознания, обладающую рядом характеристик (устойчивость, самоподдержание, транслируемость в определенных формах). Чтобы описать «механизм» функционирования мифа, нам необходимо обратиться к теории сознания, развиваемой в рамках общепсихологической теории деятельности.

В теории, разработанной А.Н. Леонтьевым и представителями его школы, ключевой категорией является категория *образа мира*. Образ мира понимается как отображение в психике человека

предметного мира, опосредованное предметными значениями и поддающееся сознательной рефлексии. «Мир презентирован отдельному человеку через систему предметных значений… Человек не “номинирует” чувственные образы предметов – предметные значения суть компонент этих образов, то, что их цементирует для человека…»[1]. Образ мира *первичен* по отношению к отдельным чувственным восприятиям: «…условием адекватности восприятия отдельного предмета является адекватное восприятие предметного мира в целом и отнесенности предмета к этому миру»[2]. Образ мира *амодален*, т.к. по способу происхождения он соотносится не со стимулом, а с действиями субъекта в предметном мире[3]. Наконец, образ мира представляет собой не столько отображение прошлого и настоящего, сколько отражение будущего, т.е. *систему ожиданий* и прогнозов человека, совершающего те или иные действия. В этой системе ожиданий можно выделять различные уровни или слои[4].

Приблизиться к пониманию того, как функционирует сознание, позволяет идея А.Н. Леонтьева о диалектической противоположности образа и процесса. Согласно А.Н. Леонтьеву, «действительная противоположность» есть противоположность образа и процесса (безразлично внутреннего или внешнего), а не противоположность сознания (как внутреннего) предметному миру (как внешнему). Образ и процесс связаны динамическими отношениями и «бывают тождественными», при этом образ «инертен», он «отстает от процесса»[5]. Эта идея проливает свет на отношение между феноменальной (чувственной и биодинамической) тканью и значением как образующими сознания. Чтобы существовал сознательный образ, субъектом должна производиться определенная «работа» (например, микродвижения глаз в ходе визуального восприятия предмета), которая, однако, заслоняется от сознания объективируемым в процессе этой работы предметным содержанием. Эта «работа» и может рассматриваться как феноменальная ткань образа, «цементируемая» предметным значением.

Еще раз подчеркнем: чтобы что-то воспринимать или осознавать, необходимо осуществлять определенную «работу», необходимо в буквальном смысле *прощупывать* реальность. Но воспринимаемым содержанием оказывается при этом не движение наших «органов», не сама наша «работа», а объект, на который эта «работа» направлена. Форма объекта выступает

1. *Леонтьев А.А.* Основы психолингвистики. М.: Смысл, 1997. С. 268-269.
2. *Зинченко В.П.* От генезиса ощущений к образу мира // А.Н. Леонтьев и современная психология (Сборник статей памяти А.Н. Леонтьева). М.: Издательство Московского университета, 1983. С. 149.
3. *Зинченко В.П.* От генезиса ощущений к образу мира // А.Н. Леонтьев и современная психология (Сборник статей памяти А.Н. Леонтьева). – М.: Издательство Московского университета, 1983. С. 147.
4. *Смирнов С.Д.* Понятие «образ мира» и его значение для психологии познавательных процессов // А.Н. Леонтьев и современная психология (Сборник статей памяти А.Н. Леонтьева). М.: Издательство Московского университета, 1983. С. 152.
5. *Леонтьев А.Н.* Становление психологии деятельности: Ранние работы. М.: Смысл, 2003. С. 354-371.

как форма этой «работы» (форма деятельности) и, тем самым, «цементирует», упорядочивает ее (процесс «живет» в образе в снятом виде). Здесь следует оговориться: беря слово «орган» в кавычках, мы имеем в виду не органы восприятия в физическом смысле, а ментальные конструкции или схемы разной степени сложности, которые можно трактовать как формы активности субъекта. Восприятие всегда опосредствовано активностью соответствующих «органов»; в случае человеческого, сознательного восприятия в качестве таких «органов» или средств выступают созданные и интериоризованные человеком конструкции, различные компоненты или слои его образа мира (т.е. его *системы ожиданий*) – сенсомоторные схемы, предметные и вербальные значения, повседневные и научные теории, мифы.

Отсюда следует, что сознание можно представить как многоуровневую систему средств категориального «прощупывания» мира (или средств объективации). В качестве таких средств можно рассматривать сенсомоторные схемы, предметные и вербальные значения, образ мира, язык, систему «профанных» и научных знаний. Принципиальное значение имеет здесь не столько сама идея многоуровневой организации системы категорий (ср., например, теорию Э. Рош), сколько возможность «прочтения» этой идеи в рамках деятельностного подхода и описание взаимодействия между уровнями.

Неоднозначность, противоречивость, неопределенность на одном уровне сознания снимается путем задействования средства более высокого уровня. Иными словами, форма активности, задаваемая тем или иным средством сознания, является правилом, которому подчиняется «движение» средств низшего уровня (как форма предмета, ощупываемого рукой, подчиняет себе движения руки). Например, научная теория формулируется на основе фактов (их «движение» – это и есть феноменальная ткань данного уровня), но в то же время она задает для исследователя способ их обнаружения и «фильтрует» исключения. Аналогичным образом, вербальное значение является результатом превращения формы предметных отношений, но в то же время само служит для контроля над предметной деятельностью. Наконец, предметное значение строится на базе сенсомоторной активности, но в то же время «снимает» ее – и потому человек воспринимает предмет (константно), а не активность своих органов восприятия (в этом состоит упомянутая инертность образа). Однако и наоборот, «дви-

жение» на низшем уровне способно всколыхнуть верхние слои, вызвать их поломку или перестройку (чувство тревоги способно опредметиться в иллюзии и галлюцинации; нарушение ожиданий в рамках научной теории может привести к переосмыслению теоретических установок).

3. Механизмы функционирования мифа

В некоторых ситуациях объективируемыми оказываются сами средства сознания и восприятия: для восприятия средства как объекта должны, опять-таки, задействоваться другие средства, форма которых будет подчиняться форме этого объекта-средства. Конструкции, которые в одних случаях выступают как средства или «органы» восприятия, а в других – как воспринимаемые объекты, мы называем *объектами особой плотности*. Рассмотрим примеры.

По словам Р. Барта, наделить знак двусмысленностью – значит придать ему затрудняющую его восприятие плотность[1]. Именно плотность (знака или сообщения) побуждает воспринимающего к различным толкованиям, требуя от него *усилия интерпретации* (это описано как эффект *дезавтоматизации* восприятия). Сообщение, оставляющее меня в недоумении, – это «такое сообщение, на которое я смотрю, соображая, *как оно устроено*»[2]. Эстетическое сообщение неоднозначно по отношению к той системе ожиданий, которая и есть код: «С того мига, как начинает разворачиваться игра чередующихся и наслаивающихся друг на друга интерпретаций, *произведение искусства побуждает нас переключать внимание на код и его возможности*»[3].

Подобная ситуация может быть прослежена и в ходе развития научного знания: «…всякое объективное знание служит людям дважды – сначала как объяснение окружающей реальной действительности, а затем в качестве средства, метода при решении тех или иных проблем. Фактически любая научная теория выполняет методологические функции, когда она используется за пределами ее собственного предмета, а научное знание в целом играет роль методологии по отношению к совокупной практической деятельности человека. <…> В развитии каждой науки наступает период, когда в ней система знания начинает “давать перебои”, перестает “работать” с прежней безотказностью. В системе знания обнаруживаются парадоксы. Их возникновение

1. *Барт Р.* Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. С. 63.

2. *Эко У.* Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб.: «Симпозиум», 2004. С. 100.

3. *Эко У.* Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб.: «Симпозиум», 2004. С. 118.

является первым сигналом к анализу самого знания, т.е. к методологическому анализу процесса получения знания»[1].

Эффект объективации средства демонстрируется и на примере восприятия мифа (в бартовском смысле). Мифическое сообщение всегда является неоднозначным, оно сродни окну, глядя в которое, можно воспринять либо стекло, либо пейзаж за стеклом: «…миф – это двойная система; в нем обнаруживается своего рода вездесущность: пункт прибытия смысла образует отправную точку мифа. …значение мифа представляет собой некий непрерывно вращающийся турникет, чередование смысла означающего и его формы, языка-объекта и метаязыка, чистого означивания и чистой образности. Это чередование подхватывается концептом, который использует двойственность означающего, одновременно рассудочного и образного, произвольного и естественного»[2]. Объективация мифа необходима для его трансляции в виде феномена сознания. Но подлинная жизнь мифа разыгрывается не в ходе его объективации и трансляции, а лишь тогда, когда он сам служит средством объективации и трансляции чего-либо другого. Невозможность сцепить в едином рефлексивном акте взгляд на миф и взгляд посредством мифа нам представляется его существенной характеристикой.

Таким образом, средство объективируется, когда система ожиданий оказывается нарушенной: как слепой обращает внимание на палку, когда она начинает двигаться непредсказуемо, так и интерпретирующий сообщение обращает внимание на код, если интерпретация вызывает у него затруднения. Однако этот простейший, казалось бы, путь снятия противоречия требует «включения» еще двух сопряженных процессов. С одной стороны, чтобы «орган» воспринимался как объект, должна производиться определенная «работа», должен идти процесс, как бы покрываемый образом этого нового объекта. С другой стороны, сама объективация «органа» создает противоречие нового уровня, которое тоже требует своего снятия; объективация сама выступает как процесс, который требует фиксации, «цементирования» новыми средствами – например, противоречие на уровне визуального ряда может быть снято, разрешено словесной формулировкой. Таковы сложные взаимопереходы между *образом* и *процессом*, осуществляющиеся *на разных уровнях сознания*.

Принципиальная осуществимость взаимопереходов между образом и процессом и *снятия* процесса в образе (или «жизни»

1. *Юдин Э.Г.* Системный подход и принцип деятельности: Методологические проблемы современной науки. М.: Наука, 1978. С. 34-35.

2. *Барт Р.* Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. С. 88.

одних слоев сознания в других) допускает возможность трансляции реципиенту сообщений одновременно или поочередно на разных уровнях (например, предметном, вербальном), а также одновременно на уровне процесса (запуск поисковой активности) и образа (снабжение «готовой» интерпретацией). Эти механизмы играют существенную роль в функционировании мифа.

Исходя из сказанного, в качестве мифа можно рассматривать устойчивую систему знаний/ожиданий, которая не может стать *объектом* сознания в тот момент, когда выступает в качестве его *средства*. Миф не рефлексивен; рефлексия выступает как способ его разрушения, демифологизации. Иначе говоря, когда мы определяем миф как «миф» (например, называем мифом древние сказания), мы уже не находимся «внутри» данной системы знаний/ожиданий, она уже не является для нас способом посмотреть на вещи; напротив, мы смотрим на нее саму как на некую диковину или объект для изучения.

Такая трактовка мифа требует отграничения категории мифа от категории образа мира. Очевидно, что эти категории очень близки. Те или иные компоненты образа мира могут функционировать в качестве мифа тогда, когда они не поддаются сознательной рефлексии. Так что искомое отграничение может быть лишь функциональным: образ мира, согласно А.Н. Леонтьеву, доступен для сознательной рефлексии; подлинная жизнь мифа разыгрывается тогда, когда он рефлексии не подвергается. Функцию мифа могут выполнять любые компоненты образа мира.

4. Профессиональный образ мира и профессиональный миф

Образ мира «многомерен, как сам мир». Он может быть фрагментарным (ситуативным) или целостным (глобальным)[1]. Соответственно, можно говорить о профессиональном образе мира как «срезе» глобального образа мира. В наиболее широкой трактовке профессиональный образ мира понимается как «интегрированная характеристика системной организации, включающей в себя человека, его жизненный мир и сам образ жизни, преобразованный профессией»[2]. Различаются следующие компоненты профессионального образа мира: мотивационно-потребностный, ценностный, когнитивный, рефлексивный[3].

Если общение – это внесение коррекции в образ мира собеседника, а усвоение языка – это переход на новый образ мира[4], то формирование профессионального образа мира должно быть

1. *Леонтьев А.А.* Основы психолингвистики. М.: Смысл, 1997. С. 269.
2. *Краснорядцева О.М.* Психологический механизм «вписывания» информации в профессиональный образ мира // Теория деятельности: фундаментальная наука и социальная практика (к 100-летию А.Н. Леонтьева). М., 2003. С. 26.
3. *Сергеева И.В.* Профессиональный образ мира, его формирование у студентов дефектологических специальностей в процессе обучения в педагогическом вузе // Вестник ТГПУ. 2010. Вып. 1 (91). С. 119-122.
4. *Леонтьев А.А.* Основы психолингвистики. М.: Смысл, 1997. С. 272.

связано с усвоением профессионального языка. Подчеркнем, что «усвоение» в данном случае – это не просто овладение языком как таковым, но прежде всего овладение формами предметной деятельности, стоящей «за» языком.

Уточнение связи между языком и образом мира позволяет говорить о профессиональном *языковом* образе мира. Так, показано, что становление профессионального языкового образа мира можно анализировать по формированию лексической структуры профессионального языка[1].

В отличие от профессионального образа мира, профессиональный миф можно связать прежде всего с имплицитными, в явном виде не артикулируемыми знаниями. Поэтому понятие «профессиональный миф» в широком смысле должно быть близко к понятию научной парадигмы в определении Т. Куна, рассматривавшего парадигму как совокупность способов взгляда на вещи и интерпретации фактов, разделяемых научным сообществом и не поддающихся рефлексии. Артикулированными могут быть лишь компоненты профессионального мифа (таковым, например, является известный в истории науки постулат «Камни с неба падать не могут»). Здесь сразу необходимо подчеркнуть, что определение совокупности установок, ценностей, знаний как мифа принципиально не означает ошибочности этих знаний, установок и ценностей. Научное знание функционирует как миф в тот момент, когда оно не оценивается рефлексивно. Речь, конечно, может идти не только о научных мифах, но о мифологических аспектах образа мира любого профессионального сообщества.

И.В. Исмагилова рассматривает профессиональный миф как смысловую форму организации личностного опыта, конституирующую субъективную реальность человека в личностном и профессиональном контексте. По ее мнению, личностный профессиональный миф выполняет следующие функции: аксиологическую (отвечает потребности ценностного самоопределения личности), телеологическую (связана с определением целей и смыслов деятельности и жизни человека), познавательную (на основе осознанного познавательного интереса оформляется рефлексивное осмысление личной и профессиональной жизнедеятельности), прогностическую (связана с конструированием субъективной реальности человека). Опорными точками мифа автор называет ценности, на основе которых формируется мотивация выбора человеком будущего (личностного и профессионального)[2]. В

1. *Мыскин С.В.* Формирование профессионального языкового образа мира // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2015. № 5 (47): в 2-х ч. Ч. II. С. 122-129.

2. *Исмагилова И.В.* Формирование смысло-ценностных основ профессионального самоопределения студентов ссуза. Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Тюмень, 2006.

данном случае, как мы видим, речь идет об усвоении системы ценностей и взглядов профессионального сообщества, которая отчасти может быть объективирована.

В качестве составляющих профессионального мифа могут функционировать различные слои сознания. Достаточно часто объектом исследования в связи с этим становится система вербальных значений, трактуемая как профессиональный язык или язык определенной профессиональной группы (например, язык медиков, программистов, юристов, психологов и т.д.). Для исследователя профессиональный язык выступает в нескольких формах: как совокупность профессиональных текстов, как семантическое пространство и др.

Другим объектом рассмотрения может быть система предметных значений, для изучения которой психология и психолингвистика имеют целый арсенал средств. Косвенным образом эта система изучается при помощи методик семантического дифференциала, различных видов ассоциативных экспериментов и т.п., более прямой путь изучения нацелен на выявление предметных форм в рамках предметной деятельности (восприятия, воспоминания, воображения, манипулирования с предметами).

5. Мифологические аспекты профессионального общения

Говоря о мифологических аспектах общения в профессиональной среде, мы имеем в виду в первую очередь формирование, поддержание и трансляцию профессиональных мифов. По мере усвоения профессионального языка и формирования профессионального образа мира происходит не только формирование, но также поддержание и трансляция профессионального мифа.

Профессиональное общение предполагает наличие социальной группы, включенной в ту или иную (профессиональную) деятельность. Представители этой социальной группы (в простом случае – трудового коллектива) общаются как между собой, так и с представителями других социальных групп (вовлеченных в другие виды профессиональной деятельности). Соответственно, общение может быть *внутригрупповым* и *межгрупповым*. Поэтому одной из интересных задач современной психолингвистики является анализ того, как представители разных профессий общаются и понимают друг друга. Кроме того, можно выделить и *надгрупповое* общение, т.е. обращение представителей той или

иной профессии к максимально широкой аудитории, связанное с адаптацией языка (один из ярких примеров в этом плане представляет собой популярный медицинский дискурс).

По всей видимости, условия для естественной объективации профессионального мифа возникают именно в тех случаях, когда происходит меж- и надгрупповое общение, т.е. общение организуется между представителями разных профессий либо между профессиональной группой и широкой аудиторией. В качестве особой формы надгруппового общения можно рассматривать педагогическую деятельность. Можно утверждать, что в ходе этой деятельности, по мере формирования у учащихся профессионального образа мира, надгрупповое общение трансформируется во внутригрупповое. Соответственно, изменяется и форма трансляции профессионального мифа: от этапа *естественной объективации* (когда миф не функционирует как таковой, но усваивается как изначально внешняя, поддающаяся рефлексии система знаний и ожиданий) учащиеся переходят к этапу *скрытой трансляции* мифа как хорошо усвоенного способа восприятия реальности. Так проясняется сформулированная выше идея о том, что формирование и трансляцию мифа можно анализировать исходя из представлений о диалектическом отношении «образ – процесс».

Особым примером функционирования профессионального мифа является психотерапевтическая практика. В некоторых направлениях психотерапии (таких, как психоанализ и когнитивно-поведенческая терапия) процесс работы с клиентом подразумевает усвоение им особой формы языка. Например, клиент обучается понимать и употреблять термины «вытеснение», «бессознательное», «комплекс» или «автоматические мысли», «глубинные установки», «концептуализация» и т.д. Введение в поле терапевтического языка оказывается для клиента формой инициации; клиент, тем самым, становится и носителем терапевтического мифа (неслучайно поэтому будущие психотерапевты сами должны проходить терапию). Этот процесс напоминает педагогическую деятельность: как там, так и здесь одна форма общения, требующая объективации мифа (разъяснения, дидактики), постепенно заменяется другой, подразумевающей уже имплицитную трансляцию усвоенной системы знаний и ожиданий. В этом заключается глубинная двойственность психотерапевтической практики: она одновременно является мифологизацией и демифологизацией, она создает и поддерживает терапевтический миф (как систему

ожиданий и убеждений клиента, хотя бы отчасти недоступную для его рефлексии), но разрушает дисфункциональные убеждения и установки, развенчивает повседневные «мифы» клиента[1].

Заключение

Мы рассмотрели категории «профессиональный образ мира» и «профессиональный миф» и наметили путь их разграничения. Проведенный теоретический анализ мифологических аспектов профессионального общения показывает, что функционирование профессионального мифа можно изучать с опорой на идею А.Н. Леонтьева о диалектической противоположности образа и процесса. В качестве мифа выступает такая система знаний и ожиданий (в т.ч. связанных с профессией), которая в момент общения не подвергается сознательной рефлексии. Однако в ходе усвоения профессионального мифа необходима частичная его объективация (что и происходит при овладении профессиональным языком). Педагогическую деятельность можно рассматривать как постепенный переход от надгруппового общения (когда представитель профессии обращается к людям, не являющимися носителями данного профессионального образа мира и профессионального мифа) к внутригрупповому (т.е. общению внутри профессиональной группы).

1. *Журавлева Ю.В.* Мифологическое мышление и процесс психотерапии // Актуальные проблемы гуманитарных наук в работах молодых исследователей. М.: МГИ им. Е.Р. Дашковой, 2015. С. 130-135.

Комментарии

И.В. Журавлев

Написание автокомментария, полагаю, в данном случае является оправданным шагом – ибо проблема, затронутая в статье, имеет в нашей дискуссии принципиальное значение. Речь идет о мифологических аспектах общения, т.е. о таких факторах, которые, с одной стороны, детерминируют процесс общения (в т.ч. постановку субъектом «сознательных» целей в общении), но с другой стороны – остаются скрытыми от сознательного взгляда субъекта. Признать, что эти факторы существуют, не так-то просто. Ведь тут рискуешь быть без собеседования трудоустроенным в похоронную контору Ролана Барта. Наш оппонент А.В. Вдовиченко эту контору всячески пытается обойти стороной. Его аргументы вполне понятны: отказать автору в сознательном волеизъявлении – значит поставить под сомнение ту главную ценность, которая у нас есть: сознание и волю. С точки зрения нашего оппонента, конечным пунктом, землей обетованной на пути понимания сообщения (или текста) является сам субъект, сам автор, его «когнитивное состояние», всё то, что он сам хотел нам сказать… Казалось бы, с этим не поспоришь.

Но мы, конечно, будем спорить. Ведь общение в этом случае оказывается уж очень жалким процессом: всё есть заранее в «когнитивном состоянии» автора (или коммуниканта), а процесс общения нужен только лишь для того, чтобы «передать» это «всё» (или какую-то часть этого «всего») в голову адресата (читателя, слушателя, другого коммуниканта). Один заранее знает, что хочет сказать, а другой заранее этого не знает, но узнаёт именно это в ходе коммуникации. В действительности не верно ни то, ни другое.

Ни «отправитель» сообщения обычно не знает того, что он «хочет» сказать (или, тем более, того, что у него *получится* сказать), ни «получатель» сообщения обычно не воспроизводит в своей голове *именно то*, что «хотел» сказать «отправитель». Чтобы в этом убедиться, не нужно даже быть специалистом по коммуникации (конфликтологом, переговорщиком, семейным психологом и т.п.). Достаточно пять минут послушать разговор соседей за стеной в панельном доме… Если бы общаться было так просто, как это предполагается аргументом о принципиальной сознательности коммуникации, то люди не сталкивались бы с ситуациями тотального взаимного непонимания. Между тем, люди часто друг друга не понимают. Но это только полдела. Люди не только друг друга не понимают, хотя произносят, в общем-то, понятные для всех слова. Люди не понимают также (и в первую очередь!) и самих себя.

Поэтому общение отнюдь не сводится к передаче некоторых знаний из одной головы в другую. Оно не сводится и только к организации совместной деятельности. Ведь человек должен знать, что он хочет организовать и зачем… Суть общения заключается прежде всего в понимании людьми самих себя. Общение – процесс надындивидуальный. Общаясь с другими, мы понимаем себя. Общаясь с собой, мы понимаем других. Ни у кого из нас нет такого камня за пазухой, который был бы спрятан от других. Нет таких содержаний сознания, которые доступны только индивиду, но недоступны никому другому. Ибо индивид, чтобы понять самого себя, должен посмотреть на себя глазами других. Ни у кого из нас и нет вообще никаких глаз, кроме глаз «других». Мы смотрим на себя, других людей и на мир социальным (сознательным) взглядом. Это взгляд, опосредованный системой значений. Но система значений – это также система средств обращения одного человека к другому.

Поэтому, конечно, общение есть сознательный процесс. Но отсюда никоим образом не следует, что «сначала» человек что-то осознаёт, а «потом» – сообщает это другим. В действительности средства осознания – это и есть средства сообщения. Потому-то человек и может понять себя только в обращении к другим и к себе как к другому.

И теперь следует вернуться к мифологическим аспектам общения. Миф – это конструкция сознания, но такая, которая *в данный момент* выступает как средство, а не как объект (диалектика цели и средства). В этом смысле миф бессознателен. Мы понимаем (вслед за Л.С. Выготским) бессознательное как зеркало сознания, а не наоборот. Миф потому и становится возможным, что общение (т.е. осознание) есть процесс надындивидуальный. Средства, при помощи которых мы понимаем самих себя, – это средства нашего обращения к другим. Это средства, приобщаясь к которым, мы приобщаемся и к сознанию. Поэтому, конечно, даже одно слово может быть мифом. Ведь оно столько же «наше», сколь и не наше. Там, где есть знак, уже есть идеология, – говорил М.М. Бахтин.

Подлинная жизнь мифа разворачивается в момент его бессознательной трансляции: человек формирует сообщение, но не отдает себе отчета в основаниях сообщаемого содержания. Проблематизация этого содержания, опять-таки, возможна лишь в ходе общения, осознания-как-общения, в т.ч. и в ходе общения человека с самим собой (т.е. в мышлении). Еще раз настоятельно подчеркнем: не только к другим, но даже к себе самому у человека нет и не может быть никакого непосредственного доступа. Он *всегда* опосредован.

ЧАСТЬ 3.

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ГОВОРЕНИЯ (ПИСЬМА) И КОГНИТИВНОГО ПРОЦЕССА («СЛОВА» И «МЫСЛИ»)

3.1. Вербальные данные в составе коммуникативного действия: язык, текст, автор, интерпретатор (А.В. Вдовиченко, Е.Ф. Тарасов)[1]

1. Опубликовано: *Вдовиченко А.В., Тарасов Е.Ф.* Вербальные данные в составе коммуникативного действия: язык, текст, автор, интерпретатор // Вопросы психолингвистики. 2017. № 4 (34). С. 22-39. В статье присутствует ролевая игра, в которой центральное место занимает «наблюдатель» (или «читатель», «интерпретатор», «Вы», и пр.). К нему обращается и на него ориентируется исполняющий роль автора текста А.В. Вдовиченко. В роли наблюдателя (одновременно консультанта и верификатора выдвигаемых идей) согласился выступить проф. Е.Ф. Тарасов, принявший заинтересованное участие в подробном обсуждении положений статьи, что в огромной мере повлияло на ее итоговую форму. Поэтому в заглавии закономерно указываются два автора.

В статье на основании двух экспериментов-наблюдений выявляются характеристики вербальных данных и коммуникативного действия, их соотношение в естественных условиях коммуникации. Автор считает, что коммуникативное действие и вербальные данные соотносятся как целое и его несамостоятельная часть, наделяемая функциями в процессе вписывания (интегрирования) в коммуникативное действие. Вербальные данные (взятые на различных уровнях анализа – от звука до предложения и текста) могут считаться смыслообразующими элементами только при условии вовлечения в коммуникативные действия, организованные конкретными говорящими (пишущими). В естественном коммуникативном процессе (с использованием или без использования вербального канала) понимаются личные коммуникативные действия (семиотические поступки) в сколь угодно сложных (иногда вовсе недоступных интерпретатору) условиях, а не слова или иные «знаки» (жесты, рисунки, несловесные звуки и пр.). Поскольку знак выделяется и получает тождество только в личном коммуникативном действии, его дискретное существование можно считать условным, а его конституирование – утилитарной процедурой. Обязательные признаки естественного семиотического действия (поступка) – коммуникативность, акциональность, ситуативность, когнитивность, интерпретируемость – полностью игнорируются языковой моделью смыслообразования, в которой обладающими значением и смыслом признаются сами «знаки» (слова и др.). В естественном коммуникативном процессе всегда «работают» несколько каналов воздействия. Попытки обособления канала коммуникации (например, признание актов «только речевыми») не отвечают реальности коммуникации и не могут способствовать построению адекватной модели смыслообразования.

Данная статья не только содержит *описание эксперимента* (во второй части), но ее первая часть сама представляет собой *эксперимент*, в котором предлагается поучаствовать тому, кто читает сейчас эти строки.

Свою задачу я вижу в том, чтобы в ходе предлагаемого взаимодействия с читателем (или наблюдателем, то есть с Вами) зафиксировать сущностные различия между, с одной стороны, *вербальными данными* (взятыми на различных уровнях анализа) и, с другой, – *коммуникативным действием*, произведенным с участием вербального канала.

Начиная эксперимент, предлагаю вниманию наблюдателя две последовательные реплики, которые представляют собой вопрос и ответ:

[а чего он у него своровал не знаешь
не знаю наверное плохой мальчик].

Эти высказывания взяты из актуальной ситуации взаимодействия двух коммуникантов (имеется аудиозапись). Состоявшийся диалог завершился этими двумя фразами, которые – можно сделать обоснованное предположение – в настоящей форме наблюдателю *невозможно интерпретировать в тождестве*. Однако именно эти слова были действительно сказаны и поняты в рамках реального диалога.

Констатировать непонимание (со стороны наблюдателя) в данном случае принципиально важно, поскольку это составляет условие продолжение эксперимента.

Если наблюдатель признает факт непонимания, эксперимент продолжается.

Если же наблюдатель считает эти реплики понятными, то я как экспериментатор, чтобы убедиться в заявленном понимании, готов задать несколько вопросов: кто [он]? У кого [своровал]? Кто [ты], к которому обращается автор первой реплики? «Мальчик» сказано иронично или серьезно? И пр.

Если на эти вопросы у наблюдателя определенных ответов нет (согласимся, по меньшей мере, на то, что возможные ответы будут гораздо менее уверенными и определенными, чем у самих коммуникантов, которые в момент речи ни в чем не сомневались, и что эти ответы вряд ли совпадут с мнением самих коммуникантов), тогда эксперимент все равно продолжается.

Перед наблюдателем графическую фиксацию обрели реплики, некогда сказанные на русском языке, которые были наполнены смыслом для самих коммуникантов (см., вернее, сл. аудиозапись). Однако наблюдателю, чтобы понимать эти русскоязычные вербальные данные, чего-то недостает. Очевидно, что русский язык в этой элементарной ситуации по каким-то причинам не справляется с главным своим делом, к которому призван, казалось бы, любой язык – *производить понимаемые осмысленные высказывания* (давать правила их построения, предоставлять семантические элементы, т.е. значимые слова, быть инструментом порождения высказываний, производить смыслообразование, и пр.; вспомним генеративную грамматику Хомского, в которой

роль языка как устройства состоит в порождении вербальных структур по заданным правилам[1]; или теорему Патнэма, где способность языка производить осмысленные предложения не подвергается сомнению[2]; или роль языка во французской школе, напр., у Барта, когда умерло все, включая диаду субъект-объект, за исключением языка (и его двойника «письма»), который все нивелирует и порождает тексты[3], и др.).

Поскольку перед наблюдателем в данном случае, несомненно, имеет место *факт «языка»*, а русский язык, можно быть уверенным, безусловно, известен тому, кто дочитал настоящую статью до данного места, то, вероятно, *именно «язык»* нам и следует *заставить работать*, чтобы он реализовал, наконец, смыслы в приведенном фрагменте диалога.

Попытаемся сделать это, восходя по уровням анализа вербальной структуры, от мельчайших выделяемых элементов к более масштабным.

На уровне звуков, фонем и графем наблюдается довольно странная ситуация: вербальные данные («слова») произносятся совсем не так, как пишутся, а пишутся совсем не так как произносятся. Это происходит в подавляющем большинстве случаев, вследствие чего звуки, фонемы и графемы, обеспечивающие организацию элементов в этом сегменте «системы языка», ввергаются в хаос неопределенности и в этих условиях теряют способность строить систему[4].

Так, фонетическая картина текста, которая выглядит приблизительно следующим образом (условно):

[А чиво он у ниво сваравал, ни знаиш ни знайу, наверная плахой мал’чик],

заметно отличается от принятого графического способа фиксации этих данных. Получается, что аутентичный коммуникант (например, говорящий с детства по-русски житель Москвы) беззаботно произносит [чиво], а пишет почему-то [чего]. Когда же ему нужно прочесть написанное [чего], он снова возвращается к [чиво][5].

Разобраться в том, как в слове [чего] ([чиво]) соотносятся звуки, графемы и фонемы, оказывается, совсем не просто, поскольку 1) звуки не точно соответствуют графемам (здесь, например, звук [в] не соответствует графеме [г]), 2) фонемы не точно соответствуют графемам (здесь, например, фонема [э] не

1. *Хомский Н.* Синтаксические структуры / Пер. К.И. Бабицкого. Благовещенск, 1998.
2. *Putnam H.* Reason, Truth and History. Cambridge, 1981.
3. *Барт Р.* Смерть автора // Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М., 1994 – С. 384-391.
4. Об утилитарности выделения знаков см.: *Вдовиченко А.В.* О несамотождественности языкового знака. Причины и следствия «лингвистического имяславия» // Вопросы философии, 2016 №6. С. 172.
5. *Вдовиченко А.В.* Вербальный процесс в зеркале чтения и письма // Вестник ПСТГУ. Серия III: Филология. 2017. Вып. 52. С. 62-75.

соответствует букве [е]), 3) звуки не точно соответствуют фонемам (здесь, например, тот же звук [в] не соответствует фонеме [г], а звук [и] не соответствует фонеме [э], представленной на письме графемой [е]).

Даже этот небольшой элемент (слово [чего]) демонстрирует, что русское письмо нельзя назвать ни строго фонематическим, ни, тем более, фонетическим. К тому же фонемы, с помощью которых постулировавшие их исследователи пытались обеспечить концептуальные основания для инвариантности слова, в относительно единообразном виде (и то не всегда) появляется почему-то только *на письме*, которое глубоко вторично по отношению к устной стихии бытования вербальных данных. В устной – главной и базовой – форме вербальной коммуникации фонем не наблюдается, поэтому легендарный фонетический комплекс [сама паймала сама] принципиально ничего не сообщает о том, где рыба, а где рыбачка, если не становится написанным.

При этом характерно, что говорящие вовсе не задумываются и не осознают, как пишется то, что они говорят*:* произнося в актуальной ситуации [чиво], они понимают это слово и не испытывают необходимости в фонетически противоестественном варианте [чего]. Странность как раз и состоит в том, что только в графической репрезентации звучащей речи – глубоко вторичной и несамостоятельной – фонемы можно хотя бы неуверенно наблюдать (если, правда, не иметь в виду иные способы графической фиксации – скажем, китайский или белорусский, где увидеть фонемы на письме еще более проблематично).

Пожалуй, самый конструктивный пример, освобождающий от запутанности, – возможность написать русскоязычный текст латиницей, или каким-то иным не столь распространенным способом, где присутствие фонем будет так же сложно констатировать, как и в сознании говорящего, но вербальная форма высказывания при этом будет *воспринята и понята аутентичным коммуникантом*: например, fonemy vedut sebja stranno.

Ясно, что смысл графической фиксации, осуществляемой более или менее распространенными способами, состоит в том, чтобы *вызвать из памяти аутентичного коммуниканта уже существующие в ней клише*, и как-нибудь воссоздать то, что произносил (мог бы произнести) аутентичный коммуникант: он пишет [чего], чтобы прочитали заранее известное [чиво].

Тот же механизм возвращения к звуковому образу, заранее известному из устной коммуникативной типологии, мы застаем в случае, когда используются сокращения: распознать за знаком [см.] целое слово может только тот, кто знает его заранее (см. выше), иначе кроме двух букв и точки он не увидит ничего.

Тот же механизм работает, когда на письме слово обозначается без знаков ударения. В русской орфографии так происходит в подавляющем большинстве случаев, каждый из которых мог бы вызвать вопросы (например, [во́прасы] или [вапро́сы]?), если бы не образы фонетических клише, изначально известные аутентичным коммуникантам (и изначально недоступные иностранцам).

Любая графическая фиксация, будучи глубоко вторичной по отношению к естественной коммуникативной практике, всего лишь стремится возвратить (приблизить) к ней сознание читающего. Письмо (в русском случае непонятно какое – одновременно фонетическое и фонематическое, с использованием элементов иероглифического, типа [с.] или [см.], а также совсем не-фонетических и не-фонематических стрелочек, точек, тире, знаков вопросов, двоеточий, многоточий и пр.) представляет собой всего лишь *намек* на комплексные формы коммуникации, которые, несомненно, *первичны по отношению к написанному*.

Поэтому звуковая, фонематическая и графическая форма двух интересующих нас реплик как бы указывает направление поиска смыслов, но сама не может быть более информативной, чем естественный (в том числе звуковой) архетип (сл. аудиозапись).

На уровне звуков, фонем и графем мы, по-видимому, не можем заставить язык порождать смыслы.

На уровне морфем нас постигнет та же участь. Морфология форм в двух интересующих нас репликах, доступная современному исследователю, в том числе по специальным справочникам, укажет такие подробности, которые явно были не известны говорящим в момент интеракции. Однако они, участники диалога, в отличие от исследователей, *понимали, о чем они говорили*, всецело игнорируя знание корневой семантики, соединительных гласных, суффиксов, окончаний, и пр. Слова известны аутентичным говорящим как целостные вербальные клише, «вписанные» в коммуникативные синтагмы[1]. Зато состав и внутреннее строение самих фонетических комплексов (слов) не воспринимается аутентичными коммуникантами в дискретном виде.

1. *Вдовиченко А.В.* «Расставание с «языком». Критическая ретроспектива лингвистического знания. М., 2008.

Кроме того, здесь, как и повсюду, где вербальные клише находятся в естественном («рабочем») состоянии, этимология этих форм не просматривается и не помогает наблюдателю, поскольку значимые единицы этимологических дериваций («этимоны») в естественном коммуникативном процессе полностью отсутствуют, а слова, будто бы обладающие этимонами, в естественной коммуникации полностью деэтимологизированы: говорящие не знают ни единого индоевропейского или иного корня; этимологической перспективы употребляемых слов они не осознают. Максимум, что позволяют себе говорящие – строить риторику своих коммуникативных действий с использованием методов «народной» этимологии, от которых «академическая» принципиальным образом не отличается (первая, впрочем, хотя бы риторически «срабатывает»).

Кроме того, как уже было замечено, не вполне понятно, какие единицы, составляющие морфемы, становятся значимыми в конкретных случаях. Так, в слове [своровал] была произнесена, скорее, «семантема» [вар], а не [вор]. Но она, очевидно, не вызвала у коммуникантов недоумения и не стала причиной непонимания, несмотря на совершенно иную «семантику корня» [вар]. При такой постановке вопроса приходится признать, что [вар] «работает» вместо [вор], смешивая, таким образом, все морфологические и этимологические карты.

Похоже, морфология не эффективна в прояснении сказанного. Для смыслообразования в конкретном естественном эпизоде использования вербальных клише необходимо что-то иное.

Видно, что естественный процесс смыслообразования игнорирует морфемный уровень, который, как и уровень звуков (фонем, графем), оказывается бесполезным в объяснении смыслопорождения.

На уровне лексем застаем похожую ситуацию: выделенные элементы данного уровня не дают тождественного понимания, которое, тем не менее, следует констатировать в естественной ситуации коммуникации (как у участников диалога). Так, в попытках приписать какие-то собственные значения лексемам наблюдатель (если он имеет такое желание) сталкивается в нашем случае с непреодолимой проблемой: понять [он] и [у него] – совершенно понятные участникам диалога – наблюдатель заведомо не способен. Причина этого, безусловно, содержится не в лексемах

как таковых, и не в различном знании «языка» наблюдателем и коммуникантами-авторами реплик, а *в различной мере владения параметрами коммуникативной ситуации* (которая все рельефнее проступает как реальность, которая действительно имеет значение для смыслообразования).

Заметим, что не только «пустые слова» (вспомним Бенвениста[1]), но и «наполненные» (такие как [своровал], [мальчик], [плохой], [наверное]) не становятся более понятными от своей «наполненности». Они, так же как и слово [он], с точки зрения наблюдателя, относятся неизвестно к чему, означают неизвестно что. Соответственно, они также пусты, как и подмеченные в начале местоимения [он], [у него]. Если эти слова что-то и означают, то их «значения» известны только участникам коммуникации (авторам рассматриваемых реплик), но почему-то непонятны знающему «язык» наблюдателю. Такое положение дел заставляет снова искать подлинные причины смыслообразования за пределами выделенных нами объектов анализа (слов), ввиду их несамостоятельности и неспособности к автономному смыслообразованию.

Уровень лексем, таким образом, не позволяет приблизиться к смыслу и процессу его порождения, несмотря на иллюзию большей осмысленности единиц.

На *уровне предложения* эти фразы можно, пожалуй, записать уже более привычным образом:

«– А чего он у него своровал, не знаешь?

– Не знаю, наверное, плохой мальчик.»

Здесь мы имеем в виду, что графический способ представления коммуникативной интеракции (с использованием вербального канала) уже учитывает *комплексность* коммуникативной процедуры. Он включает не только буквы, обозначающие звуки, но и намеки на целый ряд иных параметров: деление на слова и предложения обозначается большими-маленькими буквами и пробелами; интонационные паузы и остановки – запятыми и точками; интонационные варьирования тона – знаком вопроса; распределение ролей в диалоге – разделением на реплики и строки, а также постановкой тире в начале новой реплики.

Уровень предложения (высказывания) убеждает в том, что графически оформленная «законченная мысль» не может быть достаточным «контекстом» для воссоздания смысла в отдельно взятом слове. Необходим более обширный контекст, в котором

1. *Бенвенист Э.* О субъективности в языке // Бенвенист Э. Общая лингвистика. Благовещенск: Благовещенский Гуманитарный колледж им. И.А. Бодуэна де Куртенэ, 1998. (Репринт 1974).

будет понятным хотя бы слово [он] – одно из главных в двух рассматриваемых репликах (ведь коммуникантам оно было понятным в момент говорения).

Кроме того, заметно, что, несмотря на целостность предложения, синтаксические функции элементов – особенно во второй фразе – не определяются с уверенностью (заметим, забегая вперед, что и в первой фразе все не так просто).

Имея в виду динамику эксперимента (взаимодействия с читателем этих строк), можно сделать предположение (а затем проверить), каковы «синтаксические функции элементов» и как, соответственно, эти реплики понимались коммуникантами. Для этого попытаемся переформулировать высказывания, сделать их более понятными, рассчитывая на свой опыт восприятия русских коммуникативных клише.

Итак, первую реплику, по-видимому, можно интерпретировать следующим образом: «А ты не знаешь, *что* он у него своровал?». В свою очередь, вторую реплику – следующим образом: «Я не знаю, *что* он у него своровал. Он, как мне кажется, плохой мальчик».

Согласимся, что иные варианты интерпретации будут менее правдоподобными (если вообще возможными), если основывать свои заключения на данной форме этих двух реплик.

Снова отметим, что в рассуждениях о синтаксическом понимании двух естественных реплик присутствует некая странность. Она состоит в том, что синтаксис данных актуальных предложений (законченных структур) остается почему-то непонятным, требующим прояснений и гаданий. Кроме синтаксиса, непонятным остается и общий смысл предложений – к чему относятся вопросы? Какие обстоятельства могут характеризовать «его» как «плохого мальчика»? И др.

Впрочем, здесь же стоит отметить, что ощущение непонимания испытывает только наблюдатель, в то время как участники диалога были вполне удовлетворены сказанными фразами и без труда понимали их.

(Замечу, что такая ситуация – когда одним понятно все, а другим не понятно ничего, не может иметь место на территории одинаково известного всем «языка». Очевидно, что мы находимся в какой-то иной области, требующей иных, неязыковых, инструментов для исследования смыслообразования. Наши попытки действовать в рамках «языка», на уровнях «языка», пред-

принимаются только для того, чтобы показать, что такой путь неэффективный и недостаточный).

Как видно, уровень синтаксиса, привлеченный к анализу данных реплик, также не дает уверенности в понимании, вслед за звуками, морфемами и словами, и вместе с ними.

Уровень текста предоставляет возможности несколько сузить диапазон поисков смысла:

1. – Помнишь… мне Настя говорила… Какой-то фильм она тебе показывала… Ты помнишь? Там такой… кто-то груши собирает…
2. – Да…
3. – А ты мне можешь рассказать про него?
4. – А что?
5. – Ну, пересказать… Потому что я его не видел, а мне очень интересно…
6. – Ну-у-у-у-у-у-у…
7. – Можешь потом мне рассказать, ладно?
8. – Вообще-то и сейчас могу.
9. – Ну, давай.
10. – Там был. Там дяденька сперва собирал груши.
11. – Так…
12. – И вот пришел мальчик, и взял, он взял… так незаметно взял корзину полную с грушами…
13. – Так…
14. – То есть своровал.
15. – Так…
16. – Груши.. Вот... И дяденька обернулся, а корзины нет…
17. – Так…
18. – Потом он поехал на велосипеде…
19. – Кто, дяденька или мальчик?
20. – Нет, мальчик, который украл… Вот. Он поехал на велосипеде…
21. – Так…
22. – И упал с велосипеда… Там мальчики еще шли… Вот. И они ему помогли встать… Ну, там, отряхнули его…
23. – Так…
24. – Вот. И за это он им дал груши… Вот… И они обратно пошли… Там. И проходили мимо этого дяденьки.
25. – И?

26. – И он увидел, что у них груши, и подумал, что это они своровали.
27. – Но он что-нибудь сделал?
28. – Ничего не сделал…
29. – Ничего не сделал, да?
30. – Да, и это конец фильма.
31. – И все? И там больше ничего такого не было?
32. – Нет.
33. – Ну, а помнишь, там, проходил дядя с козой?
34. – Нет, не проходил.
35. – Такого не было там в этом фильме?
36. – Нет, не было.
37. – Слушай, а мальчишек сколько там было, которые ему помогали?
38. – Ну…
39. – Не помнишь? Ну, сколько? Четверо, трое, двое, один?
40. – Ну… Наверно четверо.
41. – Четверо? Или трое?
42. – Четверо.
43. – А сколько у дяди было корзин с грушами? Помнишь?
44. – Две.
45. – Две всего было корзины?
46. – Да.
47. – И одну мальчик своровал? Или три у него было?
48. – Нет, две. И одну своровал.
49. – А чего он у него своровал, не знаешь?
50. **– Не знаю, наверное, плохой мальчик.**
51. **– Плохой мальчик? Понятно… Ну, ладно, спасибо большое.**

По крайней мере, становится ясно, что самое вероятное предположение о смысле двух интересующих нас реплик, сделанное на уровне предложений, оказалось *неверным*. Очевидно, что на фоне только что случившегося обсуждения о том, сколько корзин было «у дяди» и сколько было украдено (реплики 43-48), следующий за этим вопрос «А *чего* он у него своровал?» (49) не может означать «*Что* он у него своровал?». Это можно истолковать только как «А *почему* он у него своровал?». Именно так и понимает эту реплику второй коммуникант (именно это и означает реплика 49).

В своей ответной реплике (50) второй говорящий не оставляет сомнений в том, что слова «наверное, плохой мальчик» представляют собой не указание на то, что кто-то («он») плохой, а содержат объяснение, *почему* «он у него своровал»: *потому*, что он «плохой мальчик».

Из этого текста можно также понять, что участники диалога говорят о каком-то «фильме», в котором происходят некоторые события. Главным из них, замеченных вторым коммуникантом, было похищение корзины с грушами, и пр. и пр.

И все же, несмотря на ощущение большей вразумительности, диалог по-прежнему остается не вполне понятным: кто его участники? кто такая Настя и зачем она упомянута в начале диалога? зачем инициирован данный диалог? о каком «мальчике», «мальчиках» и «дяде» они говорят (ведь коммуниканты видели их в фильме, а наблюдателю их облик и видимое поведение полностью неизвестны, если он не смотрел тот же фильм); правильно или не правильно определяет число объектов («корзин» и «мальчишек») второй коммуникант, отвечая на вопрос первого; говорит ли неправду первый коммуникант, когда просит рассказать о фильме, поскольку «не смотрел его, но очень интересуется», и пр.

Заметим, что главную причину далеко не полной вразумительности текста можно видеть в том, что 1) наблюдатель не присутствовал и не видел сам момент коммуникативных действий, и что 2) изначально этот «текст» не был предназначен для такой коммуникативной процедуры, в которой в настоящий момент он оказался, а экспериментатор (т.е. я, автор данной последовательности коммуникативных действий), вовлекающий данный текст в свою процедуру, следом которой, или намеком на которую являются читаемые Вами слова и предложения, – только и делает, что стремится исполнить свою риторическую задачу – показать *неавтономность* данного «текста» в деле смыслообразования.

Иными словами, *никто не заботился и не заботится* о том, чтобы этот «текст» (как след череды коммуникативных действий) способствовал смыслообразованию в иных (за пределами доступных аутентичным коммуникантам) условиях и ситуациях.

Так, при подаче диалогов в художественных нарративных текстах, чтобы сделать диалоги доступными и понятными читателю, после реплик персонажей вводятся реплики автора («сказал N», «с видом знатока ответил NN», и пр.); описывается ситуация диалога, диспозиция участников; отслеживаются изменения

когнитивного состояния участников в продолжении диалога и делаются об этом ремарки; присутствует огромный фоновый и фреймовый объем, предварительно констатированный, заданный и сформированный автором; в диалогах (как и в любых коммуникативных действиях, направленных на успешное достижение цели коммуникации) автор избегает непонятных (случайных) имен, немотивированных действий (своих или персонажей), и пр. Иными словами, автор отслеживает когнитивное состояние адресата для успешного коммуникативного воздействия.

Обо всем этом никто не позаботился в данном «тексте», который в значительной мере выглядит так же, как случайно услышанная фраза из разговора двух незнакомых прохожих (например, «Да, он ни за что этого для него не сделает» и пр.), – и даже еще менее определенно, поскольку в данном случае наблюдатель не наблюдает ни внешнего облика коммуникантов, ни обстоятельств коммуникативной интеракции. Поэтому, несмотря на аккуратно представленную точную запись произнесенных слов, упакованных в предложения, упакованные, в свою очередь, в текст, вся эта совокупность продолжает остро нуждаться *в источниках смыслообразования*, которые, по-видимому, не могут быть восстановлены вне ориентации на *когнитивные состояния конкретных коммуникантов* (что они видели перед собой, о чем знали в момент интеракции, какие мыслимые объекты вовлекались в коммуникацию, каковы были изначальные отношения и распределение ролей между ними, каковы были общие для них фреймовые и фоновые знания, актуализованные в момент коммуникации, и пр. и пр.).

Здесь нужно сделать оговорку, что текст – в том виде, в каком он приведен выше, как, впрочем, и любой текст – может ввести наблюдателя в соблазнительное состояние *интерпретационной экзальтации*: наблюдатель резонно осознает, что процессы понимания (смыслообразования) происходят в нем, и нигде более совершаться лично для него не могут. В силу своей обособленности от автора, породившего «текст», одновременно в силу очевидной невозможности превратиться в него, наблюдатель констатирует для себя факт смерти автора, оставаясь с единственным несомненно не умершим и доступным – с собой (ср., например, усилия Р. Барта[1]). После этого «текст» становится добычей любого «одиночки», теряя ориентиры, вложенные в него в момент создания. Что же до автора, то он оказывается всего лишь одним из прочих интерпретаторов.

1. *Барт Р.* Смерть автора // Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М., 1994 – С. 384-391.

Однако здесь же, чтобы избавиться от экзальтации и не узурпировать больше свободы, чем это дозволительно в отношении другого субъекта, нужно заметить, что 1) интерпретатор все же – вольно или невольно –стремится к автору как источнику коммуникативного действия, который знаменует собой предел смыслообразования; в этом стремлении интерпретатор 2) неизбежно демонстрирует различную меру приближения к когнитивному состоянию автора, что само по себе устанавливает своего рода *шкалу интерпретационной (де)экзальтации*.

С одной стороны, *полное знание* авторской интенции и мысли, очевидно, недоступно никому иному, кроме самого автора. Можно считать авторскую коммуникативную интенцию желательным, хоть и недостижимым *пределом* усилий интерпретатора, внимательного к контенту и личности автора, и одновременно *одним из двух крайних значений* на данной шкале.

С другой стороны, *полное игнорирование* автора оказывается столь же невозможным (см. ниже), поэтому можно, в свою очередь, считать полное игнорирование недостижимым *пределом* усилий тех, кто настаивает на смерти автора, и *противоположным крайним значением* на шкале.

Интерпретатор, находясь в своем «возможном мире», может устремляться по этой шкале в различных направлениях, тем самым, свидетельствуя о собственных приоритетах смыслообразования и способов его обнаружения. При этом само наличие шкалы и возможность выбора направления принципиально оставляют настоящего автора в игре на поле смысла.

Иными словами, поиск источников смыслообразования, скажем, в «тексте» [октябрь уж наступил] начинается с ответа на прямой вопрос: он был написан кем-то или не написан никем?

Ответ, так или иначе брезжащий в рамках *языковой* интерпретации (а именно, что «текст существует написанным на языке, значит, в нем присутствуют значения и смыслы независимо от автора») не может быть принят, поскольку в таком случае «язык» заранее вобрал в себя все возможные тексты, и тогда ни писать, ни говорить на «языке» не имеет никакого резона. Но автор, несмотря на всеохватность языка, зачем-то произвел данный «текст» (в составе соответствующего коммуникативного действия), и значит, именно он видел в этом какую-то предикативность. Явление вербальных данных, как и любого иного компонента коммуникативного действия, можно объяснить *только*

интересами данного субъекта осуществить целенаправленное коммуникативное влияние, а не породить стандартную, существующую по законам «языка», словесную структуру (заметим, что любой «язык» потому и является *пустым и бессмысленным*, что в нем отсутствует личность – подлинный источник любого смыслообразования).

Таким образом, на заданный вопрос стоит все же ответить утвердительно: данный текст явился в результате лично организованной кем-то коммуникативной процедуры, следом которой стала данная вербальная последовательность. Так, «язык» не может ответить на вопрос, наступил ли уже октябрь или еще нет, и зачем нужно вообще об этом говорить. Прояснить, наступил ли октябрь и зачем об этом сказано, может только автор того действия, в состав которого входит это высказывание.

Иными словами, кто-то должен маркировать собой *опорную точку* для данной «констатации» (зафиксировать систему семиотических координат) и дать шанс для дальнейшего многофакторного оценивания соответствующего коммуникативного поступка. В этом и состоит 1) неизбежность фокусирования интерпретации на когнитивном состоянии *того, кто* производит данное коммуникативное действие: семиотический поступок (с вербальным компонентом) кто-то все-таки совершил, и это не просто факт языка (нужно иметь в виду, что язык не может создавать тексты, и тексты сами себя тоже не пишут).

Несмотря на это, по-прежнему остается возможным 2) продвижение по шкале интерпретационной экзальтации в сторону *исчезновения автора,* которое позволяет интерпретатору почувствовать себя креативно, скажем, признать, что эта строка говорит (то есть «почти никем не сказана») о революции 1917 г.: «Великий Октябрь уж наступил». На нашей условной шкале это соответствует положению *максимальной интерпретационной экзальтации*, в котором настоящий автор полностью отсутствует, «мертв» для интерпретатора. Живой интерпретатор с готовностью занял его место, но, кажется, оказался в довольно глупом положении: ему все равно не удастся убедить свою аудиторию, – если она составлена из *homines sapientes*, – что в данном тексте просматривается «революция», заложенная в него – среди всего прочего – от природы или из соглашения (откуда якобы берутся все «значения слов в языке»). Если же интерпретатор припишет этот «текст» себе и будет настаивать на его «революционном»

содержании, вложенном в текст уже лично им, и будет настаивать на своем праве так поступить, то тотчас превратится в банального плагиатора – ведь именно этот «текст слов» уже был однажды создан и интегрирован в чужое коммуникативное действие.

Интерпретатору (члену похоронной команды им. Р. Барта) остается сделать вид, что он изящно и просто пошутил про революцию, вовлекая «для красоты» строчку из Пушкина. При этом запланированные ранее поминки по автору все же придется признать не состоявшимися.

Наоборот, продвижение по шкале в сторону *выявления автора* сразу обещает избавление от подобного когнитивного тупика (на нашей шкале это соответствует положению *максимально возможной деэкзальтации*): вполне определенный автор (А.С. Пушкин) совершил коммуникативный поступок в некогда мыслимых условиях. Поэт, побывав в плену у интерпретатора, к счастью «выжил» и благодаря этому хотя бы отчасти конкретизировал смысловое поле данного «текста»: то действие, в составе которого он некогда произнес [октябрь уж наступил], нельзя мыслить соотнесенным с большевистским переворотом 1917 г. ввиду очевидных (укорененных в его, авторском, когнитивном состоянии) причин. Возможно, кто-то иной, знающий о когнитивном состоянии автора в момент данного действия больше, может дополнить и увеличить объем акционального смысла, явленного в данном высказывании, и еще дальше продвинуться по шкале в сторону предела понимания – авторской интенции и когнитивного состояния. Однако в любом случае ясно, что содержанием своего сознания и своим поступком автор ввел смыслопорождение данного высказывания в достаточно тесные рамки: *текст* (ряд «следов» коммуникативных поступков) *не может содержать больше смыслов, чем сам авторский замысел* данного поступка.

Иными словами, понимать автономный «текст» (написанный на «языке») в принципе невозможно, поскольку *пониманию подлежит только личная деятельность того, кто организовал коммуникативную процедуру; в самом же тексте источники смыслообразования полностью отсутствуют*. Текст представляет собой лишь *намек* на личное коммуникативное действие (вернее, последовательные намеки на ряд коммуникативных действий), и без возведения намека к объекту намека (или без воссоздания по следу того, что оставило этот след) смысл не может осознаваться в тождестве. Зато коммуникативный поступок (личное действие), в отличие от текста, уже можно понимать.

Как видно, «язык», состоящий из самоорганизующихся звуков, фонем, морфем, слов, предложений и текстов, невозможно заставить производить смыслообразование. Там, где оно все же гадательно просматривается сквозь мутное стекло уровней «языка», на самом деле «работает» локализованное в сознание субъекта коммуникативное действие с его мотивациями, мыслимыми объектами, установленными связями, констатированными адресатами и пр.

Уровень коммуникативной ситуации, или *семиотического действия*, как раз делает доступным максимальное (насколько возможно) приближение к когнитивным состояниям говорящих, усвоение их мотиваций и, соответственно, смысла совершаемых семиотических поступков. Чтобы представить коммуникативную ситуацию и семиотическое действие в ней, можно воспользоваться вербальным описанием (или, скажем, видеосюжетом, при наличии). Чем больше мыслимых коммуникантами параметров коммуникативного действия будет осознаваться интерпретатором, тем дальше продвинется он к пониманию авторского семиотического поступка.

Участниками рассматриваемой здесь интеракции выступают автор данной статьи (в ролевой функции «отца своего ребенка») и его дочь, Анна В., возраст 8 лет и 2 месяца, ученица второго класса. Более чем за неделю до данного диалога старшая сестра Анны, Анастасия («Настя», 17 лет), имитируя непринужденность, по моей просьбе дала посмотреть своей младшей сестре фильм У. Чейфа о похищении груш (http://pearstories.org/docu/narrative.htm). Дата просмотра фильма Анной В. 29.04.2017.

Затем, больше чем через неделю, автор статьи, также имитируя непринужденность (см. запись диалога), попросил Анну В. пересказать просмотренный фильм (08.05.2017, 16 часов 25 минут), чтобы заручиться материалом для предполагаемой статьи. При этом Анна В. сидела в комнате одна, за компьютером, и играла, забыв про уроки, в увлекательную игру. Экспериментатор вошел, мешая ей заниматься любимым делом, и попросил рассказать о фильме, не обнаруживая записывающий диктофон. Анна В. в течение разговора продолжала время от времени смотреть в монитор, исполняя какие-то игровые действия, и желала побыстрее исполнить просьбу – чтобы ее, наконец, оставили в покое.

(См. выше «текст диалога»).

Понятно, что наличие изображений участников коммуникации, а также их диспозиция в пространстве, разделяющее их расстояние, окружающие предметы, тембр их голоса и интонации, выражение лиц, движения рук, паузы и пр. могли бы еще ярче передать обстоятельства интересующих нас последовательных интеракций. Некоторые из подробностей, вероятно, могли бы сыграть в интерпретации свою роль, такие как, например, присутствующие в сознании старшего и младшего участников единые образы – «груш», «дяденьки», «мальчика», «мальчиков», «корзин», «велосипеда» и всего того, что не обсуждалось, но также нашло свое отражение в сознании участников единой практики (просмотра фильма). Эти образы, в отличие от сугубо индивидуального контента сознания, наделяют участника (и даже интерпретатора) частичной прогностической способностью: так, например, рассчитывая на знание единого видеоряда, участник диалога с гораздо большей уверенностью может рассчитывать на определенные реакции собеседника, поддерживать заинтересованный разговор, осознанно задавать вопросы и демонстрировать знание сути дела, учитывать последовательность образов в сознании собеседника, и пр.

После констатации параметров состоявшейся коммуникации многое в рассматриваемом тексте становится ясным: от образов объектов, вовлекаемых в диалог, до личных отношений и интонаций участников. Так, например, любой, кто посмотрел фильм У. Чейфа, может гораздо эффективнее «проникать в сознание» данных коммуникантов и понимать их интеракции, или, зная о вовлеченности Анны В. в компьютерную игру, интерпретировать ее реакции и реплики, например, «Ну-у-у-у-у-у…» (6) или остановки речи (2, 10, 16), и др.

Интерпретатор, кроме того, непременно ощущает себя перемещающимся по упомянутой шкале (назовем ее нейтрально – *шкалой интерпретации*), что в самом деле дозирует смыслы: их возникает больше или меньше, в зависимости от глубины погружения в «чертоги сознания» аутентичных коммуникантов (авторов «текстов»).

Ввиду всего этого исследователь данного диалога (читатель, или наблюдатель) должен, наконец, пережить немалую радость от обилия смыслов, хлынувших и наводнивших собою доселе пустоватый «текст реплик», – совершенно иное чувство, нежели то, которое владело им в продолжении тягостного скитания по бесплодным пустыням букв, звуков, морфем, слов, предложений

и даже пустыне самого текста, где смыслы не определялись.

В этом потоке понимания, который был вызван приливом жизненного коммуникативного контента, привязанного к личному сознанию и действию коммуникантов, можно видеть кардинальное *различие между естественным (коммуникативным) и языковым* смыслообразованием, а одновременно – *между коммуникативным действием* (с участием вербального канала) и *языковой структурой* (вербальными данными – словом, предложением, текстом).

Как видно, вербальные клише, составляющие текст, оставались пустыми и неопределенными до тех пор, пока на сцену не явилось *личное сознание* и *личный семиотический (коммуникативный) поступок*.

Здесь важно отметить, что весь разъясняющий контент «обильно хлынул» только в нашей нарочито (ради эксперимента) созданной ситуации: искусственно возведенную плотину, не допускавшую подлинные факторы смыслообразования в естественную коммуникативную интеракцию, наконец, столь же искусственно прорвало, – рассуждение вышло на уровень семиотического поступка и мыслимой ситуации его совершения.

Но – очень важно заметить – в естественном состоянии (в отличие от только что устроенного игрового квеста) коммуникант и интерпретатор *с самых первых шагов коммуникативной процедуры уже оснащены всеми возможностями и инструментами смыслопорождения*. Смыслообразование семиотического поступка (с участием слов или без), порождаемого или интерпретируемого, как раз и начинается с констатации мыслимых параметров действия. На этой стадии у коммуникантов уже имеется все то, что нами только в конце было замечено как «хлынувшее» и «наполнившее».

Так, при порождении коммуникативного действия, в состав которого, скажем, входят слова [просьба к присутствующим выключить сотовые телефоны] автор сразу обладает комплексом данных, которые задают возможности воздействия на адресата, а также некоторые способы (в том числе вербальные коммуникативные клише), которые обыкновенно в похожих коммуникативных синтагмах (типологических условиях коммуникации) вызывают в сознании адресата нужные автору изменения. Понять эти и другие слова можно только как *действие коммуниканта в данных условиях*, то есть только в составе мыслимой коммуникативной синтагмы, двигаясь по шкале интерпретации *в сторону коммуниканта*.

Понимание всегда будет сводиться к интерпретации его осмысленного поведения. Именно поэтому действие коммуниканта, который адресует данное «предложение» ([просьба к присутствующим выключить сотовые телефоны]), скажем, таможеннику при прохождении границы или продавцу, спрашивающему, «будете ли Вы это покупать», *окажется слишком сложным для истолкования*, при том что в «самом предложении», казалось бы, нет никаких нарушений или избыточной сложности.

В свою очередь, при интерпретации «текста» читатель все время пребывает в одном, не вполне линейно (скорее, многомерно) воссозданном, моменте авторского коммуникативного действия, с соответствующим набором параметров. Его сознание способно анализировать единомоментно *только одно авторское действие*, на что и рассчитывает автор, продвигающий читателя, посредством вербальных «намеков», от действия к действию. Набор параметров при переходе от одного семиотического поступка к другому формируется как изменяющееся (нарастающее) множество данных, из которого сознание интерпретатора, подчиняясь автору, избирает актуальные элементы, необходимые для производства и интерпретации данного действия (в этом и состоит нелинейность процедуры смыслообразования). Понятно, что для успешной интерпретации каждого действия в «тексте» необходимо не количество предложений, предшествующих данному, а мыслимый невербально набор данных, составляющих арсенал интерпретатора, то есть мыслимый постоянно меняющийся дискурс, в постоянном обладании которым нуждается автор действия и затем истолкователь.

Участник коммуникативной ситуации *с самого начала* получает (или уже имеет) значимые для порождения или интерпретации параметры, которыми он так и не смог бы до последнего момента заручиться, если бы начинал порождение (интерпретацию) семиотического поступка от уровня звуков и морфем (как в приведенном игровом поиске факторов смыслообразования по уровням). В отличие от реализованной здесь условной процедуры, начатой от звуков и морфем, коммуникант и интерпретатор в актуальной ситуации все делают *прямо наоборот*: в мыслимом моменте коммуникативной ситуации и ее параметрах уже содержится огромный набор возможностей (и ограничений) для порождения или интерпретации авторского действия.

Нужно отметить, что только после установления данной системы координат (то есть после понимания личного действия в

мыслимых условиях коммуникации) становится возможным *приписывать значения (смыслы) элементам вербальной структуры*, как со стороны автора, так и интерпретатора (так, слово [я] может быть признано понятным только после констатации мыслимого в данный момент источника говорения). Впрочем, элементарный состав действия может и не проявляться в сознании участников, поскольку замысел действия имеет невербальное содержание и поэтому не разложим на коммуникативные клише или иные единицы. Если он уже «обработан» сознанием независимо от единиц, возникшее когнитивное тождество уже не нуждается в бесполезной «элементаризации».

Выводы

В ходе двух представленных экспериментов («Интерпретация двух реплик в условном диалоге с наблюдателем» и «Разговор с ребенком об истории с похищением груш») были обозначены характеристики вербальных данных и коммуникативного действия, их соотношение в естественных условиях коммуникации.

Вербальные данные (взятые на различных уровнях анализа – от звука до предложения и текста) могут считаться смыслообразующими элементами только при условии вовлечения в коммуникативные действия, организованные конкретными говорящими (пишущими).

Вне коммуникативного действия вербальные данные не обладают автономным значением и смыслом, не могут интерпретироваться в тождестве.

Порождать и затем интерпретировать можно только личные семиотические поступки (коммуникативные действия), по которым, на основании косвенных признаков, можно установить некоторые характеристики когнитивного состояния автора поступка (коммуникативного действия), что составляет главную опорную точку смыслообразования.

В естественном коммуникативном процессе (с использованием или без использования вербального канала) понимаются личные коммуникативные действия (семиотические поступки) в сложных (иногда вовсе недоступных интерпретатору) условиях, а не слова или иные «знаки» (жесты, рисунки, несловесные звуки и пр.).

Стремление к более точному пониманию значения (смысла) сказанного предполагает перемещение по интерпретационной

шкале в сторону когнитивного состояния автора семиотического поступка (коммуникативного действия) в момент его совершения. Понимание самих «знаков языка» (а также иных автономных знаков) невозможно, поскольку в них отсутствуют собственные источники смыслообразования: тела этих «знаков» никто не ассоциировал с объектами, действиями, связями и отношениями, никто не формировал сами объекты, никто не выделял и не назначал связей, никто не определял целевую аудиторию, не производил анализ параметров коммуникации, не намечал цель семиотического действия посредством этих «знаков», и пр.

Процесс семиозиса (порождения смысла с использованием знаков) имеет субъективную (психологическую) основу, является прямым следствием личной когнитивной деятельности (вспомним направление Ч. Морриса[1]). Поскольку знак выделяется и получает тождество только в личном коммуникативном действии, его дискретное существование можно считать условным, а его конституирование – утилитарной процедурой. Так, невозможно определить, сколько «знаков» содержится в слове [процедура] или [утилитарный]. При этом смысл коммуникативного действия имеет невербальную природу, и соответственно, входящий в его состав вербальный текст не может разбиваться на знаки вне поставленной коммуникантом (наблюдателем, вторичным интерпретатором) исследовательской задачи.

1. *Morris C.W.* Signs, Language and Behavior. N. –Y., 1946.

Отношение коммуникативного действия и вербальных данных можно описать как отношение целого (действия) и его несамостоятельной части, наделяемой функциями в процессе вписывания (интегрирования) в коммуникативное действие. Так, если коммуникант произносит [просьба к присутствующим отключить сотовые телефоны], то вербальные данные исчерпываются приведенным набором слов. В то же время коммуникативное действие представляет собой всю многофакторную процедуру производства (или попытки достижения) искомых изменений в когнитивном состоянии мыслимого адресата, что достигается далеко не только вследствие произнесенных слов. Для достижения той же цели можно нарисовать пиктограмму, выказать свою просьбу жестом, воспользоваться иными словами данного «языка», иным «языком» и пр.

Обязательные признаки естественного семиотического действия (поступка) – коммуникативность, акциональность, ситуативность, когнитивность, интерпретируемость – полностью игнорируются «языком», или языковой моделью смыслообразо-

вания, в которой обладающими значением и смыслом признаются сами слова. Так, в высказывании [просьба к присутствующим отключить сотовые телефоны] эти неотъемлемые свойства коммуникации – обращенность к определенной аудитории (коммуникативность), планирование и достижение определенных изменений в сознании данной аудитории (акциональность), условия совершения данного семиотического поступка (ситуативность), индивидуальное осознание осуществляемых взаимодействий (когнитивность), а также непрямой, зачастую различный способ истолкования действия коммуниканта (интерпретируемость), – оказываются целиком за пределами данной вербальной формы (объекта изучения «языка») и не могут быть учтены языковой моделью.

В естественном коммуникативном процессе всегда «работают» несколько каналов передачи воздействия (визуальный, речевой, музыкальный, аудиовизуальный, акустический, тактильный и др.). Так, в упомянутом примере ([просьба к присутствующим…]) говорящий рассчитывает на то, что аудитория констатирует условия совершения данного действия (визуальный и акустический каналы), слышит данные вербальные клише (акустический канал), идентифицирует коммуникативные клише (речевой канал).

Попытки обособления канала коммуникации (например, признание актов «только речевыми», или только «жестовыми», или «живописными», с соответствующим обособлением «языка слов», «языка жестов», «языка живописи») не отвечает реальности коммуникации и не может способствовать построению адекватной модели смыслообразования. Так, в любом речевом акте непременно работают вербальный и визуальный каналы, а также – назовем его так – «канал подкачки данных из индивидуальной памяти» (субъективно зависимый и варьирующий от субъекта к субъекту).

Производиться и пониматься в тождестве могут только конкретные коммуникативные действия. Попытки обобщения и формирования баз типологических данных («грамматика», «словарь», «способы фиксации» и пр.) представляют собой подсобные средства для обретения смысла в конкретных фактах коммуникации.

Попытки приписать словам и словесным языкам (а равно иным «знакам» и «языкам знаков») способность производить смыслообразование не отвечает реальности всегда комплексного коммуникативного процесса.

Комментарии

И.В. Журавлев

Совершенно справедливо положение о том, что *в естественной коммуникации всегда «работают» несколько каналов воздействия*. Мы бы добавили, что коммуникация может быть не только речевой и неречевой, но также *сознательной* и *бессознательной*. На наш взгляд, бессознательная часть коммуникативного процесса не учитывается формируемой моделью, выпадает из нее в силу методологического ограничения, связанного с полаганием субъекта коммуникации как *тождественного* и *транспарентного*. Однако если это ограничение снять, если позволить себе увидеть субъекта коммуникации как расщепленного, нетождественного, непрозрачного, то за этим последует и многое другое. Придется признать, что субъект, в той мере, в какой он для себя прозрачен, по преимуществу говорит и действует «не сам», что *субъект не равен актору, не равен сознанию, не равен индивиду*. Придется «включить» в субъекта историю, культуру, язык. Точнее, придется увидеть *диалектику индивидуального и надындивидуального, присвоения и отчуждения, речи и языка*. Это не будет возвратом к «языковой» модели естественного коммуникативного процесса: напротив, это должно быть следующим шагом на пути ее преодоления. Недостаточно сказать, что в естественной коммуникации источником смысла являются не «средства» (слова), а действия коммуникантов. Целесообразно добавить, что *действия коммуникантов являются осмысленными потому, что коммуниканты вовлечены в надындивидуальный процесс*, в деятельность, которая всегда коллективна, даже когда индивидуальна. Отнюдь не всё в этой деятельности доступно сознанию ее участников. Именно *недоступность сознанию человека деятельности в целом* оборачивается *осмыслением* им собственных действий и своей позиции в деятельности. От сознания не было бы проку, если бы не было бессознательного. Аналогичным образом, именно «ненаделенность полнотой бытия» (У. Эко) побуждает нас обращаться друг к другу, что-то друг другу сообщать.

Положение о том, что *отношение между коммуникативным действием и вербальными данными можно описать как отношение между целым (действием) и его несамостоятельной частью (наделяемой функциями в процессе интегрирования в*

коммуникативное действие), не вызывает возражений. Вопрос только в том, как мы мыслим сами «вербальные данные» (или единицы языка). Каково происхождение, с одной стороны, коммуникативного действия, а с другой стороны – «вербальных данных»? Если с самого начала слова и действия существуют сами по себе, то, конечно, их случайная встреча требует каких-то оснований – например, наличной (и сознательной) коммуникации. Но если слова и действия (а лучше сказать – слова, вещи, действия и мысли) изначально связаны генетической, интимной связью, если *слово появляется изначально как форма дела* (квазиобъект), то вторичное связывание слова и дела посредством погружения их в коммуникацию выглядит как инцест. С самого начала не было и не могло быть слов самих по себе, призванных что-то «обозначить». В ходе развития сознания, языка и культуры слово *отделяется* от действия, а не присоединяется к нему. «Вначале было дело. Слово образует скорее конец, чем начало развития. Слово есть конец, который венчает дело» (Л.С. Выготский).

3.2. Слово и объект (возможна ли бессловесная мысль) (И.В. Журавлев, Ю.В. Журавлева)[1]

1. Текст данной главы основан на публикации: *Журавлев И.В., Журавлева Ю.В.* Слово и объект (возможна ли бессловесная мысль) // Вопросы психолингвистики. 2018. №2 (36). С. 42-57.

Статья отражает позицию авторов в дискуссии о соотношении мышления и языка, развернувшейся в ходе работы над проектом «Разработка коммуникативной модели вербального процесса в условиях кризиса языковой модели» в Институте языкознания РАН. Авторы отстаивают аргумент о единстве мышления и речи, ссылаясь на фундаментальные положения теории Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева, раскрывающие место и роль языка (речи) в психике и сознании. Ставится вопрос о тождестве слова и тождестве предмета. Показано, что слово не может служить для именования «готового» предмета, «данного» в восприятии. Формы деятельности, формы обобщения, категоризации предмета не являются статичными: они претерпевают сложное развитие. Предмет становится тождественным в результате экспликации его существенных и латентных признаков, которая возможна лишь при «опробовании» предмета в разных деятельностях. Слову, как и предмету, нужно «побывать» в разных деятельностях, чтобы за ним закрепилось тождественное значение. Любой сознательный образ по происхождению есть образ совместной деятельности. Нет таких образов сознания, которые не могли бы быть выражены семиотическими средствами. Язык как главная семиотическая система является условием и формой существования идеального. Все высшие психические функции в ходе развития психики опосредуются речью. Главная психологическая функция речи – это функция управления внутренними процессами.

Введение

Проблеме соотношения языка (речи) и мышления посвящено бессчетное количество исследований и научных публикаций, что связано с ее огромным методологическим значением для целого ряда наук. Обзор даже только современных значимых работ, посвященных этой проблеме, представляется почти невыполнимой задачей. Не ставя перед собой такую задачу, мы постараемся сформулировать и обосновать ряд положений, которые должны прояснить нашу позицию в научной дискуссии, развернувшейся в Институте языкознания РАН в ходе работы над проектом «Разработка коммуникативной модели вербального процесса в условиях кризиса языковой модели».

В языкознании, психологии, психолингвистике и современных когнитивных науках формулировались различные взгляды на соотношение мышления и языка. Одна из крайних точек зрения

заключается в полном отрыве языка от мышления: язык – это лишь номенклатура, «одежда» для бессловесной мысли. Противоположная точка зрения состоит в полном подчинении мышления языку (лингвистический детерминизм). В большинстве своем не принимая строгую версию лингвистического детерминизма, современные исследователи тяготеют к той или иной версии обособления языка от мышления (концепция мыслекода С. Пинкера, гипотеза модулярности Дж. Фодора и др.).

Центральным вопросом, поднятым в дискуссии, стал вопрос о бессловесном мышлении и, соответственно, о функциях речи во внутренних (психологических) процессах (мышлении, воображении, памяти и т.п.). На этот счет участниками дискуссии выдвигались три конкурирующих точки зрения.

1. Мышление принципиально бессловесно. Речевые средства (слова) выполняют лишь функцию коммуникации. Соответственно, мысль предсуществует слову и «встречается» с ним только в коммуникативном процессе. Сами по себе, в отрыве от коммуникации (взаимодействия коммуникантов), слова не обладают тождественным значением. Сознания коммуникантов так же принципиально (вне коммуникации) не тождественны. В ходе коммуникации производятся и понимаются не слова, а коммуникативные действия.

Эта позиция отражает направление в современной лингвистике, связанное с попыткой построения коммуникативной модели речевого процесса и преодоления «лингвистического имяславия»[1].

2. Мышление может осуществляться как в речевой, так и в неречевой форме. Речевая форма мышления может быть как внешней (развернутой), так и внутренней. Формы (средства) неречевого мышления – это планы, схемы, образы, которые могут существовать независимо от языковых (речевых) средств. Существует языковое и неязыковое сознание. Соответственно, существуют такие образы сознания, которые не связаны с речью. Можно иметь сознательный образ, но не быть способным к его словесному оформлению. Для реализации целей общения необходима общность сознаний коммуникантов, которая вытекает из принадлежности их к определенной культуре.

Данная позиция отражает представления о языке, сознании и коммуникации, сложившиеся в отечественной психолингвистике в форме теории языкового сознания[2].

1. *Вдовиченко А.В.* О несамотождественности языкового знака. Причины и следствия «лингвистического имяславия» // Вопросы философии. 2016. №6. С. 164-175.

2. *Тарасов Е.Ф.* Актуальные проблемы анализа языкового сознания // Языковое сознание и образ мира / Отв. ред. Н.В. Уфимцева. М., 2000. С. 24-32.

3. Генетически (по происхождению) все средства мышления связаны с языком. Только оречевленная в ходе развития мысль может позволить себе роскошь быть бессловесной. Все высшие психические функции (мышление, память, воображение и т.п.) в ходе развития психики опосредуются речью. Главная психологическая функция речи – это функция управления внутренними процессами. Любой сознательный образ по своему происхождению есть образ совместной деятельности; соответственно, нет таких образов сознания, которые не могли бы быть выражены семиотическими средствами. Представить себе (осознать) можно только то, что можно представить другому. Язык как главная семиотическая система является условием и формой существования идеального. Будучи носителями языка, люди не «вступают» в коммуникацию, а изначально присутствуют в ней.

Данная точка зрения, во многом близкая к предыдущей, отражает фундаментальные положения психологической школы Л.С. Выготского и общепсихологической теории деятельности А.Н. Леонтьева.

Отметив, что мы отстаиваем третью из представленных точек зрения, мы должны подчеркнуть, что все участники дискуссии сходятся друг с другом в понимании того, что *коммуникация включена в деятельность, во взаимодействие коммуникантов, и поэтому, конечно, источником смысла средств коммуникации (слов и т.п.) являются не сами эти средства, а процесс взаимодействия*. Принципиальное расхождение между первой и второй позициями связано с вопросом о том, может ли мышление осуществляться в словесной (внешней или внутренней) форме. Менее заметное расхождение между второй и третьей позициями связано с вопросом о месте языка (речи) в структуре психики и сознания. Для большей ясности уточним, что различие между первой и второй точками зрения связано главным образом с вопросом о том, *может ли мышление быть вербальным*, а различие между второй и третьей точками зрения – с вопросом о том, *может ли мышление быть невербальным*.

Проблему соотношения мысли и слова необходимо рассматривать как частную проблему психологической и психолингвистической *теории*. Методологически некорректным было бы, говоря об этой проблеме, «выносить за скобки» *онтологию* мысли и слова, мышления и речи, ибо подобное «эпохе» оставило бы изучаемые сущности за скобками *научного* описания и объ-

яснения. «Отрезаем» ли мы мысль от слова или рассматриваем их в единстве и сложных взаимопереходах – в любом случае мы должны сформулировать теорию, в которой мысль и слово предстают как объекты *научного* рассмотрения.

Конечно, легко «отрезать» слово от мысли. Но если слово тогда будет чувствовать себя хоть сколь-нибудь адекватно (в конце концов, оно останется объектом внутренней лингвистики), то вот мышлению придется туго. С ним нужно будет понянчиться. Ведь мышление и другие психические процессы – это прежде всего объект психологии, а не лингвистики. Понимая, что границы между науками – вещь достаточно условная, мы, тем не менее, хотим подчеркнуть, что, описывая отношения между мышлением и речью, т.е. заходя в область психологии, исследователь должен формулировать прежде всего психологическую, а не лингвистическую теорию: ему придется объяснить, как «устроена», как «работает», как развивается и как «ломается» психика. И если мы говорим конкретно о мышлении, то необходимо будет формулировать *научную психологическую теорию мышления*.

Но это только полдела. Независимо от того, «отрезаем» ли мы мысль от слова или отстаиваем их единство, – мы должны не только сохранить за мыслью и словом статус объектов *научного* рассмотрения, но и быть способными *ответить на главный вопрос психолингвистики*. А именно, нам придется описать механизм производства речи и механизм восприятия (понимания) речи (*путь от мысли к слову и обратно*). И здесь недостаточно будет простых констатаций: их не примет не только представитель Московской психолингвистической школы, но и ни один современный ученый-когнитивист, представляющий производство и восприятие речи как *сложные многоэтапные и многоуровневые процессы*. Исследователь, отрезающий мысль от слова, должен будет описать *механизм* их тайных встреч, а не просто принять, что – да, мол, все мы не без греха и с кем не бывает. Если мы соглашаемся с тем, что понимание и производство речи все-таки возможно, то нам придется указать, *на каком именно этапе этих процессов мы имеем дело уже не с речью, а с мыслью, и наоборот*…

Говоря об этом, мы подчеркиваем необходимость ведения дискуссии о соотношении мышления и речи с обязательной опорой на научную теорию и научную методологию. Задача настоящей статьи и заключается в том, чтобы прояснить научные основания,

стоящие за нашими аргументами. Мы будем ссылаться на теорию развития высших психических функций Л.С. Выготского и его школы, а также на общепсихологическую теорию деятельности А.Н. Леонтьева (различия между этими теориями в данном контексте несущественны).

1. Служит ли слово для именования «готового» предмета?

Чтобы раскрыть сущность процесса номинации, следует поставить под вопрос онтологию объектов, которые (якобы) даны сознанию в «готовом виде» до и вне этого процесса (мол, сначала мы нечто видим, а потом мы его обозначаем). И тут нужен экскурс в историю философии. Проблема *первоначала* оказалась первой философской проблемой именно потому, что зарождающаяся в древности философская мысль обнаружила *тождественность* объектов, которую до того (на уровне мифологического мышления) заметить было нельзя. Объекты мира, да и мир в целом, предстали перед философской мыслью как *субстанция*, как нечто само по себе неизменное, остающееся одним и тем же под многообразием масок явленности. Мифологическое мышление субстанции не видело; в мифе вещь не была «самой собой», она могла превращаться в любую другую вещь, присутствовать в одно время в разных точках пространства, как и наоборот, одно место в пространстве могли с легкостью занимать разные вещи.

Вопрос о том, почему вещь остается самой собой, с тех пор (и до сих пор) является одним из главных вопросов философии. Наивное сознание нам твердит, что никакого вопроса тут нет: мол, вот же вещь, она перед глазами, и если мы от нее отвернемся, она никуда не денется. Правда, этот взгляд уже не столь наивен, как взгляд первобытного человека или ребенка: для них как раз вопрос «сохранности» объекта в момент, когда мы закрыли глаза, – это очень и очень большой вопрос. Так что мы говорим здесь о наивном сознании взрослого человека, являющегося к тому же представителем западной (в широком смысле) культуры.

Мы привыкли иметь дело с тождественными предметами (здесь уже можно употребить термин «предмет», имея в виду предмет деятельности, а не объект сам по себе). Однако из самих предметов (как объектов реального мира) это тождество отнюдь еще не извлекается (Декарту в связи с этим пришлось предпо-

ложить, что Бог творит мир постоянно, и только за счет этого возобновляемого акта объект в каждый новый момент времени остается равным самому себе в предшествующий момент времени). Никаких «готовых», тождественных себе предметов не существует не только для ребенка, овладевающего языком, но даже и для взрослого, который в целом уже «опредметил» для себя реальность. Л.С. Выготский называл психику «островками безопасности в гераклитовом потоке»: реальность для нас предметна, поскольку иначе мы не смогли бы с ней взаимодействовать, но ее предметность обеспечивается постоянным *усилием* нашего сознания (М.К. Мамардашвили), т.е. нашим опредмечивающим взглядом.

«Ничто человеческое не может само собой пребывать, оно постоянно должно возобновляться и только так может продолжать жить, а возобновляться оно может только на волне человеческого усилия <…> наш макровзгляд не обладает такой размерностью, которая позволяла бы нам различить маленькие пространства между предметом в момент *А* и в момент *Б*. Но есть зазор, внутри которого, чтобы будучи в моменте *А*, предмет был бы потом в моменте *Б*, должно вспыхнуть человеческое усилие. И в данном случае мышление, понимание выступают как элемент самого бытия. <…> чужой взгляд увидит дление правила, но не заметит зазоров между моментами дления правила, которые заполнены исполнением человеком своего назначения. <…> мы видим непрерывный предмет, а он в действительности не такой»[1].

Итак, мы видим непрерывный (тождественный) предмет, а он в действительности не такой: его тождественность не дана изначально, она обеспечивается исключительно нашим опредмечивающим взглядом; воспринимая объект, мы опредмечиваем его, что требует, конечно, *усилия* нашего сознания, причем за этим усилием стоит не что иное, как *деятельность* с предметом.

А.Н. Леонтьев неоднократно подчеркивал фундаментальную для современной психологии идею о том, что восприятие есть активный процесс, опосредуемый системой предметных значений. Чтобы увидеть предмет, недостаточно просто открыть глаза: предмет не «отпечатывается» в психике, как печать на глине; для восприятия предмета нужно, чтобы между человеком и предметом сложилось отношение деятельности. Иначе говоря, нужна актуализация *формы предметной деятельности*, т.е. значения (предназначения) предмета. Это положение касается не

1. *Мамардашвили М.К.* Опыт физической метафизики (Вильнюсские лекции по социальной философии). М.: Прогресс-Традиция, 2008. С. 19, 29, 38.

только человеческого, сознательного восприятия, но и восприятия вообще, с тем лишь уточнением, что человек при восприятии актуализирует формы предметной деятельности, а животное – формы двигательной активности (сенсомоторные схемы). Формы движений более жестко «привязаны» к физическим характеристикам воспринимаемых объектов, чем формы деятельности, и, соответственно, не требуют тождественности объекта: физические характеристики любого стола позволяют кошке запрыгнуть на него или спрятаться под ним. Для человека важны *предметные* характеристики стола, позволяющие ему использовать стол в соответствии с его назначением; человек, имея в своей голове предметное значение (форму деятельности со столом), может поэтому «увидеть» стол даже в доске, положенной на колени. Тождество стола обеспечивается деятельностью с ним, причем форма этой деятельности (значение) *должна существовать где-то еще* помимо любого конкретного объекта, используемого как стол. Она должна быть воплощена в квазиобъекте, в превращенном предмете, т.е. существовать в теле знака (или любого другого символа).

К идее квазиобъекта мы еще вернемся, а пока зафиксируем следующее. Никаких «готовых» предметов в человеческом опыте не существует; в ходе онто- и филогенеза человек опредмечивает реальность, активно взаимодействуя с ней, «примеряя» к ней формы своей активности, которые отнюдь не являются константными, раз и навсегда данными. Эти формы активности (формы деятельности, обобщения, категоризации) претерпевают сложное развитие, связанное с их структурными перестройками. Это фундаментальное положение Л.С. Выготского. Все психические функции развиваются: развивается мышление, восприятие, память, воображение и т.п. Единицами этих функций, претерпевающими развитие, как раз и являются формы обобщения, т.е. формы узнавания предмета, его категоризации, деятельности с ним. Ребенок иначе категоризует воспринимаемую реальность и, соответственно, иначе ее воспринимает, чем взрослый. Л.С. Выготский подробно описал путь развития форм обобщения (синкреты – комплексы – понятия). Так, на стадии синкретов, произнося слово «чашка», ребенок сначала «имеет в виду» не дискретный объект, а совокупную не вполне дифференцированную ситуацию или процесс. Объектов, равных самим себе, сначала в опыте ребенка нет и быть не может: в разных ситуациях вос-

приятия они не являются «теми же самыми». Задачу со скрытым перемещением объекта дети начинают решать правильно лишь с 18-месячного возраста, а от комплексного мышления к понятийному переходят лишь в школьном возрасте.

С развитием форм обобщения и связано появление тождественных предметов. Представим ложку в руке ребенка. В одной ситуации это машинка, в другой – кораблик, в третьей – то, чем размешивают чай. Предмет для ребенка становится тождественным по мере того, как ребенок обучается выделять его существенные признаки и отличать их от латентных. Но *различение существенных и латентных признаков требует того, чтобы предмет «побывал» в разных деятельностях!* Невозможно знать А, не зная при этом не-А… Именно поэтому непременным условием развития психики ребенка является *игра*, в которой и происходит «опробование» разных сторон предмета, способствующее вычленению его существенных признаков.

Предметность не статична: она развивается, перестраивается, и образ мира как система предметных значений («превращенная форма мира», по А.А. Леонтьеву) константен лишь отчасти, лишь в определенных ситуациях и в небольших временных интервалах. Потому и тождество предмета не является абсолютным даже для взрослого (а не только для ребенка). В связи с этим становится очевидным, что слово не может служить для именования «готового» предмета – ибо неясно, откуда этот «готовый» предмет мог бы вообще взяться. Само понятие «номинация» теперь оказывается лягушкой, раздувшейся до размеров вола: в реальности номинация как таковая происходит гораздо реже, чем кажется на первый взгляд.

«Номинирует» ли человек «чувственно выделенные» предметы? Вот что писал об этом С.Д. Кацнельсон: «Это старая песня. Сначала дан предмет в восприятии. Предметы чувственно выделены, но нет еще названий для них. Затем приходят названия и начинают вторично влиять на “выделение определенных сторон в восприятии предмета”. Сначала, совсем как в Ветхом Завете, идет процесс наречения “готовых предметов”, предметов, открываемых чувственным восприятием, а уж затем с помощью слов производится процесс анализа чувственных данных, выделения сторон. И это спустя полтора столетия после Канта, Гегеля и Маркса, показавших, что “предмет” не дан готовым в восприятии, что нет “предмета” с самого начала, что нет зеркально-

мертвого отображения готовых предметов, что предметный мир входит в сознание лишь определенными пластами, уровнями, что "предметность" "предметности" рознь, что на каждой ступени познания формируется новое, более глубокое понятие о предмете и что это понятие существенным образом меняется не только в своем содержании, но и в объеме, в его отношении к другим предметным понятиям»[1].

В связи с этим возникает вопрос, возможно ли бессловесное восприятие. Ответ на этот вопрос достаточно очевиден. Чтобы *сознательно* воспринять предмет, необходимо увидеть в нем форму предметного действия, т.е. актуализировать предметное значение. О том, чем предметное значение отличается от вербального, мы скажем чуть ниже. Пока отметим, что генетически (по происхождению) *любое значение есть форма деятельности*, а язык – это система значений, могущих актуализироваться как в вербальной, так и в невербальной форме[2]. «Сто лет назад Штейнталь сказал: "Чтобы думать, надо уметь говорить". Чтобы воспринимать, тоже надо уметь говорить, по крайней мере если мы имеем в виду человеческий способ видеть вещи. Ведь человек видит вещи именно как "социальные вещи", проецируя на них знание их объективных свойств. Чтобы иметь возможность выделить предмет из окружающего мира как носитель таких объективных свойств, его нужно осознать; чтобы его осознать, его нужно обозначить»[3].

В отечественной психологии процесс словесного обозначения предмета «понимается не как особый, отделенный от восприятия процесс последующей обработки его продукта мышлением, а как процесс, включенный в деятельность самого восприятия. Ведь опознание… необходимо требует соотнесения получаемой предынформации с эталоном, который у человека хранится в обобщающих системах, имеющих языковую основу»[4]. Еще более жесткое высказывание принадлежит В.П. Зинченко: «… сознательно воспринять предмет – значит мысленно назвать его»[5].

2. Квазиобъект, номинация и экспликация признаков предмета

В общепсихологической теории деятельности язык рассматривается как *превращенная форма* предметной деятельности. Предметное значение как форма деятельности обретает «самосто-

1. *Кацнельсон С.Д.* Категории языка и мышления: Из научного наследия. М.: Языки славянской культуры, 2001. С. 526.
2. *Леонтьев А.А.* Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психологии. М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2003. С. 124.
3. *Леонтьев А.А.* Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психологии. М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2003. С. 15.
4. *Леонтьев А.Н.*, Гиппенрейтер Ю.Б. О деятельности зрительной системы человека // Психологические исследования. М.: Издательс тво Московского университета, 1968. С. 22.
5. Общая психология / Под ред. А.В. Петровского. М., 1970. С. 226.

ятельное» существование (в виде представлений, воспоминаний и т.п.) лишь тогда, когда появляется знак (или любой другой символ), в котором эта форма продолжит свое существование, будучи «оторванной» от актуально воспринимаемого предмета (форма деятельности расщепляется на предметное и вербальное значение).

Предметное значение – это форма деятельности, воспринимаемая нами в самом предмете (который, соответственно, выступает для нас как знак самого себя). Вербальное значение – это та же форма деятельности, только воспринимаемая (воплощенная) в слове как превращенном предмете (квазиобъекте). Слово как превращенный предмет является «местом хранения» формы деятельности с предметом реальным: предмета перед глазами нет, а слово – есть. *Значение (предназначение) предмета, будучи зафиксировано в слове и, стало быть, продолжая существовать вне любой актуальной деятельности с предметом, может возвращаться к предмету в любой новой ситуации деятельности*.

Поэтому слово, как говорил А. Валлон, оказывается средством включения отсутствующего прошлого в настоящее, средством выхода сознания за предел актуальной ситуации[1]. Именно слово, как демонстрируют исследования Л.С. Выготского, оказывается в развивающейся психике ребенка гарантом перманентности воспринимаемых объектов. При этом значения слов – не статичные формы; будучи формами обобщения, они сами, как мы уже говорили, претерпевают сложное развитие.

С разделением формы деятельности на предметное и вербальное значение, с появлением квазиобъекта связано рождение *идеального*, т.е. появление *сознания*. Согласно Э.В. Ильенкову, идеальное есть лишь там, «где сама форма деятельности, соответствующая форме внешнего предмета, превращается для человека в особый предмет, с которым он может действовать особо, не трогая и не изменяя при этом до поры до времени реального предмета, той внешней вещи, образом которой является эта форма деятельности»[2]. «Необходимо ввести предмет в такую систему отношений, в которой он бы мог сыграть роль зеркала, превращая представление человека в сознательное. Этот предмет должен быть означен и жить в особой форме – в форме языка. Язык и есть то необходимое условие, единственно посредством которого предмет может получить свою жизнь в голове человека, свое существование в идеализированной форме и, следовательно, преобразовать форму отражения»[3].

1. *Валлон А.* Психическое развитие ребенка. СПб.: Питер, 2001. С. 165.

2. *Ильенков Э.В.* Идеальное // Философская энциклопедия. Т.2. М.: Издательство «Большая Советская Энциклопедия», 1962. С. 226.

3. *Леонтьев А.Н.* Лекции по общей психологии. М.: Смысл, 2001. С. 94.

Но «переселившись» из реального предмета в квазиобъект, т.е. став словесным, значение отнюдь не теряет родственной связи с реальным предметом: напротив, эта связь только укрепляется. Это – капитальное положение, сформулированное А.Н. Леонтьевым: «отделение значения от предмета в языке <…> есть вместе с тем новая форма соединения значения и предмета: предмет выступает теперь в определенном общественном значении или во многих, но всегда общественных значениях <…>. Можно сказать, что в значениях слов реализуются для сознания значения предметов. Значение слова есть форма “идеального присвоения” человеком его, человеческой, действительности»[1].

1. *Леонтьев А.Н.* Философия психологии. М.: Издательство Московского университета, 1994. С. 167.

Однако как реальный предмет, так и превращенный предмет (квазиобъект) сначала никакой тождественностью не обладает. Тождество того и другого гарантируется исключительно деятельностью, «опробованием» в различных ситуациях деятельности, переходами из одной деятельности в другую. Что это значит?

Номинацию предмета можно рассматривать как деятельность с ним. Соответственно, номинация также будет способствовать экспликации признаков предмета: слово «ложка» для ребенка, играющего с ложкой как с корабликом, оказывается поэтому средством разграничения существенных и латентных признаков ложки. Рассмотрим пример, который приводил А.А. Потебня: ребенок называет шаровидный колпак лампы арбузиком. Как говорил, анализируя этот пример, С.Д. Кацнельсон, в этот момент признак шаровидности актуализируется не только в колпаке, но и в арбузе (невозможно увидеть шаровидность как признак арбуза, пока ты не увидел ее в чем-то еще)[2]. *Слову, как и предмету, тоже нужно побывать в разных деятельностях, для того чтобы за ним закрепилось тождественное значение*. Именно поэтому дети играют не только с предметами, но и со словами.

2. *Кацнельсон С.Д.* Категории языка и мышления: Из научного наследия. М.: Языки славянской культуры, 2001. С. 293.

3. «Хитрость» разума

В игре со словами происходит не только овладение значениями слов, но и *объективация* слова – колоссально важный процесс, без которого невозможно усвоение языка. Ребенок в одной ситуации относится к слову как к *объекту*, а в другой – употребляет его как *средство* (осознания, познания, номинации). Этот процесс подобен овладению внешним орудием, которое в одних ситуациях воспринимается как объект, а в других – служит

проводником активности субъекта. Неслучайно поэтому Л.С. Выготский и представители его школы называют слово *орудием* психической деятельности (неважно при этом, идет ли речь о внешнем или о внутреннем слове).

Хитрость разума, по Гегелю, состоит в опосредствующей деятельности, «которая, дав объектам действовать друг на друга соответственно их природе и истощать себя в этом воздействии, не вмешиваясь вместе с тем непосредственно в этот процесс, все же осуществляет лишь свою собственную цель»[1]. Иначе говоря, деятельность человеческого разума всегда чем-то опосредуется, независимо от того, идет ли речь о внешней деятельности или внутренней (с этим связан принцип изоморфизма деятельности внешней и внутренней в теории А.Н. Леонтьева).

1. *Гегель Г.В.Ф.* Энциклопедия философских наук. В. 3-х тт. Том 1. Логика. М.: Мысль, 1974. С. 397.

Любое орудие нашей деятельности и любое средство восприятия лучше работают тогда, когда мы их не замечаем: например, мы не должны замечать стекол очков, когда читаем книгу, или тяжести молотка, когда забиваем гвоздь. Пока мы учимся использовать орудие, оно должно быть объектом нашего сознания. Но когда мы действуем при помощи орудия, оно должно быть проводником нашей активности, незаметным для нашего взгляда. Деятельность нашего разума *опосредуется* не только внешними, но и внутренними орудиями: слепой правильно использует палку потому, что образ ее возможных движений включен в схему движений его руки (внутренним, психологическим орудием в данном случае будет *сенсомоторная схема*). Согласно теории интериоризации Л.С. Выготского, по мере развития психики опора на внутренние орудия возрастает. При этом *универсальным орудием психики становится знак (в первую очередь – слово)*. Знаковая деятельность позволяет нам не только общаться друг с другом и познавать реальность, но и управлять собственными психическими функциями.

Благодаря знаковой деятельности человек может познавать объекты, недоступные его прямому наблюдению (например, изучать черные дыры). Но даже прямое наблюдение объекта опосредуется его значением: как уже говорилось, мы воспринимаем мир «сквозь призму» форм возможного взаимодействия с ним. Отметим также, что в качестве психологических орудий могут выступать не только знаки и сенсомоторные схемы, но также знания, убеждения, мифы и даже научные теории. Так, для ученого орудием восприятия и анализа данных является теория, которой он придерживается.

4. Образ сознания и его связь с языком

«Образ вычерпывается из мира»[1]. Форма обобщения, форма деятельности – это и есть ментальная конструкция, служащая для нас «черпаком», при помощи которого мы *активно* воспринимаем предмет (образ в голове не появляется, как отпечаток на глине). Принципиально важно, что о наличии образа в голове человека можно судить лишь тогда, когда человек оказывается способен *иметь дело с предметом в его отсутствие*, когда, по Ильенкову, появляется особый предмет, с которым можно действовать, не изменяя до поры до времени реального предмета. Каждый из нас с легкостью может доказать, к примеру, что обладает сознательным образом бегемота. Мы можем нарисовать бегемота, изобразить бегемота жестами или просто сказать слово «бегемот». Этого будет более чем достаточно**.** *О наличии образа можно судить только тогда, когда человек обладает возможностью представить (себе и другим) предмет в его отсутствие.* Важно не узнавание предмета, когда он перед глазами, а действие с предметом, когда его перед глазами нет! *Если есть любая символическая имитация предмета или ситуации – значит, есть и его/ее образ*. Образ, как говорил Пиаже, – это интериоризованная имитация[2].

Конечно, средствами формирования образа являются не только слова (словесные значения). Однако *главная символическая система, позволяющая нам представлять всё что угодно, даже то, чего нет, – это язык*. «Язык и есть система ориентиров, необходимая для деятельности в этом вещном и социальном, одним словом – предметном, мире. …Усвоение нового языка есть переход на новый образ мира, необходимый для взаимопонимания и сотрудничества с носителями этого другого языка и другой культуры»[3].

Отсюда следует: *образ (по своему происхождению) – это то, что можно разделить с другими людьми*. То, чем я не могу поделиться с другими, я сам не осознаю. Сознательный взгляд на вещи – это взгляд глазами других людей, глазами социума. В этом *и только в этом* состоит сущность сознания: «…все то, что я не могу выразить в форме речи, высказать в форме, понятной другому, я и сам не осознаю в качестве общественного индивида, в качестве человека. <…> В состав “представления” входит то, что удержано в “общественной” памяти, в формах общественной памяти. А такой формой является прежде всего речь, язык»[4].

1. *Леонтьев А.Н.* Избранные психологические произведения. Т. II. М.: Педагогика, 1983. С. 128, 169.

2. *Пиаже Ж.* Схемы действия и усвоение языка // Семиотика: Антология / Сост. Ю.С. Степанов. М.: Академический проект, Екатеринбург: Деловая книга, 2001. С. 147.

3. *Леонтьев А.А.* Основы психолингвистики. М.: Смысл, 1997. С. 272.

4. *Ильенков Э.В.* Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении. М.: РОССПЭН, 1997. С. 43, 84.

Когда испуганный гусь своим криком «предупреждает» сородичей об опасности, его сигналы выражают его состояние и ситуацию, но *ничего не репрезентируют* (не представляют). «Сигнал является частью сигнализируемой ситуации»[1]. Иное дело – знаки человеческого языка. Они не являются частью ситуации: они репрезентируют что-то для кого-то. «При таком понимании более чем проблематично существование зоосемиотики и правомерность разговора о коммуникативных системах животных как о “языках”, хотя и sui generis»[2]. Знак что-то репрезентирует именно потому, что он обладает значением. Значение – это свернутая деятельность, причем деятельность социальная, совместная. Видя в молотке молоток, я смотрю на него глазами всех представителей моей культуры. Животное смотрит на мир биологическим взглядом, человек – социальным.

Отсюда: «…ключ к пониманию места языка в жизни и деятельности общественного человека лежит… в четком понимании соотношения предметной действительности, языка и мира идеального, т.е. в последовательной трактовке языка как *одной из форм взаимодействия субъекта и объекта человеческой деятельности*, как своего рода “мостика”, связывающего совокупный опыт и совокупную деятельность общества, человеческого коллектива, с психикой, сознанием, личностным опытом отдельного члена этого коллектива, как условия и формы существования идеальных явлений»[3]. Еще раз: *язык – это условие и форма существования идеального*.

1. *Жинкин Н.И.* Замысел речи <Тезисы доклада> // Общая психолингвистика: хрестоматия / Сост. К.Ф. Седов. М.: Лабиринт, 2004. С. 64.

2. *Леонтьев А.А.* Психология общения. М.: Смысл; Издательский центр «Академия», 2008. С. 79-80.

3. *Леонтьев А.А.* Психология общения. М.: Смысл; Издательский центр «Академия», 2008. С. 85-86.

5. Интериоризация

Последний ключевой момент, на который мы должны обратить внимание, касается проблемы развития высших психических функций. Если образ сознания мы трактуем как форму *совместной* деятельности, наполненную некоторой «чувственной тканью», а лучше сказать, оживляемую процессом деятельности, то возникает закономерный вопрос, откуда же эта форма берется в голове отдельного человека. Принципиальная позиция общепсихологической теории деятельности заключается в том, что субъектом сознания является отнюдь не индивид, а общество, человеческий коллектив. Мы не будем сейчас касаться всех сложностей, возникающих на пути иной (индивидуалистической) трактовки сознания. Отметим лишь, что при такой трактовке приходится и

усвоение ребенком социальных норм рассматривать как частный случай биологического приспособления к среде. Здесь же возникает и проблема тождества сознаний разных людей, которая, конечно, в деятельностном подходе оказывается мнимой. Ибо личность в психологии деятельности понимается как ансамбль социальных отношений; соответственно, можно утверждать, что люди не «приходят» в коммуникацию и деятельность извне, а изначально находятся внутри коммуникации и деятельности. Вопрос не в том, чем обеспечивается «тождество сознаний» (ибо оно дано изначально), а в том, откуда берутся индивидуальные различия между сознаниями. А они связаны всего лишь только с тем, что каждый человек занимает в деятельности свою особую *позицию*. Именно поэтому А.А. Леонтьев так любил повторять слова В. фон Гумбольдта: «Каждую человеческую индивидуальность… можно считать особой позицией в видении мира»[1].

1. *Гумбольдт В. фон.* Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1984. С. 80.

Процесс развития психики объясняется школой Л.С. Выготского как процесс интериоризации, в ходе которого формируются высшие психические функции как *социальные* способы поведения, применяемые человеком по отношению к самому себе. Все высшие психические функции в своем развитии проходят через знаковое опосредование (сначала внешнее, затем внутреннее). Это показано в многочисленных экспериментах и исследованиях А.Н. Леонтьева, Б.В. Зейгарник, А.Р. Лурии и др. Соответственно, слово, как уже говорилось выше, становится не только средством управления поведением собеседника, но также и средством контроля над собственным поведением и внутренними психическими процессами.

В ходе развития психики высшие структуры не надстраиваются над низшими как этажи в многоэтажном доме, но «вбирают» их в себя, вызывая их существенную перестройку. Высшая психическая функция – это иерархически организованная система, включающая различные звенья и уровни. Поэтому практически невозможно выявить натуральную, «природную» функцию в чистом виде: оречевление функции в процессе развития влияет на всю ее организацию, на функцию в целом. Именно поэтому мы и утверждаем, что *только оречевленная в ходе развития мысль может позволить себе роскошь обходиться без языка*. Конечно, мышление не всегда является вербальным. Однако даже в своих невербальных формах оно демонстрирует интимную, генетическую связь с речью: «…подлинное мышление, т.е. дея-

тельность человека по решению задач, всегда опирается наряду с понятийными компонентами на специально выработанные для целей мышления вспомогательные средства и орудия типа схем, планов, зрительно представляемых образных картин. …Другой вопрос, что все эти вспомогательные орудия генетически, по своему происхождению (как в онто-, так и в филогенезе) связаны с языком, речевой деятельностью, что они всегда (у взрослого человека) вторичны»[1].

1. *Леонтьев А.А.* Психология общения. М.: Смысл; Издательский центр «Академия», 2008. С. 115-116.

Заключение

Мы рассмотрели лишь часть вопросов, возникающих при анализе соотношения мышления и языка (речи). Наши аргументы в основном отражают фундаментальные положения психологической школы Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева, демонстрирующие не только интимную, генетическую связь между мыслью и словом, но также место и роль языка (речи) в психике и сознании. Данная статья имеет теоретический характер, поэтому мы не ссылались на многочисленные эмпирические исследования, которыми могли бы также подтвердить отстаиваемую нами позицию. Здесь отметим, что речь идет не только об экспериментальном изучении внутренней речи и других психологических процессов в норме, но и о большом массиве данных из области патологии речи, афазиологии, патопсихологии. Рассмотрение этих данных может быть задачей отдельной публикации.

Комментарии

А.В. Вдовиченко

В качестве комментария на статью И.В. Журавлева и Ю.В. Журавлевой («Возможна ли бессловесная мысль?») я приведу текст статьи: Вдовиченко А.В. Факт сознания и коммуникативное действие: краткий эксперимент // Вопросы психолингвистики 2 (40) 2019. С. 30-41.

В качестве цели написания данной статьи автор рассматривает возможность предъявить результаты небольшого эксперимента-наблюдения («Удар локтем. Различие фактов сознания и коммуникации»), который был проведен им в октябре 2018 г. среди участников исследовательской группы, работающей по проекту РНФ «Разработка коммуникативной модели вербального процесса в условиях кризиса языковой модели».

Обсуждение полученных результатов носит предварительный характер и, скорее, имеет значение задела для дальнейшего более подробного выяснения того, с использованием *каких терминов и теоретических объектов* описывать обнаруживаемое (намеченное в эксперименте) *соотношение деятельности сознания*, с одной стороны, *и коммуникативных процедур*, с другой.

Вместе с тем, как показал опыт работы исследовательской группы[1], затрагиваемый вопрос соотношения имеет кардинальное значение для разработки модели (в нашем случае – *коммуникативной* модели) вербального процесса, и поэтому любая исследовательская работа в области вербальных данных («языка») и/или сознания предполагает принятие по этому вопросу *какой-то определенной обоснованной позиции*.

Так, не одно и то же – рассматривать деятельность сознания («мысль») тесно связанной с вербальными данными, видя в «языке» источник смыслообразования (как бы последнее ни понимать), – и считать вербальные клише инструментами действия исключительно в коммуникативном пространстве, связанными с деятельностью сознания весьма косвенной связью, не имеющими собственного тождества и не способными производить смыслообразование.

На этом фоне нужно заметить, что проведенный эксперимент вносит свой вклад в *обсуждение и установление главных ориентиров* любого лингвистического и филологического иссле-

1. См.: *Вдовиченко А. В.* О несамотождественности языкового знака. Причины и следствия «лингвистического имяславия» // Вопросы философии. 2016. № 6. С. 164-175; *Вдовиченко А. В.* Проблема субъективности знания и естественный вербальный процесс // Вестник ПСТГУ. Серия III: Филология. 2016. Вып. 3 (48). С. 22-44; *Вдовиченко А. В.* Расставание с «языком»: Критическая ретроспектива лингвистического знания. М.: Изд-во ПСТГУ, 2009; *Вдовиченко А. В.* Акциональное смыслообразование: что порождается и понимается в естественном коммуникативном процессе // Вопросы психолингвистики. 2018. №3 (37). С. 112-125; *Вдовиченко А. В., Тарасов Е. Ф.* Вербальные данные в составе коммуникативного действия: язык, текст, автор, интерпретатор // Вопросы психолингвистики. 2017. №4 (34). С. 22-39; *Журавлев И. В.* Органы сознания и механизм объективации // Вопросы психолингвистики. 2010. № 2 (12). С. 141-150; *Журавлев И.В.* Философские проблемы современной психолингвистики и психологической теории деятельности // Язык и сознание: психолингвистические аспекты. Сборник статей / Под ред. Н.В. Уфимцевой, Т.Н. Ушаковой. М. – Калуга: Издательство «Эйдос», 2009. С. 32-41; *Журавлев И.В., Журавлева Ю.В.* К построению коммуникативной модели речевого процесса: методологические проблемы // Вопросы психолингвистики. 2017. №2. №3 (33). С. 48-61; *Журавлев И. В., Журавлева Ю. В.* Слово и объект (возможна ли бессловесная мысль) // Вопросы психолингвистики. 2 (36). 2018. С. 42-57; *Степанова А.А.* Решение задач общения при помощи речевых действий // Вопросы психолингвистики. 3 (33). 2017. С. 135-141; *Тарасов Е.Ф.* Онтологические предпосылки теории речевого общения // Вопросы психолингвистики. 2017. №2 (32). С. 160-166.

дования – *источников смыслообразования в вербальных данных*, со всеми вытекающими отсюда теоретическими и практическими следствиями.

Эксперимент в краткой форме демонстрирует результаты, которые в определенном отношении повторяют те, что были получены при проведении другого, более развернутого по времени и числу событий, эксперимента[1]. В предыдущем случае испытуемым было предложено просмотреть и интерпретировать видеосюжет, в котором они могли наблюдать видеонарратив без слов, но с действующими персонажами. События «немого фильма» (известный видеонарратив У. Чейфа «Мальчик, похищающий груши») условно рассматривались экспериментатором как примеры *несемиотических* действий, которые, несмотря на отсутствие знаков («слов»), интерпретировались и понимались испытуемыми. *Семиотическое* действие в пространстве чейфовского видеонарратива возникает только один раз и представляет собой «свист», который столь же легко и без усилий был понят испытуемыми как конкретный коммуникативный поступок, несмотря на полную невозможность ответить на заданный им до просмотра фильма вопрос «Что означает свист? Какое значение имеет свист?».

Главным выводом по итогам эксперимента предлагалось считать принципиальную возможность *интерпретировать и понимать действие*, независимо от того, какое оно – коммуникативное вербальное (за пределами данного эксперимента), коммуникативное невербальное («свист» мальчика в видеонарративе) или некоммуникативное, несемиотическое (собирание или похищение груш в видеонарративе, падение с велосипеда, и пр.).

В новом, представленном здесь, эксперименте испытуемые сами были вовлечены не только в интерпретацию, но и в порождение семиотических и несемиотических действий, что рассматривалось и фиксировалось экспериментатором как основной объект исследовательского интереса.

В *ходе эксперимента* каждому испытуемому (8 участников исследовательской группы и еще трое коллег-волонтеров, имеется видеозапись) в индивидуальном общении экспериментатора и испытуемого («тет-а-тет») предлагалось, сразу после фиксации внимания на поведении экспериментатора, наблюдать за его

1. См.: *Вдовиченко А. В.* Акциональное смыслообразование: что порождается и понимается в естественном коммуникативном процессе // Вопросы психолингвистики. 2018. №3 (37). С. 112-125.

действиями;

затем, после совершенного им невербального, (псевдо) некоммуникативного поступка («удар локтем о край стола и демонстрация боли выражением лица, растиранием ушибленного локтя и втягиванием воздуха сквозь зубы»),

насколько возможно быстро, засвидетельствовать свое понимание произошедшего (факт сознания),

закончив однотипное, предлагаемое всем, высказывание, которое описывало данный поступок. Иными словами, – заполнить пропуск в предложении, описывающем увиденный ими поступок

(при этом данное незаконченное предложение проговаривалось экспериментатором сразу после совершения действия); испытуемому оставалось добавить одно или несколько слов в уже имеющееся высказывание:

«Он ударился локтем и _____ ».

Ответы испытуемых (как, впрочем, и быстрота их реакции) *фиксировались* в письменной форме, а также на видеокамеру, и впоследствии анализировались.

В ходе эксперимента были получены следующие *данные* для последующей интерпретации:

1. Все испытуемые исполнили поставленную задачу, то есть закончили предложение, посредством которого описывалось увиденное действие; некоторые из них (шесть человек) дали по нескольку вариантов описания.

2. Время реакции на предложенный стимул (реакция обнаруживалась в виде произнесения слов, которые каждый добавлял в озвученное экспериментатором предложение, описывающее увиденное испытуемым действие) варьировалось между испытуемыми и составляло от 1-й до 15-и секунд (в среднем 4-5 секунд) от момента озвучивания предложения-описания («Он ударился локтем и _____») до произнесения своего варианта восполнения пропуска.

3. Вербальные клише, использованные для описания действия, последовавшего за ударом локтя о край стола, в основном, тоже варьировались: «втянул воздух через зубы», «почувствовал боль» (2 раза), «зашипел», «застонал», «ощутил пронзительную боль», «скорчился от боли», «вздрогнул от боли», «вдохнул воздух», «обнаружил реакцию на боль».

Для нашей цели, которая состоит в *определении соотношения факта сознания (понимания произошедшего) и вербальных клише* в естественных условиях говорения, значимыми представляются приведенные ниже взаимосвязи и выводы. Одновременно при *интерпретации данных* производится попытка ввести некоторые понятия и теоретические объекты, пригодные для эффективного описания соотношения факта сознания и факта коммуникации. События, происходящие в рамках эксперимента, представляются достаточно простыми и очевидными, что позволяет минимизировать двусмысленность и казуистичность при их интерпретации.

(1) Исполняя задачу завершить описание увиденного (заполнить пропуск в предложенном варианте описания), ни один из испытуемых *не обнаружил непонимания действия*, которое произвел экспериментатор. Каждый испытуемый, с легкостью исполняя ранее полученную просьбу экспериментатора, *по умолчанию свидетельствовал* о том, что произошедшее на его глазах событие было для него совершенно понятным. Можно с полной уверенностью заключить, что действие экспериментатора, то есть переживание боли после удара локтем о стол (не важно, считать ли данное действие коммуникативным или некоммуникативным), понимается испытуемыми, *несмотря на отсутствие внешних словесных пояснений* со стороны кого бы то ни было.

(2) Временной лаг, образуемый между озвучиванием предложения-неполного описания (что делал экспериментатор) и озвучиванием варианта завершения описания (что делал испытуемый), свидетельствует о *наличии некоторого количества времени*, потраченного испытуемыми *на подбор вербальных клише* для исполнения требуемой от них коммуникативной задачи – завершить описание только что увиденного. При этом подбор вербальных клише осуществлялся в соответствии с *уже имеющимся пониманием* того, что произошло. Невозможно утверждать, что понимание происходящего наступало в момент, когда испытуемый произносил вербальное клише, описывающее только что увиденное. Можно, наоборот, с уверенностью утверждать, что *поиск вербального клише* (длившийся от 1-й до 15-и секунд в каждом отдельном случае) определялся и направлялся *ранее возникшим пониманием* («мыслью», «фактом сознания») того, что произошло, и что это *понимание* («мысль», «факт сознания») – ввиду наличия определенного времени и усилий,

потраченных на поиск словесного коммуникативного клише, – было *невербальным: понимание поступка экспериментатора не было автоматически связанным у испытуемых с каким-то вербальным комплексом*. Именно поэтому произнесенный ими вербальный комплекс был отделен от акта сознания значительным промежутком времени (от 1-й до 15 секунд).

(3) Значительная вариативность ответов, описывающих увиденное (произведенное экспериментатором) действие, *нельзя рассматривать как свидетельство кардинального различия пониманий* действий экспериментатора различными испытуемыми.

Эти вполне очевидные положения означают упразднение «языковой (вербальной) модели» происходящего в сфере сознания и сфере семиотической процедуры.

Действие, которое экспериментатор производил напоказ во всех случаях (удар локтем правой руки о край стола и последующая характерная реакция в виде втягивания воздуха через зубы, с изображением переживания боли на лице и массированием ушибленного места), было выбрано им специально для того, чтобы *осложнить исполнение коммуникативной задачи*, поставленной перед испытуемыми и состоявшей в том, чтобы предъявить свидетельства понимания, ответить на просьбу экспериментатора, давая описание того, что произошло.

Дело в том, что, в отличие, скажем, от английской коммуникативной типологии, где подобному действию – втягиванию воздуха через зубы от характерной боли – условно соответствует (насколько нам известно) *отдельное коммуникативное клише* («to suck one's teeth»), в русской коммуникативной типологии отдельное клише (типа «втянуть воздух сквозь зубы», «засосать воздух через зубы») фактически отсутствует, употребляется редко, выглядит не вполне устойчивым и конвенциональным.

Иными словами, испытуемые были изначально поставлены в такие условия, когда описать увиденное действие было непросто ввиду отсутствия у них сформировавшейся привычки вовлекать данное действие («втягивание воздуха через зубы от боли») в вербальные коммуникативные интеракции. Данное действие – всегда вынужденное, входящее в состав единого комплекса действий (почувствовать боль и втянуть воздух, обжечься и втянуть воздух, и пр.). Оно редко становится самостоятельным объектом внимания, редко попадает в коммуникативный фокус,

поэтому его вовлечение в коммуникацию посредством каких-то вербальных клише не обладает достаточным автоматизмом у большинства носителей (русской) коммуникативной типологии (так называемого «языка»).

Таким образом, если попытаться реализовать крайнюю «языковую логику» в интерпретации данного эпизода, то по необходимости нужно было бы констатировать следующее.

Если говорящие по-русски мыслят словами (имеют «языковое мышление»), и в их родном «языке» вербальное клише для называния данного действия отсутствует (или мало используется), то само действие – «втягивание воздуха сквозь зубы от боли» – должно было остаться русскоговорящими испытуемыми (большинством из них) не понятым, не доступным их сознанию.

В таком случае, фактическая, констатированная в эксперименте, *вариативность описаний*, как будто подтверждает «строгую языковую логику»: из одиннадцати испытуемых только трое в своих реакциях-описаниях отразили факт «вынужденного движения воздуха через рот и/или зубы» вследствие испытанной боли («втянул воздух через зубы», «зашипел», «вдохнул воздух»). Получается, что большинство испытуемых (8 человек) не смогли понять происходящее вследствие незнания «нужных слов» и возникающей, как следствие из этого, *неспособности представить данный факт собственному сознанию,* – тем более *постороннему*, напр., сознанию экспериментатора[1].

Воссоздадим еще несколько последствий «языковой» интерпретации, усугубляющих *абсурдность* применения «языковой логики» для объяснения данного эпизода.

Так, на основании статистики, «царицы лингвистических доказательств», русскоговорящие (из категории «с высшим образованием») в массе (приблизительно в соотношении 4 к 1-му) *не понимают*, что человек, который ударился локтем о край стола и испытывает характерную боль, втягивает при этом воздух сквозь зубы: 8 человек из 11-ти, согласно их вербальным свидетельствам, не обнаружили не только понимание, но и сам факт видения этого события («почувствовал боль» (2 раза), «застонал», «ощутил пронзительную боль», «скорчился от боли», «вздрогнул от боли», «обнаружил реакцию на боль»).

На основании все той же экспериментально подтвержденной статистики можно заключить, что испытуемые являются «носителями» различных «русских языков», если об одном и том же

1. Ср.: *Журавлев И.В., Журавлева Ю.В.* К построению коммуникативной модели речевого процесса: методологические проблемы // Вопросы психолингвистики. 2017. №2. №3 (33). С. 48-61.

событии они пытаются говорить по-разному («различными словами»), а, значит, и думать по-разному («различными словами»).

Наконец, «словесная мысль» испытуемых оказалась, мало того что неточной и неправильной в большинстве случаев, но еще и ощутимо замедленной, подозрительно «заторможенной»: от просьбы-предложения «Он ударился локтем и _____» до обнаружения «словесной мысли» проходило от 1 до 15 секунд, плюс время, прошедшее с момента самого демонстративного действия экспериментатора. Если считать «мысль» об увиденном вербальной, то такая «мысль» возникла только в момент появления языкового клише с лагом от 1 до 15 секунд, оказавшись значительно удаленной во времени от стимула (демонстративного действия экспериментатора). Испытуемый, как будто, изо всех сил искал мысль понимания происходящего, и, найдя слово, «поймал» ее, наконец, и понял происходящее.

При этом, если бы кто-то из испытуемых решил по каким-то причинам вообще ничего не говорить, то в таком случае следовало бы вовсе констатировать остановку мыслительного процесса, ввиду очевидного отсутствия вербального процесса.

Если бы на месте испытуемого оказался, скажем, англоговорящий («англодумающий») участник, его понимание поступка экспериментатора вообще было бы принципиально иным, состоящим из других слов и других звуков. Никаких совпадений между «русскоязычным» пониманием удара локтем о край стола, и «англоязычным» пониманием обнаружить в принципе было бы невозможно.

Итак, обвинять ли большинство русскоязычных участников эксперимента (из категории «с высшим образованием») в том, что они не понимают, что происходит в момент, когда человек ударяется локтем о край стола и, испытывая боль, втягивает воздух сквозь зубы, – попутно выражая страдание на лице и потирая ушибленный локоть? Следует ли утверждать, что скорость их мыслительных операций по пониманию увиденного поступка равна промежутку времени, прошедшему с момента увиденного события до произнесения вербальных клише? Нужно ли констатировать отсутствие работы сознания в тот промежуток, когда оно еще не дало «команды на производство звуков речевым органам»? Настолько ли различно понимание происходящего между испытуемыми, насколько различны произнесенные испытуемыми вербальные комплексы? Неужели англичане, которые могли бы

так же наблюдать за действиями экспериментатора, поняли бы его принципиально иначе вследствие говорения по-английски?

Эти вопросы удастся признать риторическими и наивными только в том случае, если *принципиально разделить деятельность сознания и коммуникативную (семиотическую) деятельность*, реализуемую со словами или иными знаками.

Эти деятельности обладают различными «природами». Работа сознания не может быть словесной, поскольку любой внешний знак (в том числе вербальный) нужен обладателю сознания только для того, чтобы стать частью коммуникативной – акциональной, «воздействующей», совершительной – процедуры.

Производить воздействие на собственное сознание теми же способами, что и на постороннее сознание, означало бы для коммуниканта впасть в своего рода когнитивное раздвоение, ментальную схизму: если в случае воздействия на *постороннее* сознание коммуникант планирует произвести в нем изменения, заведомо предполагая привнести что-то новое в сферу чужого сознания, добиться изменений в нем, то в случае *воздействия на себя самого* ему сначала придется целенаправленно лишиться самосознания и тождества, признать себя не равным себе (сойти с ума) и только после этого привнести в эту сферу, мыслимую чуждой, какую-то новизну (изменение) производимыми знаками («словами»). При этом обладатель разделенного сознания будет воздействовать из выделенной внутри себя, сохранившей способность мыслить и волеизъявлять, части на бывшую ранее своей, но ставшую чуждой, остальную часть.

По-видимому, все же можно считать аксиомой, что анекдот («Кому пишешь письмо?» – «Себе» – «О чем?» – «Не знаю, еще не получал») остается анекдотом, а не отражением состояния дел в области когниции и знаковой (в т.ч. вербальной) деятельности.

На этом фоне интерпретация того, что происходило с участниками эксперимента, получает адекватное объяснение только при условии снятия (упразднения) языкового мысле-словного подхода, или «языковой модели» как таковой.

Поскольку *думать* (строить планы, анализировать ситуацию, констатировать свойства и объекты, принимать решения, формировать актуальные множества, и пр.), с одной стороны, и *совершать семиотический поступок* (воздействовать на представимое постороннее сознание во всегда комплексной ситуации

комплексом средств, в том числе словами), с другой, – принципиально различные виды деятельности (состоящие из действий различного вида и имеющие различные цели), то испытуемые в ходе эксперимента, *когда понимали, не говорили (не использовали слова), а когда говорили, уже давно все поняли*. Подобно тому, как обдумывание открывания двери – это не само открывание двери, а физическое открывание двери – уже не обдумывание данного действия.

Так, участник эксперимента в момент, когда экспериментатор совершил «действие напоказ» (ушибленный локоть и демонстрация боли, со втягиванием воздуха через зубы), без труда осознавал происходящее без каких-либо внутренних знаков. Ему было достаточно увиденных действий, которые он, благодаря интериоризации (эмпатии) и вообще «отсчитыванию от себя» способен понимать.

В момент, когда экспериментатор произнес неполную вербальную формулу, как бы описывая часть события и взывая к завершению описания («Он ударился локтем и _____»), испытуемый включался в размышление (долгое или краткое) не о том, какое событие произошло, и уж тем более, не искал слова, чтобы это событие понять, а принимался за поиски того, *какое вербальное клише подобрать для исполнения коммуникативной задачи*, которую он принял на себе, согласившись участвовать в эксперименте. В частности, как «аутентичный носитель лингвокультурного опыта», он пытался вспомнить соответствующую коммуникативную типологию для «*этого*», уже понятного ему без слов, «которое» ему только предстояло вовлечь в коммуникативное действие (последнее состояло в том, чтобы дать понять экспериментатору, что он, испытуемый, понимает, что произошло, и позитивно взаимодействует с экспериментатором, и пр.).

Над организацией коммуникативного воздействия (а не над пониманием события) испытуемым пришлось потрудиться от 1 до 15 секунд. Для тех, кто планировал ответить про «воздух сквозь зубы» (хоть это было не единственное, что потенциально извлекалось из большой целостной непротиворечивой картинки, напечатленной в сознании каждого), процесс был осложнен нечастотностью и непривычностью такой коммуникативной синтагмы. Но понимания того, что произошло (как человек ударяется локтем о стол; откуда воздух сквозь зубы; почему боль, и пр.), процесс планирования и организации коммуникации никак не затрагивал.

В результате, итоговый семиотический поступок с участием слов ощутимо отстал от «невербальной работы сознания» (факта сознания): *сначала – понимание действия, а уже потом, многим позднее, планирование и организация семиотического действия (что заняло от 1-й до 15-ти секунд) на основе свершившегося без слов факта понимания (факта сознания)*.

Здесь же стоит отметить – снова вопреки языковой модели – принципиальную нетождественность вербального клише («слова») вне конкретного коммуникативного воздействия, – что также нашло отражение на ходе эксперимента и действиях испытуемых.

Так, использованные большинством участников вербальные клише, в которых не упоминается «воздух» и сам процесс его «перекачивания сквозь зубы», как будто не могут претендовать на исчерпывающее описание ситуации. Однако цель коммуникативного действия состоит не в использовании «правильных» вербальных клише, а в эффективном воздействии на постороннее сознание. В сознании всех участников эксперимента (в том числе экспериментатора) событие с локтем и воздухом присутствовали уже до того, как об этом нужно было сказать (описать, реализовать коммуникативную задачу). Для того, чтобы указать на эту реальность, испытуемым было достаточно воспользоваться, например, просто словом «это», или «то, что все мы видели», или «то, что он сделал *вот так* (с показом и подражанием)». Или употребить несколько странные для внешнего наблюдателя клише «передернулся от боли», «зашипел», «вздрогнул». В этих не вполне «адекватных» клише испытуемый передавал нечто известное и без этих слов, что само по себе снимало с испытуемого ответственность за «неточность семиотических указателей»: он все равно указывал на «только что увиденное и очевидное всем». Поэтому просить описать только что показанное – было изначально несколько искусственной задачей, с которой испытуемые справлялись, возможно, так же, как с ответом на экзамене, не вдохновляемые актуальностью своего сообщения. При этом в сознание у них было приблизительно одинаково понятое (тождественное) событие.

Таким образом, *принципиальное разделение работы сознания и коммуникативного (семиотического) процесса* (который может протекать без участия или – в данном случае – с участием слов) составляет важное условие корректной интерпретации

естественных вербальных данных. Если *мыслительный процесс* реализуется без слов (и вообще без каких-либо атрибутов семиотического воздействия), то естественный *вербальный процесс* на стадии реализации сохраняет весьма косвенную связь с исходным когнитивным состоянием коммуниканта, как физическое открывание двери представляет собой уже лишь следствие обдумывания открывания двери, то есть нечто принципиально иное. Тем более, естественный когнитивный процесс не может строиться как вербальная последовательность (внешнее воздействие), подобно тому, как обдумывание открывания двери не может быть самим открыванием.

На фоне продемонстрированного в эксперименте отношения факта сознания к вербальным данным (то есть на фоне ясно наблюдаемого *различия незнаковых процедур сознания и знаковых семиотических действий*), следует признать *независимость состояний индивидуального сознания от «языка»* («вербальных единиц»), в том числе от так называемой «языковой картины мира», конструируемой исследователями на основе мнимо-автономных «языковых единиц, руководящих сознанием»; а также – признать значительно ослабленной связь между фактами индивидуального сознания и различными внешними детерминантами, если последние в процедуре исследования прямо ассоциированы с феноменами «языка», – культурной, национальной, этнической, социальной, профессиональной, конфессиональной: понимание того, как экспериментатор ударился локтем и отреагировал на возникшую боль, происходило независимо от какого-либо «языка», «языкового сознания», «какой-то-язычной» культуры, нации, социальной страты, религии и пр.

Комментарии

М.О. Матвеев

Чтобы определить соотношение речевых (коммуникативных) и когнитивных (восприятии, воспоминании и представлении) процессов, или взаимосвязь слова и мысли в речевых процессах, необходимо уточнить, что коммуникация в современном мире обладает определенными особенностями, например, развитие разных форм медиа, в том числе телевизионных и интернет-СМИ, изменило требования аудитории к подаче информации. Это вызвало закономерные изменения в облике печатных СМИ, прежде всего, увеличение степени визуализации контента, рост числа креолизованных текстов. Таким образом, можно говорить о том, что в современном мире коммуникация (как письменная, так и устная) строится в основном при помощи креолизованных текстов, о которых речь пойдет далее.

Креолизованные тексты – это удобный материал для анализа взаимосвязи слова и мысли, поскольку при взаимодействии с креолизованными текстами функционируют как языковые, так и неязыковые образы. Креолизованные тексты представляют из себя тексты, состоящие из вербальной и невербальной (обычно иллюстративной) частей. На данный момент креолизованные тексты широко распространены, в первую очередь, в средствах массовой информации ввиду того, что за последние годы значительно увеличился объем мультимедийной продукции и количество иллюстрированных журналов. Кроме того, иллюстрации можно обнаружить в учебной литературе, а также во многих научно-популярных изданиях и в художественной литературе.

Необходимо отметить, что креолизованными можно назвать практически все тексты. Дело в том, что даже при отсутствии иллюстраций, вербальная часть текста представлена в виде печатных символов, которые обладают собственными характеристиками, влияющими на их восприятие (кегль, шрифт, использование курсива и т.д.). Таким образом, один и тот же текст, написанный стандартным типографским шрифтом и текст, написанный, например, готическим шрифтом, будут восприниматься читателями по-разному. Более того, вслед за В.П. Морозовым[1], можно говорить о двухканальной, (т.е. вербально-невербальной)

1. *Морозов В.П.* Невербальная коммуникация в системе речевого общения. Психофизиологические и психоакустические основы. М., ИП РАН, 1998.

природе речевого общения, т.е. создание креолизованного текста, обладающего невербальными характеристиками (например, голос говорящего характеризуется тембром, мелодикой, темпоритмическими особенностями, атипичными индивидуальными особенностями произношения (смех, покашливание, заикание и т. п.) речи, голосом выражаются эмоции, отношение говорящего к содержанию речи, реципиенту и т.д.) происходит даже в процессе устной коммуникации. Что касается визуальной части креолизованного текста, здесь необходимо сослаться на П.В. Яньшина, высказавшегося о существовании у цветов естественных значений, таких как тон, насыщенность и яркость. В своей работе автор приходит к выводу, что «воздействие цвета комплексно и закономерно влияет на психосоматический статус людей и животных, эти влияния совпадают с характеристиками, традиционно приписываемыми определенным цветам». Кроме того, автор подчеркивает, что цвета взаимодействуют не только со зрением, но и влияют на другие органы чувств, что «цвет несет в себе нечто, ставящее его в совершенно особенные отношения с человеческой душевной организацией»[1].

По мнению П.В. Яньшина, взаимодействие с цветом происходит следующим образом: «…единый феномен Цвета внутри себя “распадается” на Перцептивный цвет и Психический цвет. Перцептивный цвет (“перцепт”) – это то, что обладает характеристиками светлоты, насыщенности и цветового тона (то, что мы обычно и называем “цветом”). Перцептивный цвет, в свою очередь, распадается на Физический цвет (т.е. тот, который мы воспринимаем в форме внешнего воздействия) и Цвет-представление, т.е. цвета, которые мы воспроизводим в воображении и видим в сновидениях (воспринимаем во внутреннем плане сознания)»[2].

По данным многочисленных исследований, цвет качественно и комплексно влияет на психофизиологическое состояние человека, включая изменение состава крови, динамику заживления тканей, тонус мышечных сокращений, функцию сердечно-сосудистой системы, восприятие (боли, температуры, времени, пространства, размера, веса), психический статус (эмоциональное состояние, активированность, психическое напряжение). Эмоциональная реакция является составной частью целостной психофизиологической реакции организма на цвет, человек же, с другой стороны, неосознанно использует цвет как средство психической саморегуляции[3].

1. *Яньшин П.В.* Эмоциональный цвет. Эмоциональный компонент в психологической структуре цвета. Самара: СамГПУ, 1996. С. 204.

2. Там же.

3. *Goldstein K.* Some experimental observations concerning the influence of colore on the function of the organism // Occupational therapy and re-habilitation. 1942.

Кроме того, по мнению П.В. Яньшина, подобное взаимодействие с цветом характерно не только для человека, но и для других живых существ: «…качественность влияния Цвета начинает проявляться с уровня «ожившей» материи, с уровня растений, и проявляется на всех ступенях эволюционной лестницы. В эволюции растительных и животных видов цвета играют важную приспособительную функцию распознания биологически существенных аспектов среды обитания и взаимоотношения между представителями вида и его симбиотами»[1].

Таким образом, понимание креолизованного текста осуществляется путем аналогового отображения, т.е. формируется образ сознания, подобный изображению (например, визуальному или акустическому) предмета, который человек наблюдает в данный момент. Следовательно, воспринимается не сам предмет, а его отражение, обработанное нашим сознанием. Тот же процесс происходит и при восприятии слова: мы понимаем не само слово, а его значение, т.е. образ сознания, который формируется словом-стимулом.

Образы сознания формируются в ходе восприятия предмета и явления, и в дальнейшем, будучи сохраненными в сознании, при восприятии подобного предмета или явления, используется в качестве перцептивного эталона, с которым индивид будет осуществлять сравнение воспринимаемых впоследствии предметов. Учитывая вышесказанное, можно согласиться с Г. Глейтманом, А. Фридлундом и Д. Райсбергом, которые полагают, что «многие наши знания существуют в форме аналогий, называемых психическими образами»[2].

Нельзя не согласиться с Э. Кассирером, утверждающим, что «слово с точки зрения физического субстрата – всего лишь дуновение воздуха: в этом дуновении таится необычайная сила, воздействующая на динамику представления и мышления»[3].

Таким образом, речь, представляющая из себя движения воздуха, является специфическим искусственным физическим объектом, но, с другой стороны, эти искусственные объекты обладают особым символическим значением для людей, владеющих языком, на котором создана данная речь. Слова стимулируют сознание слушающего и актуализируют в сознании людей, владеющих данным языком, психические конструкции, называемые моделями-репрезентациями, моделирующие обозначаемые соответствующими словами сущности. С.Э. Поляков определяет

1. *Яньшин П.В.* Эмоциональный цвет. Эмоциональный компонент в психологической структуре цвета. – Самара: СамГПУ, 1996. С. 204.

2. *Глейтман Г., Фридлунд А., Райсберг Д.* Основы психологии: / пер. с англ/ Под ред. В. Ю. Большакова, В. Н. Дружинина. СПб.: Речь, 2001. 1247 с.

3. *Кассирер Э.* Философия символических форм: В 3 т. Т. 1. Язык. М.; СПб.: Университет. кн,, 2002. – 272 с.

модель-репрезентацию как «психический объект, тождественный для нас определенному физическому объекту, но существующий в сознании независимо от самого физического объекта, присутствующего во внешнем мире и параллельно с ним»[1].

Об этом же пишет А.А. Леонтьев, оперируя несколько другими терминами: «слова... представляют собой абстракции, которым прямо не соответствует в мире ничего непосредственно чувственного»[2].

Далее необходимо рассмотреть значения слов. Люди, использующие язык, наделяют каждое из слов конвенциональным символическим значением. Это приводит к тому, что образы слов начинают означать нечто отличное от того, чем они являются в качестве физических предметов. Аналогичный процесс наблюдается и при работе с текстами.

Далее обратимся к рассмотрению механизма использования образов сознания при работе с креолизованными текстами. Как отмечает С.Э. Поляков, «вместо понятий *мысленные, ментальные* или *психические образы,* распространенных в современной зарубежной психологии, в российской психологии обычно используют понятия *образы представления, восприятия и воспоминания*»[3].

Для этого воспользуемся определениями, данными С.Э. Поляковым[4]:

- образы восприятия. Данный вид образов формируется в процессе восприятия объектов реальной действительности за счет сравнения опознанного объекта с образом, имеющимся в сознании наблюдателя и выступающем в роли перцептивного эталона, а совокупность сенсорных признаков воспринятого объекта представляет собой предметное значение слова, обозначающего этот объект;

– образы представления. Этот тип образов появляется за пределами конкретного процесса восприятия самим объектом сознания или другим человеком. Образы представления возникают на базе уже имеющихся образов восприятия, однако не копируют их. В то же время образы представления – это не просто копии образов восприятия, а их дополненные субъективным опытом варианты;

– образы воспоминания представляют собой образы объектов, некогда воспринятые субъектом сознания. По мнению исследователей, они более определенные, детализированные, устойчивые, конкретные и повторяющиеся каждый раз в очень

1. *Поляков С.Э.* Феноменология психических репрезентаций. СПб.: Питер, 2011. 688 с.

2. *Леонтьев А.А.* Деятельный ум (Деятельность, Знак, Личность). М.: Смысл, 2001. 392 с.

3. *Поляков С.Э.* Феноменология психических репрезентаций. СПб. : Питер, 2011. 688 с.

4. Там же.

сходном виде в отличие от образов представления, которые не повторяются в одном и том же виде, в одном и том же пространстве[1]. Также принято считать, что образы воспоминания совмещены с правдоподобными умозаключениями о прожитой ситуации[2]. Можно считать, что образы воспоминания – это обработанные сознанием образы восприятия.

Каков же механизм использования образов сознания при работе с креолизованными текстами? Восприятие креолизованного текста состоит из двух этапов: во-первых, восприятие тела знака, значения знака, образа предмета, обозначенного знаком, во-вторых, работа с образом сознания, ассоциированные с телом вербального знака.

По мнению А.Н. Леонтьева, основной характеристикой деятельности является ее предметность – деятельность определяется предметом, подчиняется, уподобляется ему: предметный мир «втягивается» в деятельность и отражается в образе ее продукта, в том числе в эмоционально-потребностной сфере. Таким образом, сознание представляет собой субъективное отражение объективного мира, порождаемое материальной практической деятельностью[3].

Данную точку зрения поддерживает и С.Э. Поляков, который пишет: «…всякий раз в чем-то отличающийся сенсорно слуховой или визуальный образ восприятия определенного слова всегда актуализирует в нашем сознании модель-репрезентацию обозначаемого этим словом объекта или же вербальную конструкцию, репрезентирующую обозначаемый словом объект, которые, собственно, и ответственны за субъективную тождественность для нас всякий раз разного образа данного слова»[4].

Слово, употребленное в речи, имеет личностный смысл для человека, владеющего данным языком. Значение слова – знание, ассоциированное со словом, общее для всех носителей данного языка и культуры. Смысл – использование слова в речи и деятельности, имеющее мотив, от которого зависит смысл. Вербальные образы, имеющие сходное, а главное, понятное для всех людей, знакомых с данным языком, значение, являются понятиями.

Далее рассмотрим, что представляют из себя понятия. По мнению С.Э. Полякова, «понятия – это образы соответствующих слов (то есть сенсорные репрезентации искусственных физических объектов), имеющие, однако, для субъекта не прямое, а символическое значение. Понятия … сегментируют бескрайний океан

1. Там же. С. 121.

2. *Андерсон Дж.Р.* Когнитивная психология. 5-е изд. СПб.: Питер, 2002. С. 214.

3. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Полит.издат., 1975.

4. *Поляков С.Э.* Феноменология психических репрезентаций. СПб. : Питер, 2011. 688 с.

наших чувственных репрезентаций, выделяя в нем и маркируя для ясного понимания и последующего оперирования ими фрагменты глобальной сенсорной модели-репрезентации мира»[1].

1. Там же.

Понятия не заложены в нас с момента рождения, а формируются в процессе познания языка, создавая картину мира, соответствующую культуре, в которой мы воспитываемся.

Формирующаяся у новорожденного глобальная модель-репрезентация окружающего мира изначально не дифференцирована, хотя сознание постепенно начинает выделять в ней чувственные сущности – модели-репрезентации отдельных элементов реальности. Усваиваемые ребенком понятия – вербальные «ярлыки» (образы соответствующих слов), имеющие понятное ему значение, окончательно дифференцируют и «расчленяют» сенсорную модель-репрезентацию реальности[2].

2. Там же.

Таким образом, определяя с помощью понятия некий предмет, мы объединяем по одному или нескольким признакам большое количество относительно сходных, а часто даже и вовсе не очень сходных чувственных репрезентаций, и замещаем их чувственным же образом единственного искусственного объекта – слова. Такая операция, с одной стороны, значительно упрощает дальнейшие психические манипуляции с новой моделью, называемой понятием, с другой – полностью меняет восприятие окружающего мира. Это же касается и взаимосвязи слов и мышления.

При переходе на символический уровень моделирования реальности теряется ее непосредственная чувственная данность и достоверность. Появляется совершенно иной и во многом вымышленный человечеством мир, в котором в основном и пребывает сознание людей. Мир представлений в форме вербальных моделей помогает человеку понимать реальность, но это уже совсем иная, не данная людям чувственно, а сконструированная, созданная самим человеком реальность[3].

3. Поляков С.Э. Феноменология психических репрезентаций. СПб. : Питер, 2011. 688 с.

Каждое понятие представляет из себя не единичный образ, а модель-репрезентацию соответствующего слова, ассоциированную с моделью-репрезентацией обозначаемого данным словом объекта. Вот какое определение модели-репрезентации слова дает С.Э. Поляков: «Модель-репрезентация слова, как и модель-репрезентация любого другого объекта, представляет собой множество образов воспоминания и представления этого объекта, а в данном случае еще и множество воспоминаний интероцептиванных ощущений, связанных с созданием этого объекта, поступавших

от структур, ответственных за вокализацию соответствующего слова»[1].

Таким образом, можно прийти к выводу, что образы сознания всегда употребляются в ассоциации с образами предметов, которые в реальной действительности образуют констелляцию с отдельным предметом.

Необходимо отметить, что слово – это не простой объект, это объект-символ, обозначающий другой объект или иную сущность. И поэтому образ восприятия слова всякий раз актуализирует в сознании не только модель-репрезентацию самого слова (т.е. его прямое значение), но и модель- репрезентацию означаемого им основного объекта.

Каким же образом формируется взаимосвязь между словом и понятием?

По мнению С.Э. Полякова, «способности ребенка к языку органично вытекают из прочих психических способностей, в частности способности к формированию образа, в том числе символического, взаимозаменяемости невербальных и вербальных образов в мышлении, способности к метафорическому упрощающему иллюстрированию абстрактных вербальных конструкций и т. д. Способности к языку являются результатом основных психических способностей человека и не являются чем-то специальным, отличным от прочих когнитивных способностей»[2].

Этот тезис также подтверждается и теорией речевой деятельности А.А. Леонтьева. Исходя из идеи Л.С. Выготского о необходимости «анализа по единицам, а не по элементам», А.А. Леонтьев выделяет в качестве единицы, обладающей «всеми основными свойствами, присущими целому» элементарное действие, «клеточку» деятельности[3]. Так, по его мнению, процесс производства речи «может быть интерпретирован как последовательность принятия решений или последовательность элементарных действий»[4]. Используя аппарат теории деятельности А.Н. Леонтьева, Алексей Алексеевич осмысливает психолингвистику как теорию речевой деятельности. Как «клеточка» деятельности, речевое действие обладает мотивом и целью и состоит из трех фаз: планирование, реализация и контроль. Целостный контекст деятельности определяет действие, так, например, выбор грамматической структуры — не чисто грамматическое действие определенного модуля. Вслед за Н.А. Бернштейном Алексей Алексеевич рассматривал речевой механизм как иерархическую

1. Там же.

2. Там же.

3. *Леонтьев А.А.* Смысл как психологическое понятие // Психологические и психолингвистические проблемы владения и овладения языком. М., 1969. С. 263.

4. *Леонтьев А.Н.* Общее понятие о деятельности // Основы теории речевой деятельности / Под ред. А.А.Леонтьева. М.: Наука, 1974. С. 79.

структуру, как «сложную многоуровневую постройку, возглавляемую ведущим уровнем, адекватным смысловой структуре» речевого акта[1]. Эту мысль проводит и А.А. Леонтьев[2].

Другой аргумент в пользу точки зрения о наличии неязыкового сознания привел А.Р. Лурия. Данный исследователь развивал идеи Н.А. Бернштейна[3], который утверждал, что новые механизмы надстраиваются над старыми, сохраняя свое принципиальное родство. Исходя из этого, А.Р. Лурия предположил, что в работе речевых зон можно обнаружить и то общее, что объединяет их с зонами, на основе которых они возникли, и отличающую их специфику. Изучение патологий речевых и примыкающих к ним зон позволило выделить общие их черты (так называемые факторы) и интепретировать речевые нарушения через общий с пограничным невербальным нарушением фактор[4].

Сходные идеи высказывают сторонники теории воплощенного познания. С их точки зрения, «язык (как и другие абстрактные или высокоуровневые умения) возникает и сохраняет внутреннюю связь с эволюционно более ранними сенсомоторными субстратами, что позволяет нам понимать (слуховой и зрительный субстраты) или продуцировать (моторный субстрат) речь»[5].

Как полагает С.Э. Поляков, «в человеческом сознании, кроме сенсорных моделей конкретных объектов, сформировались понятия – вербальные абстрактные универсальные модели любого объекта, входящего в определенное множество, обозначаемое общим абстрактным понятием: *стул, стол, ключ* (вообще) и т. д. Например, любого стула, входящего в множество, обозначаемое понятием *стул.* Сформировались также репрезентации объектов, существующих не в физической, а в объективной психической реальности и обозначаемых, например, понятиями: *договор, сделка, правительство* и т. д.»[6].

Кроме того, по мнению С.Э. Полякова, «в человеческом сознании, кроме сенсорных моделей конкретных объектов, сформировались понятия – вербальные абстрактные универсальные модели любого объекта, входящего в определенное множество, обозначаемое общим абстрактным понятием: *стул, стол, ключ* (вообще) и т. д. Например, любого стула, входящего в множество, обозначаемое понятием *стул.* …В процессе моделирования реальности психика приобрела возможность создавать, кроме сенсорных репрезентаций окружающего физического мира, вербальные репрезентации какого-то иного, хотя на первый взгляд

1. *Бернштейн Н.А.* Очерки по физиологии движений и физиологии активности. М., 1966. С.100

2. *Леонтьев А.А.* Смысл как психологическое понятие // Психологические и психолингвистические проблемы владения и овладения языком. М., 1969.

3. *Бернштейн Н.А.* О построении движений. М., 1947.

4. *Лурия А.Р.* Травматическая афазия. М., 1947. С. 64-66.

5. *Dick F., Dronkers N., Pizzamiglio L., Saygin A.P., Small S.L., & Wilson S.* Language and the Brain. In M. Tomasello & D.I. Slobin, (Eds.) Beyond Nature-Nurture: Essays in honor of Elizabeth Bates. New Jersey: Erlbaum, 2005. P. 238.

6. *Поляков С.Э.* Феноменология психических репрезентаций. СПб. : Питер, 2011. 688 с.

того же самого, физического мира, объекты которого, однако, существуют только в самой психике»[1].

Каким же образом возникают вербальные конструкции, которыми люди, по мнению А.Н. Леонтьева, оперируют для организации совместной деятельности? С.Э. Поляков утверждает, что «на каком-то очередном этапе индивидуального развития психики вербальные психические конструкции отрываются от сенсорных моделей, они перестают их только «дублировать» и становятся независимыми от них. Начинается вербальное конструирование реальности»[2].

Таким образом, можно прийти к выводу, что в процессе мышления и, как следствие, коммуникации человек оперирует не объектами, как они существуют во внешнем мире, а их концептами, представляющими из себя «мысленное образование, которое замещает нам в процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода»[3], имея дело с последними в ходе доязыковых этапов деятельности. Следовательно, язык представляет из себя лишь одну из форм репрезентации окружающей действительности. Обобщая все вышесказанное, можно прийти к выводу, что, несмотря на тесную взаимосвязь слова и мысли, мышление, т.е. оперирование образами сознания без участия языка, возможно.

1. Там же.

2. Там же.

3. Аскольдов С.А. Концепт и слово // Русская речь. Новая серия. П. М., 1928. Перепечатано в сб.: Русская словесность. Антология. М., 1997. С. 269.

3.3. «Язык» и коммуникативное действие в поэтическом тексте (А.В. Вдовиченко)[1]

В статье поэтический текст рассматривается в двух описательных моделях – языковой и коммуникативной. Первая предполагает, что при естественном говорении или письме носителями значений являются единицы языка, и в них говорящие и адресаты якобы находят всеобщий источник значений и смыслов. Вторая постулирует, что порождаться и пониматься может только коммуникативное действие, или семиотический поступок (произведенный, в случае говорения/письма, с участием вербального канала). Единицы коммуникативного события получают обособленный статус и обоснованную интерпретацию только в зависимости от позиции, занимаемой в представимом коммуникативном действии, которое, в свою очередь, представляет собой нечто принципиально иное, нежели вербальный текст.

1. Постановка проблемы

Основанием коммуникативной модели, описывающей *вербальный* факт, является признание того, что *порождаться и пониматься может только коммуникативное действие*, или *семиотический поступок* (произведенный, в случае говорения/письма, с участием вербального канала). Искусственно выделяемые элементы и единицы коммуникативного события (в том числе вовлеченные слова или части слов, а также невербальные составляющие – мыслимые участниками предметы, явления, действия, интонации, жесты, звуки, общие и особые фреймы, и пр.) получают в сознании обособленный статус и обоснованную интерпретацию только в зависимости от позиции, занимаемой в представимом коммуникативном действии. Так, «человек» или «белое» (вспомним Аристотеля, говорившего о существовании «какого-то значения» в слове[2]) в действительности невозможно интерпретировать вне наблюдения над тем, *что* и *как* «заворачивается» в эти «фантики», и *кто* и *зачем* это делает.

Напротив, языковая модель предполагает, что при естественном говорении или письме *носителями значений являются единицы языка*, и в них говорящие и адресаты якобы находят (имеют) всеобщий источник значений и смыслов.

1. Статья подготовлена при поддержке РНФ, грант № 17-18-01642 «Разработка коммуникативной модели вербального процесса в условиях кризиса языковой модели», в Институте языкознания РАН. **Публикуется впервые.**

2. *Аристотель*. Сочинения в 4-х т. / Ред. В.Ф. Асмус. М., 1978. Т. 2 / Перевод Э.Л. Радлова (1891). С. 97.

Для предъявления неавтономности языкового знака и текста в деле смыслообразования[1] поэтический текст может стать надежным плацдармом. Цель дальнейшего рассуждения состоит в том, чтобы в ходе предлагаемого взаимодействия с читателем (или наблюдателем, то есть с Вами) зафиксировать сущностные различия между, с одной стороны, *языковыми данными* (взятыми на различных уровнях анализа), которые, якобы, составляют «поэтический текст», и, с другой, – *коммуникативными данными,* которые образуют коммуникативное действие, которое, в свою очередь, представляет собой *нечто принципиально иное*, нежели вербальный текст. Иначе говоря, воспользовавшись конкретным примером стиха, я попытаюсь отделить языковые элементы, показав их бессмысленность и неавтономность, от коммуникативного действия, или семиотического поступка, совершаемого индивидуально, кем-то мыслимого, смыслопорождающего.

1. Подробнее см.: *Вдовиченко А.В.* О несамотождественности языкового знака. Причины и следствия «лингвистического имяславия» // Вопросы философии. 2016. №6. С. 164-175.

2. Фонетическая форма стиха

Главной и первоосновной формой существования любого вербального материала является фонетическая. Аутентичный участник коммуникативного сообщества на определенной стадии своего развития уже способен говорить, но еще не может изобразить сказанное на письме. Кроме того, при актуальном говорении на «родном языке» он никогда не воспроизводит в своем сознании графические образы слов. Поэтому исследовать вербальный материал в надежде обнаружить в нем самоорганизацию и смысл следует, прежде всего, по его звучащей форме, в которой изначально нет графем и которая существует независимо от условных способов письменной фиксации.

Ввиду этого самым эффективным средством представить вербальные данные было бы – дать какую-то идеальную аудиозапись интересующего меня стиха. Однако в настоящем формате это невозможно, и придется воспользоваться иными способами. При этом замечу, что невозможность представить аудиозапись для исполнения моих задач даже выгодна: дело в том, что в звучащем тексте неизбежно присутствовали бы *элементы не языка, а коммуникативного действия*, от которых я как раз и собираюсь попытаться абстрагировать вербальные данные. В звучащем (неписьменном) тексте неизбежно проявились бы

коммуникативные (неязыковые) признаки стиха, такие как интонации, смысловые акценты, паузы, тембр голоса, темп речи, возможные эмоциональные проявления говорящего, особенности его произношения, и пр.

Итак, вербальные (языковые, а потому, прежде всего, нейтрально-фонетические) элементы разбираемого стиха в условной транскрипции суть следующие (ударные гласные выделены курсивом; правила русской академической транскрипции соблюдаются в записи лишь приблизительно, поскольку это не важно для наших целей, но еще более усложнило бы восприятие):

[Капт*и*лфкапт*и*лкикалбас*у* прij*э*халпракур*о*рпаж*а*рник икак*о*jтафшт*а*цкам забр*а*линидад'*э*ланыjпрад*у*кт иинструм'*э*нтсастр*у*шкаj мл'*а* дашт*о*штак*о*jэпраисх*о*дит сафс'*э*мраспаjас*а*лас'п'*а*таjа кал*о*нараж*ж*иг*а*ит ипаджиг*а*итфс'опадр'ат фспышканас*о*нцэ б'эндэрофцинав*а*л'ныj м*и*стикакак*а*jата прост*и*оспади пл'эш*и*выхн'эум*е*х фс'*о*у*и*хчирис. *о*пу]

В оправдание столь неудобочитаемого способа записи стиха нужно заметить, что 1) в устной речи как говорящий, так и слушающий имеет дело с потоком звучащих единиц, временные паузы и увеличенные интервалы между которыми не совпадают с границами, которые обычно обозначаются на письме пробелом. В приведенном варианте записи пробелы сделаны только между строками, на которые разбито стихотворение и где они заведомо имеют место для отделения одного стиха от другого (заметим, правда, что деление на строки – это уже не языковой, а коммуникативный параметр, нарушающий чистоту выделяемого «языкового» субстрата. Такие пробелы не существуют в «языке», а характеризуют данное коммуникативное действие). 2) Кванты речевого потока (то есть те порции вербального материала, которые выдает «размышляющий говорящий» от одной паузы до другой) не совпадают с делением на слова[1]. Одной из причин является то, что говорящий произносит целостные коммуникативные клише, которые далеко не всегда совпадают с границами слов. Но в случае чтения уже существующего текста (написанного стихотворения) отсутствие интервалов между словами представляется более адекватным способом передать фонетический речевой поток, чем традиционное соблюдение этих интервалов. 3) Как известно, похожая запись знаков изначально, на самых первых этапах возникновения письменности,

1. *Кибрик А.А.* Когнитивный анализ дискурса: локальная структура // Язык и мысль. Современная когнитивная лингвистика. М.: Языки славянской культуры, 2015. С. 606.

была свойственна большинству традиций. Позднее разделитель между словами де-факто служил факультативным способом облегчить процесс чтения, суть которого во всех письменностях сводится к одному – вызыванию *из памяти аутентичного коммуниканта – с помощью условного принятого набора знаков – уже существующих в памяти коммуниканта фонетических клише*, составляющих огромный арсенал любого говорящего на «родном языке». На них можно только намекнуть принятым условным способом, и тотчас сознание читающего, принадлежащего к тому же коммуникативному коллективу, что и автор, с готовностью откликнется, воспроизведя порцию речевого потока либо по условной картинке (египетское или китайское письмо), либо по обозначению компонента слога (напр., финикийское и раннее древнееврейское письмо, без *matres lectionis*), либо по обозначению большинства отдельных звуков (древнегреческое письмо). 4) В любом случае, приведенная выше запись стихотворения передает более адекватно его звуковой состав (то, что на самом деле произносит читающий данное стихотворение житель Москвы-2018), чем традиционная запись, в которой соблюдались бы правила русской орфографии (по состоянию на 2018 г.) и только скрывали бы подлинное звучание: так, например, житель Москвы-2018 говорит [капт*и*л фкапт*и*лки] вместо [коптил в коптилке], как того требуют принятые на сегодняшний день правила орфографии). 5) Поскольку существует множество различных способов графически представить звучащую речь, выбор способа зависит от принятых конвенциональных правил. В данном случае приняты именно такие правила. Доказательством эффективности выбранного мною способа записи является то, что читающий этот неудобочитаемый ряд знаков, несомненно, понял, на какие вербальные клише намекает данный не столь привычный способ. При этом выбор способа записи (вернее, способ «делания намеков» на известные говорящему клише) ни коим образом не затрагивает сам «язык», который изначально функционирует вне подсобной графической фиксации.

Здесь можно заметить, что представить вербальный языковой материал свободным от каких-либо признаков коммуникативного действия было бы удобно, воспользовавшись *машинным голосом*, лишенным интонаций, акцентов, вообще всякого варьирования. В данном формате письменного общения дать аудиозапись машинного звучания невозможно, поэтому то, что

приведено выше – своего рода попытка отобразить такой голос на письме. Если язык – это слова и правила их сочетания («грамматика плюс словарь»), и все это, по самой сути языковой модели, является всеобщим, обязательным и верным для всех «носителей языка», то любые эмоции, особенности артикулирования, паузы, интонации и пр. будут уже не языковыми, а свойственными коммуниканту и коммуникации. При этом, как уже было сказано, главной и первичной формой существования вербального факта является устный, звучащий режим. В звучащем режиме адекватно представлять «всеобщий ничейный язык» как раз и способен, скорее, машинный голос, а в графике – его столь же безликий аналог, то есть запись, которая приведена выше.

Впрочем, здесь предпринимаемая попытка разделения языка и коммуникации, кажется, сталкивается с сопротивлением самого материала. Вербальные данные (данные «языка») в естественном состоянии всегда вовлечены в смыслопорождающие процессы, и существуют только в таком связном виде. Это как раз и будет замечено и отмечено при восприятии машинного голоса: перед слушателем развертывается смыслопорождающая процедура, но «развертывает» ее тот, кто по явным признакам не может ее «развертывать».

По-видимому, главное, что препятствует машинному голосу казаться естественным при репрезентации данных – это *конкретная семантика* данного высказывания. Так, бесстрастный список слов (словарь данного языка) действительно можно было бы зарядить в машину и доверить его чтение роботу. Но здесь, в нашем случае, представлена *только часть* словаря русского языка, причем такая, которая оказалась *кому-то* нужной для данного высказывания, возникшего в результате *чьей-то* когнитивной деятельности. До этого такой «выбор элементов языка» не делал никто, тем более сам «язык». Никто, зная «язык», не знал именно это данное высказывание, в котором понимать приходится не весь словарь и не всю грамматику русского языка, а данное личное конкретное действие. Именно по этой причине робот, проявляющий и акцентирующий необычность коммуникативных черт смыслопорождающий процедуры, будет выглядеть странным, несмотря на следование нормам грамматики и словаря: робот, проявляющий себя своим странным голосом в каждом слове, не мог «коптить в коптилке колбасу», самостоятельно помещать такие предметы и явления в сферу своего внимания, и пр.

Иначе говоря, сознание интерпретатора будет искать в высказывании естественных черт происходящего, а найдет лишь плохую имитацию. Этот диссонанс, заметим еще раз, проявится не в сфере языка, а в сфере коммуникации. Машинный голос, говорящий правильно с точки зрения «языка», будет диссонировать не с «правилами грамматики и корпусом словаря», а с представимым образом личной коммуникативной процедуры, которая здесь, в этом стихотворении, недвусмысленно заявлена.

Поэтому и вышеприведенный способ записи данных (соответствующий машинному голосу), конечно, требует коррекции и дальнейшего улучшения в сторону большей естественности, как требовало бы большей жизненности звучание стихотворения, выданное роботом. В графическом формате эта естественность достигается наращиванием «коммуникативных», а не языковых характеристик.

3. Графическая форма стиха

Графический образ стихотворения, в котором коммуникативные и языковые черты будут уже безнадежно переплетены, выглядит так:

Коптил в коптилке колбасу.
Приехал прокурор, пожарник
и какой-то в штатском.
Забрали недоделанный продукт
и инструмент со стружкой.
Мля,
да что ж такое происходит...
Совсем распоясалась пятая
колонна, разжигает
и поджигает всё подряд!
...вспышка на солнце,
бендеровцы, навальный?..
мистика какая-то...
прости, ...осподи,
плешивых неумех –
ВСЁ у их через …опу...

Нужно признать, что в актуальной коммуникации, представителем которой является данное стихотворение, от «языка», в данном случае русского, остаются разве что буквы: можно почти наверняка констатировать, что запись стихотворения произведена «буквами русского языка».

Здесь, тем не менее, нужно иметь в виду, что «буквы языка» представляют неизвестно какие звуки: так, в современной русской орфографии нельзя сказать, какой звук представляет буква [в] – звук [ф], [ф’], [в], [в’], [w] (*в*ау!) или отсутствие звука (чу*в*ство); наоборот, звук [в] может быть представлен, скажем, буквой [г] (у не*г*о) и пр. Все это только подчеркивает глубокую вторичность графики по отношению к живущим по своим фонетическим законам коммуникативным клише, которые связаны с графемами опосредовано, и которые при актуальном говорении никогда не мыслятся написанными. Именно по этой причине устные коммуникативные клише можно представить какими угодно знаками, f tom chisle latinitsej, лишь бы найти эффективный конвенциональный способ вызвать звучащие клише из памяти адресата. Поэтому буквы, скорее, представляют собой достояние не языка, а определенной традиции графического представления вербальной коммуникации (так, иллюстрацией непричастности букв какому-либо языку служит сама история возникновения наборов этих элементов в европейской традиции, в которой кириллица и латиница происходят из одного источника – греческого письма, которое, в свою очередь, происходит от финикийского; при этом генетические связи языков не имеют никакого значения в заимствовании соответствующих им алфавитов). К стихии вербального общения буквы имеют весьма косвенное отношение, также представляют собой заведомый «фантик», который лишен какого-либо содержания вне звучащих (первичных) коммуникативных клише.

4. Знаковая (вербальная) форма стиха

Что же касается письменных «слов языка», записанных буквами в данном стихотворении, то в них, как ни странно, обнаружить «ничейный язык» и вовсе невозможно.

Как уже было отмечено, слова, помещенные не в словарный перечень, а в естественные условия (т.е. в актуальную коммуникативную синтагму, в которой только и существуют смысло-

порождающие слова всегда и везде), уже вовлечены в процесс порождения *конкретной мыслимой кем-то акциональной семантики*, ради которой говорящий (или создатель стихотворения) и совершил свое коммуникативное воздействие на адресата (как он себе сам это представлял). Будь то, что он производит, «ничейным и всеобщим языком», обладающим самостоятельным значением и смыслом, – никакие слова на данном языке не имело бы никакого резона в очередной раз произносить: они общеизвестны и общепонятны, и потому неинтересны и излишни. Смыслом существования актуального высказывания является нечто новое, нужное коммуниканту, но это новое и нужное – явно не общеизвестные «слова языка». В этом отношении слова и буквы подобны: и те, и другие имеют стабильную форму, по своим типовым очертаниям одинаковы для всех, но их предназначение настолько же ценно, насколько ценна оберточная бумага для транспортировки и доставки разнообразных товаров. И как говорящий не мыслит буквы, когда говорит, так же он не мыслит и «словарные слова русского языка», когда говорит. Что же, в таком случае, является важным и нужным содержанием его сознания, когда он собирается говорить, если это не слова языка?

Обратимся к тексту стихотворения. Если предположить, что первая лексема является «словом русского языка», то, согласно существующим описаниям, оно вбирает в себя как минимум три основных значения: коптить – 1) *неперех*. испускать копоть при горении, 2) *перех*. покрывать слоем копоти, 3) *перех*. пропитывать дымом при приготовлении пищи[1]. Такой элемент, как видно, в автономном статусе не может быть понят тождественно: рассматривая это «слово языка», придется долго и неуверенно выбирать из возможностей – либо что-то само испускает дым, либо кто-то пользуется дымом, производимым чем-то или кем-то. Для действий, сосредоточенных в едином слове [коптить], невозможно помыслить единое подлежащее: либо нечто коптило, испуская дым (скажем, сгорая на огне), либо кто-то подвергал действию дыма то, что не сгорало на огне (а дым в это момент испускало что-то другое). Установить эти противоречивые отношения на основании рассмотрения самого слова не представляется возможным. Поэтому само «слово языка» невозможно признать носителем какого-то определенного значения и смысла.

1. Даль 2015.

О чем же думал автор, когда столь безответственно употреблял этот неопределенный элемент, как бы пуская в оборот

фальшивую монету неизвестного достоинства? Разве он, будучи носителем языка и владея «словарем и грамматикой», не знал, что ступает на зыбкую почву? Или случайно позабыл, что проект Лейбница по созданию адамического языка (lingua Adamica), в котором каждому отдельному слову строго соответствует одна понятная идея (значение), так и остался нереализованным?

По-видимому, автор поступил в данном случае не как «носитель всего языка», а так, как поступает любой говорящий, совершающий коммуникативное действие с использованием известных ему вербальных клише (слов, частей слов, их сочетаний). Фонетические комплексы входят в состав типологических акциональных (предназначенных к воздействию) коммуникативных синтагм, которые коммуникант постепенно усваивает как «формы жизни» по мере освоения сегментов реальности, вовлекаемой в семиотические интеракции. Так, одна и та же ситуация взаимодействия (например, воздействие на реципиента с целью указать на самого говорящего, часто предполагающая употребление русского [ja] среди русскоговорящих) в своей вербальной (фонетической) части не будет соответствовать подобной же синтагме, которой владеет англичанин: для него указание на себя в актуальной ситуации будет чаще всего совершаться с использованием иного фонетического комплекса, то есть [aj]. Заметим, что корреляции между коммуникативными синтагмами становятся затем основанием для сопоставления слов, входящих в их состав. Других причин поставить слово одного языка в оправданное соответствие со словом другого языка не существует. Именно поэтому соответствия «слов разных языков» всегда нестабильны и зависимы от коммуникативных синтагм, которые понимаются и сопоставляются между собой.

Глубокая вторичность самого слова (в сравнении с первичностью коммуникативной синтагмы и совершаемого действия) иллюстрируется не только тем, что в разных языках одно и то же сопоставимое действие совершается с участием разных фонетических клише, но и тем, что говорящего часто не интересует само клише. Он занят исполнением своих задач и достижением своих целей, отслеживанием перформативного эффекта. Поэтому он может воспользоваться иным клише для совершения того же действия, избрать жест вместо слова в качестве ситуативного семиотического знака, или вовсе обойтись без данного клише, если коммуникативное действие и без того понятно.

Так, в данном предложении форма [коптил] не имеет грамматического указателя лица. При этом у адресата не возникает сомнений, что «колбасу коптил» тот, кто сам же о себе в данный момент говорит (что можно установить только на основе анализа всей коммуникативной синтагмы, а не самой формы глагола, вернее, причастия). Так поступает говорящий в ситуации непринужденного общения, рассказывая о себе. Адресат, владеющий коммуникативной типологией, определяет это в результате считывания параметров семиотического действия, а не грамматических показателей. Тот же «нарратив» (если условно считать его независимым от особой ситуации поэтического действия), или ту же «сцену с колбасой», коммуникант мог бы представить и другим способом – рассказать об этом на другом языке, сказать то же самое другими словами, сослаться на уже известное реципиенту, показать картинку, пиктограмму, фотографию или снятый видеосюжет.

И все же коммуникант избрал для себя возможность совершить *поэтическое* семиотическое действие, оставаясь в рамках вполне традиционных форм, не предполагающих использования сопутствующих рисунков, смайлов, движений, видеоряда, музыкального сопровождения, виртуальных эффектов, и пр. Он предпочел произнести слова, как это делает любой говорящий, рассчитывая на обычный режим использования вербальных клише, всегда пребывающих в составе коммуникативной синтагмы.

Здесь нужно констатировать, что в таком режиме использования слов когнитивный аппарат говорящего оперирует не словарными статьями, а одним единственным нужным ему клише, которое в составе данной синтагмы может вызвать изменения в когнитивной сфере адресата. Иными словами, если говорящему англичанину в актуальной ситуации нужно сказать «Я коптил колбасу», и он выбирает клише [I was smoking sausage], то он при этом ничуть не думает о том, что слово [smoke] имеет еще одно «словарное значение» [курить] и что сказанное, вследствие этого, может быть понято как [я курил колбасу], по аналогии с [I was smoking a cigarette]. Если говорящий по-русски в актуальной ситуации произносит в отношении себя [коптил], он при этом ничуть не беспокоится о том, что «словарное слово» [коптить] «имеет несколько значений», среди которых [испускать дым, чад] или [покрывать слоем сажи]. Кроме того, в момент говорения он совсем не думает о буквенном составе фонетического клише [капт’ит’].

Иначе говоря, в естественных условиях говорения (письма) коммуникант оперирует не словами словаря, а представимыми ситуациями коммуникативного действия (коммуникативными синтагмами), в которые клише интегрированы как неавтономные элементы. И поскольку он рассчитывает на понимание целостного коммуникативного действия (а не отдельного слова) и, в конце концов, знает, что адресат, на основе разнообразных параметров, будет понимать его самого, его поведение и его когнитивное состояние, а не отдельное сказанное им слово – фонетическое или написанное (которое в автономной позиции, как было показано, понять невозможно), то множественность значений и, как следствие, смысловая нетождественность «словарных слов» коммуниканту не мешают и не досаждают.

Автор настолько откровенно эксплуатирует семиотический потенциал ситуации, а не сло*в*а, что пускает в ход такой фонетический (и, соответственно, графический) элемент, как ([коптилка]), который вовсе отсутствует в словаре (заметим, что подобным образом едва ли не любое слово языка благодаря потенциалу коммуникативного действия может заменяться элементом «это, эта, это», и элементом «делать», и быть при этом понятным благодаря тому, что анализируется не само слово). При этом автор рассчитывает на понимание со стороны адресата, и, как ни странно, добивается его. По-видимому, он либо перепутал «коптилку» с «коптильней» (последняя присутствует в словаре Ефремовой[1]), либо обнаружил какое-то собственное употребление, не свойственное «языку». Однако в любом случае ясно, что понимание достигается здесь не благодаря словарному слову. Объяснить факт того, что [коптилка] стала адресату понятной, можно только отсылкой к коммуникативному действию, понимаемому в ситуации, а не к словарю: понятно, что автор посредством данного фонетического комплекса вовлек в свое действие то, что обычно представляется и называется [коптильней].

1. *Ефремова* 2000.

Похожим образом, используются и все остальные слова стихотворения – как намеки на параметры коммуникативного действия (или поступка), в рамках которого выясняется акциональное (занятое воздействием) состояние его сознания и, таким образом, достигается понимание. Интерпретация сводится к ответу на вопрос: «Что он делает?».

5. Нетождественность «знаков» и тождество ситуаций воздействия

Отталкиваясь от несомненной процедуры действия, интерпретатор способен сформировать набор параметров, необходимых для понимания данного семиотического поступка. Отсеивание и, наоборот, актуализация представимых признаков производится в зависимости от обозначенных автором (коммуникантом) попыток произвести воздействие на чужое сознание. Все вербальные данные (если условно пытаться элементам приписывать значения и смыслы) интегрируются когнитивным состоянием автора поступка, которое восстанавливается адресатом в ходе интерпретации и дает шанс вербальным клише (или иным объектам) что-то «обозначать». Единственная возможность признать за ними способность производить смыслообразование – констатировать, что некий коммуникант «намекал» посредством этих вербальных элементов на собственное семиотическое поведение, и восстановить его поступок в понятных интерпретатору чертах («что имел в фокусе внимания», «чего желал», «к чему призывал», «какие объекты мыслил» и пр.). В результате работы «коммуникативного потенциала» слова языка вписываются в акциональную семиотическую процедуру, но при этом обнаруживают неполное соответствие нормам словаря родного языка, иногда просто в нем отсутствуют:

[Коптил] – отсутствует указание на лицо, однако тот, кому приписывается данное действие, воссоздается из коммуникативной ситуации: читатель видит перед собой последовательность авторских действий, представленных как стихотворение; императив найти говорящего заставляет выбирать из возможностей, что, в результате, по совокупности условий, заставляет признать вариант *lectio facilior* – кто говорит, тот и является героем рассказа, то есть [я], не [ты] и не [он]. Кроме того, в самой лексеме отсутствует указание на переходность-непереходность («испускать дым» или «покрывать копотью», «пропитывать пищу дымом»), что становится ясно также из производимого коммуникативного действия, а не из лексемы.

[коптилка] – слово, отсутствующее в словаре, но понятное из структуры коммуникативного действия;

[приехал] – слово, в котором в структуре ситуации снимается оппозиция един. и множ. числа: сказать «приехали прокурор,

пожарник и кто-то в штатском» все равно, что сказать «приехал прокурор, пожарник и т.д.»;

[какой-то] – неопределенное местоимение выступает вместо существительного (лица), несмотря на форму прилагательного;

[Забрали] – как и в случае с [коптил], «подлежащее» восстанавливается только по смыслу из уже сказанного, самостоятельного значения вне общей схемы авторского действия не имеет. Понимается только как очередной семиотический поступок коммуниканта (автора стихотворения, «лирического героя»), формирующего нарративную часть последовательности своих коммуникативных действий.

[недоделанный продукт] – значение понятно только из «контекста» коммуникативного действия автора: из обозначенной ранее диспозиции ясно, что «недоделанный продукт», значит, «недокопченая», не доведенная до готовности посредством копчения колбаса;

[инструмент со стружкой] – значение понятно только из контекста коммуникативного действия: из того, что сказано ранее, можно установить, что «инструмент со стружкой» отсылает к «коптилке», вернее, к представлению об этом объекте, созданному авторским семиотическим действием;

[мля] – отсутствующее в словаре междометие, которое заменяет собой другое, более грубое; становится понятным только как всплеск эмоционального состояния данного коммуниканта, начинающего картинно сетовать на положение дел в мире, и затем переходить к иронии и балагану.

И т.д.

Как видно, разбирать этот текст на словарные слова – дело неблагодарное. Слова-герои словарных статей не тождественны героям данного актуального текста: между ними наблюдается явное несовпадение по «объему» и степени конкретности, по наличию-отсутствию мыслящего их субъекта, сообщающего несловарным словам, в отличие от словарных, живую эмоцию и определенный представимый смысл. Некоторые из слов вообще отсутствуют в словаре, а некоторые отсутствуют в тексте, но почему-то и те и другие эффективно работают в естественных условиях реализуемой коммуникации.

Более того, как уже отмечалось, самого автора стиха словарные статьи не интересуют вовсе: будучи знатоком аутентичной коммуникативной типологии, он пользуется целостными

коммуникативными синтагмами, которые восстанавливает затем адресат и, таким образом, производит интерпретацию посредством восхождения к авторскому когнитивному состоянию. Безусловно, никакого авторского когнитивного состояния в словаре в принципе не может быть, но только ради обнаружения акционального состояния сознания автора и производится любое коммуникативное действие (в том числе, в стихах). Перед читателем, таким образом, автор разворачивает эпизод коммуникации, а не факт грамматики и словаря.

Между тем статьи словаря фактом своего существования, скорее, препятствуют, чем помогают осознанию того, что в речи производится и понимается семиотический поступок коммуниканта, а не «значение слова». Главную роль в установлении ошибочной причинно-следственной связи играет традиционный применяемый по умолчанию постулат, что в естественной вербальной коммуникации слова и возникающие из них грамматические конструкции составляют главный объект интерпретации: «что означает это слово?», «как это называется?», «имеет ли данное слово такое значение?», и пр. Может показаться, что словарь дает перечень «носителей квантов смысла», и задача заключается лишь в том, чтобы найти и суммировать эти кванты.

Однако следует признать, что реальность обнаруживает совершенно иную картину происходящего. Уровень слов, известных из словаря (как и уровень звуков) – т.е. ничьих знаков, не может гарантировать понимания именно потому, что в ничьих словах и звуках отсутствует объект понимания, он не назначен никаким коммуникантом. То же относится и к уровню традиционно понимаемого синтаксиса – сочетанию этих «ничьих» знаков, то есть предложений, составленных из фонетических слов (с графической фиксацией или без): если коммуникант – с мыслимыми им объектами, фокусами внимания, оценками, акцентированными связями между явлениями и предметами, и пр. – отсутствует, то и высказывание невозможно интерпретировать. Понимание такого высказывания будет всегда множественным, предполагающим различные варианты, каждый из которых не поставлен на твердое основание конкретного индивидуального сознания (с его личной ответственностью, фокусами внимания, целеполаганием, и пр.).

6. Коммуникативный синтаксис стиха

Нужно признать, что только коммуникативный синтаксис (в отличие от грамматического) интересует говорящего (пишущего). И только этот уровень способен давать ответы на важные вопросы смыслообразования, вбирая все возможные рассуждения о значении слов, конструкций, об авторских эмоциях, оценках, риторических стратегиях, художественных приемах, поэтических средствах, и пр.

Коммуникативный синтаксис описывает отношение произвольно избранного элемента конкретного семиотического поступка (слова, сочетания слов, жеста, неречевого звука, выражения лица, курсива, больших букв, вопросительных и иных знаков пунктуации, и пр.) к совершаемому коммуникативному действию. Если в классическом понимании синтаксиса речь, скорее, идет о «связи слов в предложении», с выделением синтаксических функций слов, то коммуникативный синтаксис закономерно поглощает словесный, подобно тому, как более глобальная коммуникация вбирает в себя прежний, «только языковой», способ представления вербальных фактов. В результате элементы высказывания (если существует необходимость приписать кванты значения им, а не представлять коммуникативное действие в виде целостности) получают возможность объяснения в непосредственной связи с подлинным источником смыслообразования – автором, обладателем коммуникативной интенции.

Традиционный (словесный) синтаксис представляет элементы предложения как самоорганизованные и самозначные компоненты целого, которые, чтобы создать смысловое единство, исполняют требования «языка» – подчиняются правилам грамматики и входят в словарный перечень. Принимая во внимание, что «язык» представляет собой всего лишь результат попыток обобщения коммуникативного узуса, и что реальный говорящий не знает ни словаря, ни грамматики «собственного языка» (как уже отмечалось, ему на самом деле известен некоторый сегмент коммуникативной типологии данного сообщества, т.е. некоторый набор коммуникативных синтагм для совершения воздействий, в состав которых входят вербальные клише), и что попытки сведения всегда многофакторной и всегда многоканальной коммуникации к словам бесперспективны ввиду того, что производятся и понимаются не слова, а гораздо более сложные

комплексы данных, а также – что тождественной интерпретации подлежит только личный семиотический процесс, а не знаки, не обладающие тождеством, – наблюдатель приходит к неизбежному выводу о необходимости *коммуникативного синтаксиса* как объяснительного фундамента вербальных фактов (вспомним Н. Хомского, который пытался повысить статус синтаксиса, но видел его словесным, организованным словами, а не помещенным в многофакторную реальность коммуникативного действия).

В отличие от словесного, коммуникативный синтаксис обнаруживает основания для интерпретации конкретных вербальных данных, представляя их как компоненты всегда комплексных семиотических действий.

Так, если объектом интерпретации становится предложение «Забрали недоделанный продукт и инструмент со стружкой», то для словесного синтаксиса описать это высказывание представляется непосильной задачей. Сторонник языкового объяснения сможет обнаружить значения почему-то не в самих словах и конструкциях, а только за их пределами, тем самым, лишь демонстрируя их неавтономность и нетождественность.

Так, в данном предложении отсутствует самое главное – грамматическое «подлежащее», соответственно, то, о чем это говорится, из самого высказывания вообще невозможно установить. То же касается и «значения слов», которые настолько неопределенны в автономной позиции, что никто не может поручиться за их значение и смысл. Однако именно их «сказал» автор, совершая свой семиотический поступок. Он явно рассчитывал на особые условия совершения своего действия, которые не могут быть установлены из данного предложения, но вполне понятны из существующих на данный момент условий действия. В рамках поступка, совершаемого в мыслимых автором условиях, слова лишь намекают на мыслимые только им объекты, которые им же представлены в мыслимой только им диспозиции. Объяснить автономные слова оказывается невозможным, зато можно воссоздать и признать понятным личное коммуникативное действие, оставившее такой «словесный след». Акциональное когнитивное состояние автора, восстановленное в существенных чертах (например, на фоне известных коммуникативных действий, уже совершенных к моменту данного, подвергаемого интерпретации, действия), становится понятным. Тогда и высказывание становится интерпретируемым – не само по себе, а как вербальная часть

мыслимого автором семиотического поступка.

Замечу, что мнимо отсутствующее подлежащее (в том числе, и в первом предложении стихотворения [коптил…]) прямо указывает на то, что этот «главный член предложения» пребывает не в слове, а в сознании коммуниканта. Его формальное отсутствие не мешает пониманию того, что хочет сказать автор. Очевидно, что «подлежащее» высказывания – как впрочем, и остальные «члены предложения», – присутствуют и «наполняются смыслом» при интерпретации только в прямой связи с когнитивной сферой коммуниканта, на основании различных параметров его семиотического поведения.

Здесь важно отметить, что коммуникативная трактовка подлежащего радикально отличается от классической аристотелевской, предполагающей существование подлежащего за пределами когнитивной сферы коммуниканта. Словарь и грамматика как раз и закрепляют – вольно или невольно – такую позицию, согласно которой подлежащее не может выходить за пределы данных, определяемых словарными словами-понятиями, которые, в свою очередь, при говорении должны по правилам сочетаться между собой. Коммуникативный синтаксис, наоборот, настоятельно требует не уже существующего, а заново введенного подлежащего, которое, как и все остальное, необходимо говорящему как компонент данного семиотического действия (которого еще не было и которое в данный момент востребовано, с точки зрения говорящего). При говорении (письме) создается, таким образом, новый конструкт (синтаксис) семиотического воздействия, что и является искомым для коммуниканта.

Иными словами, если логико-грамматическое сказуемое «говорится» о подлежащем (об эксплицитном или воссозданном субъекте предложения) и интерпретируется как приписываемое ему свойство, то коммуникативное сказуемое есть, скорее, экспликация поведения говорящего/пишущего. При коммуникативной трактовке высказывания в область сказуемого попадает и само аристотелевское «подлежащее», поскольку вербальные элементы коммуникативного действия все без исключения встроены в реализуемую коммуникативную синтагму, представляя собой новый «признак» мыслимой ситуации, в которой действует сам коммуникант, а не аристотелевское подлежащее. Говорящий не только предлагает нечто об аристотелевском «подлежащем», но и назначает само подлежащее, выделяя его из возможных объектов,

формируя их и группируя, признавая актуальность именно таких объектов и необходимость именно такой фокусировки внимания адресата, и т.д.

Помещенное в коммуникативную модель, аристотелевское «подлежащее» оказывается не субъектом действия, совершаемого в предложении им самим, а объектом иного, коммуникативного, действия, которое совершается самим говорящим: в пространстве своего семиотического поступка он выделяет (формирует, создает) данный объект, считает важным указать в данный момент именно на него, представляет именно такие признаки и связи этого объекта. При этом «подлежащее» (как, впрочем, и «сказуемое») идентифицируется не благодаря называющему его слову, а благодаря внимательному наблюдению за тем, как в данное слово-«фантик» (слова-«фантики») говорящий «заворачивает» нечто. До этой процедуры подлежащего (как и сказуемого) не существует, оно назначается здесь и сейчас говорящим при совершении воздействия.

В такую трактовку подлежащего попадают все предложения, даже те, которые, с точки зрения грамматической теории предикации, не имеют подлежащего (т.е. парадоксальным образом «говорятся ни о чем и ни для чего»). Так, высказывание [Какой кошмар!] (ср. [мля] из стихотворения) нужно всего лишь представить как вербальный компонент, или часть, коммуникативного поступка, – и сразу «подлежащее» возникнет со всей несомненностью: это – *какое-то* когнитивное состояние автора в осознанных им условиях совершаемого воздействия. Соответственно, «сказуемым» оказывается все то, что он желает об этом «подлежащем» сообщить, в попытках воздействовать здесь и сейчас на постороннее сознание. Высказыванию подлежит (является «подлежащим») не слово «кошмар» (или «мля»), а сам говорящий, который в осознанных обстоятельствах совершения коммуникативного поступка заявляет о своем внутреннем состоянии и воздействует на адресата. «Сказуемым» в мыслимой ситуации является, в свою очередь, сам семиотический поступок, привносимый в наличествующую диспозицию мыслимых параметров как нечто новое и важное для коммуниканта, что изменяет какое-то внешнее когнитивное состояние. Поступок, следует заметить, может и не иметь вербального компонента, но обладать при этом свойствами семиотического «предиката», или «сказуемого».

Рассматривая различия коммуникативного и грамматического синтаксиса, сторонники последнего могут возразить: в попытках установить грамматическую «связь элементов» интерпретации подвергается не отдельное предложение, а целый текст, в котором и содержатся ответы на все возможные вопросы, в том числе, о контекстах, синтаксических связях, неполных предложениях, и пр.

Здесь сторонники противоположного подхода, выступая в защиту коммуникативного синтаксиса, вероятно, должны указать на то, что в коммуникативной парадигме само понятие текста претерпевает значительные изменения. Помещенный в коммуникативную, а не языковую реальность, этот объект радикально переосмысливается ввиду новых условий построения теории.

7. Коммуникативное понимание текста

Вполне очевидно, что «языковое», или структурно-грамматическое, понятие текста («связная последовательность предложений», «единство предложений на основе тематической общности», и пр.) создано на основе количественного и предметного подхода к вербальным фактам: слова-понятия и текстовые координаторы образуют «сплетение» по грамматическим правилам, регламентирующим сочетание элементов. Такая модель рисует статическую картину текста как набора организованных по правилам слов («текст повести», «текст статьи», «текст стихотворения», «поврежденный текст» и пр.).

Мыслительная и психологическая (когнитивная) реальность, принимаемая за основу в коммуникативной модели, заставляет обратиться к динамической (смыслопорождающей) сути естественного вербального процесса и представить иную взаимосвязь выделяемых объектов, понятий и функций, прежде концептуализованных как «текст».

В качестве ключевого следует признать условие (обстоятельство), что сознание (говорящего/пишущего или адресата) не способно воспринимать «текст» в том виде, в каком его представляет языковая модель. Оно в прямом смысле не может воспринять (и воспринимать) текст статьи, романа, стихотворения, и пр., поскольку не может «работать» с таким объектом.

Причина этого в том, что сознание способно обрабатывать единовременно только один фокус коммуникативного действия (условно – только одно коммуникативное действие).

Так, говорящий исполняет свой семиотический поступок последовательно, линейно. Но линейность его поведения не идентична линейности его мысли, которая явно «обгоняет» поступки, совершаемые им во внешнем коммуникативном пространстве. В свою очередь, сознание адресата, производя в процессе интерпретации нелинейные процедуры (то есть привлекая разнообразные источники воспринимаемых параметров для понимания чужого семиотического поступка и пытаясь интериоризовать поведение говорящего), все же локализует фокус своего внимания постоянно в одной точке – следя за разворачивающимися действиями (в том числе за «следами» этих действий – говоримыми словами) коммуниканта, то есть за длящимся в настоящий момент семиотическим процессом.

То же самое нужно констатировать и в случае письменного текста, который создается автором в расчете на последовательное восприятие, перемещение фокуса внимания от действия к действию. Письменный текст читается адресатом последовательно. Движение внимания адресата приблизительно соответствует движению от действия к действию (от момента к моменту действия). Хотя для интерпретации необходимы многофакторые данные, которые черпаются адресатом-интерпретатором из разных источников (в том числе из индивидуальных фреймов и памяти), но фокус внимания все время сосредоточен в одной подвижной точке, перемещающейся по мере последовательного движения фокуса авторского внимания и наращиванию ряда написанных (звучащих в сознании) слов.

Иначе говоря, сразу два написанных предложения (два графических «следа» коммуникативных действий) ни производить, ни воспринимать невозможно. Подвижный фокус внимания автора и затем адресата всегда локализован в одном коммуникативном действии, которое в настоящий момент разворачивается коммуникантом и провоцирует интерпретацию.

Написанный текст, таким образом, представляет собой последовательность «следов» (попыток) коммуникативных воздействий, каждое из которых всегда производится и интерпретируется в одном моменте. Именно поэтому невозможно воспринимать текст поэмы или романа: на столь обширном пространстве содержится *множество* самоценных авторских поступков, обладающих множеством фокусов и моментов, которые совокупно и единовременно не могут быть обработаны сознанием. Сознанию

доступна лишь пошаговая процедура – последовательно интерпретировать авторское поведение, постоянно пребывая в одном коммуникативном фокусе. Подобным образом фортепианный концерт невозможно исполнить по нотному тексту единовременно (напротив, взять «языковой текст» как предмет и поместить его в портфель или «прогнать» на наличие определенных включений слов вполне возможно). Нотный текст будет производить свое действие только по мере воссоздания звучания, в каждый из искусственно выделенных моментов исполнения.

Поэтому написанный текст является, скорее, вспомогательным и ускользающим от определения объектом, мнимой и нефункциональной дефиницией, ущемляющей свойства самих данных, которые он призван концептуализовать в виде целостности. С предметной и грамматической точки зрения, он явно представляет собой «набор слов» и сопутствующих знаков, «переплетенных» по более или менее соблюдаемым правилам (предметно-языковой критерий). Однако, как только *смыслообразование* осознается как главная целевая причина усилий автора (то, в чем автор заставил участвовать этот конгломерат вербальных данных), текст распадается на более реалистичные объекты, формирующие динамическую модель. Он становится не статичным собранием букв и слов, а партитурой самоценного коммуникативного процесса, состоящего (в воссозданном по партитуре виде) из «квантов воздействия». Как партитура отличается от искомого звучания музыкального произведения, так графический текст отличается от подлинной коммуникативной процедуры, искомой и воссоздаваемой в каждой своей точке по графической вспомогательной пошаговой «инструкции».

Таким образом, коммуникативный синтаксис, принятый в качестве исследовательского метода, воссоздает динамику происходящего – объясняет поведение говорящего в произвольно избранной наблюдателем (интерпретатором) точке совершения семиотического действия, тем самым, обнаруживая основания для интерпретации видимых «следов» коммуникативных действий. Текст не может быть объяснен знаками, если они не возводят к источнику смысла и значения – личному сознанию в состоянии семиотического воздействия. В каждом момент текста нужно найти говорящего (пишущего) и вступить с ним в выяснение мыслимых им поступков, совершаемых в данный момент. Иначе смыслообразование окажется для интерпретатора недоступным, а цель автора недостигнутой.

8. Заключение

Таким образом, рассмотрение естественного вербального факта в языковой и коммуникативной моделях неизбежно предполагает акцентирование коммуникативного аспекта вербального феномена. Языковая модель оказывается неспособной дать динамическое описание естественного вербального материала, то есть того смыслообразующего семиотического процесса, в который вовлечены словесные данные (тем более бесполезной оказывается вербальная модель в случае смыслообразующих действий *без* вербального компонента). Было отмечено, что

1) базовой формой существования любого вербального материала является фонетическая; поэтому любой графический режим представляет собой вспомогательный способ вызвать из сознания читателя уже существующие в нем фонетические клише, которыми воспользовался и автор; графическая фиксация, таким образом, не должна полностью заслонять собой искомое – независимый от графики звучащий режим;

2) вместе с тем, попытки найти язык в звучащих данных («машинный голос») приводили к затруднению: на уровне фонетики все время обнаруживались «примеси» коммуникации в виде эмоций, особенностей артикулирования, пауз, интонаций и, в конце концов, конкретной семантики, которая по определению не может быть языковой, а только личной, созданной индивидуальным сознанием; именно эти коммуникативные черты и делают звучащий вербальный материал естественным;

3) при этом фонетические данные (звуки, слова, их сочетания) невозможно представить автономными участниками смыслообразования (слагаемыми смысла), поскольку каждый из этих элементов, несмотря на перечень значений в словаре, не обладает семантическим тождеством, или способностью быть определенным (достаточно точным) элементом смысла; понимать можно только коммуниканта, а не автономный знак;

4) смыслопорождающими могут быть только коммуникативные действия, которые производятся автором и понимаются адресатом. В естественных условиях говорения (письма) коммуникант оперирует не словами словаря, а представимыми ситуациями коммуникативного действия (коммуникативными синтагмами), в которые представимые фонетические клише интегрированы как неавтономные элементы. Любое коммуникативное действие

– многофакторный феномен. Оно не может быть только словесным (или только жестовым, или только зрительным, или только музыкальным, и пр.);

5) исходя из этого, смысл звуко-буквенной фиксации (как и иных способов – аудио- или видеозаписи, устной передачи, показа свидетельств в виде картинок, пиктограмм и пр.) состоит в том, чтобы всеми возможными способами сделать максимально доступным для понимания коммуникативное действие, которое по объему параметров далеко не равно звукам, буквам, словам, и пр. Письмо может быть лишь «следом» семиотического поступка (коммуникативного действия). Смысл графического – в фиксации вербальных клише, которые, впрочем, представляют один из наиболее информативных параметров коммуникативного действия, являются очевидными свидетельствами поведения говорящего. Они не могут передать полностью, но лишь намекают на коммуникативную процедуру, в ходе которой действует сам автор семиотического поступка, и по которой можно установить состояние его сознания, занятого коммуникативным воздействием; при этом графический формат (как, впрочем, и любой другой) обладает специфическими возможностями для совершения семиотических поступков;

6) отношения элементов коммуникативной процедуры описывает коммуникативный синтаксис, который (в отличие от клишированного грамматического) осознанно строится говорящим (пишущим). Только уровень коммуникативного синтаксиса способен дать ответы на важные вопросы смыслообразования (значения слов, конструкций, авторские эмоции, оценки, риторические стратегии, художественные приемы, поэтические средства, и пр.);

7) в коммуникативной модели само понятие текста претерпевает значительные изменения ввиду того, что сознание единовременно в состоянии порождать или интерпретировать только одно коммуникативное действие. Сознанию доступна лишь пошаговая процедура – последовательно, от поступка к поступку, интерпретировать авторское поведение, постоянно пребывая в одном коммуникативном фокусе. Текст как множество самоценных авторских поступков, обладающих множеством фокусов и моментов, совокупно и единовременно не может быть обработан сознанием.

Ввиду этих наблюдений определение специфики стиха оборачивается изысканиями в области *коммуникативного синтаксиса*, который, к тому же, предполагает редуцирование структурно-языкового понимания «текста».

Иными словами, воспользовавшись имеющимися «следами» в виде слов и прочих знаков-«намеков», в данной серии действий необходимо найти автора «партитуры» (хотя он в начале «последовательности этих следов» не потрудился поставить даже [я]) и определить особенности его поведения, отличающие его от, скажем, рассказчика сказок (не-поэзии), автора научной статьи (не-поэзии) или сочинителя романа в прозе (не-поэзии).

В конце концов, задача по различению поэзии и непоэзии (на материале данного поэтического текста) состояла бы в том, чтобы определить: что автор предпринимает для того, чтобы быть поэтом, и как это у него получается. Притом, что ранее теплившая надежда на особый «поэтический язык» оказалась тщетной: «язык» не может участвовать в коммуникативном смыслообразовании, но именно этим (смыслообразованием) занят любой автор любого текста.

Комментарии

Г.В. Дьяченко

Остаётся только посетовать, что убедительный критический языковой анализ данного стихотворения не увенчался торжеством коммуникативной его интерпретации. Кто же всё-таки автор данного опуса? Каковы причины и цели коммуникативного воздействия этого стихотворца? Каков вообще смысл стихотворения, как его понимать?

Возникшие вопросы в целом можно трактовать в том числе как потребность в описании и формализации коммуникативной методологии анализа вербальных фактов. Если языковой подход, убедительно или нет, но предложил поуровневое описание самих вербальных фактов, то может ли коммуникативный подход предложить некое, возможно, также поуровневое, описание когнитивной сферы производящего их автора? Может быть, к интерпретации назначения говорящим объектов и связей между ними, к пониманию его отношения к адресату и целей его семиотических поступков поможет приблизиться следующий поуровневый подход? Поуровневый «каркас» внутреннего мира человека можно представить следующим образом в восхождении от частного к общему: 1) на *психоличном* уровне интерпретатором интериоризируются индивидуальные особенности говорящего, его психофизические характеристики и акцентуации в восприятии действительности; 2) на *социально-историческом* уровне можно оценить смысло-ценностную ориентацию и идентичность автора в отношении исторического периода и общества, к которым он принадлежит; 3) при интериоризации смыслов *национального* уровня личного сознания можно понять национально обусловленные смысложизненные установки; 4) на *культурологическом* уровне интерпретируются ценности автора, исповедуемые им вследствие укоренённости в определенном культурном пространстве; 5) на *аксиологическом* уровне интерпретатором выявляются нравственные, этические и эстетические ценности личности автора (его понимание счастья, блага, прекрасного, трагического, должного, добра, зла и под.); 6) при восхождении к *метафизическим* установкам автора можно получить представление о его понимании сущего, истины, свободы, смысла жизни, отношения

к смерти, вечности и т. д.; 7) наконец, интериоризация *религиозного* уровня когнитивной сферы автора коммуникативного действия открывает базовые для него глобально-матричные структуры смысла, в границах которых разворачиваются все остальные: *Бог, мир, я*. Данный универсальный «каркас» смыслового устроения внутреннего мира человека есть та «молчаливая предпосылка общения между людьми», которая дает нам уверенность в том, что всем нам общи «механизмы переживания и болей, и радостей, механизмы мышления и механизмы чувствования и воления»[1], несмотря на индивидуально-личное наполнение (или даже отсутствие) данных смысловых уровней у каждого из нас. Таким образом, коммуникативный подход к интерпретации вербальных фактов неизбежно включит в себя целый комплекс методик анализа, наработанных в различных науках – богословии, философии, филологии, литературоведении, культурологии, социологии, истории, психологии и т. д.

При этом следует заметить также, что если образы внешнего мира хранятся в сознании в предметно-схемных единицах универсального предметного кода (УПК), по терминологии Н.И. Жинкина[2], то опыт умопостигаемый, идеальный, как можно предположить, хранится в виде универсального экзистенциально-смыслового кода (УЭСК). Следовательно, интериоризировать когнитивные состояния автора коммуникативного действия позволяет интерпретатору не только приобретённый им предметный опыт вещественного мира, но и духовно-интеллектуальный опыт умопостигаемых вещей.

1. *Попович М.В.* Понимание как логико-гносеологическая проблема // Понимание как логико-гносеологическая проблема: Сб-к научн. тр. К.: Наукова думка, 1982. 272 с. С. 5-23. С. 15.

2. *Жинкин Н.И.* Речь как проводник информации. М.: Наука, 1982. 160 с.

Комментарии

И.В. Журавлев

В тезисах, отстаиваемых в данной работе, многое представляется интересным и справедливым. Понятно, что в естественных условиях производства высказывания коммуникант оперирует не «словами словаря», а чем-то другим. А.В. Вдовиченко называет это «другое» коммуникативными синтагмами, или «представимыми ситуациями коммуникативного действия», которые хранятся в памяти коммуниканта. За пределом рассмотрения остается вопрос о том, в какой форме они (эти синтагмы) хранятся в памяти и как они оттуда извлекаются. Каков механизм «отклика» сознания на «знак»? Как связана коммуникативная синтагма со знаком? Это ассоциативная связь или какая-то иная?

Далее. Сознания коммуникантов в данном подходе представляются как «монады», которые, тем не менее, периодически открывают окна для взаимодействия друг с другом. «Знаки» в этом случае приходится уподоблять бумажным самолетикам, которые перелетают из одного окна в другое. В действительности описать и объяснить взаимодействие между монадами необыкновенно сложно: Лейбниц, как мы знаем, даже и не предпринял такой попытки, заранее посчитав ее бесперспективной.

Очень плодотворной является идея противопоставления коммуникативного синтаксиса грамматическому. Коммуникативный синтаксис призван описывать взаимоотношения между элементами коммуникативной процедуры или коммуникативного действия (семиотического поступка). Эта идея, далее, требует трактовки текста как последовательности «следов» коммуникативных воздействий или как «множества самоценных авторских поступков». Мы полагаем, однако, что это лишь один из аспектов онтологии текста. Попробуем это прояснить.

Прекрасная идея «разобрать» поэтический текст по уровням «языка» неизбежно (как и продемонстрировал А.В. Вдовиченко) оборачивается его (поэтического текста) исчезновением. Вопрос в том, сводится ли язык к некоторой иерархии уровней языковой системы, не представляет ли он нечто большее, чем такая иерархия. Вопрос также в том, что делает некий текст поэтическим

текстом (и, кстати, является ли таковым тот текст, который приведен в данной работе в качестве примера). Как отличить поэзию от не-поэзии? Очень интересный и сложный вопрос.

Если мы мыслим язык как мнемотехническую схему, целиком и полностью подвластную воле и сознанию субъекта, то совершенно непонятно, как и почему в некоторых случаях (в частности, именно тогда, когда творится поэтический текст) субъект сам оказывается подвластен не только этой «схеме», но и производимому посредством нее продукту – поэтическому тексту. Произнеся или написав слово, тем паче – строчку, автор поэтического текста обычно вынужден лишь фиксировать то, что диктует ему тот самый «язык», который мы только что назвали «схемой»; он ощущает «плотность» языка, как художник, нанесший мазки на холст, начинает ощущать свою зависимость от них, от формируемой ими гармонии цвета и формы.

Произведение искусства, как, впрочем, и любое вообще произведение, не столько *выражает субъективное*, сколько *отражает объективное*, неумолимо проявляющее себя в формах и средствах, предоставленных автору. Если бы инженер, строящий ракету, выражал субъективное, он ровным счетом ничего бы не построил. Тут то же самое. В объективных мыслительных формах воплощается только то, что подчиняется их объективной логике – *логике идеального*.

3.4. Восприятие текста в зависимости от коммуникативной позиции испытуемого (М.О. Матвеев, А.А. Нистратов, Е.Ф. Тарасов)[1]

1. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-18-01642 «Разработка коммуникативной модели вербального процесса в условиях кризиса языковой модели») в Институте языкознания РАН. **Статья публикуется впервые.**

Статья содержит описание экспериментальной проверки гипотезы о том, что позиции коммуникантов по отношению к производимому и воспринимаемому тексту (позиции автора, реципиента и нейтрального наблюдателя) детерминируют их оценку содержания этого текста. Для исследования использовался метод семантического дифференциала. Построенным семантическим пространствам дана содержательная интерпретация.

Испытуемые в позиции автора трактуют себя как субъекты речевого воздействия, позиция реципиента индуцирует создание образа объекта воздействия, позиция нейтрального наблюдателя дезориентирует испытуемых в их оценках.

В статье обосновывается возможность рассмотрения одного коммуникативного акта в дополнительных моделях, содержательная трактовка которых позволяет создать полный образ, существующий как результат соположения моделей, отображающих единый акт коммуникации, как их онтологическое свойство.

Отображение коммуникативного акта в трех дополнительных моделях позволяет приблизить феноменологические наблюдения коммуникантов к онтологически релевантному пониманию акта общения.

Дополнительные модели речевого общения отображают речевое взаимодействие коммуникантов как их речевую активность, описываемую при помощи деятельностной схемы «субъект – объект», в которой каждый коммуникант, полагая себя субъектом речевого воздействия, регулирует внутреннее (сознание и мышление) и внешнее поведение (говорение) собеседника, считая его объектом своего речевого воздействия.

Целесообразно исходить при анализе совместной деятельности, отображенной в виде комплекса дополнительных моделей, из представления, что совместная деятельность является первичной формой человеческой активности.

Введение

Цель данной статьи – обсудить результаты эксперимента по верификации гипотезы о зависимости понимания речевых действий коммуникантов от структуры их речевого общения.

Речевое общение – это процесс социальной интеракции, по крайней мере, двух коммуникантов, в которой для достижения взаимопонимания используются речевые сообщения, состоящие из языковых и неязыковых знаков. Наблюдения позволяют сделать вывод, что речевое общение развертывается с целью организации совместной деятельности, необходимость осуществления которой

возникает для одного из коммуникантов в случае невозможности решения им некоторой практической задачи. Отсутствие такой возможности вынуждает коммуниканта искать сотрудничества с другим (или другими) членом социума. Для организации этого сотрудничества в рамках совместной деятельности развертывается речевое общение[1].

Так как в данном эксперименте мы пытаемся верифицировать гипотезу о зависимости смыслового восприятия речевых сообщений от структуры речевого общения, было бы целесообразным изложить наше понимание этой структуры. В теории речевой деятельности существует достаточно обоснованное представление о структуре речевого общения.

Модель речевого общения отображает речевое взаимодействие коммуникантов как их речевую активность, описываемую при помощи деятельностной схемы «субъект – объект», в которой каждый коммуникант, полагая себя субъектом речевого воздействия, регулирует внутреннее (сознание и мышление) и внешнее поведение (говорение) собеседника, считая его объектом своего речевого воздействия.

Таким образом, модель речевого общения состоит из двух дополнительных моделей, описывающих деятельность коммуникантов, каждый из которых в структуре своей дополнительной модели действует с позиции субъекта, отдавая позицию объекта своему собеседнику. В справедливости этой модели можно легко убедиться в рамках несложного интроспективного наблюдения.

Исследователи предлагают при анализе совместной деятельности исходить из ее первичного характера, т. к. она, по всей видимости, является исторически исходной формой сотрудничества людей. Необходимо отметить, что исследование совместной деятельности целесообразно начинать с анализа дополнительных моделей речевого общения, т. к. речевое воздействие с позиции одного коммуниканта онтологически и феноменологически проще для анализа.

Обратимся к анализу речевого общения коммуникантов в структуре деятельностных моделей, которые строятся, в рамках деятельностного подхода, образующего методологические основания для анализа речевого общения.

Деятельностный подход с его субъект-объектной схемой обязывает рассматривать речевое общение как речевое воздействие человека-субъекта на другого человека. Это речевое воздействие

1. *Тарасов Е.Ф.* Онтологические предпосылки теории речевого общения // Вопросы психолингвистики, 2017, № 32.160–167.

представляет собой процесс решения двух видов задач: задач организации речевого общения и задач организации совместной деятельности. Организация речевого общения осуществляется как процесс решения следующих задач: привлечение непроизвольного внимания объекта речевого воздействия и введение в поле его восприятия речевых действий, из которых состоит процесс речевого воздействия; удержание внимания реципиента и создание тем самым условий для смыслового восприятия речевых действий, адресованных ему; ориентирование реципиента в качествах субъекта , т.к. именно цели субъекта позволяют реципиенту понять смысл речевых высказываний субъекта; создание атмосферы общения – дружеской или враждебной, субъектом, испытывающим необходимость организовать речевое общение.

Речевое общение организуется с целью регулирования поведения объекта речевого воздействия, в ходе которого субъект стремится организовать с ним совместную деятельность.

Организация совместной деятельности с объектом речевого воздействия предполагает его добровольное сотрудничество с субъектом. Такое сотрудничество возможно только в том случае, если объект, побуждаемый к сотрудничеству, сочтет его для себя выгодным. Выгодность участия объекта речевого воздействия обеспечивается его уверенностью, что в ходе предложенной совместной деятельности он удовлетворит какую-либо из своих потребностей. Задачи организации совместной деятельности имеют следующий вид: актуализация или намеренное уклонение от такой актуализации в сознании объекта речевого воздействия одной из его потребностей, невозможность удовлетворения которой является побудительной силой его участия в совместной деятельности; предложение предмета-мотива, удовлетворяющего потребности и овладение которым приводит к удовлетворению актуализированной потребности. Овладение предметом-мотивом – это есть активность объекта, развертываемая им в ходе совместной деятельности, т.е. активность, которая и есть сотрудничество со стороны объекта.

В теории речевой деятельности единицей речевой активности является речевое действие, представляющее собой речевую цепь, развертывание которой побуждается необходимостью достичь какую-либо цель в процессе речевого воздействия. Например, в ходе организации речевого общения необходимо удержать внимание реципиента, что достигается указанием при

помощи речевой цепи на некоторые предметы, удовлетворяющие какую-либо его потребность. Форма этой речевой цепи зависит от физических и социальных условий РО, от познавательной способности реципиента, его потребностно-мотивационной сферы (совокупность его потребностей и способов их удовлетворения), от его готовности к сотрудничеству и т.п.).

Речевое действие в этом смысле является функциональной психолингвистической единицей при описании речевых сообщений[1].

1. *Тарасов Е.Ф.* Соотношение деятельности и общения // Брагина М.А. Дронов В.В., Красс Н.А., Синячкин В.П., Тарасов Е.Ф. Лингвокультуроведческие аспекты формирования языкового сознания иностранных студентов в процессе изучения русского языка. М., 2008.

Описание эксперимента

Для исследования данной гипотезы предложен психосемантический эксперимент как инструмент анализа смысла и значения текста.

В случае психосемантического подхода в исследовании особенностей понимания текста использовался метод контролируемых ассоциаций. К ним следует отнести многомерную оценку методом семантического дифференциала[2] отношения респондентов к тексту, который оценивается как авторский (созданный самими респондентами и обращенный к читателям) и в другом случае как текст, обращенный к самим респондентам, а также оценка текста с нейтральных позиций. По результатам этих исследований получены интересные результаты по категориальной структуре оценок восприятия текста с этих различных позиций. Текст можно рассматривать с точки зрения ассоциированной с ним информацией[3]. С помощью метода семантического дифференциала можно определить смысловые особенности понятий, используемых в исследовании понимания текста[4]. Представления исследователя об изучаемом явлении дополняются информацией о категориальной системе сознания респондентов. Эта техника может применяться для разработки методик для изучения восприятия любой информации[5].

2. *Osgood C.E.* Psycholinguistics, Cross-Cultural Universals, and Prospects for Mankind. Praeger Publishers, 1988.

3. *Carroll J.D.* A review of the measurement of meaning // Language. 1959. Vol. 35, 58-77.

4. *Osgood C.E.* Semantic space revisited // Word. 1959. Vol. 15, 195-200.

Применяя метод семантического дифференциала, можно определить расстояние между значениями шкалируемых объектов в числовом виде. Это позволяет оценить различие в оценке разных объектов испытуемым или группой испытуемых[6].

5. *Osgood Ch.* Studies on Generality of affective meaning system // Amer. Psychol., 1962, v. 17, 10-28.

6. *Osgood Ch., Suci G.J., Tannenbaum P. H.* The measurement of meaning. Urbana, 1957. 342 pp.

Метод семантического дифференциала предполагает различные способы анализа, при выборе которых может исходить из поставленных перед ним задач[7].

7. *Osgood C.E.* Psycholinguistics, Cross-Cultural Universals, and Prospects for Mankind. Praeger Publishers, 1988.

В результате проведения эксперимента восприятия текста была построена матрица данных. Полученные в ходе эксперимента данные обрабатывались по программе факторного анализа[1]. Семантическое пространство по выделенным факторам позволило оценить категориальную структуру сознания испытуемого, выявить структуру восприятия им текстового материала[2,3].

В работе исследовалось восприятие текста с разных позиций у студентов московских вузов. Исследование проводилось, по методике частного семантического дифференциала[4].

В эксперименте приняло участие 3 группы респондентов (25, 26, 28 человек) в возрасте 18-25 лет.

Инструкции для проведения эксперимента:

1. Представьте, что Вы являетесь автором этого текста, обращенного к другим людям. Прочитайте и оцените содержание этого текста при помощи данных шкал.

2. Представьте, что этот текст обращен к Вам. Прочитайте текст и оцените содержание этого текста при помощи данных шкал.

3. Прочитайте и оцените содержание этого текста при помощи данных шкал.

Проведение эксперимента.

Для оценки предъявляемых текстов респонденту давался бланк для фиксации оценки.

Оцениваемый текст:

Подлинная, высшая свобода если и имеет отношение к юриспруденции, ко «всеобщей декларации прав человека», то весьма косвенное. Гораздо ближе она к тому, что непосредственно связано с духом и душой. Самые свободные люди на земле, по моему убеждению, – праведники и герои-воины. Одни отрешаются от суетного мира ради жизни вечной. Вторые добровольно рискуют (а зачастую и жертвуют) собой, отдавая долг Родине.

И те, и другие нам как бы подсказывают: вот за что нужно бороться, вот для чего стоит жить.

Главное – довести до каждого: русский человек в окопе, на передовой, защищает наши с вами свободы. С одной стороны, от кровожадных фанатиков, мечтающих насадить по всей планете свою якобы единственную праведную веру. С другой – от тех, кто стремится навязать нам деградантские представления о

1. *Харман Т.* Современный факторный анализ. М, 1972, 412.

2. *Нистратов А.А., Тарасов Е.Ф.* Психосемантический эксперимент как инструмент анализа смысла и значения слова. // Вопросы психолингвистики 2017№ (32). 124-134.

3. *Нистратов А.А., Тарасов Е.Ф.* Аксиологические аспекты языкового сознания в эпоху глобализации. // Актуальные этноязыковые и этнокультурные проблемы современности. Кн.1 М. 2014.164-180.// Актуальные этноязыковые и этнокультурные проблемы современности. Кн.3 М. 2017.417-437.

4. *Нистратов А.А., Тарасов Е.Ф.* Контрастивное исследование лексики с социально сконструированным значением. // Сб. Контрастивные исследования языков мира. Вып. III. М.: 2009.161-171.

праве и морали, о нулевой ценности вековых традиций и особой важности самовыражения «меньшинств», о мультикультурализме и целесообразности изъятия из родного языка слов «мать», «отец», «мужчина», «женщина».

Обсуждение

Специфика восприятия текста респондентами с различных позиций

В результате исследования были выделены 10 факторов-критериев, по которым респонденты оценивают текст с различных позиций. Факторы представлены в порядке убывания вклада в общую дисперсию.

1. Оценка (*жесткий, грубый, агрессивный,* с отрицательным знаком *спокойный, приятный, светлый)*

Первый критерий, который можно интерпретировать как **оценка** (с некоторым акцентом на категории **силы** и **активности**) представлен шкалами: *жесткий, грубый, агрессивный* на одном полюсе и *спокойный, приятный, светлый* на другом. Как можно видеть на рис.1 данный текст воспринимается как *жесткий, грубый* и *агрессивный* с позиции автора и отчасти с нейтральной позиции. С позиции реципиента текст оценивается как *спокойный, приятный, светлый*.

2. Сила (*примитивный, наивный, шаблонный, сильный* с отрицательным знаком)

Второй критерий, который можно интерпретировать как **сила** показывается через отрицательный полюс. Наибольшие показатели по этому критерию, как видно из рис.1, у текста с нейтральной позиции, а самые слабые – у текста с позиции реципиента. Судя по шкалам, входящим в этот фактор текст, с позиции реципиента воспринимается *примитивным, наивным*, *шаблонным* и *слабым*. Восприятие с позиции автора можно считать достаточно нейтральным. В итоге – с позиции реципиента текст в семантическом пространстве **оценка / сила** воспринимается *спокойным, приятным, слабым, примитивным, наивным* и *шаблонным.*

Сила	**Оценка**
Примитивный 0,827	Жесткий 0, 846
Наивный 0,804	Грубый 0,841

Шаблонный 0,709 Агрессивный 0,716
Сильный -0,506 Спокойный -0,542
Приятный -0,477
Светлый -0,399

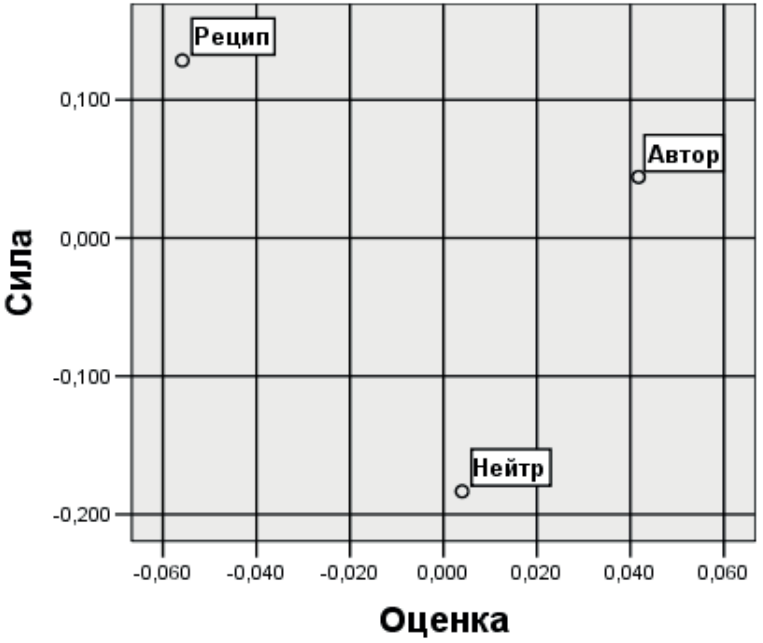


Рис. 1

3. Символичность (*образный, художественный, возвышенный, символический*)

На рис. 2 можно видеть значения объектов по факторам **символичность** и **активность.** Как видно на рис. 2, текст с позиции реципиента ПР имеет наибольшее значение по этому фактору, т.е. воспринимается наиболее *образным, художественным, возвышенным* и *символичным*, что противоположно оценкам с позиции автора и с нейтральной позиции. Текст с позиции автора ПА имеет более отрицательное значение по фактору **символичность,** чем с нейтральной позиции. Это можно объяснить тем, что реципиенты более критично относятся к своей авторской позиции, которая, вероятнее всего, не совпадает с позицией реального автора.

4. Активность (*активный, понятный, четкий, выразительный*)

По фактору **активность** наименьшее значение имеет текст с позиции автора, что противоположно оценке с нейтральной позиции. С позиции реципиента текст оценивается достаточно нейтрально. Позитивную оценку с нейтральной позиции можно считать объективной, но позиция автора скорее всего объясняется несогласием с точкой зрения реального автора текста.

Активность	**Символичность**
Активный 0,799	Образный 0,746
Понятный 0,564	Художественный 0,716
Четкий 0,433	Возвышенный 0,652
Выразительный 0,400	Символический 0,601

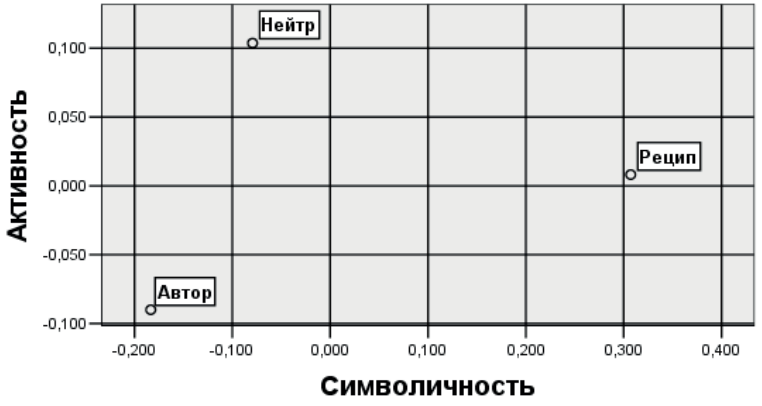


Рис. 2

Таким образом, по рассмотренным четырем критериям текст с нейтральной позиции воспринимается как сильный, достаточно нейтральный по оценке, активный и не символичный, т.е. не образный, нехудожественный. Текст с позиции автора характеризуется отрицательной оценкой (*жесткий, грубый, агрессивный*), несильным и пассивным. Текст с позиции реципиента оценивается как *спокойный, приятный, светлый*, но слабый и неактивный, примитивный и наивный. В тоже время образный и художественный. Можно сделать вывод, что восприятие одного и того же текста зависит от цели коммуникации.

5. Сложность (*легкий, гармоничный*, с отрицательным знаком *изощренный, сложный*)

Фактор **сложность** является биполярным: на положительном полюсе шкалы *легкий и гармоничный,* на противоположном *изощренный и сложный.*

Текст с нейтральной позиции располагается на положительном полюсе, т.е. воспринимается как *легкий и гармоничный*. Текст с позиции автора на противоположном полюсе, т.е. *изощренный и сложный*, что можно объяснить опять же внутренним несогласием с позицией реального автора.

6. Естественность (*естественность, натуралистичность, открытый*)

Текст с нейтральной позиции занимает нейтральную позицию, но по фактору **естественность.** Текст с позиции реципиента оценивается как наименее естественный и натуралистичный, что можно объяснить противодействием манипулированию сознанием реципиента. Более естественным и открытым воспринимается текст с позиции автора.

Естественность	**Сложность**
Естественный 0,782	Легкий 0,688
Натуралистический 0,670	Изощренный -0,592
Открытый 0,505	Сложный -0,532
Гармоничный 0,399	

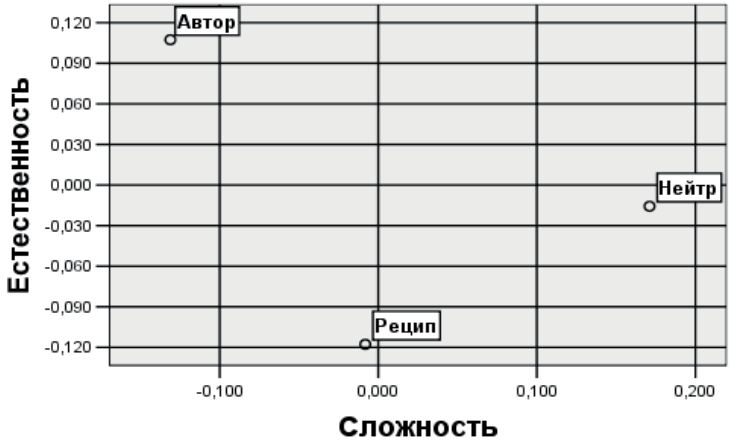


Рис. 3

7. Романтичность (*романтичный, изысканный*)

На рис. 4 отображено семантическое пространство факторов **романтичность / динамичность.**

По фактору **романтичность** с позиции автора и с позиции реципиента, текст воспринимается как более романтичный и изысканный, чем с нейтральной позиции. Вероятно, необходимость оценить текст в репертуарном режиме создает необычный ореол при восприятии текста. С нейтральной позиции респонденты этих качеств не отмечают.

8. Динамичность (*живописный, ироничный, красочный, динамичный, яркий*)

Как видно из рисунка, наиболее динамичным и, в тоже время, наименее романтичным респонденты посчитали текст с нейтральной позиции. Это хорошо согласуется с оценками текста по факторам **сила, активность, символичность** и **оценка.** Тексты с позиции автора и с позиции реципиента по фактору **динамичность** располагаются на отрицательном полюсе, что также согласуется с вышеперечисленными факторами.

Динамичность	**Романтичность**
Ироничный 0,755	Романтичный 0,824
Живописный 0,697	Изысканный 0,742
Динамичный 0,545	
Красочный 0,552	
Яркий 0,410	

Рис. 4

9. Обычность (*холодный, сухой, обыкновенный*)

На Рис. 5 видно, что текст с нейтральной позиции и с позиции автора воспринимается как наиболее обычный, а текст с позиции реципиента воспринимается более эмоционально. Возможно, это связано с тем, что в позиции реципиента респонденты чувствуют энергичную попытку регулирования своего сознания автором реального текста.

10. Искренность (*самобытный, интимный, искренний*)

Что касается фактора **искренность**, то здесь текст с позиции автора воспринимается противоположным образом с нейтральной позиции. Респонденты с позиции автора не могут воспринимать текст автора как самобытный и искренний. С позиции реципиента текст воспринимается несколько необычным, но нейтрально по фактору **искренность**, т.к. искренность реального автора не всегда можно точно оценить.

Искренность	**Обычность**
Самобытный 0,711	Холодный 0,784
Интимный 0,556	Сухой 0,580
Искренний 0, 427	Обыкновенный 0,505

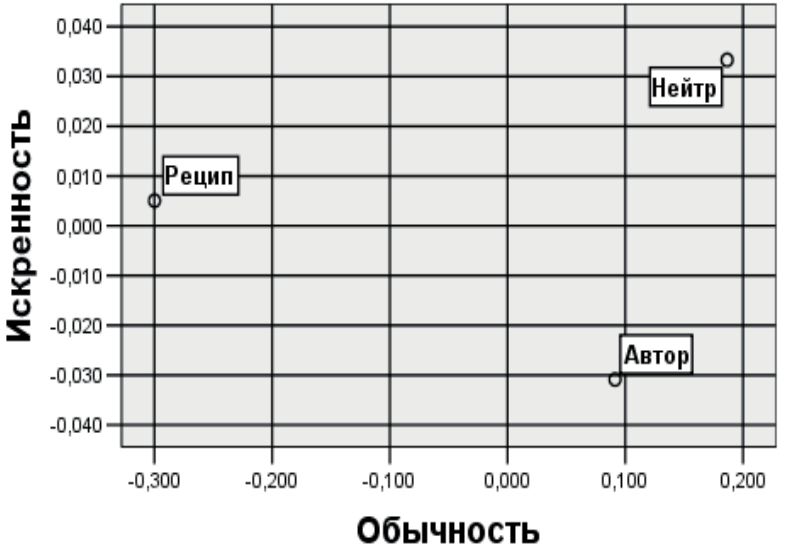


Рис. 5

Выводы

В таблице 1 представлены результаты всех семантических пространств, построенных по данным психосемантического эксперимента.

Таблица 1.

	Текст с нейтральной позиции	***Текст с позиции автора***	***Текст с позиции реципиента***
1. Оценка	жесткий, грубый, агрессивный	спокойный, приятный, светлый	спокойный, приятный, светлый
2. Сила	сильный	примитивный, наивный шаблонный, слабый	примитивный, наивный шаблонный, слабый
3. Символичность	необразный, нехудожественный, несимволичный не возвышенный	необразный, нехудожественный, несимволичный не возвышенный	образный, художественный, символичный возвышенный
4. Активность	активный, понятный, четкий, выразительный	неактивный, непонятный, нечеткий, невыразительный	нейтральная оценка
5. Сложность	легкий, гармоничный	изощренный, сложный	нейтральная оценка
6. Естественность	нейтральная оценка	естественный, открытый натуралистический	неестественный, неоткрытый ненатуралистический

7. Романтичность	неромантичный, неизысканный	романтичный, изысканный	романтичный, изысканный
8. Динамичность	живописный, красочный, ироничный, яркий, динамичный	неживописный, некрасочный, неироничный, неяркий, нединамичный	неживописный, некрасочный, неироничный, неяркий, нединамичный
9. Обычность	холодный, сухой, обыкновенный	холодный, сухой, обыкновенный	нехолодный, не сухой, необыкновенный
10. Искренность	самобытный, интимный, искренний	несамобытный, не интимный, неискренний	нейтральная оценка

Текст имеет русофильскую направленность (он принадлежит перу Н. С. Михалкова), с ним идентифицируют себя не все респонденты. Не всем респондентам близка активная русофильская позиция Михалкова. Это объясняет противоречия категоризации с позиции автора по факторам **оценка, активность, сложность, динамичность, искренность**.

Н. Михалков настаивает на ценности вековых традиций, на активном утверждении традиционном для русской культуры права и морали, активно противопоставляя их важности самовыражения «меньшинств» и мультикультурализму. Для респондентов такая позиция не близка. Они не готовы идентифицировать свою авторскую позицию с позицией автора текста.

Респондент в позиции реципиента позиционирует себя в качестве объекта воздействия. И весь текст воспринимает как средство регулирования своего внутреннего и внешнего поведения. Рецепцию речевого воздействия на свою психику он рассматривает как регулирование своего сознания в сфере русофильских и патриотических эмоций.

Проведенный анализ позволяет сделать выводы, что понимание речевого сообщения фундаментальным образом зависит от позиции испытуемого в экспериментальной ситуации. Позиция нейтрального наблюдателя не индуцирует ярко выражен-

ных оценок содержания. Оценки испытуемого с нейтральной позицией отображают только конфигурацию содержания текста. Занятие активной позиции автора и реципиента провоцирует испытуемых на проявление своих личностных позиций к социально значимому содержанию текста реального автора. В качестве активных участников процесса речевого общения они идентифицируют себя с субъектом позиции автора и объектом позиции реципиента, что создает активную установку на восприятие содержания текста, которое не совпадает с их жизненной позицией. Жесткая риторика реального авторского текста не позволяет им идентифицировать себя с излагаемой позицией реального автора. В этом, вероятно, кроется идентичность оценок по факторам **оценка** и **сила**. Аналогичным образом можно интерпретировать совпадение оценок испытуемых по факторам **романтичность** и **искренность**. Позиция реального автора, по всей вероятности, не позволяет испытуемым идентифицировать себя с этой позицией в качестве автора и реципиента.

Комментарии

А.В. Вдовиченко

В статье М.О. Матвеева, А.А. Нистратова, Е.Ф. Тарасова несколько странным представляется *конструкция самого проведенного и описанного эксперимента*, целью которого является «проверка гипотезы о том, что позиции коммуникантов по отношению к производимому и воспринимаемому тексту (позиции автора, реципиента и нейтрального наблюдателя) детерминируют их оценку содержания этого текста». По умолчанию авторы признают, что текст может обладать автономным от коммуниканта статусом, быть *чем-то* независимо от производящего его коммуниканта, а обладатель сознания может загружать данную автономную программу на свой «жесткий диск», на ходу меняя операционную систему – становясь то автором текста, то адресатом, то нейтральным интерпретатором, да еще и наблюдать за тем, *что* сама программа там творит – какую гамму эмоций и мыслей вызывает при своем «неожиданном» появлении. Вероятно, авторы, выстраивая эту фантастическую диспозицию эксперимента и не менее причудливую гипотезу, чем-то оправдывали их возникновение.

Оправдание содержится в первой части статьи, в которой проясняются теоретическая подоплека такой гипотезы и такого эксперимента. В качестве основания взаимодействия коммуникантов рассматривается *речевое действие*, понимаемое в нескольких аспектах.

Во-первых, «речевое общение развертывается с целью организации совместной деятельности, необходимость осуществления которой возникает для одного из коммуникантов в случае невозможности решения им некоторой практической задачи».

Во-вторых, «Речевое общение организуется с целью регулирования поведения объекта речевого воздействия, в ходе которого субъект стремится организовать с ним совместную деятельность».

В-третьих, «такое сотрудничество возможно только в том случае, если объект, побуждаемый к сотрудничеству, сочтет его для себя выгодным».

Что же является «действующим веществом» в этой несколько упрощенной и едва не доводящей до стоического и кинического отчаяния схеме? Действующим веществом является «речевая цепь», то есть тот самый *текст*:

«В теории речевой деятельности *единицей речевой активности является речевое действие, представляющее собой речевую цепь*, развертывание которой побуждается необходимостью достичь какую-либо цель в процессе речевого воздействия. Например, в ходе организации речевого общения необходимо *удержать внимание реципиента, что достигается указанием при помощи речевой цепи на некоторые предметы*, удовлетворяющие какую-либо его потребность» (курсив в обоих случаях мой. – *А.В.*).

Заметим, что авторы, поискав источники смыслообразования в области коммуникативного взаимодействия (где и в самом деле «тепло», как в детской игре «Найди спрятанный предмет»), нашли, в конце концов, то, что находят лежащим на поверхности во всех вербоцентричных и лингвоцентричных версиях теории вербального процесса: *слова, выстроенные в цепь* (не осознавая, что это уже «холоднее, совсем холодно»).

После такой находки – «текст, или цепь слов языка» – для авторов статьи оказывается возможным загружать его, текст, на любой носитель, где он в качестве «действующего вещества» («единицы речевой активности») будет производить свою автономную работу, быть самостоятельным источником смыслопорождения. Этот «главный элемент» речевого действия (речевого общения) и есть то, что авторы статьи предъявляют в качестве оправдания странной гипотезы и причудливого эксперимента.

Подробный разбор «теории вербального процесса без автора» содержится в статье «С возвращением, автор, но где же твой текст и язык? О вербальных данных в статике и динамике»[1], а также в статьях, описывающих другие эксперименты[2]. Здесь укажем только несколько критически важных аберраций, свойственных любой теории вербального процесса, которая завуалировано или открыто строится без коммуниканта, в расчете на мнимую автономность слов (текстов).

Во-первых, смысл любого семиотического акта (в том числе такого, в который вовлечены слова) – *в воздействии*, в изменении статуса постороннего сознания, к которому обращается семиотический актор. Если актора из этой диспозиции изъять (оставить только «цепь слов»), то естественная коммуникативная процедура прекращает существование, разрушается. Смысл того, что происходит при говорении (а также показывании картинок, жестикулировании, демонстративном поведении и пр.) отсутствует от начала, от отправной точки. Единство актора и его действия (в

1. *Вдовиченко А.В.* С возвращением, автор, но где же твой текст и язык? О вербальных данных в статике и динамике. Часть I // Вопросы философии 2018 № 6. С. 156-167: Часть II // Вопросы философии 2018 № 7. С. 57-69.

2. *Вдовиченко А.В.* Акциональное смыслообразование: что порождается и понимается в естественном коммуникативном процессе // Вопросы психолингвистики 2018 № 3 (37). С. 112-125; Вдовиченко А.В. Коммуникативное оправдание грамматики. К вопросу о пределах условности грамматического описания // Русский язык за рубежом, 2016 № 4. С. 76-89.

состав которого могут входить и слова) – непременное условие тождественного смыслообразования.

Поэтому в качестве автора быть ведомым каким-то безличным текстом (что требуется от испытуемого по условиям эксперимента) – значит, вверять себя бессмысленности, отключить собственное сознание, признавать, что данный текст никем не порожден, а порождается в момент помещения его испытуемым себе на «жесткий диск» (что заведомо не так из очевидного, совершающегося на глазах испытуемого).

Когда испытуемый выступает в качестве реципиента и нейтрального интерпретатора, история похожая. Понимать смысл текста – всегда воссоздавать последовательность личных коммуникативных действий, каждое из которых не тождественно своей вербальной составляющей[1]. Воссоздавать действие, в котором отсутствует деятель (семиотический актор), чьи режимы сознания «восстанавливаются» не только по вербальному «следу», но и по бездне других параметров – значит, добиваться неверифицируемого результата: опорой смыслообразования в любом коммуникативном действии является личное когнитивное состояние (процесс), которое, по условиям эксперимента, как раз изымается самим экспериментатором.

В естественной коммуникативной реальности интерпретацию текста без автора можно считать тяжелой формой языкового фетишизма (например, «правда есть то, что пропечатано в газете», во времена тоталитарной идеологии в СССР). Ничего, кроме личного акционального режима создателя текста (воздействия в мыслимых параметрах), в семиотическом (с вовлечением слов) действии содержаться не может.

Во-вторых, в естественном коммуникативном акте тестируются (оцениваются, проверяются на истинность и пр.) не слова, а коммуникативные воздействия коммуниканта[2]. Заставлять коммуниканта производить такие воздействия, которые он сам не помышлял – то же самое, что пытаться, скажем, заставить брюнета стать блондином. На такое радикальное перевоплощение, граничащее с потерей собственной личности и отключением сознания, способны разве что актеры, но даже они не прячут личность подлинного семиотического актора, а всячески имитируют его своими лицедейскими способами (напр., чтение «Евгения Онегина» А.С. Пушкина И. Смоктуновским и пр.). В предъявленном же эксперименте ставка делается на глубокую потерю испытуемым себя (особенно в случае, когда испытуемому

1. *Вдовиченко А.В., Тарасов Е.Ф.* Вербальные данные в составе коммуникативного действия: язык, текст, автор, интерпретатор // Вопросы психолингвистики 2017 № 4 (34). С.. 22-39.

2. *Вдовиченко А.В.* Соотношение когнитивного процесса и семиотического действия в языковой и коммуникативной моделях: эксперимент «Запись последовательности знаков по памяти» // Вестник ПСТГУ Серия III «Филология», 3 (60) 2019. С. 29-42

полагается быть автором текста). Причем, экспериментаторы, организовав игру «Из брюнета стань блондином, из блондина стань брюнетом», сами же верят в то, что чудо совершилось, и спрашивают у испытуемых: ну что, каково оно – жить с такими волосами? Каково быть А.С. Пушкиным, автором «Евгения Онегина»? Испытуемые, правда, тоже хороши: видя перед собой серьезных исследователей, которые с умным видом вставляют им «дискету» в «дисковод» и собираются измерять состояние их сознания по методу Осгуда, они не хотят обидеть этих и без того странных ученых, и потому делают вид, что потрясают обновленной шевелюрой. Сторонникy коммуникативной модели все это, конечно, не может не напоминать сказку-шутку про голого короля, но только не исследование реальности.

В-третьих, текст, используемый в эксперименте, как и другие тексты, с точки зрения психологической (единственно существующей) реальности смыслообразования, представляет собой псевдо-объект. Сознание автора и интерпретатора, воссоздавая каждое последовательное действие коммуниканта, обрабатывает только один фокус – тот, который приблизительно соответствует данному вербальному предложению. Поэтому воссоздание общего смысла целого текста (и рассуждения о нем как целостности) по сути представляет собой попытку ухватить «облачное» невербальное состояние автора по отношению к данному, избранному им, адресату: изменений в каком направлении он хочет добиться, воздействуя на данного адресата. Но как автор, так и адресат (необходимые условия смыслообразования) в экспериментальном тексте, по условиям эксперимента, отсутствуют. В этом смысле он похож на игру без исполнимых правил.

В целом можно констатировать, что в теоретическом пространстве статьи смешиваются речевое действие (приравненное к тексту) и коммуникативное воздействие с вовлечением вербального канала (естественная единица смыслообразования). Такая некорректная теоретическая позиция становится причиной недостаточной естественности (реалистичности) наблюдаемых результатов: полученные данные свидетельствуют, скорее, о причудливости самих условий, созданных в эксперименте. Автор текста (вернее, автор семиотического действия с использованием вербального канала) не может одновременно быть адресатом или наблюдателем данного текста, адресат – автором и пр.

Комментарии

Г.В. Дьяченко

Хочется всесторонне поддержать идею авторов о зависимости понимания речевых действий от занимаемой позиции в коммуникации. Эксперимент наглядно показал, что возможное активное авторство и возможное активное «реципиентство», как и возможная отстранённая позиция наблюдателя преформируют отношение человека к одному и тому же речевому действию. Это вполне очевидно и закономерно. Однако, представляется, что позиция самих экспериментаторов не до конца выдержана в логике заявленной ими теории деятельности. Так, в интерпретации результатов исследования превалирует когнитивная, но не коммуникативная их оценка. Согласно исследователям, именно «несовпадение с жизненной позицией» Н. С. Михалкова «не позволяет испытуемым идентифицировать себя с этой позицией в качестве автора и реципиента». Однако в речевом действии ведущим и определяющим фактором выступает цель этого действия и условия его осуществления, как об этом заявлено в методологической части статьи, но не «жизненная» статичная позиция автора или реципиента (см.: *«В теории речевой деятельности единицей речевой активности является речевое действие, представляющее собой речевую цепь, развертывание которой побуждается необходимостью достичь какую-либо цель в процессе речевого воздействия»*). Иными словами, в эксперименте примеряющий на себя позицию автора данных слов Н. С. Михалкова на самом деле оценивает не своё согласие с ними, а степень личной ответственности за таковое своё возможное речевое действие и возможные его последствия в определённой аудитории. Равно как и реципиент не оценивает пассивно, согласен ли он или не согласен с заявленной в сообщении «жизненной позицией», но – степень возможного собственного повиновения автору и принятия его воли и мнения. Иными словами, интерпретация результатов эксперимента должна лежать в плоскости волевой, деятельностной, коммуникативной, но не мировоззренческой.

Комментарии

И.В. Журавлев

В данной работе представлены убедительные экспериментальные данные о том, что позиции коммуникантов по отношению к производимому и воспринимаемому тексту детерминируют их оценку содержания этого текста. Это положение хорошо согласуется с результатами многочисленных подобных экспериментов в психологии и в общем виде восходит к тезису об активности и категориальности восприятия. Не вызывает возражений методология, на которой основываются авторы.

Небольшое уточнение можно сделать в связи с правомерностью описания деятельности при помощи схемы «субъект – объект». Дело в том, что ссылка на данную схему может вызвать у читателя ассоциации с картезианской парадигмой сознания, от которой создатель психологической теории деятельности А.Н. Леонтьев решительно отмежевывался. «Онтологически первичен… не объектный мир и противополагаемый ему субъект (картезианская точка зрения), а единый континуум, в котором субъект взаимодействует с миром объектов»[1]. Но тогда и «… главное различение, лежавшее в основе классической картезианско-локковской психологии, – различение, с одной стороны, внешнего мира, мира протяжения, к которому относится и внешняя, телесная деятельность, а с другой – мира внутренних явлений и процессов сознания, – должно уступить свое место другому различению, с одной стороны – предметной реальности и ее идеализированных, превращенных форм <…>, с другой стороны – деятельности субъекта, включающей в себя как внешние, так и внутренние процессы. А это означает, что рассечение деятельности на две части или стороны, якобы принадлежащие к двум совершенно разным сферам, устраняется»[2]. Таким образом, «категория деятельности открывается... в своей действительной полноте в качестве объемлющей оба полюса: и полюс объекта, и полюс субъекта»[3].

Поэтому очень важно не наделять схему «субъект – объект» «картезианским» содержанием. Соответственно, нельзя сказать, что в ходе общения один человек воздействует на другого, чтобы вместе воздействовать на некий объект. Это было бы крайним упрощением. Первична деятельность (совместная, социальная),

1. *Леонтьев А.А.* Деятельный ум. М.: Смысл, 2001. С. 262.

2. *Леонтьев А.Н.* Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1975. С. 99—100.

3. Там же. С. 159.

в ходе которой коллективный субъект преобразует действительность. В ходе общения не один коммуникант воздействует на другого, а оба коммуниканта воздействуют друг на друга и сами на себя, впервые обнаруживая и устанавливая то, что вне общения установлено быть не может.

ЧАСТЬ 4.

ОНТОЛОГИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ВЕРБАЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Онтологические предпосылки теории речевого общения (Е.Ф. Тарасов)[1]

1. Текст данной главы основан на статье: *Тарасов Е.Ф.* Онтологические предпосылки теории речевого общения // Вопросы психолингвистики. 2017. №2 (32). С. 160-167.

Статья посвящена созданию теории речевого и неречевого контекста речевых действий, который в форме общения и предметной деятельности детерминирует прежде всего цели и, следовательно, смыслы речевых действий. Показано, что все речевые практики восходят к речевым действиям, при помощи которых решаются задачи организации общения и совместной деятельности. Обосновывается идея, что речевое действие, ориентированное на решение конкретных задач, является единицей анализа, объясняющего функции речевых высказываний членов социума.

Теория речевого общения (ТРО), онтологические предпосылки которой предлагаются в этой статье, мыслится как теория, объясняющая речевую и неречевую интеракцию сотрудничающих партнеров в рамках совместной деятельности.

Онтологическая картина, в структуре которой развертывается речевая и неречевая интеракция коммуникантов, естественным образом, по крайней мере для теории речевой деятельности А.А. Леонтьева, является деятельность, которая включает в себя субъекта-человека, объект-предмет, орудия-предметы, потребность, побуждающая субъекта к действиям, направленным на ее удовлетворение, мотив-предмет, удовлетворяющий потребности и объединяющий несколько действий в деятельность. Но деятельности человека существуют только в обществе и не отрывны от него. А.Н. Леонтьев – создатель общепсихологической теории деятельности пишет по этому поводу: *«При всем своем своеобразии, при всех своих особенностях деятельность, отношения человеческого индивида, реализуемые в его деятельности, представляют собой инфраструктуру в системе отношений общества, а это значит, что вне системы этих отношений деятельность индивидуального человека не может существовать и что она определяется тем конкретным местом, которое данный индивид занимает внутри системы»*[2].

2. *Леонтьев А.Н.* Общее понятие о деятельности // Основы теории речевой деятельности. Под ред. А.А.Леонтьева. М.: Наука, 1974. С. 8.

Для исследователя, изучающего речевое общение, знаковое по своей сути, при котором в межсубъектном пространстве происходит только производство и восприятие тел языковых знаков (звуков и графем), важно указать на предпосылку знакового общения – общность сознаний коммуникантов, т.к. именно эта общность позволяет при помощи речевых действий «указывать»

друг другу на идентичные структуры и схемы образов в своем сознании, которое является общим в той степени, в какой они присвоили общую для них этническую культуру.

Необходимо учесть, что любой акт деятельности укоренен в прошлом, настоящем и будущем того социума, в котором он развертывается. Укорененность в прошлом следует понимать как детерминированность сознания (языкового и неязыкового) предметной, деятельностной и идеальной формами этнической культуры, присвоенной коммуникантами. Именно присвоенная культура устраняет до определенной степени индивидуальные качества коммуникантов, императивно уравнивая их человеческие качества, превращающие их в личности и создавая тем самым предпосылку для взаимопонимания.

Укорененность в настоящем означает, что в своей активности коммуниканты, реализуют те модели деятельности, которые имеют социальную легитимность и функциональную целесообразность в конкретном обществе и в конкретное время. Укорененность в будущем целесообразно понимать, как проекцию современных моделей с необходимыми модификациями в будущее.

В культурно-исторической школе Л.С. Выготского было обосновано положение о принципиальной общности внутренней психической деятельности и внешней предметной деятельности: *«…первоначально внутренние психические процессы имеют форму внешних процессов с внешними предметами; превращаясь во внутренние, эти внешние процессы не просто меняют форму, но подвергаются и известной трансформации, обобщаются, становятся более сокращенными и т.д.»*[1].

Это положение, обоснованное в культурно-исторической психологии Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьев дополняет двумя, как он выразился, капитально важными положениями: *«во-первых, внутренняя и внешняя деятельность имеют не только общую структуру, но и между ними постоянно происходит обмен звеньями; во-вторых, и внутренняя деятельность сознания и внешняя предметная деятельность не могут быть выключены из общественного процесса»*[2].

Эти положения, сформулированные А.Н. Леонтьевым, имеют для нашего исследования речевого общения важное следствие.

Во-первых, сознание членов общества детерминировано этнической культурой, присвоение которой в процессе обмена звеньями между внешней и внутренней деятельностями позво-

1. *Леонтьев А.Н.* Общее понятие о деятельности // Основы теории речевой деятельности. Под ред. А.А.Леонтьева. М.: Наука, 1974. С. 15.

2. *Леонтьев А.Н.* Общее понятие о деятельности // Основы теории речевой деятельности. Под ред. А.А.Леонтьева. М.: Наука, 1974. С. 11.

ляет партнерам по общению опираться на общность сознаний, которая необходима для знакового общения, во-вторых, т.к. сознание, отображающее предметы определенной этнической культуры, мыслит эти предметы вынесенными в реальное пространство этой этнической культуры, то конкретное этническое сознание может быть изучено на основе анализа предметов этой этнической культуры, в-третьих, сознание, составляя содержание речевых действий при речевом общении, может функционировать корректно, т.е. без потери своих познавательных возможностей, только с носителем той же этнической культуры[1].

Таким образом, понятие деятельности, осуществляемой в конкретной культуре и в конкретном социуме, объясняет для нашего дальнейшего изложения, каким образом создается предпосылка для речевого общения – общность сознаний коммуникантов.

Важнейшим результатом наблюдения за речевым общением является тот факт, что языковые средства (языковые знаки) в психической норме используются в структуре речевой цепи, т.е. в окружении других языковых и неязыковых знаков, уточняющих смысл языковых знаков, приспосабливаемых коммуникантами для управления внешним и внутренним поведением друг друга (в лингвистике этот процесс обозначают как контекстуализация высказывания).

В теории деятельности А.Н. Леонтьева при построении уровневой модели образа сознания – при построении *модели составляющих* образа *сознания*, которая отображает процесс познания, в качестве первой составляющей, формируется *чувственная* ткань – совокупность сенсорных данных, собранных в ходе чувственного восприятия некоторого объекта. На следующем шаге эта чувственная ткань осмысливается при помощи наличных объяснительных образов сознания, включающих в себя, в первую очередь, оценку качеств воспринимаемого объекта: опасен-неопасен, съедобный-несъедобный, полезный-бесполезный и т.п. Окончательная верификация формируемого образа восприятия осуществляется в ходе соотнесения сконструированного смысла со значением, т.е. со знанием, которое является общим для всех носителей языка и культуры.

Следует заметить, что не только содержания, ассоциированные со словами речевой цепи, воспринимаются коммуникантами в потоке речи, но и все предметы культуры становятся объектами восприятия только в структуре общественных отношений, т.е. не изолированно, а в социальном и культурном контексте.

1. *Стеценко А.П.* Рождение сознания: становление значений на ранних этапах жизни. М.: ЧеРо, 2005. С. 184-185. Корректность функционирования сознания (в частности – языкового сознания) есть некий идеал – эталон, который служит только идеальной целью, редко достижимой, т.к. постоянно появляются препятствия в виде недостаточной общности сознаний, общающихся как следствие несовпадения объемов присвоенной идентичной культуры или несовпадения присвоенных этнических культур.

Теперь нам предстоит выяснить роль понятия действия в неречевой и речевой деятельностях.

Таким образом, мы пришли к выводу, что психологическая схема деятельности обладает достаточными объяснительными потенциями для описания речевых высказываний как речевых действий. Проанализируем понятия действия у А.Н. Леонтьева.

«Основными «образующими» отдельных человеческих деятельностей являются составляющие их действия. Действием мы называем процесс, подчиненный представлению о том результате, который должен быть достигнут, т.е. процесс, подчиненный сознательной цели. Подобно тому, как понятие мотива соотносительно с понятием деятельности, понятие цели соотносительно с понятием действия…

…Выделение целей и формирование подчиненных им действий приводит к тому, что происходит как бы расщепление прежде слитных между собой в мотиве функций. Функция побуждения, конечно, полностью сохраняется за мотивом. Другое дело – функция направления. Действия, осуществляющие деятельность, побуждаются ее мотивом, но являются направленными на цель.

…Когда перед нами развертывается конкретный процесс – внешний и внутренний – то со стороны мотива он выступает в качестве деятельности человека, а как подчиненный цели – в качестве действия или системы цепи, действий»[1].

Легко увидеть, что действие у А.Н. Леонтьева в его общепсихологической теории деятельности занимает одно из центральных мест, наряду с операцией – способом осуществления действия, зависящим от условий его осуществления.

«… помимо своего интенционального аспекта (что должно быть достигнуто), действие имеет и свой операциональный аспект (как, каким способом это может быть достигнуто), который определяется не самой по себе целью, а предметными условиями ее достижения. Иными словами, осуществляющее действие отвечает задаче; задача это и есть цель, данная в определенных условиях. Поэтому действие имеет особую сторону, особую его «образующую», а именно способы какими оно осуществляется. Способы осуществления действия мы называем операциями»[2].

«Операции наряду с *деятельностями* (побуждаемыми своими мотивами) и *действиями* (подчиняющимися сознательным

1. *Леонтьев А.Н.* Общее понятие о деятельности // Основы теории речевой деятельности. Под ред. А.А.Леонтьева. М.: Наука, 1974. С. 12-14.

2. *Леонтьев А.Н.* Общее понятие о деятельности // Основы теории речевой деятельности. Под ред. А.А.Леонтьева. М.: Наука, 1974. С. 15.

целям) в качестве «единиц» человеческой деятельности образуют ее макроструктуру»[1].

Обращая эту макроструктуру в проблемное поле анализа речевых высказываний, следует сразу отметить, что операции – способы выполнения речевых действий зависят не только от *физических (предметных)* условий, но и в значительной мере от *социальных (этических)* ограничений, накладываемых на общение коммуникантов, т.к. общение это, в первую очередь, интеракция членов *социума*, носителей определенных социальных ролей, воспроизводящих своим общением социальные отношения, т.е. социальную организацию общества.

В теории речевой деятельности А.А. Леонтьева речевое поведение коммуникантов описывается в соответствии с деятельностной субъект-объектной схемой, это означает, что каждый коммуникант выступает в роли субъекта, полагая своего партнера объектом, ответная речевая активность которого имеет статус обратной связи. Субъективно каждый коммуникант осуществляет *речевое воздействие* на партнера, управляя его поведением с целью организации с ним совместной деятельности, т.к. проблема, для решения которой он организует сотрудничество с партнером по общению, не поддается его индивидуальным усилиям.

Для понимания субъект-объектной схемы, при помощи которой описывается и объясняется общение, следует иметь в виду, что при описании общения мы имеем дело с личностями, которые, развертывая общение и организуя совместную деятельность, ориентируются на свое собственное понимание происходящей интеракции – на свой собственный образ ситуации общения. Эти образы у коммуникантов могут не совпадать полностью или частично и поэтому один и тот же акт общения (или совместной деятельности) должен быть описан при помощи дополнительных моделей с позиции коммуниканта первого (К1) и коммуниканта второго (К2), которые должен последовательно занимать исследователь-наблюдатель.

Принцип дополнительности ввел, как известно, Н. Бор для анализа объектов микромира, а затем распространил его на целый класс объектов, которые адекватно могут быть поняты только в дополнительных моделях: *«Цельность живых организмов и характеристика людей, обладающих сознанием, а также человеческих культур, представляют черты целостности, отображение которых требует типично дополнительного описания»*[2].

1. *Леонтьев А.Н.* Общее понятие о деятельности // Основы теории речевой деятельности. Под ред. А.А.Леонтьева. М.: Наука, 1974. С. 17.

2. *Бор Н.* Квантовая физика и философия // Успехи физических наук. Т.67, вып.1., 1959. С. 12.

Анализ общения требует использования принципа дополнительности, потому что общение, с одной стороны, достаточно жестко детерминировано целями и структурой деятельности, организуемой в процессе этого общения, а, с другой стороны, общение и совместную деятельность развертывают субъекты, обладающие свободой воли при формировании постигаемых в общении целей и при отображении ситуации общения.

В художественной литературе проблема различий в понимании коммуникантами одной и той же ситуации общения давно нашла свое решение.

Различение моделей, формируемых исследователем с позиции К1, К2 и с позиции наблюдателя, имеет фундаментальное значение.

При анализе содержания речевых сообщений существенно учитывать, что его анализ дает повод для формирования неидентичных смыслов, если это содержание осмысливается в сознании К1, в сознании К2 и в метасознании исследователя, т.к. он, естественно, постигает чужое сознание только при помощи своего сознания в функции метасознания.

Теперь целесообразно перейти к анализу речевых действий, при помощи которых реализуется общение.

Как мы помним, понятие действия в модели деятельности А.Н. Леонтьева – это реальная активность, а деятельность – это абстракция, позволяющая несколько действий объединить в одну деятельность, если они подчинены одному мотиву.

В рамках теории речевой деятельности – в отечественной школе психолингвистики, сделана попытка создания теории речевого общения[1]. В этой теории обосновывается следующее представление:

– общение развертывается ради организации совместной деятельности;

– общение и совместная деятельность существуют как процессы решения ряда задач;

– задачи, подлежащие решению, распадаются на две группы: задачи по организации общения и задачи по организации совместной деятельности;

– каждая задача, решение которой реализует процесс общения – это достижение определенного психического состояния объекта речевого воздействия при помощи речевого действия.

1. См.: *Тарасов Е.Ф.* К построению теории речевой коммуникации // Сорокин Ю.А., Тарасов Е.Ф., Шахнарович А.М. Теоретические и прикладные проблемы речевого общения. М.: Наука, 1979. С. 5-147; *Тарасов Е.Ф.* Эскиз теории речевого общения // Языковая личность, текст, словарь, образ мира. К 70-летию чл.-корр. РАН Юрия Николаевича Караулова. М.: Изд-во РУДН, 2006. С. 256-265; *Тарасов Е.Ф.* Анализ речи в теории речевого общения // Человек и его дискурс – 4: коллективная монография / Отв. ред. М.Р.Желтухина; ВГСПУ, ИЯз РАН. М.: ИЯз РАН; Издательский центр «Азбуковник», 2014. С.28-34.

Ниже мы перечисляем задачи, решаемые при помощи речевых действий.

Группа задач по организации общения

1. Задача привлечения непроизвольного внимания объекта речевого воздействия решается любыми объектами (в том числе и речевыми действиями), которые отличаются от фона. Эта задача организации общения является обязательной, т.к. общение невозможно, если в поле восприятия объекта речевого воздействия не попадут средства этого воздействия.

2. Задача удержания внимания достигается в процессе формирования в сознании объекта речевого воздействия образа предмета, удовлетворяющего некоторой его потребности, т.е. некоторого полезного предмета. Удержание внимания является предпосылкой для процесса успешного речевого воздействия, который должен быть процессом некоторой оптимальной протяженности.

3. Задача ориентирования собеседника в своих качествах, т.е. в качествах субъекта речевого воздействия: в его познавательных возможностях и его потребностно-мотивационной сфере – знание этих качеств обусловливает содержание и форму ответных речевых действий объекта воздействия. Эта ориентировка канализирует восприятие речевого воздействия субъекта, т.к. создает неречевой контекст восприятия речевых высказываний субъекта.

4. Задача установления соотношения социальных статусов коммуникантов, знание этого соотношения позволяет коммуникантам выстраивать Вы-отношения или ты-отношения, определять, кто в конкретной культуре обладает правом смены одних отношений на другие. Решение этой задачи – это расширение социального контекста речевого общения путем указания на социально детерминированные качества коммуникантов, которые коммуниканты рассматривают как ограничения, накладываемые на их речевую активность и которые являются в определенной мере обязательными.

5. Задача создания атмосферы общения – приязненной или враждебной, которая решается путем соблюдения/несоблюдения этических ограничений на выбор речевых действий, создающих легитимные или нелегитимные смыслы.

Группа задач по организации совместной деятельности

1. Задача актуализации имеющейся потребности или (что случается реже) формирование новой потребности. В ходе решения этой задачи происходит осознание некоторой жизненной нужды объекта речевого воздействия, которая может актуально и не осознаваться.

2. Задача предложения предмета-мотива, удовлетворяющего актуализированной потребности. В ходе решения этой задачи задается смысл инспирируемой деятельности.

3. Задача указания на деятельность, развертывание которой приведет к овладению предметом-мотивом, удовлетворяющим актуализированной потребности, часто инспирируемая деятельность требует не только указания, но и подробного ориентирования в ней (где, когда, как часто, с какой интенсивностью и т.п.). В ходе решения этой задачи указываются цели действий, достижение которых приводит к овладению предметом-мотивом.

Этот набор задач организации общения и совместной деятельности определяется психофизиологическим и социальными характеристиками коммуникантов и социальными условиями протекания акта речевого общения, которые имеют всеобщий характер, т.е. это условия *любого* акта общения людей, живущих в социуме, где речевые высказывания играют только роль инструмента, свойства которого детерминированы природными качествами самого инструмента, а также природными и социальными качествами коммуникантов. Набор задач, подлежащих решению, о которых идет речь, относится к непосредственному общению, обслуживаемому устной речью. С появлением технических посредников в виде СМИ задачи организации общения и совместной деятельности не отменяются, но усложняются и модифицируются.

Таким образом, набор задач организации общения и совместной деятельности описывает в *исходной форме все задачи общения*, решаемые людьми в современном социуме. Все смыслы, формируемые вербальным путем, лежат в диапазоне задач, обозначенных в их исходной форме.

Все многообразие речевых практик, которыми обладает современное общество, в своей исходной форме существуют в виду речевых действий, первоначально возникших в диадическом общении, осуществляемом лицом к лицу.

Комментарии

Г.В. Дьяченко

По поводу утверждения А. Н. Леонтьева об индивиде как «месте» в системе отношений, хотелось бы спросить, *как* индивид оказывается в каком-либо месте с характерной для этого места деятельностью? Если человек попадает в некоторое место по всецело независящим от него обстоятельствам (то есть по своей бездеятельности), то, значит, место навязывает человеку деятельность, что нелепо. Если же человек занимает место по обстоятельствам, в некоторой степени зависящим от него, то, следовательно, не место определяет деятельность человека, а сама деятельность человека ставит его на определённое место в системе социальных отношений. Место производно от человека, а не человек от места. Не будь у человека сначала характерной для этого места деятельности и природных к ней возможностей, он в этом месте и не окажется (не станет матерью – мужчина, а швеёй – тот, кто не шьёт).

Комментарии

И.В. Журавлев, Ю.В. Журавлева

Полностью соглашаясь с тем, что теорию речевого общения (а также и модель естественного коммуникативного процесса) целесообразно строить на основе деятельностной методологии, мы отметим два дискуссионных момента.

Первый момент связан с представлениями об *этапах* формирования образа сознания. Может создаться впечатление, что в ходе формирования образа сначала образуется чувственная ткань (как совокупность сенсорных данных), которая потом осмысляется и затем означивается (смысл соотносится со значением). Так понимать идею А.Н. Леонтьева об «образующих» сознания не вполне корректно. Здесь есть опасность встать на путь сенсуализма, выводящего все содержания сознания из ощущений (сенсорных данных). Между тем, как заметил В.А. Лекторский, понятие «ощущение» в современной эпистемологии практически не используется, ибо поставлены под сомнения его методологические основания. Сам А.Н. Леонтьев говорил, что чувственные образы сознания (их совокупность – это и есть «чувственная ткань») *всегда означены*, хотя и упоминал о возможности отслойки чувственности от значения. Мы полагаем, однако, что «отслойка» значения – это перестройка значения, т.е. смещение к какому-то другому способу оформления, означивания, категоризации. *Вне форм сознания в сознании ничего не может быть представлено*. Чувственная ткань и значение (смысл) – не две разные сущности, которые иногда соединяются. Как в связи с этим говорил А.А. Леонтьев, значение – это то, что опосредует само существование чувственного образа, то, что «цементирует» его для человека.

Точно так же мы не можем разделять смыслы и значения. Это не разные сущности, которые «добавляются» к чувственной ткани на разных этапах построения образа. Опять-таки, как говорил А.А. Леонтьев, смысл, как правило, не существует для человека как что-то отличное от значения: напротив, человеку обычно кажется, что он воспринимает слово или предмет в его объективном значении. Понятно, что «значения ведут двойную жизнь», что формы деятельности существуют и как значения (закрепленные в языке и культуре), и как личностные смыслы. Однако в индивидуальной деятельности значения и представлены

как смыслы (если мы не делаем значения объектом отдельного рассмотрения, рефлексии). И так же, как чувственная ткань существует исключительно *внутри* процесса осмысления/означивания, как *момент актуализации формы сознания*, так и смысл существует исключительно *внутри* своего воплощения в значении. Как стеклянная ваза не состоит отдельно из материи и формы, так и образ сознания не состоит отдельно из чувственной ткани, смысла и значения. Образ сознания – это форма процесса (деятельности), которую отделить от самого процесса нельзя.

Второй дискуссионный момент касается перечня задач, решаемых коммуникантом в ходе организации общения. Представленный перечень задач касается гипотетической идеальной ситуации общения. В реальности всё несколько сложнее. Начиная общение, человек отнюдь не всегда знает, чего хочет от самого себя и от собеседника. Поэтому мы полагаем, что данную группу задач следует дополнить *задачей на ориентацию коммуниканта в самом себе*. Лишь в ходе общения и уже организованной совместной деятельности чаще всего мы только и начинаем понимать, что нам на самом деле нужно, каковы наши потребности, хотим ли мы делать то, что делаем, хотим ли общаться с данным человеком или нет, и т.д. Иногда мы только от другого человека узнаем о своих собственных качествах, намерениях или идеях. Переходя в этих рассуждениях на философский уровень, следует сказать, что *человек обретает себя, свои потребности, ценности, мотивы исключительно в другом* – в других людях, в социальной группе, в обществе в целом. Мы не приходим в общение из разных комнат: мы изначально находимся в общении, мы понимаем и обретаем себя друг в друге, *у нас нет ничего «своего», которое существовало бы до того, как мы обратились к другому*. Только в обращении к другому человек понимает себя и становится самим собой.

Комментарии

А.В. Вдовиченко

Главными темами («героями») комментируемой статьи являются 1) понятия деятельности и действия, 2) факторы детерминирования деятельности (действия), в том числе фактор единой этнической культуры, 3) соотношение внутренних и внешних процессов сознания, 4) понимание языковых знаков, в том числе речевых действий, 5) оппозиция «общение – совместная деятельность», 6) интерпретация взаимодействия коммуникантов при общении, 7) теория речевого общения, существующая в рамках московской психолингвистической школы и отраженная (сформулированная) Е.Ф. Тарасовым.

Мои основные несогласия с изложенной в комментируемой статье позицией удобнее представить в виде двух таблиц:

Таблица 1. Пункты несогласия комментатора с Е.Ф.Тарасовым, с примерами из комментируемой статьи

Некоторые неточности в концептуализации вербального процесса, с точки зрения коммуникативной модели	Примеры из статьи Е.Ф. Тарасова «Онтологические предпосылки теории речевого общения»
1. Коммуникативное действие (с участием слов) рассматривается равным речевому компоненту («означают что-то и понимаются сами слова»).	Каждая задача, решение которой реализует процесс общения – это достижение определенного психического состояния объекта речевого воздействия при помощи речевого действия. Ниже мы перечисляем задачи, решаемые при помощи речевых действий. 1. Группа задач по организации общения… 2. Группа задач по организации совместной деятельности Все многообразие речевых практик, которыми обладает современное общество, в своей исходной форме существуют в виду речевых действий, первоначально возникших в диадическом общении, осуществляемом лицом к лицу.

2. Отсутствует разделение коммуникативного (семиотического) и некоммуникативного действий. Поэтому отсутствует идея об опос-редованности семиотического воз-действия и непосредственности некоммуникативного воздействия (ср. беседовать с коллегой vs резать хлеб).	В культурно-исторической школе Л.С. Выготского было обосновано положение о принципиальной общности внутренней психической деятельности и внешней предметной деятельности: *«…первоначально внутренние психические процессы имеют форму внешних процессов с внешними предметами; превращаясь во внутренние, эти внешние процессы не просто меняют форму, но подвергаются и известной трансформации, обобщаются, становятся более сокращенными и т.д.»* [Леонтьев А.Н. 1974: 15].
3. Идея воздействия последовательно не реализуется применительно к слово-содержащим семиотическим воздействиям. Там, где присутствует интенция связать воздействие с вербальным компонентом, нет достаточной четкости в понимании того, что идея действия перестраивает всю сложившуюся слово-ориентированную концепцию вербального процесса.	Важнейшим результатом наблюдения за речевым общением является тот факт, что языковые средства (языковые знаки) в психической норме используются в структуре речевой цепи, т.е. в окружении других языковых и неязыковых знаков, уточняющих смысл языковых знаков, приспосабливаемых коммуникантами для управления внешним и внутренним поведением друг друга (в лингвистике этот процесс обозначают как контекстуализация высказывания).

4. Присутствует избыточная увлеченность предметом как главным объектом воздействия. Любая экземплификация в представленной теории становится игрой с какими-то предметами («превращенными», «мыслимыми», «организуемыми», «обладающими своими свойствами», «достигаемыми», «представляющими потребность говорящего» и пр.). Ср.: найди предмет в актуальном высказывании: «Да!», «А где он?», «Послушай» и пр. Отраженные предметы – скорее, глубоко вторичная нетождественная сущность. Объект семиотического воздействия – это состояние сознания.	Онтологическая картина, в структуре которой развертывается речевая и неречевая интеракция коммуникантов, естественным образом, по крайней мере для теории речевой деятельности А.А. Леонтьева, является деятельность, которая включает в себя субъекта-человека, объект-предмет, орудия-предметы, потребность, побуждающая субъекта к действиям, направленным на ее удовлетворение, мотив-предмет, удовлетворяющий потребности и объединяющий несколько действий в деятельность. В культурно-исторической школе Л.С. Выготского было обосновано положение о принципиальной общности внутренней психической деятельности и внешней предметной деятельности: В культурно-исторической школе Л.С. Выготского было обосновано положение о принципиальной общности внутренней психической деятельности и внешней предметной деятельности: *«...первоначально внутренние психические процессы имеют форму внешних процессов с внешними предметами; превращаясь во внутренние, эти внешние процессы не просто меняют форму, но подвергаются и известной трансформации, обобщаются, становятся более сокращенными и т.д.»* [Леонтьев А.Н. 1974: 15].

5. Присутствующая в комментируемой статье идея «достижения цели», «исполнения задачи» не осознается как прямая причина изменения воззрений на любые формы статического восприятия семиотической «деятельности». Так, понятие структуралистского (античного, соссюровского и пр.) «языка», сохраняемого еще в ОТРД, вводит полнейшую статику, непроцессуальность.	Таким образом, мы пришли к выводу, что психологическая схема деятельности обладает достаточными объяснительными потенциями для описания речевых высказываний как речевых действий. Проанализируем понятия действия у А.Н. Леонтьева. *«Основными «образующими» отдельных человеческих деятельностей являются составляющие их действия. Действием мы называем процесс, подчиненный представлению о том результате, который должен быть достигнут, т.е. процесс, подчиненный сознательной цели. Подобно тому, как понятие мотива соотносительно с понятием деятельности, понятие цели соотносительно с понятием действия……Выделение целей и формирование подчиненных им действий приводит к тому, что происходит как бы расщепление прежде слитных между собой в мотиве функций.* Л.С. Выготского было обосновано положение о принципиальной общности внутренней психической деятельности и внешней предметной деятельности: В культурно-исторической школе Л.С. Выготского было обосновано положение о принципиальной общности внутренней психической деятельности и внешней предметной деятельности: *«... первоначально внутренние психические процессы имеют форму внешних процессов с внешними предметами; превращаясь во внутренние, эти внешние процессы не просто меняют форму, но подвергаются и известной трансформации, обобщаются, становятся более сокращенными и т.д.»* [Леонтьев А.Н. 1974: 15].

6. В рамках динамического понимания семиотического процесса (присутствующего в комментируемой статье) автор затрагивает тему постоянного «рыскания» коммуниканта, или поиска путей решения «задач общения и организации совместной деятельности». Однако при этом нет осознания того, что поиск способов воздействия на внешнее сознание отменяет презумпцию общности сознаний, основанную на «общности знаков, языка, культуры, социума» и пр. Если признавать тождество сознаний, никакой новизны одно сознание посредством воздействия на другое не может привнести. Тогда зачем производить воздействие?	Группа задач по организации общения 1. Задача привлечения непроизвольного внимания объекта речевого воздействия решается любыми объектами (в том числе и речевыми действиями), которые отличаются от фона. Эта задача организации общения является обязательной, т.к. общение невозможно, если в поле восприятия объекта речевого воздействия не попадут средства этого воздействия. 2. Задача удержания внимания достигается в процессе формирования в сознании объекта речевого воздействия образа предмета, удовлетворяющего некоторой его потребности, т.е. некоторого полезного предмета. Удержание внимания является предпосылкой для процесса успешного речевого воздействия, который должен быть процессом некоторой оптимальной протяженности. 3. Задача ориентирования собеседника в своих качествах, т.е. в качествах субъекта речевого воздействия: в его познавательных возможностях и его потребностно-мотивационной сфере – знание этих качеств обусловливает содержание и форму ответных речевых действий объекта воздействия. Эта ориентировка канализирует восприятие речевого воздействия субъекта, т.к. создает неречевой контекст восприятия речевых высказываний субъекта. 4. Задача установления соотношения социальных статусов коммуникантов, знание этого соотношения позволяет коммуникантам выстраивать Вы-отношения или ты-отношения, определять, кто в конкретной культуре обладает правом смены одних отношений на другие.

	Решение этой задачи – это расширение социального контекста речевого общения путем указания на социально детерминированные качества коммуникантов, которые коммуниканты рассматривают как ограничения, накладываемые на их речевую активность и которые являются в определенной мере обязательными. Задача создания атмосферы общения – приязненной или враждебной, которая решается путем соблюдения/несоблюдения этических ограничений на выбор речевых действий, создающих легитимные или нелегитимные смыслы.
7. Отсутствует идея о назначенности единиц «языка». Условность выделения единиц не замечается.	Для исследователя, изучающего речевое общение, знаковое по своей сути, при котором в межсубъектном пространстве происходит только производство и восприятие тел языковых знаков (звуков и графем), важно указать на предпосылку знакового общения – общность сознаний коммуникантов, т.к. именно эта общность позволяет при помощи речевых действий «указывать» друг другу на идентичные структуры и схемы образов в своем сознании, которое является общим в той степени, в какой они присвоили общую для них этническую культуру.

8. Отсутствует идея о том, что понимается не вербальная структура, а комплексное семиотическое действие субъекта, т.е. квант коммуникативного акционального поведения субъекта в представимой ситуации. Присутствует некая недосказанность: либо комплексное семиотическое действие (планирование результата, осознанные условия, способы, мыслимое состояние адресата и пр.), либо вербальная структура со своими значениями элементов, и пр.	Важнейшим результатом наблюдения за речевым общением является тот факт, что языковые средства (языковые знаки) в психической норме используются в структуре речевой цепи, т.е. в окружении других языковых и неязыковых знаков, уточняющих смысл языковых знаков, приспосабливаемых коммуникантами для управления внешним и внутренним поведением друг друга (в лингвистике этот процесс обозначают как контекстуализация высказывания).
9. Отсутствует понимание того, что семиотическое действие со словесным компонентом представляет собой частный случай семиотического действия: «словесная знаковая система» не может быть автономной и изолированной. Попытки ее обособления в теории приводят к концептуальному кризису, неадекватному навязыванию знакам собственных потенций смыслообразования.	См. примеры выше.
10. Теория языкового знака не претерпевает существенных трансформаций в коммуникативной перспективе. Знак в комментируемой статье воспринимается в структуралистской парадигме (традиционно) как «единство означающего и означаемого в контексте».	Важнейшим результатом наблюдения за речевым общением является тот факт, что языковые средства (языковые знаки) в психической норме используются в структуре речевой цепи, т.е. в окружении других языковых и неязыковых знаков, уточняющих смысл языковых знаков, приспосабливаемых коммуникантами для управления внешним и внутренним поведением друг друга (в лингвистике этот процесс обозначают как контекстуализация высказывания).

11. Отношения сознания и слова остаются неурегулированными: «язык есть… практическое действительное сознание» (Маркс, Энгельс). Мысль норовит быть словесной, вводятся нереалистичные концепты: внутренняя речь, языковое мышление, языковая картина мира, единство предмета и мысле-слова и пр.	Корректность функционирования сознания (в частности – языкового сознания) есть некий идеал – эталон, который служит только идеальной целью, редко достижимой, т.к. постоянно появляются препятствия в виде недостаточной общности сознаний, общающихся как следствие несовпадения объемов присвоенной идентичной культуры или несовпадения присвоенных этнических культур.
12. По умолчанию присутствует презумпция самостоятельного значения элемента. Отсутствует идея о несамотождественности элемента (знака) вне личного коммуникативного действия, которое одно может пониматься и интерпретироваться.	Важнейшим результатом наблюдения за речевым общением является тот факт, что языковые средства (языковые знаки) в психической норме используются в структуре речевой цепи, т.е. в окружении других языковых и неязыковых знаков, уточняющих смысл языковых знаков, приспосабливаемых коммуникантами для управления внешним и внутренним поведением друг друга (в лингвистике этот процесс обозначают как контекстуализация высказывания).
13. В статье отсутствуют реальные примеры естественного семиотического взаимодействия с участием слов. Реальные примеры не вписывались бы в некоторые объяснения, приводимые автором статьи. Например, идея Л.С. Выготского о принципиальной общности внутренней психической деятельности во внешней предметной деятельности не может иметь подтверждений в реальности, поскольку семиотическое действие принципиально не является предметной деятельностью (в отличие от несемиотического действия).	В культурно-исторической школе Л.С. Выготского было обосновано положение о принципиальной общности внутренней психической деятельности во внешней предметной деятельности: *«…первоначально внутренние психические процессы имеют форму внешних процессов с внешними предметами; превращаясь во внутренние, эти внешние процессы не просто меняют форму, но подвергаются и известной трансформации, обобщаются, становятся более сокращенными и т.д.»* [Леонтьев А.Н. 1974: 15].

14. Присутствует стремление избежать психологической сути коммуникации путем сведения к различным детерминирующим факторам (подсознательные грамматика, язык, культура, социум, значения слов, свойства предметов и пр.), по образцу «точных» и «естественных» наук. На самом деле только свободное сознание (диапазон свободного сознания) может быть интересным и достойным объектом гуманитарной эвристики.	Необходимо учесть, что любой акт деятельности укоренен в прошлом, настоящем и будущем того социума, в котором он развертывается. Укорененность в прошлом следует понимать как детерминированность сознания (языкового и неязыкового) предметной, деятельностной и идеальной формами этнической культуры, присвоенной коммуникантами. Именно присвоенная культура устраняет до определенной степени индивидуальные качества коммуникантов, императивно уравнивая их человеческие качества, превращающие их в личности и создавая тем самым предпосылку для взаимопонимания. Эти положения, сформулированные А.Н. Леонтьевым, имеют для нашего исследования речевого общения важное следствие. Во-первых, сознание членов общества детерминировано этнической культурой, присвоение которой в процессе обмена звеньями между внешней и внутренней деятельностями позволяет партнерам по общению опираться на общность сознаний, которая необходима для знакового общения, во-вторых, т.к. сознание, отображающее предметы определенной этнической культуры, мыслит эти предметы вынесенными в реальное пространство этой этнической культуры, то конкретное этническое сознание может быть изучено на основе анализа предметов этой этнической культуры, в-третьих, сознание, составляя содержание речевых действий при речевом общении, может функционировать корректно, т.е. без потери своих познавательных возможностей, только с носителем той же этнической культуры [Стеценко 2005: 184-185].

	Таким образом, понятие деятельности, осуществляемой в конкретной культуре и в конкретном социуме, объясняет для нашего дальнейшего изложения, каким образом создается предпосылка для речевого общения – общность сознаний коммуникантов. Следует заметить, что не только содержания, ассоциированные со словами речевой цепи, воспринимаются коммуникантами в потоке речи, но и все предметы культуры становятся объектами восприятия только в структуре общественных отношений, т.е. не изолированно, а в социальном и культурном контексте. Обращая эту макроструктуру в проблемное поле анализа речевых высказываний, следует сразу отметить, что операции – способы выполнения речевых действий зависят не только от физических (предметных) условий, но и в значительной мере от социальных (этических) ограничений, накладываемых на общение коммуникантов, т.к. общение это, в первую очередь, интеракция членов социума, носителей определенных социальных ролей, воспроизводящих своим общением социальные отношения, т.е. социальную организацию общества.

15. Отсутствует идея, что личное когнитивное состояние представляет собой последнее основание «значения». В то время как в естественном семиотическом процессе интерпретируется не знак, а личное когнитивное состояние – психологический объект. Отсутствует идея принципиального различия неакциональной (во внешнем пространстве) мысли и акционального семиотического процесса.	Для исследователя, изучающего речевое общение, знаковое по своей сути, при котором в межсубъектном пространстве происходит только производство и восприятие тел языковых знаков (звуков и графем), важно указать на предпосылку знакового общения – общность сознаний коммуникантов, т.к. именно эта общность позволяет при помощи речевых действий «указывать» друг другу на идентичные структуры и схемы образов в своем сознании, которое является общим в той степени, в какой они присвоили общую для них этническую культуру.
16. Трактовка «значения» сводится к традиционной схеме «знак-значение», в которой описывается содержание знака (а не психического по сути семиотического процесса воздействия и взаимодействия).	Важнейшим результатом наблюдения за речевым общением является тот факт, что языковые средства (языковые знаки) в психической норме используются в структуре речевой цепи, т.е. в окружении других языковых и неязыковых знаков, уточняющих смысл языковых знаков, приспосабливаемых коммуникантами для управления внешним и внутренним поведением друг друга (в лингвистике этот процесс обозначают как контекстуализация высказывания).

17. В комментируемой статье фактически вводится разделение между действием и коммуникацией. Действие по-марксистски рассматривается как оперирование с предметами. Отсюда идея разделения коммуникации и совместной деятельности, ясно очерченная в ОТРД.	В теории речевой деятельности А.А.Леонтьева речевое поведение коммуникантов описывается в соответствии с деятельностной субъект-объектной схемой, это означает, что каждый коммуникант выступает в роли субъекта, полагая своего партнера объектом, ответная речевая активность которого имеет статус обратной связи. Субъективно каждый коммуникант осуществляет речевое воздействие на партнера, управляя его поведением с целью организации с ним совместной деятельности, т.к. проблема, для решения которой он организует сотрудничество с партнером по общению, не поддается его индивидуальным усилиям. Анализ общения требует использования принципа дополнительности, потому что общение, с одной стороны, достаточно жестко детерминировано целями и структурой деятельности, организуемой в процессе этого общения, а, с другой стороны, общение и совместную деятельность развертывают субъекты, обладающие свободой воли при формировании постигаемых в общении целей и при отображении ситуации общения. В рамках теории речевой деятельности – в отечественной школе психолингвистики, сделана попытка создания теории речевого общения [Тарасов 1979, 2006, 2014]. В этой теории обосновывается следующее представление: • общение развертывается ради организации совместной деятельности; • общение и совместная деятельность существуют как процессы решения ряда задач; • задачи, подлежащие решению, распадаются на две группы: задачи по организации общения и задачи по организации совместной деятельности;

	Ниже мы перечисляем задачи, решаемые при помощи речевых действий. **1. Группа задач по организации общения…** **2. Группа задач по организации совместной деятельности**
18. Вербальное действие рассматривается как довесок к предметному действию, добавление к оперированию с предметами. Отсюда же присутствующая в статье идея подчинения речи какой-то иной деятельности как таковой («решение задач общения и совместной деятельности при помощи речевых действий»).	Анализ общения требует использования принципа дополнительности, потому что общение, с одной стороны, достаточно жестко детерминировано целями и структурой деятельности, организуемой в процессе этого общения, а, с другой стороны, общение и совместную деятельность развертывают субъекты, обладающие свободой воли при формировании постигаемых в общении целей и при отображении ситуации общения.
19. Акцентируется идея коллективности языка, общественной значимости языка как средства обеспечения всеобщей деятельности, объективности языка. Все это нереалистично: язык как объект не обнаруживает целостности и тождества в различных сознаниях, язык невозможно понимать и рассчитывать на его понимание. Пока условные знаки никто ни к чему не приложил, у знаков нет никаких потенций что-либо обозначать. Поэтому понимается этот «кто-то», а не знак. Заметим, что кто-то действующий может пониматься даже без какой-либо знаковой деятельности.	Но деятельности человека существуют только в обществе и не отрывны от него. А.Н.Леонтьев – создатель общепсихологической теории деятельности пишет по этому поводу: *«При всем своем своеобразии, при всех своих особенностях деятельность, отношения человеческого индивида, реализуемые в его деятельности, представляют собой инфраструктуру в системе отношений общества, а это значит, что вне системы этих отношений деятельность индивидуального человека не может существовать и что она определяется тем конкретным местом, которое данный индивид занимает внутри системы»* [Леонтьев А.Н. 1974: 8]. Следует заметить, что не только содержания, ассоциированные со словами речевой цепи,

	воспринимаются коммуникантами в потоке речи, но и все предметы культуры становятся объектами восприятия только в структуре общественных отношений, т.е. не изолированно, а в социальном и культурном контексте.

Таким образом, автор статьи резонно полагает, что **деятельность и действие** (особенно в контексте работы нашей исследовательской группы «Разработка коммуникативной модели вербального процесса в условиях кризиса языковой модели») представляют собой **центральные ядерные понятия**, формирующие фундамент коммуникативной модели вербального процесса. Однако в его понимании деятельности и действия присутствуют **некоторые акценты**, и наоборот, **умолчания**, которые делают теоретическую картину в принципиальных позициях недостаточной или менее точной, чем она могла бы быть.

Необходимо признать, что **смыслообразование** в деятельности – исключительно субъективный (субъектный) процесс, состоящий в *привнесении планируемых изменений в лично осознанное положение дел*, или персонально осознанное изменение *status quo*. Если теоретическая модель какой-либо деятельности (семиотической, несемиотической) строится без учета **процессуальности** и **субъектности**, то такая модель оказывается изначально дефицитарной, некорректной, поскольку в ней отсутствует главный *организующий стержень* – **принцип субъектности и процессуальности**.

В комментируемой статье, где автор говорит о речевой деятельности и речевом действии, можно констатировать тенденцию к соблюдению принципа **процессуальности** (Е.Ф. Тарасов говорит о «достижении мотива», «решении конкретных задач», «изменении статуса сознания собеседника» и пр.), однако, **традиционные паттерны лингвистической теории** (прежде всего, **приписывание вербальным знакам способности к смыслообразованию**) заставляют строить не вполне когерентную схему в области **субъектности**, а также – не вполне когерентную **общую модель**, требующую **сочетания субъектности и процессуальности**.

Основные противоречия, свойственные «Теории речевой деятельности» и ее стороннику-автору комментируемой статьи,

осознаются на фоне несовпадений по основополагающим вопросам с коммуникативной моделью:

Таблица 2. Основные противоречия между *Теорией речевой деятельности*, изложенной в комментируемой статье Е.Ф. Тарасова, и *Коммуникативной моделью*

	Коммуникативная модель		*Теория речевой деятельности* (Е.Ф. Тарасов, а также предшественники А.А. Леонтьев и др.)
1	**Индивидуальность** сознания (с его мотивами, задачами, целями, выбором объектов, множеств, способов и пр.)	≠	**Всеобщность** знаков, культуры, картины мира, языковой картины мира, предметных операций, предметов культуры и пр., что задает фундаментальную **общность** сознаний
2	**Комплексность** любого коммуникативного (семиотического) действия	≠	**Изолированность** речевого действия (одноканальность вербального процесса)
3	Производится и понимается **личное действие**	≠	Производятся и понимаются **знаки языка** (языков – вербальных, жестовых, танцевальных, музыкальных, цветовых и пр.)
4	**Диада** «**семиотическое** и **несемиотическое** (коммуникативное и некоммуникативное)»	≠	**Монада** «действие», **не дифференцированное** на семиотическое и несемиотическое

5	Объект **семиотического** воздействия не равен объекту **не**семиотического воздействия по признаку **опосредованности** воздействия	≠	Объект воздействия (семиотического и несемиотического) **не дифференцируется** (ввиду **отсутствия разделения** действий на семиотические и несемиотические).
6	Объектом семиотического (воз)действия признается **когнитивное состояние адресата** (коммуниканта)	≠	Объектом воздействия признается **предметное положение дел** (поэтому общение и деятельность разделяются)
7	**Знаки – условно выделенные** комплексы «тело-значение»	≠	**Знаки существуют как автономные объекты** порождения и понимания
8	Акциональный **семиотический процесс**, реализуемый коммуникантом, принципиально **отличен от неакциональной мысли**, «мыслимой» обладателем сознания	≠	**Мысль** и направленный вовне **семиотический процесс** (с участием речи, языка) **едины**, поэтому существует вербальное мышление, вербальная картина мира, вербальные значения, и пр.
9	**Сознательные** и бессознательные **не-сознательные** (автоматизированные, клишированные, физиологические, физические и пр.) **процессы разделены**, имеют различную природу: первым присущ диапазон свободы и выбора, вторые детерминированы внешним источником	≠	Ясно различима тенденция **детерминировать сознательные процессы** культурой, картиной мира, языковыми значениями, единым предметным миром, коллективным разумом языка, языковой картиной мира, и пр., то есть **подчинить все подлинно ценные свободные процессы бессознательному**.

10	**Смыслообразование** в семиотическом действии имеет психические (психологические) основания, оно невозможно без «работы» **индивидуального сознания**. Признается подлинное значение **психики и психологии** (работы сознания) в трактовке семиотического смыслообразования (процесса)	≠	**Смыслообразование** в речевом действии приписывается **знакам**, имеющим **всеобщее (языковое) значение**, поэтому смыслообразование возможно в ничьих (всеобщих) знаках. Де-факто отрицается личный психический статус значения и смысла (отрицается свободное сознание). Производится **попытка к бегству от психики и психологии** в трактовке семиотического процесса.

4.2. Антропологические основания коммуникативной модели естественного вербального процесса (Г.В. Дьяченко)[1]

1. Статья подготовлена при поддержке РНФ, грант № 17-18-01642 «Разработка коммуникативной модели вербального процесса в условиях кризиса языковой модели», в Институте языкознания РАН. **Публикуется впервые.**

В статье осуществлен синтез антропологических положений христианского богословия, релевантных для теории словесной (коммуникативной, речевой) деятельности человека. Представленный антропологический синтез выступает конструктивным и непротиворечивым философско-методологическим фундаментом коммуникативной лингвистики, основные положения и понятия которой являются следствиями из определенного целостного представления о человеке. Автор раскрывает наиболее важные лингвистические следствия из богословской антропологии. Важнейшим из них оказывается активное и свободное рассечение человеком действительности на значения. При этом на основе святоотеческого учения о страстях и добродетелях автор показывает, как основное направление душевных сил человека определяет рассечение человеком действительности на значения. Особенное внимание обращается также на трехуровневость коммуникативного действия человека, которое имеет духовно-нравственную глубину, рассудочно-чувственно-волевое формирование и телесное выражение посредством вербального ряда. Также с привлечением психологической модели святоотеческого богословия прослеживается путь от мысли к коммуникативному поступку.

Несмотря на очевидность роли говорящего в коммуникативной деятельности, многие ключевые вопросы смыслообразующей речи часто приписываются действию языка или даже самих предметов. Очевидная условность таких рассуждений предполагает прояснение менее условных, сущностных, антропологических оснований коммуникации, в которых основное место занимает сам обладатель сознания, источник и инициатор коммуникативной процедуры – сам человек. Так, по справедливому убеждению И. В. Журавлева, одного из участников дискуссии, развернувшейся в ходе работы над проектом «Разработка коммуникативной модели вербального процесса в условиях кризиса языковой модели», «описывая отношения между мышлением и

речью, т. е. заходя в область психологии, исследователь должен формулировать прежде всего психологическую, а не лингвистическую теорию: ему придется объяснить, как "устроена", как "работает", как развивается и как "ломается" психика. И если мы говорим конкретно о мышлении, то необходимо будет формулировать *научную психологическую теорию мышления*»[1]. Иными словами, чтобы говорить о коммуникативной деятельности человека, необходимо сначала представить, как «устроен» сам человек.

1. *Журавлев И. В., Журавлева Ю. В.* Слово и объект (возможна ли бессловесная мысль) // Вопросы психолингвистики. 2 (36). 2018. С. 42-57. С. 44.

В поисках философско-методологического фундамента общей описательной модели психики и вербальной деятельности исследователи по умолчанию принимают положения марксистской психологии школы Л. С. Выготского, психологической теории деятельности А. Н. Леонтьева и всей Московской психолингвистической школы[2], вероятно, полагая, что научной альтернативы данной методологии не существует. Между тем в интересах исследования нельзя игнорировать многовековую традицию христианской антропологии, основные положения которой непротиворечиво и конструктивно способствуют формированию философско-методологической платформы теории семиотической деятельности человека, или коммуникативной модели. В рамках христианской антропологии на принципиально иных основаниях решается, например, вопрос свободы познания и свободы коммуникации, соотношения личного и общего, с высокой степенью детализации описывается внутренний мир человека, его психические состояния и работа его сознания, обусловливающие подлинные дискурсивные параметры коммуникативной деятельности человека. При этом многие положительные результаты психологической доктрины, принятой в рамках уже существующей школы, получают в богословской парадигме ясное и убедительное обоснование.

2. *Журавлев И. В., Журавлева Ю. В.* Слово и объект (возможна ли бессловесная мысль). С. 44.

Учитывая существующий методологический пробел, в данной статье мы предпримем попытку рассмотреть некоторые общие положения христианского представления о человеке в аспекте его словесной деятельности, а также очертить наиболее важные лингвистические следствия из них, прямо относящиеся к искомой коммуникативной модели вербального процесса.

1. Нетождественность по природе души и тела. Основополагающим фактом, из которого исходит христианское представление о человеке, является наличие в нем двух са-

мостоятельных природных начал. Человек состоит, с одной стороны – из невидимой разумной души, а с другой – видимого вещественного тела[1]. Душа и тело противоположны друг другу по своим природным свойствам. В патристическом богословии *душа человека охарактеризована как невещественная, бесплотная, духовная, невидимая, неосязаемая сущность, постижимая только одним умом (умопостигаемая), живая, непрестанно действующая, простая (не имеющая составных частей), бессмертная, непознаваемая, разумная, свободная, самовластная, способная желать и действовать, наделенная стремлением к добру и отчуждением от зла. Телесное естество, напротив, вещественно и доступно познанию чувствами, то есть видимо, осязаемо, занимает место во времени и пространстве, сложно (состоит из частей) и смертно.*

2. Главенство души. Две части естества человека – душа и тело – имеют между собою не равное соотношение, а связаны иерархично. Согласно святоотеческой традиции, разумная душа есть естество высшее, руководящее (ἡγεμονικόν), а неразумное тело – низшее, руководимое[2]. Душа сообщает телу жизненную силу, чувствование, возрастание, движет им, формирует его, распоряжается и пользуется им как своим органом и послушным инструментом[3]. Душа присутствует в каждом из членов тела целиком. Не тело объемлет душу, а душа – тело[4]. Несмотря на то что видимо только тело человека, коммуникативное взаимодействие осуществляется с его душой, в отношении которой тело выступает проницаемой «завесой»[5].

3. Единство души и тела. Противоположность по свойствам невидимой и видимой частей природы человека не означает их чуждости друг другу. Разумная душа и вещественное тело «сраствoрены» в человеке в единое существо неслитным и нераздельным образом[6]. И тело без души не человек, и душа без тела еще не весь человек[7]. В силу этого непостижимого соединения невидимая душа может проявлять себя посредством видимого тела. В этом состоит первоначальное предназначение тела как единственного способа проявления души в вещественном мире[8]. Поэтому тело по своему устройству совершенно приспособлено к силам и способностям души.

4. Трехуровневость человека. Посредническую функцию между душой и телом в человеке выполняет естество чувствующее. В этом случае природа человека начинает описываться

1. См. приложение 1
2. *Афанасий Великий, свт.* Слово на язычников (Oratio contra gentes) 32 // Творения иже во святых отца нашего Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. Ч. 1. СТСЛ: Собственная типография, 1902. С. 168; PG 25:64-65. *Григорий Нисский, свт.* Об устроении человека (De opificio hominis) 12 // Указ. соч. Т. 37 (Ч. 1). С. 117-118; PG 44:161.
3. *Григорий Нисский, свт.* О душе и воскресении, разговор с сестрою Макриною // ТСО, Т. 40 (Ч. 4). С. 214; PG 46:29. *Максим Исповедник, прп.* О недоумениях к Иоанну (Ambigua) 7 // Он же. О различных недоумениях у святых Григория и Дионисия (Амбигвы) / Пер. с греч. и прим. архим. Нектария. М.: Ин-т философии, теологи и истории св. Фомы, 2006. С. 76-77; PG 91:1092. *Иоанн Дамаскин, прп.* Точное изложение православной веры (Expositio Fidei) 2.12 // Творения прп. Иоанна Дамаскина. Источник знания. С. 210; PG 94:924. *Григорий Палама, свт.* Сто пятьдесят глав (Capita CL physica, theologica, moralia et practica) 1.6.30 // Указ. соч. С. 55; PG 150:1140.
4. *Григорий Нисский, свт.* Об устроении человека (De opificio hominis) 15 // ТСО, Т. 37 (Ч. 1). С. 99; PG 44:145. *Максим Исповедник, прп.* О недоумениях к Иоанну (Ambigua) 7 // Он же. О различных недоумениях у святых Григория и Дионисия (Амбигвы) / Пер. с греч. и прим. архим. Нектария. М.: Ин-т философии, теологи и истории св. Фомы, 2006. С. 82; PG 91:1100.
5. *Василий Великий, свт.* Беседа 3. На слова: Внемли себе (Втор 15:9) // Он же. Указ соч. Т. 1. С. 882. PG 31:197.
6. *Григорий Нисский, свт.* Об устроении челове-

христианскими антропологами посредством трихотомической схемы, в которой различаются 1) высшая сторона души – ум (дух, разум), 2) посредствующее чувствующее естество души и 3) тело. Важно отметить, что посредствующие чувства по своей природе являются «умственными деятельностями»[9], то есть и они относятся к невидимой субстанции души. Поэтому трихотомический подход не подразумевает наличия трех различных сущностей в человеке (трисубстанциализм), но в субстанциальном отношении сохраняет дихотомию души и тела. Тем самым в силу невещественной природы все внутренние душевные процессы – собственно умные и чувственные – можно называть обобщенно *мысленными*, или *мышлением*, *мыслью*.

5. Способности и силы ума[10]**.** Способностями и силами ума человека являются сознание, разумно-свободная самостоятельность, жизненность, совесть и духовные чувства. *Сознание* есть такое свойство ума, по которому человек отличает свое бытие, во-первых, от вещей вне себя, а во-вторых, от своих собственных действий, исходящих из его бытия. *Самостоятельность* принадлежит существу, которое само есть источник всех действий, исходящих из него. Человек управляет собственными действиями по своему *разуму*, целям и *свободному* усмотрению. *Жизненность* означает то, что человек является живым существом, которое развивается, образуется, формируется и возрастает[11]. *Совесть* есть такая сила ума, которая сознает и определяет для человека соотношение между законом и свободой. Она есть законодатель, блюститель закона, судья и воздаятель[12]. Уму человека присуща потребность познания мира духовного. Посредством своих сил и способностей он познает, во-первых, вещи невидимые и нравственные (Бога, мир умопостигаемый, что есть правда, добро, истина и под.), а во-вторых, внутренние стороны вещей (логосы сущих) и ход явлений природы и человечества. Умное (духовное) познание выражает себя в так называемых идеях, или созерцаниях чего-то лучшего по бытию и совершенствам, чем окружающая нас действительность. Через посредство ума человек стремится к добру, красоте и истине.

6. Способности и силы души. К способностям и силам посредствующего между умом и телом естества души со стороны, примыкающей к уму, принадлежат рассудок, чувства и воля, а со стороны, примыкающей к телу, – наблюдение, воображение и память, а также аффекты и низшие пожелания.

ка (De opificio hominis) 8 // ТСО, Т. 37 (Ч. 1). С 117-118; PG 44:161. *Немезий Эмесский.* О природе человека (De natura hominis) 3 // Указ. соч. С. 40-45; PG 40:590-608. *Максим Исповедник, прп.* Мистагогия (Mystagogia) 7 // Избранные творения прп. Максима Исповедника / Пер. с др.-гр. А. И. Сидорова. М.: Паломник, 2004. 497 с. (Серия «Библиотека отцов и учителей Церкви», т. XIV). С. 228; PG 91:685.

7. См. приложение 2.

8. См. приложение 3

9. *Григорий Нисский, свт.* Об устроении человека (De opificio hominis) 12 // ТСО, Т. 37 (Ч. 1). С. 116; PG 44:161.3.

10. Дальнейшее представление трисоставной природы человека (пп. 5-8) опирается преимущественно на антропологический синтез свт. Феофана Затворника (Говорова) (1815-1894).

11. *Феофан Затворник, свт.* Начертание христианского нравоучения. М.: Правило веры, 2010. 687 с. С. 255-256, 278.

12. *Феофан Затворник, свт.* Начертание христианского нравоучения. С. 356.

Рассудок – это способность души, обращенная на познание видимого и конечного (свойств и состава вещей, их причин и действий, средств и цели, материи и формы). Рассудок составляет гипотезы, понятия, суждения и умозаключения, то есть делает обобщения, определяет и развивает мысль. Деятельность его утверждается на воображении и памяти, которые при посредстве чувств собирают для него материалы из всего, что существует внутри и вне нас в пространственно-временных отношениях[1]. Задача рассудка – превратить собранный таким образом материал в ясные понятия и построить из них знание посредством мышления[2]. Составленные воображением и хранящиеся в памяти образы употребляются или в том же виде, в каком они приобретены, или в виде измененном. Первую деятельность называют *воспоминанием*, или воображением воспроизводительным, вторую – *фантазией*. Деятельность воспоминания имеет ключевое значение для речи человека, поскольку приобретенные посредством слуха и зрения акустические и графические образы вербальных средств употребляются затем человеком в том же виде, в каком они приобретены. Фантазия творит новые образы из прежнего материала и большей частью по готовым образцам[3]. В ней различается деятельность конструктивная и беспорядочная, представляющая собой самовольные мечтания, которыми почти не управляет сознание. Абсолютное царство таких мечтаний есть *сон*[4].

Душевные *чувства* разделяются на теоретические (любознательность, чувство истины, несомненность, сомнение, недоумение, вероятие, неверие, отвержение), практические (чувства самости, приятные и неприятные, – самодовольство или самопрезрение, самовозношение, самоуничижение, надменность, спесь; разного вида расположения к людям, добрые и недобрые, чувства симпатические, – равнодушие, уважение, соревнование, сорадование, соболезнование, сожаление, признательность, дружба, зависть, злорадство, месть, ненависть, вражда, презрение, осуждение) и эстетические (чувство и вкус прекрасного, высокого, изящного). Чувственно-животную сторону души, обращенную к телесной составляющей природы человека, составляют аффекты – скорые волнения или поражения чувств, погашающие самодеятельность рассудка и воли и сопровождающиеся особенными изменениями в теле. Большей частью это следствия «встревожения эгоистического животолю-

1. *Феофан Затворник, свт.* Начертание христианского нравоучения. С. 307-308.
2. Деятельность рассудка описывается свт. Феофаном Затворником следующим образом: «Рассудок Ваш все роется, ища, что такое есть какая-либо вещь, откуда она и для чего она и прочее. Когда же найдете сами такое решение или, выслушав его от других, согласитесь с ним, обыкновенно говорите: “Теперь понимаю, толковать больше нечего, дело решенное”. Это решение дает покой Вашей мыслительности относительно занимавшего Вас предмета. Тогда рассудок Ваш обращается к другим предметам, а сложившаяся мысль сдается в архив душевный – память, откуда по требованию нужды берется как пособие к решению других вопросов, как средство к слаганию других мыслей. Совокупность всех сложившихся таким образом понятий составляет образ Ваших мыслей, который Вы и обнаруживаете при всяком случае в речах своих. Это есть область Вашего знания, добытого Вами трудом мысленным. Чем больше у Вас решено вопросов, тем больше определенных мыслей или понятий о вещах; чем больше таких понятий, тем шире круг Вашего знания» [Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? С. 23].
3. *Феофан Затворник, свт.* Начертание христианского нравоучения. С. 336.
4. *Феофан Затворник, свт.* Начертание христианского нравоучения. С. 430.

бия»[1]. Одни погашают ясность сознания (удивление, изумление, увлечение внимания, испуг), другие подрывают волю (страх, гнев, ретивость), третьи терзают самое сердце, которое то радуется и веселится, то скучает, скорбит, досадует и завидует, то надеется и отчаивается, то стыдится и раскаивается, или даже попусту мятется мнительностью. Своим следствием аффекты почти всегда имеют болезненные состояния тела[2].

Воле принадлежит устроение практической жизни человека – всё, чем выражает он себя изнутри вовне: предприятия, планы, нравы, поступки, поведение. «Деятельность воли непосредственно утверждается на пожеланиях. Ее дело – неопределенные и, так сказать, неокачественные еще пожелания приводить в порядок, соглашать со своими целями, нуждами и существующим порядком, установлять поступки и начинания человеческие и начертывать целую систему правил для порядка общественной и домашней своей деятельности. Она то же в деятельности, что рассудок в познании»[3]. Следовательно, коммуникативное действие как действие, выводящее внутреннюю мысль человека вовне, оказывается делом воли человека, то есть как действие овнешнения сконцентрировано именно в этой способности его души (подробнее ниже). В формальной деятельности воли различаются три части: выбор, решимость и само дело. На стадии выбора осуществляется поиск, на каком предмете и цели деятельности остановиться; решимость представляет собой мгновенный акт устранения колебаний в желаниях и утверждения воли на чем-то одном, которое после подбора средств и приводится в исполнение на деле[4]. Само дело характеризуется предметом, целью и средствами. *Низшие пожелания* – это склонения воли к тому или другому предмету под видом приятного по представлению чувств и воображения[5].

7. Функции тела как инструмента души. Отправлений, или функций, тела насчитывается главным образом пять, а именно: органы чувств, органы движения, органы слова, питания и половая функция. «Совокупность всего этого и есть телесная сторона человеческой жизни. Но не все здесь одинаково телесно, или плотяно и чувственно. Крепко плотяна только питательная часть, но и она облагораживается приспособлением ее удовлетворения к потребностям и целям собственно душевным. Органы же движения и чувства служат более нуждам души, чем тела. А один орган, стоящий будто вне системы прочих органов, именно

1. *Феофан Затворник, свт.* Начертание христианского нравоучения. С. 337.
2. *Феофан Затворник, свт.* Начертание христианского нравоучения. С. 429-430.
3. *Феофан Затворник, свт.* Начертание христианского нравоучения. С. 397-398.
4. *Феофан Затворник, свт.* Начертание христианского нравоучения. С. 397-398.
5. *Феофан Затворник, свт.* Начертание христианского нравоучения. С. 405.

орган слова, исключительно есть орган души, назначенный для служения ей одной»[1]. Итак, в теле как орудии и инструменте души только функция питания служит для поддержания самого тела, тогда как функции движения и чувств служат уже более душе, чем телу, а функция речи предназначена только для целей одной души. При этом каждая телесная функция имеет свою собственную потребность, которая дает себя живо чувствовать живущему и требует удовлетворения. Органы чувств дают инстинкт или потребность употребления их для познания внешнего мира. В них нервная система вышла наружу для общения со внешним[2]. Из органов движения развивается потребность движения. И у органов слова есть потребность, чтоб их приводили в движение, или раздражали[3]. Тем самым способность и потребность речи заложена как в умную, так и в телесную составляющие природы человека. И способности тела оказывают влияние на деятельность самой души. Однако низшие телесные функции и потребности через обуздание соответствующих им органов должны быть подчинены потребностям высшим – душевным.

8. Ипостась, или лицо, человека. Указанные силы и способности в человеке не располагаются одна возле другой, но сходятся воедино в его ипостаси, или лице, которое есть нераздельное единство всех сил природы. Природные силы присвоены лицу человека и представляют собой для него постоянное средство[4]. Природа человека тем самым не существует безлично, или безыпостасно, как и людская ипостась не может существовать без природы. Общая всем людям человеческая природа существует лично, конкретно и индивидуально. В богословской полемике Византийской Церкви ипостась (ὑπόστασις) утверждается как принцип самостоятельности и индивидуализации природы. Так, систематизатор православного богословия VIII в. прп. Иоанн Дамаскин определяет ипостась как «бытие само по себе, бытие самостоятельное. Согласно этому значению, под ним разумеется индивид, отличающийся от других лишь численно, например: Петр, Павел, какая-либо определенная лошадь»[5]. Понятие *лица* (πρόσωπον) в православном догматическом богословии выступает синонимичным понятию *ипостась*: «Следует заметить, что святые отцы названиями: ипостась, лицо и индивид, обозначали одно и то же: именно, то, что, состоя из субстанции и акциденций, существует само по себе и самостоятельно, различается числом и выражает известную особь, например, Петра, Павла, опреде-

1. *Феофан Затворник, свт.* Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? С. 19-20.

2. *Феофан Затворник, свт.* Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? С. 19.

3. *Феофан Затворник, свт.* Начертание христианского нравоучения. С. 435.

4. *Феофан Затворник, свт.* Начертание христианского нравоучения. С. 254.

5. ποτὲ δὲ τὴν καθ' αὑτὸ καὶ ἰδιοσύστατον ὕπαρξιν, καθ' ὃ σημαινόμενον τὸ ἄτομον δηλοῖ τῷ ἀριθμῷ διαφέρον ἤγουν τὸν Πέτρον, τὸν Παῦλον, τὸν τινὰ ἵππον [*Иоанн Дамаскин, прп.* Философские главы (Dialectica) 42 // Полное собрание творений св. Иоанна Дамаскина. Т. 1. СПб: Изд-е Императорской С.-Петербургской Духовной Академии, 1913. 441 с. (Приложение к журналам «Церковный вестник» и «Христианское чтение»). С. 89; PG 94:612].

ленную лошадь»[1]. Люди различаются тем самым не природой, а ипостасными особенностями, то есть индивидуальным образом бытия природы. Образы же бытия человеческой природы, то есть конкретные человеческие ипостаси, неповторимо различаются друг от друга набором и интенсивностью природных характеристик, сил, способностей, склонностями и возможностями, предпочтениями и вкусами, наследственностью, характером, воспитанием, местом, временем жительства, культурным наследием, обстоятельствами жизни, индивидуальным опытом и прочими личными, или ипостасными, особенностями.

9. Действие – принадлежность природы. Если ипостась человека недоступна сама по себе, а познается только через обладаемую ею природу, то и природа, в свою очередь, доступна не сама по себе, а познается через свои природные действия (движения, энергии, деятельность). В традиции патристической философии, нет природы без присущих и соответствующих ей действий, проявляющих ее, и наоборот, деятельность является характеристикой именно природы: «Ибо действие есть природная сила и движение каждой сущности. И опять-таки: действие есть природное врожденное движение всякой сущности, откуда ясно, что чья сущность – одна и та же, у того и действие тождественно, а чьи природы различны, у тех различны и действия, ибо невозможно, чтобы сущность была лишена природного действия. Опять-таки, природное действие есть сила, обнаруживающая каждую сущность. <...> Природное действие есть сила и движение каждой сущности, лишено которых одно только не сущее»[2]. Следовательно, в случае каждого человека мы всегда имеем дело с природными действиями, реализуемыми лично и индивидуально. Двигаясь же по составу природы, разумная деятельность людской ипостаси исходит из сознания и свободы, проходит рассудочно-чувственно-волевое формирование и достигает выражения вовне посредством тела: «<...> Покажем ход всякого нашего действия и, следовательно, всей деятельности. Всякое действие свободное, зарождаясь в сознании и свободе, следовательно в духе, ниспадает в душу и силами ее – рассудком, волею и чувством – заготовляется к исполнению и потом исполняется силами тела в известном времени, месте и других внешних обстоятельствах. Внешнее дело большею частию проходит бесследно, когда оно не повторено, не замечено и не перенято другими. Когда же бывает это, то оно переходит в

1. Χρὴ δὲ γινώσκειν, ὡς οἱ ἅγιοι πατέρες ὑπόστασιν καὶ πρόσωπον καὶ ἄτομον τὸ αὐτὸ ἐκάλεσαν, τὸ καθ' ἑαυτὸ ἰδιοσυστάτως ἐξ οὐσίας καὶ συμβεβηκότων ὑφιστάμενον καὶ ἀριθμῷ διαφέρον καὶ τὸν τινὰ δηλοῦν οἷον Πέτρον, Παῦλον, τόνδε τὸν ἵππον [*Иоанн Дамаскин, прп.* Философские главы (Dialectica) 43 // Полное собрание творений св. Иоанна Дамаскина. Т. 1. СПб: Изд-е Императорской С.-Петербургской Духовной Академии, 1913. 441 с. (Приложение к журналам «Церковный вестник» и «Христианское чтение»). С. 90; PG 94:613].

2. ἐνέργεια γάρ ἐστιν ἡ φυσικὴ ἑκάστης οὐσίας δύναμίς τε καὶ κίνησις. Καὶ πάλιν· Ἐνέργειά ἐστι φυσικὴ ἡ πάσης οὐσίας ἔμφυτος κίνησις. Ὅθεν δῆλον, ὅτι, ὧν ἡ οὐσία ἡ αὐτή, τούτων καὶ ἡ ἐνέργεια ἡ αὐτή, ὧν δὲ αἱ φύσεις διάφοροι, τούτων καὶ αἱ ἐνέργειαι διάφοροι· ἀμήχανον γὰρ οὐσίαν ἄμοιρον εἶναι φυσικῆς ἐνεργείας. Ἐνέργεια πάλιν ἐστὶ φυσικὴ ἡ δηλωτικὴ ἑκάστης οὐσίας δύναμις. <...> Ἐνέργειά ἐστι φυσικὴ ἡ ἑκάστης οὐσίας δύναμίς τε καὶ κίνησις, ἧς χωρὶς μόνον τὸ μὴ ὄν [Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры (Expositio Fidei) 2.23 (37) // Творения прп. Иоанна Дамаскина. Источник знания. С. 222; PG 94:949].

постоянное правило, нрав, обычай, словно закон»[1]. То есть когда внешнее, исполненное телесно, именование предмета или поведение одного человека замечено другими, повторено и перенято ими в правило и обычай – тогда и таким образом складываются элементы общего языка и культуры.

10. Слово и действие – два способа проявления души посредством тела. Двумя основными формами проявления вовне разумной души человека посредством тела являются слово и действие (дело, поступок)[2], или деятельность словесная и деятельность практическая. В законе «сраствoрения» души и тела[3], а также в способности проявления души вовне посредством тела заключается суть всей культурной деятельности человека. Словесная и практическая деятельности в силу двусоставности природы человеческого существа включают в себя невидимый мысленный и видимый телесный компоненты. При практической деятельности мысль человека выражается в его движениях и двигательной моторике тела. При словесной деятельности мысль выражается посредством звучащей речи или письма (та же моторика тела). Слово по сравнению с действием (делом, поступком) имеет преимущество большей ясности и гибкости в свидетельстве о сознании человека. Однако сама типологическая близость слова и действия как двух способов проявления разумной души человека вовне посредством тела проявляет, с одной стороны, акциональную природу самого слова, которое представляет собой не что иное, как действие (дело, поступок) в коммуникативном пространстве, а с другой – семиотичность, то есть знаковый характер, всех практических действий и поступков человека[4].

При этом христианские мыслители отмечают, что сама по себе телесная составляющая слова, то есть звук, и телесная составляющая действия (дела, поступка), то есть двигательная активность, несамостоятельны и «рассеиваются»[5] после своего произношения и совершения (письмо также рассеивается, поскольку после отчуждения от словесной деятельности человека остаются простые физические тела – вещества чернил и бумаги, но не знаки). Речь идет о том, что телесные составляющие слова и действия (дела, поступка) несамостоятельны, то есть не ипостасны сами по себе, а только принадлежат ипостасным людям, являясь лишь их деятельностью, энергией телесной природы человека. Равно как и мыслительная деятельность не

1. *Феофан Затворник, свт.* Путь ко спасению. Краткий очерк аскетики. Начертание христианского нравоучения. М.: Правило веры, 2008. 608 с. С. 396.

2. См. у свт. Григория Нисского: «Скажу так: три характеристических принадлежности жизни христианина: действие (πρᾶξις), слово (λόγος), образ мыслей (ἐνθύμιον). <Из них главенствующая роль принадлежит образу мыслей (τὸ ἐνθύμιον), ибо мысль (ἡ διάνοια) служит началом всякого слова (λόγου)>; второе же место после образа мыслей занимает слово (ὁ λόγος), выражающее звуком (διὰ τῆς φωνῆς) напечатленную в душе мысль (διάνοιαν); третье же место после ума (τὸν νοῦν) и слова (τὸν λόγον) принадлежит деятельности (ἡ πρᾶξις), которая мыслимое (τὸ νοηθὲν) переводит в дело (ἐνέργειαν)» [*Григорий Нисский, свт.* О совершенстве, и о том, каким должно быть христианину. К Олимпию монаху (De Perfectione christiana ad Olympium) // ТСО, Т. 44 (Ч. 7). С. 258; PG 46:284; Gregorii Nysseni Opera / Ed. by W. Jaeger and H. Langerbeck. 10 Vols. Leiden: E. J. Brill, 1952-1996. (=GNO). Vol. 8. Pt. 1. P. 210, lines 4-11].

3. *Григорий Нисский, свт.* Об устроении человека (De opificio hominis) 12 // ТСО, Т. 37 (Ч. 1). С. 115; PG 44:160.

4. См. Приложение 4.

5. *Григорий Нисский, свт.* Опровержение Евномия (Contra Eunomium) 12.2 (13) // ТСО, Т. 43 (Ч. 6). С. 282; PG 45:924-925; GNO, 1:239.12-16.

самоипостасна, то есть не самостоятельна, а лишь принадлежит какой-то мыслящей человеческой ипостаси. Поэтому рассматривая поступок или слово, мы всегда имеем дело с деятельностью конкретной человеческой ипостаси, или лица, но не с деятельностью самой по себе. Деятельность не существует отдельно, а только принадлежит людской ипостаси, конкретному человеку. Всегда *чью-то* деятельность нельзя ипостазировать (признавать обладающей собственным самостоятельным началом), а также нельзя наделять слова и действия (дела, поступки) объектным существованием. Тогда как традиционный лингвистический подход зачастую ипостазирует слово, наделяет его самостоятельным и независимым от человека существованием, стремясь этим обрести свой «объективный» предмет исследования. Однако слово и действие (дело, поступок) не существуют независимо от человека как отдельные объекты внешнего мира, как дерево или море. Если умрут все люди, то дерево и море останутся, но слова и действия (дела, поступки) исчезнут.

Другое дело – результаты практической и словесной деятельности. Практическая деятельность человека может иметь дело с веществом и преобразовывать его, созидая стул, дом, меч, самолет, корабль или картину. Эти вещественные результаты практической деятельности человека имеют отдельное от него собственное ипостасное существование. И если умрут все люди, то они тоже останутся. В отличие от практической, словесная деятельность человека имеет дело не с веществом, а оказывает воздействие на разумную душу другого человека. (Как раз магическое употребление слова возникает как попытка оказать влияние на неразумный объект окружающего мира). Результаты словесной деятельности невещественны, хотя затем и могут проявиться в словесной или практической деятельности другого человека, на которого было оказано влияние словом.

Итак, в представленных выше пунктах кратко охарактеризованы основные положения богословской антропологии, релевантные для теории словесной (коммуникативной, речевой) деятельности человека. Из представленных антропологических положений, имеющих философско-методологический статус, происходят следующие собственно лингвистические следствия, которые, для ясности параллелей, изложены ниже с частичным сохранением терминологического аппарата христианского богословия. Нумерация лингвистических следствий соответствует

нумерации и содержанию антропологических пунктов, из которых они вытекают.

11. Нетождественность по природе мысли и звуко-буквенного комплекса. Как нетождественны по природе душа и тело человека, так нетождественны между собой мысль и звуки / графика, будучи энергиями, или действиями, природ разумной и телесной («замысел открывания двери и само ее открывание», по А. В. Вдовиченко). Следовательно, в телесном по своей природе звуке / письме мысль, или «значение», имеющее природу умную, заключаться не может. Слово, взятое как звуко-графический феномен, не имеет значения в себе самом. Значение – энергия и принадлежность разумной, а не вещественной части естества человека. Поэтому значение находится не в звуко-буквенном комплексе, а всегда только в сознании человека. Отделять же мыслительную деятельность невидимого ума и приписывать ее в качестве якобы самостоятельно существующего значения вербальному комплексу есть своего рода языковой материализм. Равно как и наоборот: невозможно мыслить звуками / буквами. Если внешний человеку звук / буква переводится посредством чувств и воображения во внутреннюю психическую деятельность в виде акустического / графического образа и слагается в памяти, то это и весь статус языковых клише в сфере мысленной – статус низших мнемонических средств. Вещественные по своей этиологии вербальные клише, переведенные в невещественное, остаются на низшей ступени психической деятельности человека (памяти и воображения[1]) и не способны замещать собою высшую деятельность – деятельность ума, рассудка, чувств и воли, имеющих собственно умную этиологию.

12. Главенство умной составляющей словесной деятельности. Слово, или словесная деятельность, человека – преимущественно психический феномен. В силу иерархического устройства человеческой природы, в которой ум управляет телом, очевидна определяющая и доминирующая роль невидимого умного, а не телесного компонента в слове. Язык телесен лишь вещественной своей стороной – звуковой или графической, все остальное – процесс внутренний, психический, мысленный. Это означает, конечно, прежде всего то, что понимаем мы в слове не звуки или буквы, а мысль, или психическое состояние, говорящего. Его мысль – цель наших усилий; постижение ее и есть собственно понимание, а все прочее – подготовительные и

1. «Но воображение и память добывают и хранят только материал для мыслей. Само движение мыслей исходит из души и ведется по законам ее. <...> Воображение и память не мыслят. Они – чернорабочие силы, подъяремные» [*Феофан Затворник, свт.* Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? С. 22].

служебные средства. Вербальные клише имеют дидактическое и вспомогательное назначение для истолкования мыслительной деятельности коммуниканта, сокрытой его телесной «завесой». Следовательно, язык как номенклатура вербальных средств имеет функциональный, а не онтологический статус.

В силу устроения тела человека как орудия и инструмента души звуко-буквенные комплексы по отношению к мысли функционально представляют собой ее знаки, или «отпечатки», «образы»[1]. Функция вербального клише как образа, или знака, заключается в том, что оно не самозначимо и не самодостаточно, а призвано и способно возводить к мысли как к своему первообразу. В этом же смысле А. В. Вдовиченко говорит о вербальных фактах как о «намеках»: «Текст представляет собой лишь *намек* на личное коммуникативное действие (вернее, *последовательные намеки на ряд коммуникативных действий*), и без возведения намека к объекту намека (или без воссоздания по следу того, что оставило этот след) смысл не может осознаваться в тождестве»[2]. Звуко-буквенное клише имеет условный характер, его физический облик не имеет значения, не представляет ценности сам по себе. Звуко-буквенный комплекс имени первоначально творчески и свободно изобретается умом, безразлично по отношению к выражаемой им мысли. Но войдя в это отношение с мыслью, как образ с первообразом, звуко-буквенный комплекс посредством памяти закрепляется за ней и фиксируется ею при себе уже в своем неизменном виде, то есть «клишируется» и «нормируется».

1. См. Приложение 5.

2. *Вдовиченко А. В., Тарасов Е. Ф.* Вербальные данные в составе коммуникативного действия: язык, текст, автор, интерпретатор // Вопросы психолингвистики. 2017. Вып. 4 (34). С. 22-39. С. 33.

Звуко-буквенный комплекс в отношении мысли выступает проницаемой «завесой». Чтó представляет собой этот комплекс, дают знать чувства, которые посредством воображения переводят его в акустический или графический психический образ. При этом мысль, которая в самом звуко-буквенном комплексе как его часть не содержится, узнается адресатом посредством его же мыслительной способности, одинаковой со способностью говорящего, участвовавшей в производстве этого клише. Таким образом, процесс понимания мысли говорящего посредством производимой им последовательности звуко-буквенных комплексов состоит в том, что адресат сам как единственный возможный деятель и источник активности (а не клише) «прививает» их к собственной мыслительной деятельности – всегда первичной и предваряющей по отношению ко всяким слышимым и читаемым

им вербальным последовательностям. Иными словами, адресат приобщает к собственной ипостасной мыслительной активности звуко-буквенные клише, до этих пор принадлежавшие словесной деятельности другой ипостаси и не существующие при этом ипостасно сами по себе, придавая («примышляя») им значения собственной мыслительной способностью. Вербальные клише не порождают в нас мысль, так как мысль не пассивное, а активное начало, они не являются источником деятельности. Мысль другого воссоздается силами собственного сознания. Звуко-буквенные клише служат лишь как предложение нашему уму свободного инициирования им собственной мыслительной деятельности по их означиванию. Эта свободно инициируемая адресатом деятельность мысли и есть искомое говорящим коммуникативное воздействие на его сознание. Достижение цели коммуникации состоит собственно в том, чтобы другой начал процесс понимания, то есть процесс поиска и придания значений вербальным цепочкам говорящего. Все предназначение звуко-буквенных клише и заключается в том, чтобы дать место этой деятельности ума другого.

Вещественные знаки, таким образом, не несут мысль в себе самих, а приобщаются мыслью адресата к себе. В свою очередь, конфигурация вербальных клише представляет собой некое предложение уму адресата к определенной «нарезке» посредством этих клише уже актуально отражаемой его умом действительности, в осознание которой ум всегда погружен. Говорить о познании и именовании именно как о «нарезке» умом действительности на значения позволяет гносеологический подход Великих Каппадокийцев – свт. Василия Кесарийского и свт. Григория Нисского, которые в полемике против ереси Евномия[1] характеризуют разум человека как «разделяющий» (ὁ διαιρῶν λόγος), подчеркивая активную роль разума человека в придании объектам значений[2]. Патристическому подходу вполне созвучен современный психологический подход А. Н. Леонтьева, согласно которому, значения активно придаются объектам умом человека и являются для него «формами деятельности» с ними[3]. Эта активная роль психики человека в восприятии действительности особенно ярко проявляется в игровой деятельности ребенка, который чем назначит объект *X* быть, тем он для него и будет, и сообразно с этим своим «назначением» ребенок и будет действовать с ним. Он может назначить его «машинкой», может

1. См. Приложение 6.

2. См. Приложение 7.

3. См. Приложение 8.

«лопатой», может «арбузом», а может «ложкой» – что угодно чем угодно. Подобным же образом поступает и взрослый, активно и свободно назначая значения объектам действительности. Однако данное назначение у взрослого происходит уже на другом уровне опыта взаимодействия с объектами, при котором оно теряет произвольность, а корректируется и направляется природными и существенными свойствами самих объектов. Этим свободным и активным приписыванием умом объектам значений объясняется, в частности, различие между индивидуальными восприятиями мира, а также всякая новизна и творчество. Но поскольку «нарезáть» на значения нужно чтó-то, то это самое главное и существенное для разума и впоследствии слова – наличие данного непрерывного осознавания и постижения действительности нашим умом. Только при этом условии предваряющей деятельности ума коммуникантов по постижению действительности *(как вещественной, так и умопостигаемой)* вообще возможны и могут иметь место ее телесные посредники – звуко-буквенные клише.

Тогда как в обратном случае отрыва от актуально осознаваемой действительности (как вещественной, так и умопостигаемой), например, при изолированном произнесении слова или при чтении словаря, невозможно избежать появления у слова веера «значений» и иллюзии наличия у него некоего значения «общего». Это происходит потому, что в данном случае нет никакой релевантной актуально осознаваемой личным умом действительности и «нарезáть» вычитываемыми из словаря именами просто нечего. Рассудок вне соотнесения с релевантной актуальной действительностью работает как бы вхолостую и вынужден припоминать множество различных мыслей, которые им актуально мыслились при рассечении на значения других ситуаций действительности с использованием этих звуко-буквенных клише. Поэтому слово из словаря благодаря мысленной памяти и сформированному знанию как бы обозначает чтó-то, но на самом деле ничего из актуально действительного. В данном случае осуществляется абстрактная холостая работа словесной способности человека вне аутентичных условий ее применения в приложении к осознаваемой личным умом ситуации действительности. Эффект многозначности вербального клише возникает именно потому, что оно оторвано от действительности, не актуально. Когда же коммуникант актуально параметрирует

конкретную действительность для коммуникативного действия, используемое вербальное клише имеет одно значение и точный смысл. Таким образом, для факта значения недостаточно лишь потенциального наличия мыслей в памяти в виде знаний, а необходима привязка мысли к актуальной действительности (как вещественной, так и умопостигаемой).

Именно на этой привязке к действительности построено, в частности, обучение детей чтению по букварю. Предлагаемый ребенку текст всегда сопровождает соответствующая ему во всех подробностях картинка, заменяющая в данном случае ситуацию действительности. Читая буквенные последовательности вербальных клише, ребенок не гадает и не ошибается в их произношении потому, что он уже подготовлен и ситуативно ожидает встретить здесь именно их (например, рисунок кошки с котенком предваряет собою текст: «У кошки котенок»). Образ действительности, данный на картинке, сам по себе предвосхищает и предполагает определенную «нарезку» действительности на значения и используемые для них вербальные клише, которые ребенок уже слышал и помнит их звучание. Обучение чтению состоит собственно в том, что на этот известный ребенку акустический образ имени налагается дополнительно образ визуальный – графическое изображение имени буквами. Таким образом, во-первых, чтение вторично и зависит, как правило, от коммуникативного акустического опыта, а во-вторых, зная ситуацию действительности, каждый приблизительно уже знает, что может быть и что будет сказано, то есть на какие значения эта ситуация может быть нарезана.

Итак, слово, являясь всецело антропологическим феноменом, то есть всегда только лишь деятельностью конкретного человеческого лица, в своем содержательном аспекте зависит от бытия. Можно сказать, что слово и детерминировано и свободно одновременно: слово детерминировано бытием в своем содержательном аспекте, которое человек непрерывно и актуально осознает, а свободно – в личном характере этого познания бытия, преломлении, осмыслении, структурировании и акцентуировании в нем свойств, связей, объектов и отношений, то есть в «нарезке» действительности на значения, или на «формы деятельности» с нею.

Кроме того, в данном аспекте главенства ума над телесной составляющей слова следует добавить также, что без воипоста-

зирования умом (без восприятия и последующего означивания им) даже само звуко-буквенное имя не является собственно именем, то есть телесным компонентом словесной деятельности человека. Вне словесной деятельности имя ничего не обозначает, не выполняет никакой семиотической функции, а значит, не является именем и остается простым физическим феноменом (звуковой волной или пятном чернил). Собирает вещество в знак – ум человека. Кот не видит картины и тем более не постигает замысла художника, а видит и обоняет лишь физические вещества, ее составляющие. Другое дело, что в силу своей подвижности, а также многократности навыка (в случае, например, родного языка), ум вносит эти значения в звуко-буквенные комплексы практически моментально, так что, может быть, и представляется, что это само вербальное клише содержит значение и актуализирует различные движения и состояния мысли. Однако ведь не что иное, но именно ум затрудняет ситуация восприятия незнакомого языка, когда акустические образы клише без препятствий снимаются нами, но ум не может придать им ничего из актуально мыслимого им (хотя совсем свое творческое значение придать он все равно может, ибо он – сила действующая и требующая деятельности). Ум и именно он будет пытаться понять, «ломать голову», стараться подобрать и внести значение в незнакомый звуко-буквенный комплекс, то есть стремиться воипостазировать его (как и всякий знак) в свою смысловую деятельность. Однако в итоге неизвестный телесный знак будет воспринят чувствами – услышан или увиден, но не понят. Он может быть наделен предполагаемым или произвольным значением, но само по себе имя (знак) его уму не откроет. В данном случае затрудняется смыслопорождающая активность ума, которая, как очевидно, принадлежит именно ему. Или, например, остается также прошедшим мимо нашего сознания, то есть попросту не означенным, слышание или проговаривание вербальных клише без внимания к ним ума и чувств. Человек произносит одни звуки или скользит взглядом по одним буквам, если ум парит и не вкладывает в них значений. Таким образом, сам ум человека – активное начало семиотической, то есть связанной со значениями, деятельности. Вербального (любого) знака нет, если никакой человек не подключил его к своей умственной деятельности и не внес в него лично-актуального значения.

Значения, следовательно, представляют собой актуальные, то есть направленные на действительность, духовно-понятийно-эмоционально-практические движения души (мысленные состояния) человека, на которые он свободно желает и согласен расчленить комплексно отражаемую его сознанием реальность. При этом для однажды уже вынесенных в коммуникацию значений в памяти сохраняются употребленные в связи с ними телесные звуко-буквенные клише в виде акустических (графических) психических образов. В силу своего служебного назначения телесные звуко-буквенные клише не существуют отдельно от связанных с ними посредством памяти мыслей, или значений. Такие единства мысленных состояний с употребляемыми в связи с ними в коммуникации вербальными клише А. В. Вдовиченко называет *коммуникативными, или дектическими, синтагмами*. Согласно данному исследователю, аутентичный коммуникант знает не одни клише, а целостные когнитивно-вербальные синтагмы: «Осваивая “язык”, говорящий в действительности приобретает знание дектических синтагм, состоящих из типологических ситуаций коммуникативных действий и произносимых при этом слов (вербальных клише)»[1]. В процессе онтогенеза ребенок тем же самым образом, хотя и не зная еще многих клишированных вербализаций различных состояний своего сознания, тем не менее прежде всего сначала актуально осознает (на доступном ему уровне развития) окружающую его действительность, будучи непрестанно как существо живое и разумное включен в эту деятельность осознавания, то есть активно и посильно «нарезает» действительность на отдельные значения или формы взаимодействия с нею. А затем уже для различных движений своего мышления осуществляет поиск вербальных клише, употребляемых при таковых в коммуникации. Данная активность сознания ребенка отнюдь не отрицает того факта, что множество значений и форм деятельности он воспримет от других, а не придумает сам, то есть не отрицает необходимости воспитания ребенка. Речь идет лишь о том, что развивать, воспитывать и обучать можно только уже имеющееся сознание, но не порождать само сознание воспитанием. Найденные таким образом способы вербализации ребенок слагает в память, как в архив, чтобы применять их в коммуникативных интеракциях снова при актуальном проживании и экспликации тех же ментальных состояний. Ребенок при этом трудится над

1. *Вдовиченко А. В.* Казус «языка» Септуагинты и Нового Завета: Лингвистический метод «за» и «против» авторов. М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. 288 с. С. 150.

закреплением вербальных клише в их психическом статусе акустических и графических образов за мыслями, постепенно вырабатывая навык автоматической реализации коммуникативных синтагм. Таким образом, вербальные клише связаны с мыслями мнемонической связью. Так что когда мы дергаем за «веревочку» вербального клише (равно как за «веревочку» любой вещи, запаха, события и всякого знака), ум примысливает ему именно ту мысль (мыслимое состояние, значение, форму деятельности), которая связана с этим клише в памяти. Следовательно, в силу служебности вербальных клише для мысли адекватной единицей лингвистического анализа может выступать только мысле-вербальное единство.

Итак, воображение и память при посредстве чувств, чтением или слышанием, собирают вербальный материал – составляют и хранят акустические / графические образы звучащих / написанных вербальных комплексов. Эти составленные воображением и хранящиеся в памяти акустические / графические образы употребляются затем в том же виде, в каком они приобретены. Следовательно, воспроизводительная деятельность по употреблению вербальных клише представляет собой деятельность воспоминания. В воспоминании звуко-буквенного клише воображение дает его акустический / графический образ, а память свидетельствует, что это тот самый, который этой мыслью был означен прежде. Причина воспоминания чувственного образа вербального клише – однообразное означивание нами предлежащей действительности с означиванием ее прошедшим, при котором было употреблено именно это вербальное клише. Эта однообразность прошедших и настоящих движений мысли, или означиваний, становится причиной воспоминания употребленных ранее при них акустических / графических образов вербальных клише и употребления их вновь.

Напротив, без этой связи (доведенной в случае родного языка до автоматического навыка) актуально мыслимых значений с ранее употребленными в подобных состояниях мысли вербальными клише в случае, например, языка незнакомого сознание адресата не может эти клише осмыслить, то есть «нарéзать» действительность значениями, или формами деятельности, в соответствии с ними. Изучение иностранного языка и состоит собственно в том, чтобы приобщить к актуально проживаемым мысленным значениям незнакомые клише или их последова-

тельности, мнемонически ввести в значения новые средства их вербализации. Изучение нового языка, таким образом, не является переходом в новое сознание, «переходом на новый образ мира»[1]. Человек к имеющемуся когнитивному опыту приобретает только новые звуко-буквенные средства его экспликации. Тем самым это значения содержат при себе знаки, а не знаки в себе содержат значения. Телесно производимые звуко-буквенные комплексы способны лишь предложить себя быть осмысленными свободному и самостоятельно осуществляющему эти процедуры осмысления сознанию.

1. *Леонтьев А. А.* Основы психолингвистики. М.: Смысл, 1997.. С. 272.

Таким образом, приходится констатировать, что проблема так называемого «личностного смысла» и «общего значения» слова есть проблема мнимая. Данная процедура представляет собой рассечение целого и удвоение единого, порождаемое неправомерным подходом к слову извне, со стороны его как якобы существующего и обладающего значением самим по себе вне ума человека. При таком неадекватном антропологической действительности подходе мысленный его компонент деантропологизируется за счет объективации (также деантропологизации) телесного, который наделяется активной и смыслопорождающей ролью. Тогда как при словесной деятельности решающей и смыслопорождающей силой является всегда только одна, целостная, единая и единственная мыслительная активность ума конкретного человека, будь она названа хоть «смыслом», хоть «значением». К слову следует подходить исключительно со стороны человека, актуально мыслящего.

В свете данной определяющей для значения деятельности ума человека становится очевидным и неправомерное удвоение значения на «предметное» и «вербальное» в психологических и психолингвистических исследованиях: «Предметное значение как форма деятельности обретает “самостоятельное” существование (в виде представлений, воспоминаний и т. п.) лишь тогда, когда появляется знак (или любой другой символ), в котором эта форма продолжит свое существование, будучи “оторванной” от актуально воспринимаемого предмета (форма деятельности расщепляется на предметное и вербальное значение)»[2]. Однако значение остается всегда когнитивным и не может быть «вербальным», потому что звуки и буквы не могут заключать и хранить его в себе, но и сами они в качестве знаков не существуют в отрыве от психической деятельности челове-

2. *Журавлев И. В., Журавлева Ю. В.* Слово и объект (возможна ли бессловесная мысль). С. 48.

ка. Иными словами, «вербальному значению» негде «обрести “самостоятельное” существование». При этом в ситуации, когда «предмета перед глазами нет, а слово – есть» и якобы именно оно позволяет представить предмет в его отсутствие, очевидно, что совсем не «слово» актуализирует предмет в сознании, а сам деятельный ум человека, готовый в любой момент и без всякого «слова» помыслить этот предмет самой своей мыслью, которую он же вкладывает и в данное «слово». Активный и деятельный ум человека (не «слова» и тем более не сами предметы) является местом хранения «предметных» значений. Однако, согласно воззрениям современной психологии, значение «селится» также и в самом реальном предмете: «“Переселившись” из реального предмета в квазиобъект, т. е. став словесным, значение отнюдь не теряет родственной связи с реальным предметом: напротив, эта связь только укрепляется. Это – капитальное положение, сформулированное А. Н. Леонтьевым <...>»[1]. Но если не только в «словах», но и в самих предметах «селятся» значения, так что «переселяются» из них и так что значение «живет в самой чашке и в слове *чашка*»[2], то в этом случае в научном дискурсе современности оживает древняя (IV в. н. э.) позиция Евномия (признанная ересью) и в целом платоновский взгляд на соотношение предмета, значения и имени, научное антропологическое опровержение которого было осуществлено свт. Василием Великим, свт. Григорием Богословом, свт. Григорием Нисским, свт. Иоанном Златоустом, а в современной полемике с «имяславием» Сергием (Страгородским)[3], С. В. Троицким[4], А. В. Вдовиченко[5] и мн. др. Значения, согласно христианским философам, есть принадлежность исключительно ума человека, а не то, что «селится в реальном предмете». Таким образом, «расщепление» формы деятельности на «предметное» и «вербальное» значения есть то же неправомерное удвоение единой мыслительной деятельности человека. По сути, «предметное значение» и «вербальное значение» совпадают и есть одно и то же, оставаясь той же «нерасщепляемой» формой деятельности с предметом – формой, сначала просто мыслимой, а затем и эксплицируемой сознанием посредством звуко-буквенного клише.

Таким же удвоением, не соответствующим антропологической действительности, предстает и убежденность в «словесном характере мышления»[6], с одной стороны, а также в наличии «языковой картины мира» – с другой. В рамках этих концеп-

1. *Журавлев И. В., Журавлева Ю. В.* Слово и объект (возможна ли бессловесная мысль). С. 49.
2. *Журавлев И. В.* Майское письмо. (Электронная рукопись).
3. Божиею милостию Святейший Правительствующий Всероссийский Синод всечестным братиям, во иноческе подвизающимся // Церковные ведомости. 1913. № 20. С. 277-286.
4. *Троицкий С. В.* Учение св. Григория Нисского об именах Божиих и имябожники / Сост. А. Ковтун, К. Шахбазян. Краснодар: Библиотека Свято-Ильинского храма, 2002. 312 с.
5. *Вдовиченко А. В.* О несамотождественности языкового знака. Причины и следствия «лингвистического имяславия» // Вопросы философии. 2016. № 6. С. 164-175.
6. *Журавлев И. В., Журавлева Ю. В.* Слово и объект (возможна ли бессловесная мысль). С. 48.

ций предпринимаются попытки ввести «словесное обозначение» предмета в само мышление: «В отечественной психологии процесс словесного обозначения предмета “понимается не как особый, отделенный от восприятия процесс последующей обработки его продукта мышлением, а как процесс, включенный в деятельность самого восприятия” (А. Н. Леонтьев, Ю. Б. Гиппенрейтер)»[1]; «Чтобы воспринимать, тоже надо уметь говорить, по крайней мере если мы имеем в виду человеческий способ видеть вещи»[2]. Однако нужно признать, что для этого не нужно уметь говорить, а нужно просто уметь мыслить. Исследователи верно фиксируют единство и взаимозависимость «предметного» и «вербального» значений, но именно в силу того, что они совпадают. А утверждать «словесный» характер восприятия и в целом мышления человека значит лишать деятельный ум самой его определяющей роли. Принцип деятельности есть принцип определяющей активности умной составляющей природы человека, а не деятельности «слов». Выдвигая тезис, что без умения говорить невозможно восприятие и мышление, апологеты деятельности не замечают, как нивелируют эту деятельность и лишают самого деятеля, то есть ум, его активной деятельности. В то время как святоотеческий антропологический подход требует как раз довести верно выдвинутый в психологических исследованиях принцип деятельности[3] до конца, оставив деятельность за подлинным деятелем. Ум свободно выбирает форму деятельности с объектом, а не форма деятельности диктует уму, как ему этот объект помыслить. Ум создает и «примышляет» формы деятельности и значения, а не созданные умом формы и значения думают за него. Это ум свободно «нарезает» действительность на значения, а не значения задают человеку, как ему увидеть мир. Но для материалистического знако-значенческого подхода «*универсальным орудием психики становится знак (в первую очередь – слово)*»[4], но не сама мысль. В то время как ум мыслит не «словами», которые телесны и чужды ему по своему происхождению, а свойственными собственной его природе энергиями – мыслями. Мысль у человека возникает поэтому «бессловесно». А то́, что так быстро при восприятии и познании действительно начинает «звучать» внутри нас, видимо, уже есть услуга, оказываемая мысли памятью по актуализации связанного с ней вербального клише[5]. Сама же мысль – на шаг глубже памяти[6]. По безо́бразности и невещественности своей природы

1. *Журавлев И. В., Журавлева Ю. В.* Слово и объект (возможна ли бессловесная мысль). С. 48.

2. См. Приложение 9.

3. Хотя еще вопрос, насколько авторство этого выдвижения принадлежит отечественной психологии, опирающейся на философскую традицию И. Фихте, Ф. Шеллинга, Г. Гегеля, К. Маркса, когда уже более чем за тысячу лет до новоевропейских философов «принцип деятельности», то есть свободы и активности разума в познании и именовании мира на всех его этапах, (не говоря уже о категории действия как одной из трех основополагающих богословских категорий наряду с категориями природы и ипостаси) был краеугольным камнем христианской антропологии и гносеологии, разрабатываемых святыми отцами Церкви.

4. *Журавлев И. В., Журавлева ЮВ.* Слово и объект (возможна ли бессловесная мысль). С. 50.

5. См. Приложение 10.

6. Показательна в этом отношении мысль самого А. Н. Леонтьева: «К проблеме памяти. Основным психологическим вопросом остается вопрос Бергсона. Может быть, память “духа” – смысл, память “тела” – значение?» [Леонтьев А. Н. Методологические тетради // Он же. Деятельность. Сознание. Личность. С. 178-253. С. 236]. То есть «память духа» – чистая мысль («смысл»), а память «значений телесна», то есть вербальные образы имеют чувственное происхождение.

мысль не может быть ни «словом», ни чувственным образом, ни схемой, ни планом, ни каким-либо иным вещественным по своему происхождению «орудием мышления». Мысль – это собственная безвидная энергия ума, актуализирующая при необходимости через посредство памяти такие чувственные «орудия». Но мыслит она, а не эти последние. Это означает прежде всего свободу и первичность самого мышления по отношению ко всем вещественным по происхождению психическим образам, или так называемым «орудиям мышления», в частности, «слову». Иными словами, человек вовсе не обречен думать только те мысли и значения, которые приобрел из вербальных клише, потому что он думает не ими. Таким образом, как нам представляется, проблема так называемой «внутренней речи» (Л. С. Выготский) сводится ко взаимоотношению собственно мысли и памяти.

Наконец, отметим еще одну аберрацию, к которой приводит современную психологическую теорию материалистическая знако-значенческая (платоновская по своему происхождению) методология. Она заключается в том, что язык признается условием появления и существования самого сознания человека: «С разделением формы деятельности на предметное и вербальное значение, с появлением квазиобъекта (т. е. знака. – *Г. Д.*) связано *рождение идеального*, т. е. появление *сознания*»[1]; «Жизнь рождает мозг»[2]; «<...> *язык – это условие и форма существования идеального*»[3]; «<...> индивидуальное сознание может существовать только при наличии общественного сознания и языка, являющегося его реальным субстратом»[4]; «Ведь чтобы возникло предметное значение, должно возникнуть и вербальное значение (напомним, что идеальное существует только там, где существует квазиобъект), и именно вербальные значения обеспечивают возможность отражения в развивающейся психике тождественных объектов, возможность “отрыва” объекта от сенсорного поля (можно сказать слово, хотя объекта нет) [Валлон]»[5]; «Обладая языком, мы обладаем сознанием. Язык и есть действительное сознание»[6]. Однако язык (даже в варианте когнитивно-вербальных синтагм) не может быть условием и формой существования сознания, потому что он сам является его продуктом и следствием. Ведь иначе непонятно, в чем существовала сама форма деятельности (к тому же деятельности чего, как не сознания?) до своего «разделения», то есть якобы до появления сознания? К перевернутым причинно-следственным

1. *Журавлев И. В., Журавлева Ю. В.* Слово и объект (возможна ли бессловесная мысль). С. 49.
2. *Леонтьев А. Н.* Проблемы психологии деятельности // Он же. Деятельность. Сознание. Личность. С. 303-317. С. 304.
3. *Журавлев И. В., Журавлева Ю. В.* Слово и объект (возможна ли бессловесная мысль). С. 52.
4. *Леонтьев А. Н.* Деятельность. Сознание. Личность // Он же. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Смысл, Изд-кий центр «Академия», 2004. 352 с. С. 6-177. С. 77.
5. *Журавлев И. В.* Органы сознания и механизм объективации // Вопросы психолингвистики. 2010. № 2 (12). С. 141-150. С. 148-149.
6. *Журавлев И. В.* Майское письмо-2. (Электронная рукопись).

отношениям пары «сознание->язык», а отсюда и к утверждению, что «субъектом сознания является отнюдь не индивид, а общество, человеческий коллектив»[1], приводит исследователей, помимо материалистического упразднения изначального существования идеального в индивидууме, ипостазирование категории деятельности. Деятельность зачастую представляют как нечто самостоятельное и отдельное от производящей ее природы и обладающего этой природой лица, абстрагируя ее от них. Но деятельность не может производить природу (язык порождать сознание), а сама есть производное от нее[2]. Поэтому не значения рождают сознание, а сознание – значения.

13. Единство мысленной и телесной составляющих в словесной деятельности. Противоположность по природе мысленной и телесной составляющих словесной деятельности человека не означает их раздельности и самодостаточности в актуальной коммуникации. Только вместе мысль и внешнее проявление ее посредством тела (звуко-буквенные комплексы, жесты, картинки, демонстративное поведение и т. д.) составляют коммуникативную синтагму. Как вербальный комплекс без мысли – лишь пустой звук, но не знак, так и мысль без звукобуквенного выражения остается только мысленной, но не является семиотической деятельностью человека. Можно просто мыслить – то есть отражать действительность умом, разделять ее рассудком, чувствами и волей на значения-понятия, значения-чувства, значения-желания и даже в силу моментальной и доведенной до автоматизма мнемонической связи этих движений мысли с сопряженными с ними акустическими / графическими образами вербальных клише мысленно их проговаривать, – но это все будет еще не речь, а только внутренняя психическая деятельность человека. И несмотря на то что этот процесс на нижних своих, то есть близких к телесной деятельности, этапах называют «внутренней речью», по своей нематериальной природе он представляет собой только мысленный феномен. А одно внутреннее человека не составляет еще слова. И только когда человек, приняв решение оказать воздействие на сознание другого человека, передаст актуализированные из памяти в связи с мыслимыми им значениями вербальные клише на производство телесных органов, тогда с этим подключением деятельности тела рождается речь, или осуществляется двусоставная словесная деятельность человека. Ведь если человек не принял решения

1. *Журавлев И. В., Журавлева Ю. В.* Слово и объект (возможна ли бессловесная мысль). С. 52.

2. Богословскому и философскому выяснению соотношения категорий природы и энергий (действий, деятельности) была посвящена полемика XIV века поздневизантийского богослова свт. Григория Паламы с гуманистически настроенными философами Варлаамом и Акиндином. В одном из своих трактатов Фессалоникийский святитель разъясняет: «Опять же, энергия – из сущности; но сущность – не из энергии. И одна является причиной, а другая – обусловлена причиной; и одна существует сама по себе, а другая не существует сама по себе» [*Григорий Палама, свт.* Апология пространнейшая к думающим, будто тем, что святые боготворящий дар Духа, коего Бог по сущности является высшим, называют не только нетварным обожением, но и божественностью, указывается на двух богов, или О божественных энергиях и их причастии // Он же. Трактаты. С. 49]. Ум – это сущность, которая существует сама по себе, а значения – ее энергии, которые сами по себе не существуют.

проявить себя вовне и не передал, в частности, соответствующие мыслям вербальные клише на производство телесных органов, то о его мыслях никто ничего так и не узнает. Из антропологического тезиса о «срастворении» души и тела в человеке в единое существо вытекает следствие двуединства слова, или «речевой деятельности» (А. Н. Леонтьев), или «коммуникативного действия» (А. В. Вдовиченко), которое непременно включает в себя как невидимую мысленную сторону, так и телесно-вещественное проявление (в том числе посредством графических или фонетических вербальных комплексов).

14. Трехуровневость словесной деятельности. Итак, за «отпечатками» вербальных клише сокрыта мысль говорящего, который посредством их призывает ум (сознание) адресата к ее установлению. Фактически ум понимает ум, но не сами вербальные клише, смысла в себе не содержащие, а только служащие отпечатлениями смысловой деятельности говорящего. Подлинная общность коммуникации, следовательно, заключается в сфере психической, а не обеспечивается содержащимися в знаках общими всем значениями. У коммуникантов общими и понятными друг другу являются актуальные состояния души, а не собственно звуко-буквенные клише. Можно наблюдать, как кто-то увлечен, как кто-то занят и думает совершенно о другом или как кто-то юлит и лукавит. Каждый видит умные состояния другого – с помощью ли вербальных средств или вовсе без таковых. Сквозь «завесу» тела люди способны видеть, ищут видеть и действительно видят не что иное, но деятельность души друг друга, естественно, в доступной каждому мере. Возможность понимания друг друга обусловлена – говоря богословским языком – общей всем людям природой души.

Коммуникативная деятельность в целом сводится к двум разнонаправленным процедурам: ум либо интериоризирует чужой смысл, реконструируя и придавая его производимым кем-то именам, либо провоцирует интериоризацию собственного смысла чужим сознанием посредством отпечатлеваемых им самим имен. Но и в понимании и в говорении у коммуниканта действует лишь его собственный ум. Смены активного начала у коммуниканта нет. Иными словами, каждый участник коммуникации постоянно пребывает в границах деятельности своего ума, который либо осуществляет осмысление чужого содержания, либо инициирует осмысление адресатом содержания собственного. При этом

данный антропологический факт не означает некой «гносеологической робинзонады», или солипсической замкнутости ума человека в себе самом. Патристическая философия решает этот «вечный вопрос» гносеологии не сведением личного сознания к общественному, а снятием самой противоположности бытия и сознания, объективного и субъективного[1]. Ум человека представляет собой особого качества действительное бытие, помогающее воспроизводить в своем сознании то, что существует вне его.

1. См. Приложение 11.

При этом подлинное понимание сокрытой за вербальными клише мысли будет простираться не только до установления с нею тождества рассудочного, чувственного, волевого – тождества мыслительной деятельности адресата с деятельностью говорящего, но и до установления тождества с нею умного, или духовного. Например, дочь *N.* принимает решение позвонить отцу. При этом от нее со вне следует определенная вербальная последовательность в виде вопросов «где», «как дела», «что делаешь», сообщений о погоде и о том, что делает она и ее дети. Очевидно, что своим рассудком, чувствами и желаниями она «нарезает» общую между нею и отцом действительность на значения их местоположения в пространстве, настроения, их занятий, обстановки вокруг них, чувства беспокойства о состоянии отца, интереса и желания узнать обо всем этом и т. п. Но также при этом в ее коммуникативном действии достигается цель умная и духовно-нравственная. Отец утешен, он получил посыл любви. С ним установлена связь, он понял, что не отвергнут за свои резкости, допущенные накануне. А дочь звонит по милосердию и дочернему долгу – и именно здесь была исходная точка зарождения ее коммуникативного действия, которое совершалось ею в преодолении себя. Вербально же ни одна из указанных духовных позиций выражена ею не была. Таким образом, коммуникативное действие также трисоставно, как трисоставна сама природа человека: оно имеет умную (духовную) глубину, рассудочно-чувственно-волевое формирование и выделение значений в осознаваемой здесь и сейчас действительности и, наконец, телесное выражение посредством вербального ряда. И одна физически регистрируемая вербальная последовательность – всего лишь малая вершина умного айсберга коммуникации. Но и остановившись только на душевном – рассудочно-чувственно-практическом – уровне понимания (например прохожим, которому этот разговор, скорее всего, покажется пустым, а *N.* –

человеком заурядным), нельзя сказать, что разговор понят. Без понимания умной причины вербального действия (кто именно говорит, кому, каковы отношения между ними, какова в точности отражаемая коммуникантами ситуация действительности и, главное, каково их духовно-нравственное расположение) разговор не может считаться понятым. Понимается вербально / желательно-эмоционально-рассудочно-духовный комплекс.

Поэтому что касается исследовательских процедур, то интерпретатору для посильного приближения к семантическому пределу сказанного необходимо, во-первых, установить как можно более полно тот образ действительности, который был актуально осознаваем говорящим автором, для чего используется всесторонний биографический, исторический, культурологический, социологический, филологический, философский, религиоведческий и т. под. анализ, выяснить при этом отношение автора к адресату, а также цель и конкретные обстоятельства их вербальной интеракции; во-вторых, изучить образ мысли автора, его характер, нрав, сферу познаний, своего рода когнитивный тезаурус и ключевые темы, его направление деятельности, то есть изучить личные особенности рассечения автором действительности на значения; и наконец, в-третьих, поскольку интерпретатор понимает не безличные и самозначащие вербальные клише, а живые и уникальные умные состояния автора посредством подобных же состояний собственных, необходимо, чтобы интерпретатор имел собственный опыт этих состояний, то есть подобный духовный, рассудочный, эмоциональный и практический опыт. Поскольку в понимании ум понимает ум, то интерпретатор пользуется своими состояниями сознания, и если они в чем-то бедны и недостаточны, то понять другого он не сможет.

15. Разумность словесной деятельности человека. В силу свободной самостоятельности и разумности человек есть самовластное начало и господин своих собственных действий, в том числе словесных. Словесное действие исходит от самого человека. Оно не существует само по себе. В онтологическом плане не может быть слова как какого-то предмета (языка как самостоятельной сущности), слово онтологически представляет собой только разумно-свободно-самостоятельную деятельность человека, принадлежит людской ипостаси. Следовательно, когда мы имеем дело со «словом», нужно непременно понимать, что его нет самого по себе, что это не объект, а что со «словом» мы

попадаем в сферу активности живого человеческого лица. Если мы слышим или читаем вербальные последовательности, то имеем дело с поверхностью единой и комплексной телесно / желательно-эмоционально-рассудочно / духовной деятельности их индивидуального автора, но не с самостоятельным объектом. И если нет свободной и самостоятельной деятельности конкретного человека – нет и слова. Термины *слово* и *словесная деятельность* оказываются тождественными.

Деятельность человека, которая направляется самосознанием и самоизбранием его лица, подлежит нравственной оценке. Тогда как процессы, которые не подвластны разуму и свободе (обращение крови, питание и рост тела, привычные движения рук, ног и других членов), являются безразличными в отношении нравственности. Следовательно, поскольку словесные действия человека исходят от его лица с сознанием и целью, то они имеют нравственное качество, то есть являются добрыми или злыми и подлежат похвале или порицанию.

При этом можно сказать, что в целом сама природа человека своего рода *словесна*, то есть даже вне сознательного намерения открыть что-либо другому и воздействовать на него вербальным средством состояние души человека проявляется вовне. «Приведем пример. Ты хочешь вымыть стакан, берешь его и вдруг разбиваешь. Этого достаточно для того, чтобы и тебе, и окружающим стало ясно, что твоя душа надломлена. Несомненно, внутри тебя что-то происходит. То, как ты моешь стакан, как его берешь, где ты его ставишь, здесь или там, – все это напрямую зависит от того, что происходит в твоей душе и таится в глубинах твоего сердца»[1]. Спокойный ли перед нами человек или беспокойный, самолюбивый или самоотверженный, нерадивый или аккуратный, терзаемый мыслями и чувствами или бесстрастный, воздержный или сластолюбивый и т. д. – в силу самого двусоставного устроения человеческой природы состояние души очевидно и без намеренной деятельности человека по его обнаружению и семиотизации. Тем не менее эта фундаментальная своего рода *словесность* человеческого существа (λογικόν ζῶον), или коммуникативность даже некоммуникативных его действий, то есть общая телесная проявляемость умных состояний, не является словесной деятельностью человека в собственном смысле – именно по причине отсутствия сознательного и разумно-свободного намерения человека к открытию

1. *Эмилиан (Вафидис), схиархим.* Трезвенная жизнь и аскетические правила. Толкование правил преподобных отцов Антония, Августина и Макария. – Эл. ресурс: https://azbyka.ru/otechnick/Emilian_Vafidis/trezvennaja-zhizn-i-asketicheskie-pravila/#header

и означиванию своих мыслей и состояний с целью воздействия ими на сознание другого.

Именно данным разумным и свободным намерением к обозначению состояний своей души посредством телесных знаков отличается человеческая семиотика от так называемой «зоосемиотики», но не тем, что знаки человеческого языка не являются «частью ситуации»: «Когда испуганный гусь своим криком “предупреждает” сородичей об опасности, его сигналы выражают его состояние и ситуацию, но *ничего не репрезентируют* (не представляют). <...> Иное дело – знаки человеческого языка. Они не являются частью ситуации: они репрезентируют что-то для кого-то. <...> Знак что-то репрезентирует именно потому, что он обладает значением»[1]. Однако вербальные знаки тоже выражают состояние человека, являются частью целостной коммуникативной ситуации и не могут быть поняты в изъятии из нее. Иными словами, дело не в ситуативности знаков человека и животных и не в отсутствии замещения знаком предметов у животных (отсутствии «репрезентации»), а в самом качестве природы души человека, целенаправленно, разумно и свободно обозначающей значения знаками. Разница «семиотик» обусловлена различием самой природы души человека и души животных. Именно в силу неразумного, несвободного и ненамеренного телесного обнаружения животными своих психических состояний проблематично существование «зоосемиотики».

1. *Журавлев И. В., Журавлева Ю. В.* Слово и объект (возможна ли бессловесная мысль). С. 51-52.

16. Типология душевных состояний. Характер познания человеком действительности, особенности личного преломления, осмысления, структурирования и акцентуирования в ней свойств, связей и отношений, казалось бы, такие индивидуальные и глубоко личные, тем не менее во многом поддаются типологизации. В творениях святых отцов и подвижников Церкви собран богатейший опыт систематизации состояний и направлений душевной деятельности человека[2]. *Прежде всего в ас*кетической традиции утверждается, что состояние высшей способности познания – ума, этой зрительной силы невидимых вещей, – определяет направление всей рассудочно-чувственно-практической деятельности человека. Если ум в силе, познает и состоит в общении с миром духовным, правит низшим естеством души и тела, чист от пороков и направлен на самоотверженное служение Богу и ближним, тогда находящиеся у него в подчинении силы души отражают и осмысляют действительность

2. См., например: *Иоанн Кассиан Римлянин, прп.* Писания. Пер. с лат. еп. Петра. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, РФМ, 1993. 660 с. Репр. 2-го изд-я Афонского Русского Пантелеимонова монастыря. М.: Типо-Литография И. Ефимова. Большая Якиманка, дом Смирновой, 1892. *Авва Дорофей, прп.* Душеполезные поучения. Симферополь: Родное слово, 2013. 240 с. *Иоанн Лествичник, прп.* Лествица, возводящая на небо. М.: Изд-во Сретенского монастыря; Правило веры, 1996. 674 с. *Феофан Затворник, свт.* Добротолюбие в русском переводе, дополненное: В 5 т. Репр. изд. 1895 г. СТСЛ, 1992. и др.

истинно и в соответствии с реальным положением вещей. Коль же скоро человек невнимателен к важнейшим истинам, не старается их разъяснить и узнать и предан порочным страстям, то он не имеет разумного ведения, хотя и мнится иметь его[1]. Иными словами, ум у него порабощен низшим естеством души и тела, которое тогда управляется не самоотвержением, в каковом сама природа духа, а самолюбием. При таком расположении человека его рассудок, чувства и воля рассекают действительность на значения искаженно и представляют вещи не в том свете, в каком они есть на самом деле. С поврежденным самолюбием умом рождается каждый.

1. *Феофан Затворник, свт.* Начертание христианского нравоучения. С. 305.

Однако из главенства в человеке самолюбия происходит повреждение всех сил его души. Прежде всего у такового «духовный мир и его вещи как облаком и туманом сокрыты; им мало он верит или не думает об них; знание рассудочное обращено у него только к видимому, действительному, осязаемому; сокровенное в вещах не видится; причины познаются только ближайшие, наличные; намерения Промысла ускользают из внимания... Потому все знание его поверхностно: в составе неполно, в общем же духе растленно, извращено каким-нибудь неправым настроением умственным»[2]. Чувства эгоистические у самолюбивого преобладают над чувствами добрыми, которые к тому же отягощены различными пристрастиями и страстями, ни минуты не проходит у него без самодовольства или, напротив, досады на себя и проч. Деятельные же силы стремления и пожелания искажаются жаждой возвышения, или гордостью, корыстолюбием, или любовью к деньгам, а также жаждой наслаждений и удовольствий. Эти три порочные наклонности воли – славолюбие, сребролюбие и сластолюбие, согласно святым отцам, суть ближайшие порождения самолюбия, из которых уже происходит все остальное нравственное зло. Но среди порождений и этих трех есть тоже начальнейшие, как бы необходимые их спутники: «Так, сластолюбие является преимущественно в двух страстях, чревоугодии и блуде, и сопутствуется расслаблением и леностию; с сребролюбием всегда в связи печаль и зависть, с гордостию – гнев и тщеславие»[3]. Таким образом, самолюбие в качестве коренного расположения души человека заставляет его мыслить и действовать по собственному качеству и на всем отпечатлевает свое расположение, по нему человек направляет все встречающееся и все предпринимаемое.

2. *Феофан Затворник, свт.* Начертание христианского нравоучения. С. 334.

3. *Феофан Затворник, свт.* Начертание христианского нравоучения. С. 386-387.

В аскетическом опыте православной Церкви подробно изучено и противоположное направление душевных сил человека. Когда сокрушительным действием покаяния, то есть кризиса эгоизма, сокрушается в человеке самость и он, отвергшись себя и всего конечного, сердцем прилепляется к вечному Богу и решается стоять в добродетели до положения живота, тогда по принятии восстанавливающей благодати Божией в таинстве Крещения ему возвращается прежде всего ясность и здравость ума в понимании вещей невидимых, которые теперь он созерцает ясно, живо, опытно, истинно и полно. Теперь разум обретает силу руководить и восполнять недостаточность рассудка: к знанию фактического строя вещей у человека добавляется созерцание их непреходящего значения. В самом же рассудке – хотя «благодать, пришедши, не приносит с собою много сведений, но научает человека вниманию и как бы обязывает к точному рассмотрению вещей; она не истолковывает ему законов мышления, но вливает любовь к истине, которая не позволяет уклоняться от путей правых и слишком полагаться на отвлеченности, следовательно, поставляет его на истинную средину и утверждает в ней, чего он сам собою сделать никак не может»[1]. Человек преисполняется жаждой истины, от уз эгоизма высвобождаются в нем добрые и симпатические чувства, восстанавливается вкус к духовному, нравственному и доброму. Расположением его воли становится самоотвержение, проявляющееся в любви к Богу и ближним, в бесстрастии, когда вещи считаются как бы чуждыми, сторонними, не занимающими души и не привязывающими к себе. Вместо гордости у самоотверженного смирение, соединенное с чувством своей бедности и слабости. Вместо корыстности у него бескорыстие и нестяжательность. Вместо похотей и утех – воздержание. Ему свойственны непрерывная бдительность и трезвение в добре, чтобы не пропустить по невниманию чего-либо недоброго. Направление деятельности самоотверженного человека – дела богоугодные[2].

1. *Феофан Затворник, свт.* Начертание христианского нравоучения. С. 325.

2. *Феофан Затворник, свт.* Начертание христианского нравоучения. С. 395.

Таким образом, опыт христианской духовной жизни позволяет увидеть, что слова и поступки человека проявляют нравственное устроение его души. Речь идет о том, что сам содержательный аспект познания бытия может быть структурирован человеком по-разному в зависимости от добродетельного или страстного (страдающего от порока) устроения его познавательных, чувствующих и желательных способностей.

Магистральными искажающими образ сущего направлениями нечистого ума являются страсти гордыни, тщеславия, уныния, печали, гнева, сребролюбия, блуда и чревоугодия. Напротив, чистый ум «разделяет» на значения сущее в соответствии с добродетельными направлениями любви, смирения, трезвения, сокрушения, кротости, нестяжания, целомудрия и воздержания[1]. В том же смысле А. В. Вдовиченко справедливо замечает, что «интеллектуальный (когнитивный) процесс, последовательно избавленный от "слова" (последнее в качестве актуальной речи есть инструмент действия в коммуникативном пространстве, некое внешнее "используемое" средство, сущностно не связанное с "использующим" ее мыслящим субъектом), имеет *нелингвистические* перспективы философского, богословского, психологического осмысления, оставаясь при этом главной необходимой причиной вербального – *лингвистического* – материала»[2]. «Лингвистический материал», в качестве своей причины имеющий «нелингвистические перспективы» духовного состояния человека, представляет собой проявление вовне либо чистого ума, или *добродетелей*, либо лукавого ума, или *страстей*. Именно эти духовные характеристики представляют собой подлинные дискурсивные параметры всякого коммуникативного действия. Таким образом, посредством систематизации состояний и направлений духовной деятельности человека разрабатывается сама когнитивная типология коммуникативных синтагм. Речь человека получает возможность систематизированного описания в аспекте закономерностей своего содержания, а не только в аспекте механизмов речепроизводства.

Что же касается формальной стороны овнешняющих волевых механизмов, то в творениях христианских антропологов подробно описан путь от мысли к делу. Согласно психологическому наблюдению аскетов и подвижников, мысль продвигается к делу следующими этапами: помысел (рождение образа) –> сочетание (внимание к образу) –> сосложение (услаждение, приложение чувства) –> пленение (желание, приложение воли) –> решение (решимость реализовать помысел) –> дело (помысел приведен в исполнение)[3]. С момента решения возникает нравственная ответственность за дело: «В образе явления своего иногда они (*sc.* указанные моменты) развиваются постепенно, одно за другим, иногда же каждое является отдельно, как вне порядка, кроме *решения*, которое всегда есть акт не непосредственный,

1. *Игнатий (Брянчанинов), свт.* Восемь главных страстей с их подразделениями и отраслями. О добродетелях, противоположных восьми главным греховным страстям // Игнатий (Брянчанинов), свт. Аскетические опыты: В 2 т. Т. I. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2010. 816 с. (Серия «Духовная сокровищница»). С. 144-156.

2. *Вдовиченко А. В.* Грекоязычные библейские тексты в предметной и дискурсивной моделях описания. Дис. … докт. филол. н. М.: Ин-т языкознания РАН, 2013. 636 с. С. 487.

3. См., например: *Иоанн Лествичник, прп.* Лествица, возводящая на небо 15.73. С. 247-249.

а предшествуемый размышлением и склонением свободы: пока его нет, чистота цела и совесть чиста. Потому все до него акты обозначаются одним словом: *помысл*»[1]. То есть до решения все психические акты могут быть названы мысленными, или просто мыслью. С момента же решения воля направляется к актуализации деятельности тела.

Вместе с тем святые отцы подчеркивают, что силы человека одна за другой стремительно сочетаются с возникшей мыслью, то есть с тем значением, которым человек «нарезает» для себя образ действительности. Сначала сознание останавливается вниманием на возникшем помысле, осматривает его, медлит на нем, как бы беседует с ним. Затем происходит *склонение чувств* к избранному предмету, который начинает человеку нравиться, вызывать удовольствие. После услаждения чувств очень быстро происходит устремление к делу. Поэтому следует прогонять недолжную мысль, пока ею не уязвлено чувство. Если же предмет все-таки предстал сознанию в призрачном или истинном своем совершенстве, то уже воля находит угодным и *желает* его[2]. Желание при этом совершается *согласием,* которое всегда в воле человека, а потому и оно не безвинно. Если услаждающаяся душа пребывает еще в себе, то, «напротив, желающая склоняется к предмету, имеет к нему стремление, начинает искать его»[3], поставляет желаемое целью своего действия. Именно желание рождает *решимость*, в условие появления которой входит уверенность в возможности совершения дела, а также видение средств к тому: «Желающий изрек согласие на дело, но еще ничего не придумал и не предпринимал к достижению своей цели; у решившегося все уже осмотрено и решено, остается только приводить в движение члены тела или другие силы для соответственного производства дел»[4]. На переходе к решимости производится *подбор средств* к осуществлению внешнего действия с учетом конкретных условий, лиц и сопутствующих обстоятельств. Словесным или практическим, коммуникативным или некоммуникативным, действие становится именно на данном этапе, когда человек избирает средства достижения своей цели. Если для ее достижения человек принимает решение воздействовать на сознание другого, тогда действие его будет коммуникативным и с использованием семиотических средств, в том числе вербальных. Важно также, что на этом этапе учета внешних обстоятельств само когнитивное состояние человека

1. *Феофан Затворник, свт.* Путь ко спасению. С. 483-484.

2. *Феофан Затворник, свт.* Начертание христианского нравоучения. С. 106-107.

3. *Феофан Затворник, свт.* Начертание христианского нравоучения. С. 215.

4. *Феофан Затворник, свт.* Начертание христианского нравоучения. С. 215.

– мысль, чувство и желание – претерпевает целенаправленные изменения. В своих средствах один может прибегать ко лжи, хитростям и обману, другой – действовать открыто, прямо и искренно, и пр. Здесь происходит нужная коммуниканту переакцентуация его мыслимого содержания – выделение нужных для воздействия на адресата объектов, расстановка определенных связей между ними, фокусирование внимания адресата на необходимом, моделирование хода и результата его когниции, то есть мыслимое содержание преломляется с учетом поставленной коммуникантом цели и особенностей адресата. Коммуникативное смыслообразование, таким образом, не тождественно самому смыслообразованию человека, хотя и производно от него. Наконец, после подбора средств воля приводит в движение подчиненные ей низшие силы и следует само *дело* – практическое или словесное действие.

Представленную в христианской антропологии поэтапную модель перевода мысли во внешнее дело в основных звеньях можно соотнести с моделями порождения речи, которые выдвинуты в современной психолингвистике (см. модели речепорождения Л. С. Выготского, А. Р. Лурии, А. А. Леонтьева, Т. А. Рябовой-Ахутиной, Н. И. Жинкина, И. А. Зимней и др.)[1]. При этом, однако, следует заметить, что в психолингвистических моделях более подробно описаны механизмы собственно внешнего порождения речи, включая внутреннее программирование высказывания и процессы фонации, однако речевая деятельность рассматривается в них лишь с момента зарождения «мотива», то есть *желания* в терминологии динамической антропологической модели святых отцов. На этапе собственно коммуникативного смыслообразования и преломления мыслимых значений сосредоточена акциональная (динамическая) модель вербального процесса, разрабатываемая А. В. Вдовиченко[2]. Святоотеческая модель словесной деятельности углубляет, дополняет и обобщает указанные модели, поскольку исходит от духовного устроения ума человека, по особым закономерностям рассекающего действительность на значения, прослеживает формирование и взаимосвязь понятийных, эмоциональных и волевых (мотивационных, интенциональных) компонентов назначаемых значений, описывает коммуникативное преломление говорящим данных значений в процессе внутреннего программирования высказывания.

1. Согласно А. А. Леонтьеву, все модели речепорождения, разрабатывавшиеся в 1960-1970-х гг. в отечественной психолингвистике, представляют собой развертывание и дальнейшее обоснование схемы порождения речи, предложенной Л. С. Выготским [*Леонтьев А. А.* Основы психолингвистики. С. 50]. По Л. С. Выготскому, первым звеном порождения речи является ее мотивация. «Вторая фаза – это мысль, примерно соответствующая сегодняшнему понятию речевой интенции. Третья фаза – опосредование мысли во внутреннем слове, что соответствует в нынешней психолингвистике внутреннему программированию речевого высказывания. Четвертая фаза – опосредование мысли в значениях внешних слов, или реализация внутренней программы. Наконец, последняя, пятая, фаза – опосредование мысли в словах, или акустико-артикуляционная реализация речи (включая процесс фонации)» [Там же. С. 49-50].

2. См., например: «В момент говорения (письма) размышление говорящего состоит в том, чтобы осуществить нужные говорящему (пишущему) изменения в сознании адресата. Иными словами, смыслообразование в естественном вербальном процессе – исключительно коммуникативный феномен, который возникает только в процессе акционального ("перформативного", "совершительного", действенного) выхода за пределы сознания в коммуникативное пространство» [*Вдовиченко А. В.* Проблема субъектности знания и естественный вербальный процесс // Вестник ПСТГУ. Серия III: Филология. 2016. Вып. 3 (48). С. 22-44. С. 27 и мн. др.].

17. Неизоморфность значений и вербальных клише. Что же касается подбора к значению вербальных средств, то поскольку звуко-буквенные комплексы, хотя и пребывают в мысленном, психическом, статусе чувственных (акустических или графических) образов, все-таки телесны по своему происхождению, а значения имеют природу умную, постольку значение и вербальное клише не изоморфны друг другу. В памяти за одним значением может быть закреплено лишь одно вербальное клише и тогда его выбор и произнесение не требует особого производства, а берется из прежнего коммуникативного опыта и по навыку совершается мгновенно. Но иногда за одной мыслью может быть закреплено не одно вербальное средство, а и другое, а также целая их последовательность, синтаксическая структура, и даже текст (т. н. прецедентный текст). С ростом коммуникативного опыта при одном и том же значении (например, желании выяснить время) накапливается множество вариантов его вербализации («Который час?», «Сколько времени?», «Котра година?», «Что там на часах?», «Что натикало?», «What's the time?», и под.). При этом речь идет лишь об одном коммуникативно-стилистическом регистре, малейшее изменение которого, в свою очередь, повлечет за собой совершенно новый спектр способов вербализации уже последнего. При этом мысль есть настолько активное начало, что даже вовсе без наличия вербальных средств создаст их сама (чему свидетели всевозможные окказионализмы и авторские новообразования), мысль добивается выражения себя самыми различными способами (хоть камушками, хоть каракулями, хоть прыжком, и даже ошибка не отменит ее коммуникативно-смысловой силы). Таким образом, в силу неизоморфности невещественной и вещественной природ значения и вербальные клише не имеют линейных соответствий: одной мысли может соответствовать много вербальных средств, связанных (или вовсе даже не связанных) с ней мнемонической связью, как и наоборот, одно вербальное средство может употребляться для выражения разных мыслей (по сходству признаков или и вовсе без такового).

Когда же осуществится само сопряжение актуального значения с выбранными для него из памяти вербальными средствами, тогда, собственно, и возникает актуальная коммуникативная синтагма (личное сознание придает вербальным последовательностям значения). При этом пока ум (сознание) сопрягает

синтагму, ее элементы имеют точный смысл и в ее рамках поддерживается строгое соответствие мысли и ее вербального обозначения. По завершении актуальной словесной деятельности коммуникативные синтагмы существуют в сознании уже не действительно, а в потенции, при которой строгого соответствия между мыслями и клише нет. В отсутствие актуальной словесной (речевой, коммуникативной) деятельности человека коммуникативные синтагмы существуют потенциально. Как без привязки к действительности ум актуализирует множество мыслей для какого-либо вербального клише, так точно и без привязки к мысли память предлагает множество различных способов ее вербализации. Таким образом, для существования значения в качестве действительной коммуникативной синтагмы необходимы два актуальных сопряжения: сопряжение мысли с действительностью и сопряжение этой же мысли с вербальным клише.

Тем самым в обобщенном виде словесную деятельность можно представить в виде следующих звеньев: действительность –> активная и свободная репрезентация действительности в сознании человека посредством добродетельной или страстной «нарезки» ее на значения –> внимание к возникшей мысли-значению –> склонение чувства к избранному значению, или предмету мысли –> появление желания его достичь –> решимость осуществить желание –> подбор средств его осуществления в связи с внешними условиями и обстоятельствами, то есть коммуникативное преломление мыслимых значений –> сопряжение в синтагмы коммуникативно преломленных значений и подобранных акустических / графических образов вербальных клише, то есть обозначение –> телесное звуко-буквенное произведение вербальных последовательностей.

Завершая общий обзор предварительных лингвистических следствий из христианской антропологии, детализация которых требует дополнительных усилий, следует также особо заметить, что словесное действие проходит свободное самоопределение человека минимум дважды – во-первых, оно определяется содержательно свободой его познания действительности тем или иными образом, а во-вторых, оно параметрируется в мыслимом коммуникативном пространстве его свободной волей (когда определяется цель коммуникативной интеракции, выбирается сам предмет говорения, оцениваются когнитивные возможности

адресата, производится оценка уместности и эффективности использования тех или иных коммуникативных синтагм, избираются соответствующие мыслимым значениям вербальные клише и т. д.). Речь идет о различной акциональности познавательного и коммуникативного процессов. Можно думать, но решить промолчать об этом. Можно понимать нечто одинаково, но разным людям и в разных обстоятельствах сказать об этом по-разному. Можно, наконец, думать одно, а сказать совсем другое. Думать и говорить – две сопряженные, но различные деятельности человека. Если значение преломлено человеком однажды, то состоялось только познание и другие люди об этой мысли ничего не знают (деятельность души-в-себе), если же значение преломляется человеком во второй раз – тогда оно становится коммуникативной синтагмой и окружающие получают возможность умозаключать обо всех личных преломлениях ее умного компонента (деятельность души-из-себя). Следовательно, если искать в словах человека окружающую действительность, то она будет двояким образом преломлена в его словах – личным познанием и особенностями организуемой коммуникации. Прямой трансляции не преломленной лично действительности нет и не может быть.

Приложение

1. См., например: *Григорий Нисский, свт.* Об устроении человека (De opificio hominis) 29 // Творения святого Григория Нисского: В 8 ч. (Т. 37-45). М.: Типография В. Готье, 1861-1872. (Творения святых отцов Церкви). (=ТСО) Т. 37 (Ч. 1). С. 197; *Migne J.-P.* Patrologiæ Cursus Completus. Series Græcæ. Vols. 44-46. Paris, 1857-1866. (= PG) Vol. 44. Col. 233. Он же. О душе и воскресении, разговор с сестрою Макриною // Там же. Т. 40 (Ч. 4). С. 201-326; PG 46:12-160. *Василий Великий, свт.* Беседа первая о сотворении человека по образу (De hominis structura) // Василий Великий, свт., архиеп. Кесарии Каппадокийской. Творения: В 2 т. М.: Сибирская Благозвонница, 2008. Т. 1: Догматико-полемические творения. Экзегетические сочинения. Беседы. 1136 с. (Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе; т. 3). С. 430-446; PG 30:9-38. Он же. Беседа вторая о человеке (De hominis structura) // Там же. С. 446-460; PG 30:38-62. *Григорий Богослов, свт.* Стихотворение богословское 8.

О душе (De anima) // Святитель Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский. Творения: В 2-х т. Т. 2: Стихотворения. Письма. Завещание. М.: Сибирская Благозвонница, 2007. 944 с (Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе; т. 2). С. 25-28. PG 37:446-456. Он же. Слово 45 на Святую Пасху (In Sanctum Pascha) // Там же. Т. 2. С. 559-574; PG 36:621-664. Немезий Эмесский. О природе человека (De natura hominis) 2 / Пер. с греч. Ф. С. Владимирского. Сост., послесл., общ. ред. М. Л. Хорькова. М.: Канон+, РООИ «Реабилитация», 2011. 464 с. (История христианской мысли в памятниках). С. 19-39; PG 40:536-590. *Иоанн Дамаскин, прп.* Точное изложение православной веры (Expositio Fidei) 2.12 // Творения прп. Иоанна Дамаскина. Источник знания / Пер. и ком. Д. Е. Афиногенова, А. А. Бронзова, А. И. Сагарды, Н. И. Сагарды. М.: Индрик, 2002. (ПСТБИ. Святоотеческое наследие. Т. 5). С. 208-212; PG 94:917-929. *Симеон Новый Богослов, прп.* Слово первое (Oratio prima) // Творения преподобного Симеона Нового Богослова. Слова и гимны. В 3-х кн. М.: Сибирская Благозвонница, 2011. Кн. 1. С. 143-152; PG 120:312-327. *Григорий Палама, свт.* Сто пятьдесят глав, посвященных вопросам естественнонаучным, богословским, нравственным и относящимся к духовному деланию, а также предназначенных к очищению от варлаамитской пагубы (Capita CL physica, theologica, moralia et practica) 1.4.15-1.7.40 // Он же. Сто пятьдесят глав. Краснодар: Текст, 2006. С. 30-83; PG 150:1139-1150. *Феофан Затворник, свт.* Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? М.: Отчий дом, 2006. С. 3-71 и др.

2. См., например, у св. Иустина Философа: «Что такое человек, как не животное разумное, состоящее из души и тела? Разве душа сама по себе есть человек? Нет – она душа человека. А тело разве может быть названо человеком? Нет, – оно называется телом человека. Если же ни та, ни другое в отдельности не составляют человека, но только существо, состоящее из соединения той и другого, называется человеком» [*Иустин Философ и Мученик, св.* Отрывок о воскресении (De resurrectione) 8 // Он же. Творения / Пер., введ. и прим. прот. П. Преображенского. М.: Университетская типография, Страстной бульвар, 1892. (Репринт: М.: Паломник, Благовест, 1995). С. 479]. См. также: Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Коринфянам первого. М.: Правило веры, 2006. С. 754 и др.

3. Ср. с изложением этого пункта святоотеческой антропологии современным французским патрологом Ж.-К. Ларше: «Это значит, что в человеческом существе ни один элемент не может действовать без участия другого. Плоть без души не может ничего совершить, ни душа без плоти, но по разным причинам – телу нужна душа, чтобы жить и двигаться, а душе нужно тело, чтобы проявляться, самовыражаться и воздействовать на окружающий мир. Так как тело – слуга, орган или инструмент души, инструмент, необходимый для выполнения функций по связи с миром и по проявлению своих способностей в условиях земного существования. В этих рамках все действия души, поскольку они проявляются, могут существовать только через тело» [*Ларше Ж.-К.* Исцеление психических болезней: Опыт христианского Востока первых веков / Пер. с фр. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2007. 224 с. (Православное богословие). С. 39-40].

4. Ср. с трактовкой слов как действий (перформативов) в современной теории речевых актов (Дж. Остин, Дж. Р. Серль и др.), а в отечественной современной лингвистике А. В. Вдовиченко: «Любое естественное говорение/письмо представляет собой действие (или попытку воздействия, или имитацию попытки воздействия) говорящего/пишущего на сознающий (вернее, мыслимый как сознающий) объект. Автор вербального текста всегда и непременно преследует целью некий результат сказанного/написанного, то есть стремится оказать влияние на мыслимую ситуацию посредством сказанного/написанного, реализуя вербальным действием свою возможную роль в мыслимой ситуации. Так, автор устного текста может отвечать на вопрос, убеждать, отчитывать, просить, рассказывать, соглашаться, отказываться и т. д. Произносимые при этом слова будут вопросом, убеждением, просьбой, повествованием и т. д., то есть тем самым действием, ради которого и были произнесены» [*Вдовиченко А. В.* Казус «языка» Септуагинты и Нового Завета: Лингвистический метод «за» и «против» авторов. М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. 288 с. С. 128-129]. Если философы языка заметили статус слова как действия, то святые отцы в классификациях сущего, наоборот, идентифицируют человека как «существо словесное» (τὸ λογικὸν ζῶον), подразумевая при этом его двойную разумно-телесную природу в отличие от только умной и бестелесной природы ангелов и неразумно-телесной

природы животных («бессловесных») [Григорий Нисский, свт. Об устроении человека (De opificio hominis) 8 // ТСО, Т. 37 (Ч. 1). С. 98-99; PG 44:144-145. Дионисий Ареопагит, св. О божественных именах (De divivus nominibus) // Он же. Сочинения. Толкования Максима Исповедника / Пер. и предисл. Г. М. Прохорова. СПб.: Алетейя, 2002. С. 407-409; PG 3:836. *Максим Исповедник, прп.* О различных трудностях Богослова [Григория], глава 7 (Ambigua VII(II)) // Преп. Максим Исповедник: Полемика с оригенизмом и моноэнергизмом / Сост. Г. И. Беневич. Изд-е 2-е, испр. и доп. СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2014. С. 283; PG91:1080 B. *Григорий Палама, свт.* В скольких значениях [понимается] божественное соединение и разделение, и [также о том] что мы научены [понимать] различие в Боге не по ипостасям только, но и по общим [для них] выступлениям и энергиям, и что мы прияли сообразно каждому соединению и разделению помышлять Его нетварным, хотя бы то и не нравилось Варлааму и Акиндину // Он же. Трактаты / Пер. с греч. и прим. архим. Нектария (Яшунского). Краснодар: Текст, 2007. С. 19-20].

5. Как «образ» (τύπος) мысли понимал имя свт. Григорий Нисский: «<...> умопредставляемое переходит в образ имени» (τῆς ἐνθεωρουμένης εἰς ὀνόματος τύπον μεταβαινούσης)» [*Григорий Нисский, свт.* Опровержение Евномия (Contra Eunomium) 12.2 (13) // ТСО, Т. 43 (Ч. 6). С. 384; PG 45:1012; GNO, 1:314.17-18]. «Образами» для мысли, согласно святителю, выступают все чувственные формы, и имя – лишь одна из них. Поэтому свт. Григорий сравнивает разные «образы» мысли между собой и заключает, что, в отличие от таких «образов», как глина или кирпич, «образ имени» (ὀνόματος τύπος) недолговечен: «Но что из того, что говорим, не разрушается вместе с тем, как оно сказано? Ибо произносимое в звуке (слово) мы не можем сохранить неразрушимым в образе слова (τοῦ λόγου τύπωσιν), однажды образовавшемся в устах, как сохраняется выработанное из глины или кирпичей; но вместе с тем, как в звуке произнесено слово, сказанного уже нет, потому что, по разлиянии снова в воздухе дыхания звука в том месте, в котором последовало излияние звука, уже не отпечатлевается (ἐνετυπώθη) никакого следа того, что сказано» [*Григорий Нисский, свт.* Опровержение Евномия (Contra Eunomium) 12.2 (13) // ТСО, Т. 43 (Ч. 6). С. 281-282; PG 45:924; GNO, 1:238.29-239.8]. Итак, в слове (λόγος) имя и мысль связаны отношением «по образу», то есть ум и имя нетожде-

ственны по естеству (ум имеет нетелесную природу, а «образ имени» – природу не-умную), но тождественны по свойствам, то есть имя способно возводить к мысли.

6. Евномий (ок. 330/335 – ок. 394) – представитель ереси неоариан, считавший, что значения имен «соприродны» предметам, вложены в них Самим Богом и открыты затем в порядке откровения человеку. «Соприродные» предметам имена выражают саму сущность предметов, а не являются «примышлениями» человеческого разума. Имена же, которые даны предметам человеком «по примышлению», имеют для ересиарха гораздо более низкий гносеологический статус. Напротив, святые отцы Каппадокийцы отстаивали тот непреложный антропологический факт, что все имена даны предметам человеком «по примышлению», что нет имен без «примышления» человека и что как раз «примышление» человека и обеспечивает соответствие имени самому сущему. См.: *Григорий Нисский, свт.* Опровержение Евномия (Contra Eunomium) // ТСО, Т. 41 (Ч. 5). С. 8-500; Т. 43 (Ч. 6). С. 1-510; PG 45:248-1121; GNO, 1:22-409, 2:3-311. *Василий Великий, свт.* Опровержение на защитительную речь злочестивого Евномия (Contra Eunomium). Книги I-III // Он же. Творения. Т. 1. С. 169-266. PG 29:498-670. См. об этом: *Вдовиченко А. В.* «Примышление» и «порождение»: Евномий и каппадокийцы о современных проблемах философии языка // Языковые параметры современной цивилизации. Сборник трудов первой научной конференции памяти академика РАН Ю. С. Степанова / Под ред. В. З. Демьянкова, Н. М. Азаровой, В. В. Фещенко, С. Ю. Бочавер. М.: Ин-т языкознания РАН, 2013. 560 с. С. 314-321.

7. Свт. Григорий поясняет свою мысль на следующем примере: «Но поелику большая часть вещей, усматриваемых в творении, имеют не простое естество, так чтоб предмет мог быть вполне выражен речением (так, в огне: иное здесь предмет, по своей природе подлежащий названию, и иное – название, обозначающее предмет; первый есть нечто светящее, жгущее и истребляющее то вещество, которое охватит, а название есть некий короткий звук, выражаемый одним слогом: πῦρ; то посему слово, разделяя (ὁ διαιρῶν λόγος) усматриваемые в огне силы и качества, каждое именует особенно, и, как мы прежде сказали, никто не скажет, что дано только одно имя огню, когда поименовывает или светлость или истребительность или другое какое из замечаемых в нем качеств; потому что эти

названия служат для обозначения естественно принадлежащих ему свойств» [*Григорий Нисский, свт.* Опровержение Евномия (Contra Eunomium) 12.2 (13) // TCO, T. 43 (Ч. 6). С. 373-374; PG 45:1002; GNO, 1:305.26-306]. Подобное понимание деятельности разума находим и у свт. Василия Великого: «Видим, что когда при внезапном устремлении ума представляющееся простым и единичным при подробнейшем исследовании оказывается разнообразным, тогда о сем множественном, удоборазделяемом мыслью (τῷ νῷ διαιρούμενα), по общему словоупотреблению говорится, что оно удоборазделимо одним "примышлением"; например, с первого взгляда кажется тело простым, но приходит на помощь разум и показывает, что оно многообразно, примышлением своим разлагая его на входящие в состав его цвет, очертание, упругость, величину и прочее. <...> Например, у всякого есть простое представление о хлебном зерне, по которому, увидев, узнаем его. Но при тщательном исследовании сего зерна входит в рассмотрение многое, и даются зерну различные именования, обозначающие представляемое. Ибо одно и то же зерно называем то плодом, то семенем, то еще пищею: плодом – как цель предшествующего земледелия, семенем – как начало будущего, пищею – как нечто пригодное к приращению тела у вкушающего. Каждое из сих сказуемых и по примышлению умопредставляется, и не исчезает вместе с гортанным звуком, но представления сии укореняются в душе помыслившего» [*Василий Великий, свт.* Опровержение на защитительную речь злочестивого Евномия (Contra Eunomium) I.6 // Он же. Указ. соч. Т. 1. С. 182-183; PG 29:521-524].

8. Ср.: «<...> "чувственная ткань должна найти себя в предметном образе". Значение должно осуществиться в этом чувственном образе, чувственный образ должен себя найти, в свою очередь, в этом значении. То есть позволить осуществиться картине осознания, осмысливания, категоризации действительности» [*Леонтьев А. Н.* Лекции по общей психологии / Под ред. Д. А. Леонтьева, Е. Е. Соколовой. М.: Смысл, 2001. 512 с. С. 203]. «А. Н. Леонтьев неоднократно подчеркивал фундаментальную для современной психологии идею о том, что восприятие есть активный процесс, опосредованный системой предметных значений. Чтобы увидеть предмет, недостаточно просто открыть глаза: предмет не "отпечатывается" в психике, как печать на глине: для восприятия предмета нужно, чтобы между человеком

и предметом сложилось отношение деятельности. Иначе говоря, нужна актуализация формы предметной деятельности, т. е. значения (предназначения) предмета» [*Журавлев И. В., Журавлева Ю. В.* Слово и объект (возможна ли бессловесная мысль). С. 46]

9. *Журавлев И. В., Журавлева Ю. В.* Слово и объект (возможна ли бессловесная мысль). С. 48. На этот тезис о невозможности мышления без знания имен, прозвучавший также из уст Евномия, ответил уже свт. Григорий Нисский: «Таково безумие писателя, что он думает, будто недостаточно вложенной от Бога в природу (человека. – Г. Д.) силы для всякого способа разумной деятельности, но что, если бы люди не изучили каждого слова в отдельности, как, например, учащиеся языку евреев или римлян дословно, то не знали бы вещей, что они суть, не узнавая ни огня, ни воды, ни воздуха, ни прочих существующих (предметов), если бы не приобрели знания об этом из наложенных на них имен. А мы говорим, что Сотворивший все премудростью и Давший жизнь этому разумному созданию (τὸ λογικὸν τοῦτο πλάσμα) одним тем, что ниспослал в природу разум (τὸν λόγον), вложил всю разумную силу (τὴν δύναμιν τὴν λογικὴν). И как мы силу, которая заключается в чувственных органах, получив от Образовавшего глаз и Насадившего слух с самою природою, пользуемся ими для того, к чему приспособлено каждое из чувств, и не нуждаемся ни в том, кто бы наименовал цвета, воспринимаемые зрением (потому что глаз – достаточный для себя наставник в этом), ни для познания того, что чувствуем слухом, или вкусом, или осязанием, – не нуждаемся в чужих наставниках, имея домашний критерий всего, чувственно воспринимаемого нами; так говорим мы, и разумная сила души (τὴν διανοητικὴν τῆς ψυχῆς δύναμιν), происшедши таковою от Бога, затем сама собою движется и взирает на вещи, а для того, чтобы знание (ἡ γνῶσις) не потерпело никакой слитности, налагает на каждую из вещей, как бы какие клейма (σήμαντρά), обозначения посредством звуков (τὰς διὰ τῶν φωνῶν ἐπισημειώσεις)» [*Григорий Нисский, свт.* Опровержение Евномия (Contra Eunomium) 12.2 (13) // ТСО, Т. 43 (Ч. 6). С. 421-423; PG 45:1044-1045; GNO, 1:342.29-343.25].

10. Такую вспомогательную деятельность памяти и воображения по отношению к мышлению свт. Феофан Затворник описывает следующим образом: «Как только заметили Вы что-либо вовне посредством своих чувств или выслушали рассказ других о том, что они заметили своими чувствами, тотчас все то

воображение воображает и память запоминает; и в душу ничто не может войти помимо воображения и памяти. Затем и последующая деятельность мыслительная опирается на воображении и памяти. Чего не сохранила память, того не вообразишь, о том и думать не станешь. Бывает, что мысли прямо рождаются из души, но и они тотчас облекаются в образ. Так что мыслительная сторона души вся есть образная» [*Феофан Затворник, свт.* Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? С. 21-22]. Таким образом, святоотеческое богословие, указывая на тесную связь мысли и чувственных образов, в частности вербальных, тем не менее их различает. Особенно это различие мысли как безвидной энергии ума и образов, чувственных по своему происхождению, проявляется в учении святых отцов о молитве, в духовную область которой воображение и память входить не имеют права: «Св. Максим в пояснениях на великого Дионисия говорит: “иное есть мечтание и иное помышление, или мысль. Они производятся разными силами и свойствами движения разнятся: ибо мысль есть действие или произведение ума, а мечтание – плод страсти, напечатление образа, представляющего нечто чувственное, или как бы нечто чувственное. Почему никакое мечтание не должно иметь места в отношении к Богу; ибо Он паче ума все превосходит”» (65) [Каллист Патриарх и сподвижник его Игнатий, Ксанфопулы // Добротолюбие в русском переводе, дополненное: В 5 т. Репр. изд. 1900 г. СТСЛ, 1992. Т. 5. С. 303-424. С. 384].

11. См., например, опровержение субъективизма Канта иером. Михаилом (Грибановским) на «психологической почве»: «Собственно субъективного как чего-то особенного от объективной действительности, чего-то действующего по своим особенным законам, преследующего свои исключительные цели – такого субъективного бытия не оказывается. Субъект есть то же самое действительное бытие, дошедшее чрез синтез до отношения к самому себе и сделавшееся, поэтому, само для себя прозрачным. Природа, законы, все осталось неизменным. Прибавилось лишь одно формальное свойство – отношение к себе и, следовательно, самопрозрачность. – Таким образом, мысль, что мы вечно принуждены познавать мир лишь под окраской своих особенных, субъективных законов, оказывается не имеющей прочных оснований, неправильной. Что мы вечно принуждены жить в своем сознании и все созерцать под его освещением – это верно. Но это совсем не полагает непроходимой пропасти между

нами и действительным миром, потому что самосознание есть та же действительность, и оно не только не мешает нам, но, наоборот, помогает познать вне нас существующее бытие в его отдельности от нас. – Резкая природная грань между нашим внутренним миром и внешней действительностью должна рушиться, и всюду должны быть одни и те же законы, царящие над всем бытием и дающие нам возможность воспроизводить в своем сознании то, что существует в действительности вне его» [*Михаил (Грибановский), иером.* Истина бытия Божия. Опыт уяснения основных христианских истин естественной человеческой мыслью. Репр. изд. 1888 г. СПб.: Общество памяти игумении Таисии, 2004. С. 109-110]. Болезненный «раскол знания и бытия», субъекта и объекта – достояние философии Нового времени, в которой спорят «только о границах знания и часто не доходят до самого бытия» [*Лосев А. Ф.* Спор об именах в IV веке и его отношение к имяславию // Он же. Имя: Избр. работы, переводы, беседы, иссл-ия, архивн. мат-лы / Сост. и общ. ред. А. А. Тахо-Годи. СПб.: Алетейя, 1997. С. 39].

Комментарии

И.В. Журавлев

Чем острее будут обозначены различия в философско-методологических позициях участников нашей исследовательской группы, тем продуктивней будет и наша совместная деятельность.

Можно мыслить знаки («звуко-буквенные клише») как телесные (материальные) посредники коммуникации. Очевидно, что в так понимаемом знаке никакую мысль, никакое «значение» найти не представляется возможным (так же, как нельзя найти функцию или «предназначение» шахматной фигуры в деревяшке, стоящей на доске). Отсюда необходимо следует отношение к языку как к номенклатуре и лишение его собственной онтологии. Отсюда также следует, что значения существуют лишь в сознании коммуникантов. Кстати, это положение разделяет и Е.Ф. Тарасов, считающий, что «значения никогда не покидают головы коммуникантов».

Казалось бы, точки соприкосновения найдены. Однако всё гораздо сложнее. Продолжая развивать представленные положения, мы вместе с автором статьи действительно придем к тому, что значение в принципе не может быть «вербальным», что само подразделение значений на предметные и вербальные является неправомерным удвоением, ибо не «в словах» и не «в предметах», а исключительно «в уме» человека значения только и могут существовать: именно ум (активный, деятельный) оказывается в этом случае «местом хранения» значений.

Но что будет, если мы «переведем» данные утверждения на язык примитивной когнитивистики? Тезис «мысль другого воссоздается усилиями собственного сознания», почти не вызывающий возражений, можно трансформировать в положение о том, что одна «нейронная структура» кодирует информацию и передает ее при помощи некоей системы «средств» (т.е. языка) другой «нейронной структуре», каковая эту информацию принимает и раскодирует… А дальше – придется процитировать философа Ф.Т. Михайлова (он был близким другом и последователем Э.В. Ильенкова). «Так и становится всё на свои “марксистско-ленинские” места: материальное бытие порождает в мозгу индивида идеальное сознание, ибо вегетативные и церебральные носители и переработчики информации, как и в компьютере, материальны, а информационным способом произведенный и открытый личности смысл информации идеален. Только для нее он собственно и идеален и, конечно же, только в ней и для нее он субъективен – только личностью он осознается и переживается, только в субъективном ее сознании пребывает. Ей-богу, у Демокрита было более глубокое понимание эйдоса!» .

Итак: «покидают» ли значения голову и «где» они вообще существуют? Если «в голове», то – в «церебральных структурах»? Или – в «душе»?

Тезис Э.В. Ильенкова о том, что идеальное не есть субъективная реальность, побуждал вульгаризаторов марксизма (по сути – вульгарных материалистов) обвинять Ильенкова в «гегельянщине» и объективном идеализме. Чтобы читатель понял, о чем идет речь, я (вслед за В.А. Лекторским и Ф.Т. Михайловым) предлагаю ему провести простой мысленный эксперимент. Представьте, что из Третьяковской галереи ушел последний посетитель. Исчез ли с полотна Репина образ Ивана Грозного, убившего своего сына? Исчез ли образ, если картину теперь никто не видит? Для вульгарных материалистов, с коими воевал Ильенков, ответ однозначен: картина как материальный объект содержит мазки материальной краски, а образ возникает лишь в голове (в мозгу) у зрителя, воспринимающего картину. (Заметим, что если заменить «мозг» на «душу», принципиально ничего не изменится). Немного усложним наш мысленный эксперимент. Форма стула, зовущая меня присесть, тоже существует только в моей голове? Или она существует «в самом» стуле? Подумайте, как ответить на этот вопрос, а мы пока порассуждаем дальше.

Разрезая мир на «физическое» и «психическое», исследователь неизбежно сталкивается с неразрешимыми загадками и противоречиями. С одной стороны – значение, с другой стороны – объект. С одной стороны – сознание, а с другой – внешний по отношению к нему физический мир. Одно с другим соединить невозможно, однако соединить хочется. Ссылка на предустановленную гармонию в действительности ничего не решает. Ссылка на «особую сущность» человека ничего не решает тем более. Что-то не так в самих исходных посылках. Нет никакого «физического мира» и противопоставленного ему «мира сознания». Эта интуиция, естественная для наивно-реалистического взгляда на мир, должна быть преодолена в акте философского мышления.

В «физических объектах» значение действительно существовать не может. Вообще не вполне ясно, что такое «физический объект». Мы поэтому и утверждаем, что значения сохраняются в предметах (и знаках как превращенных предметах), а не в объектах!

А.Н. Леонтьев говорил: «Ищите сознание человека здесь, в предметном мире!». Но чтобы понять этот тезис, нужно прежде понять, что такое предмет. Предмет ни в коем случае нельзя отождествлять с «материальным» или «физическим» объектом: иначе мы встанем на путь вульгарного материализма. Субстанцией предмета, как и субстанцией сознания, является деятельность. Мы постоянно

опредмечиваем и распредмечиваем мир, мы воспринимаем в «вещах» физического мира их образы, т.е. формы нашей (всегда – совместной) активности по отношению к «вещам». В этом и состоит предметность нашего взгляда на мир. Поэтому, согласно А.Н. Леонтьеву, «действительная противоположность» – это не противоположность сознания и физического мира, а противоположность образа и процесса. Противоположность эта диалектическая: образ и процесс переходят друг в друга и бывают тождественными, при этом образ в целом отстает от процесса. Чтобы изучить образ (сознание), нужно изучить процесс, его порождающий (деятельность).

Тут-то и всплывает тезис Э.В. Ильенкова об объективности идеального. Идеальное существует лишь «во встречном движении формы деятельности и формы вещи». Это значит, что идеальное бессмысленно искать в системе средств или орудий, опосредующих отношение человека к природе или к другим людям, если сами эти средства понимать как «носители информации», объективные (т.е. материальные) «переносчики» субъективного и т.п. В так понимаемых «посредниках» между субъектами (знаках, орудиях) идеальное найти нельзя. «…Форма (пространство) средство обращения людей друг к другу и к самим себе не вклинивается телесным (чуть ли не прямо по Гоббсу) посредником между субъектом и объектом, а оказывается естественной формой человеческого типа жизни – таким же необходимым для жизни органом его чувственно осмысливаемого бытия, каким становятся в его общественном онтогенезе его руки, да и всё его тело. <…> …Именно формы средств общения… составляют своей органичной взаимосвязью и взаимоопределяемостью – общей динамичной целостностью своей! – в каждой эпохальной культуре особенные, но по своему бытийному определению именно всеобщие и необходимые (аподиктические), совершенно реальные, но и абсолютно идеальные формы нашего осознаваемого (осмысливаемого) бытия – объективные мыслительные формы. Так именно деятельным общением людей постоянно и каждый раз заново творится открытое классиками философии (от Канта до Гуссерля) тождество бытия и мышления – динамичное, процессуальное тождество опредмечиваемых, в материале природы воплощаемых, но субъективно-идеальных образов цели совместных усилий людей и распредмечиваемых при этом, но объективных форм т.н. материальной (на самом деле: предметной, духовно-практической) культуры» .

Объективная мыслительная форма – это столь же форма человеческой субъективности, сколь и форма объективности созданных людьми условий и средств собственной жизни. Вне этих объективных форм не может существовать субъективность. «Поставленность чего-либо

перед субъектом – иными словами, представление как субъективно-психологическое новообразование, возможно лишь при овнешнении переживания жизненно значимой реальности в общезначимом средстве обращения к другому и к себе как другому» . Отказ от этого положения, отказ от признания тождества интер- и интрасубъективного неминуемо влечет за собой разделение мира на «физику» и «психику», признание изначальной индивидуальности содержаний сознания, а также признание того, что значения существуют исключительно в голове, в человеческом уме… Но как же значения в таком случае «попадают» в голову? Через систему внешних посредников? Или они там присутствуют изначально? Ум человека мыслит предмет собственной мыслью? Но как мыслит ум?

По Ильенкову, идеальное есть не индивидуально-психологический (и тем более не физиологический) факт, а факт общественно-исторический, продукт и форма духовного производства. Ни музыкальное произведение, ни театральное представление, ни математическая формула, ни даже «простой» молоток (и можно дальше продолжать: ни один знак, ни одно слово и даже ни одна буква…) не являются объектами, сущность которых исчерпывается их «материальным» субстратом. Формы человеческой деятельности суть явления идеальные, но в то же время объективные (аподиктические), не подчиняющиеся капризам индивидуальной психофизиологии, но, напротив, оказывающие на нее организующее влияние.

Вернувшись теперь к тому, чем же предмет отличается от объекта, мы еще раз обратим внимание читателя на психофизическую проблему, источником которой, как мы уже сказали, является наивно-реалистическая интуиция: вот – вещи, а вот – мысли… Противопоставление образа и процесса, сформулированное А.Н. Леонтьевым, психофизическую проблему снимает. Есть деятельность (безразлично внешняя или внутренняя) и есть образ, выступающий как форма (правило, закон) самой деятельности, но при этом порождаемый только в ней. Мир не удваивается на объекты и их «отражения» в голове, как полагают сторонники вульгарного материализма. Воспринимаемый десятком людей стол не «умножается» в их головах: всё происходит с точностью до наоборот. Не предмет в нас, а мы – в предмете (это приблизительная формулировка М.К. Мамардашвили). И понимаем мы не предметы, а предметами (снова его формулировка). Предметами, выступающими как органы нашего восприятия, мышления, познания… Но чтобы увидеть это, необходимо выковырять из своих глаз наивно-реалистическую установку. Мы не ворочаем в своей голове физическими объектами – буквами, знаками, столами и т.п. Нет таких физических объектов. Есть единый континуум сознания-бытия. Есть деятельность и ее формы.

КОММЕНТАРИИ

А.В. Вдовиченко

В первой части комментируемой статьи автор вкратце описывает христианскую антропологию, в том числе в том ее сегменте, который так или иначе соприкасается со «словесной деятельностью человека».

Вторая более объемная часть статьи очерчивает «лингвистические следствия» из христианской антропологии, «прямо относящиеся» к коммуникативной модели вербального процесса.

Нужно признать, что отношение между святоотеческими воззрениями на язык и ныне обсуждаемой коммуникативной моделью нельзя признать **следованием** второго из первого. Скорее, речь идет о параллельных – древних и современных – **размышлениях над единым предметом**, – в конце концов, о попытках авторов представить собственные (далеко не тождественные между собой) схемы описания реальности, с выделением соответствующих объектов, связей и даже ценностей. Древние и современные исследователи (богословы, философы, филологи, лингвисты и пр.) в любом случае делают это по-разному – в большей или меньшей степени различия. При признании их обоюдной независимости обнаруживаемые **совпадения** приобретают особую ценность: одно и то же констатируется «не связанными между собой экспертами». И наоборот, обнаруживаемые **различия** маркируют важные точки дискуссионности, обозначенные столь же независимо.

Оставляя в стороне **совпадения**, я обозначу наиболее существенные, с моей точки зрения, **различия**.

Важно при этом оговориться, что **целостный** богословский (христианско-антропологический) взгляд на вербальные данные является **конструктом**, собранным из мнений далеко не всех христианских богословов, а лишь немногих, наиболее серьезных и внимательных к предмету (автор статьи, например, использует по преимуществу труды Василия Великого, Григория Нисского, Феофана Затворника). В целом «среднестатистический» христианский взгляд на «язык», скорее, **балансирует** между платонизмом («мысле-знаковой концепцией») и основными так или иначе заявляющими о себе положениями коммуникативной парадигмы, или даже **склоняется к спонтанной платоновской** мысле-словной модели, идя рука об руку с традиционным «научным» языкознанием, в котором также признается **прямая связь вербального знака и значения**. Автор комментируемой статьи Г.В. Дьяченко производит попытку выделить такие воззрения христианских богословов, которые наиболее соответствуют коммуникативной модели (или попытку извлечь из многообразных

богословско-философских христианских воззрений те нити, которые можно использовать затем в плетении ткани коммуникативной модели).

Таблица. «Зазоры» (дискуссионные позиции) между коммуникативной моделью и наиболее внимательными к реальности святоотеческими воззрениями на вербальный материал

Параметры сравнения	*Христианская антропология* (в версиях *Василия Великого, Григория Нисского, Феофана Затворника*, условно признаваемая единством) о вербальном процессе	*Коммуникативная модель* вербального процесса
Отношение мысли (работы сознания) и слова	Слова **прямо отражают мысль**, являют «движения ума» человека, отличаются от мысли только наличием звука. Главное отличие (**акциональность** семиотического, в том числе **словосодержащего**, действия, и **неакциональность** мысли во внешнем коммуникативном пространстве) не замечаются, не считаются значимыми. Способность пользоваться словами часто именуется «**словесностью**», которая объединяется с понятием «разумности»: словесность и разумность фактически неразличимы.	Вербальные комплексы признаются связанными с мыслью **опосредовано**, **косвенно**, как замысел и детали его практической реализации. Вербальные клише используются при порождении коммуникативного (семиотического) действия **как один из учитываемых и реализуемых параметров**. Но мысль (работа сознания) принципиально не равна слову: так, существует возможность лгать – семиотически воздействовать на чужое сознание в своих интересах, имея в своем сознании «**не отражаемую** данными словами мысль», которая **не демонстрирует** настоящее «движение ума» говорящего.

Комплексность коммуникативного действия	Словесная деятельность признается **самодостаточной** возможностью «передавать движения ума». Отсюда попытки (по умолчанию оправданные) признать «значения слов», приписать смысл «сказанного» словам. Комплексность любого семиотического действия (в которое вербальные клише входят как неавтономные элементы) по умолчанию отрицается.	Любой семиотический (коммуникативный) акт, в том числе такой, в котором используются вербальные клише, является **комплексным**, сочетающим в себе работу многих каналов и используемых средств. Визуальные, аудиальные, осязательные, обонятельные и пр. данные, личные ресурсы опыта и памяти, владение семиотическими клише, представления об адресате и пр. **синтезируются сознанием коммуниканта**, организующего семиотическое действие.
Единицы-носители значения	По умолчанию признается, что **носителями значений в сказанном** (вербальной структуре=высказанной мысли=отражении мыслимых свойств вещей) являются **слова,** одинаковые для участников коммуникативного коллектива.	Единицей, обладающей относительным тождеством, можно считать **комплексное коммуникативное воздействие** (личный осознанный поступок, действие, отрезок семиотического поведения), выделенный в конкретном акте. Мыслимая цель воздействия («значение») имеет невербальную («осознанно-опытную») природу.

Язык	По умолчанию признается спонтанное понятие «язык» как **коллективный инструмент общения («средство передачи мысли»)** и **свойство человека**, отличающее его от иных существ. Это «отличительное свойство человека» часто именуется «**словесностью**» (что почти всегда подразумевает «вербальность», использование слов) и объединяется с понятием «разумности человека». При этом формула «человек – словесное существо» **оставляет без решения вопрос о разумности** тех, кто говорит плохо, мало, неумело, вообще не говорит от рождения, утратил способность говорить, не говорит в данный момент и пр. (дети различного возраста, люди различного уровня умственных способностей, немые, глухонемые, слепоглухонемые, утратившие способность говорить в результате травмы, больные психическими заболеваниями и пр.)	Понятие «язык» возникает спонтанно как средство описать ситуацию естественного говорения и письма: **все** пользуются **одним и тем же инструментом** общения. Понятие «язык» дезориентирует теорию вербального процесса, поскольку выдвигает **фантомный объект** для изучения и объяснения. Его фантомность состоит в нетождественности (различные образы «языка» в разных сознаниях; «все знают язык по-разному») и в том, что в действительности понимаются **комплексные коммуникативные воздействия** (в том числе такие, которые произведены без использования слов), а не вербальные формулы.

Свойства объектов, вовлекаемых в коммуникацию	По умолчанию признается **целостность и единство объектов** («вещей», «сущностей»), которым могут соответствовать слова (напр., «огонь», «семя», «зерно» и пр.). «Природа вещей», «сущность вещей» считается данностью, часто приписывается Богу, который их создал и назначил. Вещи обладают своими действиями («энергиями»). **Противоречие** между наличием у вещей **собственных** энергий, с одной стороны, и постоянным **примышлением** (у Каппадокийцев), с другой, **не разрешается**. Возможность постигнуть сущность (природу) вещей, обращаться с вещами в соответствии с их природой часто рассматривается всерьез как главное достоинство человека.	Признается **свободное выделение (определение) объектов и множеств**, возникающих при работе сознания и вовлекаемых (или не вовлекаемых) в актуальную коммуникацию. **Сознание создает дискретные объекты.** В коммуникацию вовлекаются такие созданные объекты и множества, которые посчитал актуальными коммуникант. Никаких собственных «действий» у вещей (которых самих нет вне сознания) не может быть. **Действием** может обладать только тот, кто совершает выбор. Единственная действующая сущность – сознающая себя и других (другое) **личность**. «Постижение вещи, сущности вещи» сводится к осознанию возможности включить выделенный объект в актуальное действие (деятельность) человека.

Виды деятельности	**Отсутствует разделение** на семиотическую и несемиотическую деятельность.	Признается принципиальное значение **разделения деятельности** на коммуникативную (семиотическую) и некоммуникатиную (несемиотическую). И то, и другое можно производить и интерпретировать как **поступки личности**. Семиотические действия всегда опосредованы сознанием, они невозможны без мыслимого коммуникантом воздействия на постороннее сознание.
Единство элементов вербального процесса для всех говорящих	По умолчанию признается **единство знаков** для участников коммуникативного коллектива.	Признается возможность **относительного тождества когнитивных состояний** и интериоризации внешних состояний, что представляет собой основание семиотического взаимодействия. Тела слов (клише) не могут считаться знаками, поскольку означаемое (планируемое воздействие) всегда индивидуально мыслимо в данном коммуникативном акте и отсутствует в «общедоступных телах слов». Цели коммуникативных актов не могут быть едиными у различных говорящих.

Суть коммуникации	По умолчанию для объяснения общения принимается концепция «обнаружения в слове движений ума», «**сообщения мыслей**». Естественная коммуникация редуцируется до обмена мыслями, превращается в процесс «мысль-сообщение».	Принимается концепция исполнения коммуникативных задач, достижения коммуникативных целей, постоянного «рыскания» коммуниканта в поисках возможностей опосредованного воздействия на постороннее сознание. По умолчанию принимается динамическая модель взаимовлияния и взаимодействия. В коммуникации не происходит прямого сообщения мыслей.
Коммуникация и познание действительности	Словесные данные, ввиду признаваемой прямой связи с умом (сознанием), считаются **обнаружением мыслимого образа действительности**: человек говорит то, что он мыслит. В трактовке вербальных данных образуется перекос в сторону «осознания действительности»: вербальным данным приписывается возможность открывать доступ к «тайникам сознания».	Образ действительности существует в сознании несловесно. Вербальные клише нужны в ситуации семиотических (коммуникативных) процедур, а себе самому обладатель сознания никаких знаков подавать не должен. Его процесс мышления не знаковый, не коммуникативный (а значит не словесный, не языковой). В производимом семиотическом действии (которое интерпретируется по множеству «знаков», по совокупности признаков внутренних состояний) личный «образ действительности» присутствует заведомо косвенно, выясняется в ходе интерпретации комплекса параметров семиотического действия.

В целом главными пунктами отличия святоотеческих воззрений от коммуникативной модели можно считать: 1) наличие-отсутствие концепции коммуникативного воздействия (с соответствующими трактовками коммуникативного-некоммуникативного смыслообразования в вербальных данных), 2) признание тождества-нетождественности мысли и слова, 3) признание «тольковербальности»-комплексности процедуры говорения, 4) условность-безусловность трактовки знака.

Нужно заметить, что в своем стремлении сблизить христианскую антропологию и коммуникативную модель автор комментируемой статьи иногда «срывается» в рискованные формулировки, граничащие с неточностью или неясностью: «слово» то означает что-то, то не означает; говорящий то мыслит словами («нарезает действительность» на слова-понятия), то не мыслит словами; говорение представляется то изложением мысли, то воздействием; коммуникативное действие с участием слов то рассматривается как комплексное, то как исключительно вербальное (гораздо чаще), и пр.

4.3. Коммуникативная стратегия: уточнение понятия (Ю.В. Журавлева, И.В. Журавлев)[1]

В качестве фактора инновационного развития современной науки рассматривается активное внедрение научных понятий, содержание которых отражает предметные области нескольких смежных дисциплин. Анализируется содержание понятия «коммуникативная стратегия» в контекстах филологии, психологии, юриспруденции. Показано, что в условиях вариативности содержания и контекстов употребления данное понятие сохраняет внутреннюю структуру, наиболее точно отражаемую в отечественной психологии общения. Общение рассматривается сложный многоуровневый и многоэтапный процесс, в котором задействуются вербальные и невербальные средства воздействия на собеседника.

1. В основу данной главы лег переработанный и дополненный текст публикации: *Журавлева Ю.В., Журавлев И.В.* Коммуникативная стратегия: уточнение понятия // Междисциплинарность науки как фактор инновационного развития: Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции (Казань, 11 октября 2017). Стерлитамак: АМИ, 2017. С. 118-122.

Введение

В условиях интенсивного преобразования средств, форм и объемов передачи информации, характерного для современного общества, меняются и характеристики предметного поля науки; равным образом претерпевает изменение и научный понятийный аппарат. Некоторые научные понятия «выходят» из той или иной дисциплины в более широкий междисциплинарный контекст. Этот закономерный процесс может сопровождаться, с одной стороны, размыванием содержания научного понятия, но с другой стороны – обновлением и уточнением этого содержания, достигаемым за счет привлечения новых взглядов и подходов. Например, в современной психолингвистике внедряется т.наз. триангуляционный подход к исследованию того или иного объекта, подразумевающий его рассмотрение с точки зрения разных теоретических моделей ради получения более полной научной модели самого объекта.

Данные процессы можно рассмотреть на примере понятия «коммуникативная стратегия», употребляемого в контекстах психолингвистики, психологии общения, риторики, семиотики, прагматики, социальной психологии, юридической психологии, юриспруденции и др. Здесь приводятся промежуточные результаты исследования, выполняемого при поддержке гранта РНФ № 17-18-01642 «Разработка коммуникативной модели вербального процесса в условиях кризиса языковой модели» в Институте языкознания РАН.

1. Понятие «коммуникативная стратегия» в современной науке

В современной науке под коммуникативной (коммуникационной) стратегией обычно понимают планирование действий (деятельности) с целью установления определенного уровня и формата коммуникации. В частности, коммуникативную стратегию определяют как «часть коммуникативного поведения или коммуникативного взаимодействия, в которой серия различных вербальных и невербальных средств используется для достижения определенной коммуникативной цели»[1]. По определению А.П. Сковородникова, коммуникативная стратегия – это стратегия выбора системы продуманных говорящим/пишущим поэтапных речевых действий или, по-другому, «линия речевого поведения, принятая на основе осознания коммуникативной ситуации в целом и направленная на достижение конечной коммуникативной цели (целей) в процессе речевого общения»[2].

Понимание коммуникативной стратегии другими авторами достаточно близко к указанному выше. Так, по В.П. Зернецкому, коммуникативная стратегия – это «творческая реализация коммуникантом плана построения своего речевого поведения с целью достижения общей (глобальной) языковой (неязыковой) задачи общения»[3]. Согласно И.А. Стернину, коммуникативные стратегии представляют собой «обусловленные коммуникативной целью общие стереотипы построения процесса коммуникативного воздействия в зависимости от условий общения и личности коммуникантов»[4]. Данный феномен также определяется как «совокупность, единство коммуникативных и практических целей»[5]; «комплекс речевых действий, направленных на достижение коммуникативной цели»[6] (на наш взгляд, данное определение не вполне точно, так как стратегия не может отождествляться с комплексом действий: действия *подчиняются* стратегии); «основная задача, генеральная интенция в рамках данного коммуникативного процесса»[7]; «когнитивный план общения, посредством которого контролируется оптимальное решение коммуникативных задач говорящего в условиях недостатка информации о действиях партнера»[8]. Коммуникативная стратегия «обусловливает определенную последовательность действий говорящего в соответствии с планом (в случае волевого поведения) или установкой (в случае импульсивного поведения)», задает однозначное прочтение смысла речевого поступка[9].

1. *Курлов А.Б.* Основы теории коммуникации. Уфа: РИО БашГУ, 2002.
2. *Сковородников А.П.* О необходимости разграничения понятий «риторический прием», «стилистическая фигура», «речевая тактика», «речевой жанр» в практике терминологической лексикографии // Риторика – Лингвистика. Вып. 5: сб. статей. Смоленск: СГПУ, 2004. С. 5.
3. *Зернецкий В.П.* Лингвистические аспекты теории речевой деятельности // Языковое общение: процессы и единицы. Межвузовский сборник научных трудов. Калинин: КГУ, 1988. С. 40.
4. *Стернин И.А.* Введение в речевое воздействие. Воронеж, 2001. С. 14.
5. *Городецкий Б.Ю.* От лингвистики текста – к лингвистике общения // Язык и социальное познание. М.: Изд-во АН СССР, 1990. С. 49.
6. *Иссерс О.С.* Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. Изд. 4-е, стер. М.: КомКнига, 2006. С. 54.
7. *Рытникова Я.Т.* Гармония и дисгармония в открытой семейной беседе // Русская разговорная речь как явление городской культуры. – Екатеринбург: Арго, 1996. С. 94.
8. *Иссерс О.С.* Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. Изд. 4-е, стер. М.: КомКнига, 2006. С. 100.
9. *Сухих С.А.* Структура коммуникантов в общении // Языковое общение: процессы и единицы. Межвузовский сборник научных трудов. Калинин: КГУ, 1988.

Н.А. Лукьянова пишет о двух коммуникативно-семиотических стратегиях как о способах конструирования социокультурной реальности: это стратегии «дискурсивного» и «презентативного» символизма, для описания которых автор ссылается на концепции конструирования мира в символических формах Ч.С. Пирса, А.Н. Уайтхеда, С. Лангер[1].

Исследователи подчеркивают, что выбор коммуникативной стратегии является задачей, решаемой при осуществлении любого социального действия. Коммуникативные действия и коммуникативные стратегии детерминируются социальными процессами, в которые вовлечены коммуниканты. Ссылаясь на ряд других исследователей, Ю.А. Мартынова выделяет три основных типа коммуникативных стратегий: презентацию, манипуляцию и конвенцию, различающиеся по уровню открытости, симметрии и способу производимой коммуникации: «презентационный тип является пассивной коммуникацией; манипуляционный – активной коммуникацией, конвенциональный – интерактивной коммуникацией». Соответственно, средствами коммуникации являются послание (в презентации), сообщение (в манипуляции), диалог (в конвенции)[2]. Отметим, что впервые данную классификацию коммуникативных стратегий предложил С. Дацюк[3]. Одной из самых распространённых является классификация, которая включает в себя четыре вида коммуникативных стратегий: информационная; регулятивно-воздействующая; эмотивная; интерпретирующая[4].

Понятие «коммуникативная стратегия» употребляется в работах по юриспруденции, политической лингвистике и др. Так, выделяют коммуникативные стратегии дискредитации, императивности, запугивания и уговаривания, раскрываемые при анализе текстов религиозных организаций[5]. В рамках исследований, посвященных проблеме речевого воздействия и манипуляции сознанием, рассматриваются стратегии убеждения и др.[6]

Мы видим, что понятие «коммуникативная стратегия» употребляется в очень разных контекстах, часто достаточно далеких друг от друга. Однако в целом данное понятие сохраняет свое содержание, восходящее, как мы полагаем, к принятому в философской терминологии соотнесению стратегии с формой (общим планом) организации той или иной деятельности. Если пользоваться терминами отечественных исследователей, указывающих, что в процессе общения (коммуникации) человек решает **две группы задач** – *задачи по организации общения*

1. *Лукьянова Н.А.* Коммуникативно-семиотические стратегии конструирования социальной реальности // Известия Томского политехнического университета. 2009. Т. 315. №6. С. 138-143.
2. *Мартынова Ю.А.* Анализ коммуникативных стратегий в общественно-публицистическом дискурсе // Известия Саратовского университета. 2009. Т. 9. Сер.: Социология, политология, вып. 2. С. 96-101.
3. *Дацюк С.А.* Коммуникационные стратегии // Гуманитарные технологии [Электронный ресурс]. 2006. https://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2006/2751.
4. *Попов А.А.* Характеристика коммуникативных стратегий, реализуемых в блогах журналистов // Научные ведомости. Серия Гуманитарные науки. 2013. №6 (149). Выпуск 17. С. 161-171.
5. *Балукова Н.А., Веснина Л.Е.* Коммуникативные стратегии и тактики в текстах религиозной организации «Великое белое братство "Юсмалос"» // Политическая лингвистика. 2013. №3 (45). С. 199-208; *Веснина Л.Е.* Коммуникативная стратегия запугивания в текстах религиозной организации «Свидетели Иеговы» // Политическая лингвистика. 2012. №2 (40). С. 66-70.
6. *Азылбекова Г.О.* Речевая стратегия убеждения: утилитарный аспект // Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2011. №1. С. 133-136.

и *задачи по организации совместной деятельности*[1], – то под коммуникативной стратегией можно понимать прежде всего то, как человек планирует решение задач по организации общения. Таким образом, коммуникативной стратегией можно назвать именно *форму* (или общий план) организации *общения* (но не деятельности). Соответственно, подразумеваемые в коммуникации способы регуляции *деятельности* коммуникантов (например, коммуникант хочет добиться от партнера по коммуникации какого-либо поведения) в понятие коммуникативной стратегии уже не входят либо должны оставаться на периферии его содержания.

1. *Тарасов Е.Ф.* Онтологические предпосылки теории речевого общения // Вопросы психолингвистики. 2017. №2 (32). С. 160-167.

2. Рациональное и иррациональное в общении

Понятие стратегии обычно подразумевает некоторый сознательный выбор субъекта. Однако нам представляется целесообразным показать, что субъект общения отнюдь не всегда может придерживаться той или иной коммуникативной стратегии сознательно.

Как уже отмечено выше, в ходе общения субъектом решаются задачи, направленные не только на организацию деятельности, но и на организацию самого общения. Это задачи на привлечение и удержание внимания собеседника, а также ориентацию в собеседнике и ориентацию собеседника в себе. Такие задачи решаются субъектом в гипотетических идеальных условиях общения. В реальности всё несколько сложнее. Например, субъект, организующий общение, не всегда сам знает, чего он хочет от себя или собеседника. Лишь в ходе общения и уже организованной совместной деятельности чаще всего мы только и начинаем понимать, что нам на самом деле нужно, каковы наши потребности, хотим ли мы делать то, что делаем, хотим ли общаться с данным человеком или нет, и т.д. Иногда мы только от другого человека узнаем о своих собственных качествах, намерениях или идеях. Поэтому принципиально важно дополнить список задач, решаемых субъектом в ходе организации общения, задачей на ориентацию субъекта в самом себе.

Как видно, уже на уровне организации общения не все действия субъекта могут быть рациональными и осознанными. Понимает ли студент, зачем он привлекает внимание лектора частыми вопросами? Понимает ли собственную мотивацию начальник, дающий привилегии или оказывающий внимание какому-либо сотруднику (сотруднице)? Чаще всего истинные мотивы наших действий, в том числе направленных на организацию общения с

другими людьми, являются для нас скрытыми.

Но и на уровне организации совместной деятельности многие действия субъекта общения также остаются иррациональными. Например, вряд ли можно найти такой трудовой коллектив, в котором не было бы конкуренции, скрытых и явных конфликтов, интриг, сплетен, расхождения (иногда весьма существенного) между тем, что декларируется, и тем, что делается, а также между тем, что говорится одним членам коллектива и тщательно скрывается от других. Если бы организация деятельности всегда основывалась исключительно на рациональных идеях и общем мотиве, не было бы таких ситуаций, когда кто-то из участников коллектива усердно рвется в облака, другой пятится назад, а третий тянет в воду.

Следует отметить, что противопоставление рационального в общении иррациональному не равнозначно противопоставлению сознательных форм коммуникации бессознательным. Общение представляет собой сложный многоуровневый и многоэтапный процесс, в котором задействуются вербальные и невербальные средства воздействия на собеседника, причем, даже если рассматривать исключительно вербальную составляющую этого процесса, в ней можно выделить как рациональные компоненты (аргументацию), так и иррациональные. В свою очередь, иррациональной может быть форма убеждения собеседника, основанная либо на ошибочной аргументации, либо на сознательных уловках аргументации. Кроме того, под категорию иррационального подпадают в принципе любые формы и средства общения, остающиеся за пределом рациональной аргументации. Это разные варианты убеждения, внушения, принуждения, манипуляции и т.п., связанные с комплексным воздействием на сознание, эмоции и поведение человека. Важно подчеркнуть, что как для субъекта, так и для объекта воздействия такой процесс всегда прозрачен лишь отчасти: отнюдь не всё в этом процессе доступно для сознания его участников.

Итак, придерживаться той или иной коммуникативной стратегии можно как сознательно, так и неосознанно. В особенности четко это демонстрируется примерами патологии семейной коммуникации, а также коммуникацией в специфических социальных группах, таких как религиозные секты. Попав в особые условия коммуникации, человек может не только перенимать ее стратегии и формы от других ее участников, но также с неизбежностью становится транслятором ряда мифологических представлений.

Комментарии

А.В. Вдовиченко

Ввиду того, что мои комментарии к другим статьям (в том числе статьям И.В. Журавлева и Ю.В. Журавлевой) уже содержат обсуждение многих затрагиваемых здесь принципиальных вопросов, я кратко остановлюсь только на нескольких аспектах.

1. Само выяснение того, что такое коммуникативная стратегия (что значит словосочетание «коммуникативная стратегия») – непродуктивный способ научной эвристики. Понимать можно только автора, а не термин. Автор демонстрирует свой способ моделирования реальности. Его модель можно принять или не принять. «Коммуникативная стратегия» в цепи его коммуникативных действий – такая же разменная монета, как и прочие «фантики». Поэтому, например, Иссерс, сказавшая, что коммуникативная стратегия – это «комплекс речевых действий, направленных на достижение коммуникативной цели»[1], остается в своем праве. Упрек авторов комментируемой статьи («данное определение не вполне точно, так как стратегия не может отождествляться с комплексом действий: действия *подчиняются* стратегии») попадает мимо цели.

2. В комментируемой статье продемонстрирован типичный текстовый и одновременно словесный подход к вербальному факту, что означает «концептуальное проваливание». Примером может служить вывод к первой части статьи:

«Понятие «коммуникативная стратегия» употребляется в очень разных контекстах, часто достаточно далеких друг от друга. Однако в целом данное понятие сохраняет свое содержание, восходящее, как мы полагаем, к принятому в философской терминологии соотнесению стратегии с формой (общим планом) организации той или иной деятельности. Если пользоваться терминами отечественных исследователей, указывающих, что в процессе общения (коммуникации) человек решает **две группы задач** – *задачи по организации общения* и *задачи по организации совместной деятельности*[2], – то под коммуникативной стратегией можно понимать прежде всего то, как человек планирует решение задач по организации общения. Таким образом, коммуникативной стратегией можно назвать именно *форму* (или общий план) организации *общения* (но не деятельности). Соответст-

1. *Иссерс О.С.* Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. Изд. 4-е, стер. М.: КомКнига, 2006. С. 54.

2. *Тарасов Е.Ф.* Онтологические предпосылки теории речевого общения // Вопросы психолингвистики. 2017. №2 (32). С. 160-167.

венно, подразумеваемые в коммуникации способы регуляции *деятельности* коммуникантов (например, коммуникант хочет добиться от партнера по коммуникации какого-либо поведения) в понятие коммуникативной стратегии уже не входят либо должны оставаться на периферии его содержания».

Авторы статьи, говоря о коммуникативной стратегии, имеют в виду весь «текст», или весь объем сказанного в общении, и приписывает этому объему постоянное свойство – быть общим планом деятельности. Здесь деятельность и сопутствующий ей текст мешают строить модель естественной коммуникации и попирают конкретное действие – главную дискретную единицу естественной коммуникации (с участием или без участия вербального компонента), поскольку, с точки зрения индивидуального сознания, каждый отдельный момент совершения семиотического поступка (действия) имеет индивидуальный конкретный и точечный план. Пример того, как принятая авторами точка зрения позволяет рассуждать о деятельности, но упускает из виду главное – конкретное действие. Реальность коммуникации – это реальность не деятельности, а действия. В каждый момент обладатель сознания находится в определенной коммуникативной позиции. Реальность дискурса – осознанная точка коммуникации. Рассуждение об общем (видение с птичьего полета) сбивает, заставляет попирать процессуальность коммуникации, которая (процессуальность) сохраняется даже в уже зафиксированной (в графическом, буквенном и пр. режимах) деятельности коммуниканта.

3. Предполагаемой в коммуникативной модели разделение действия и деятельности (точечный подход к деятельности) снимает ошибочную (вернее, не продуктивную) оппозицию общения и деятельности, проявленную в комментируемой статье: «Если пользоваться терминами отечественных исследователей, указывающих, что в процессе общения (коммуникации) человек решает две группы задач – *задачи по организации общения* и *задачи по организации совместной деятельности*…». Называйте семиотические действия совместной деятельностью или общением – никакой разницы нет с точки зрения того, что во всех случаях производится попытка **опосредованного воздействия на постороннее сознание**. Результатом этого воздействия могут быть (или не быть) дальнейшие совместные действия, но это уже другой аспект и другая стадия.

4. Бессознательный компонент, выделенный в коммуникативной стратегии, следует считать подобным любому предмету или явлению, не зависимому от работы индивидуального сознания и замешанным так или иначе в осознанных действиях. Так, если есть боль или какой-то не выведенный из подсознания глубинный фон, можно говорить о том, что все это подсознательно воздействует на поведение обладателя сознания. Но такого «подсознательного» («несознательного», не прошедшего через призму сознания) в мире слишком много, начни мы его коллекционировать. Практически все является несознательным (подсознательным), так или иначе влияющем на поведение субъекта. Однако, как я уже замечал, шарик, катящийся по наклонному желобу, нельзя считать самостоятельно действующим. Действует только мыслящий субъект, существование которого и есть его активный когнитивный статус. Как говорил старик Картезиус: cogito ergo sum, существовать – значит мыслить. Поэтому отделяем сознание от несознательного, и получаем чистое истинное существование – осознанное свободное поведение в существующих условиях, обработанных по мере сил данным сознанием, или сознательное действие в диапазоне свободы. На этом строится коммуникативная философия в области онтологии, этики и даже эстетики. Что касается семиотических действий, то сколько было в личном сознании в момент совершения действия, столько и было значения в семиотическом поступке (другое дело, что докопаться до личного когнитивного процесса бывает трудно). Нельзя судить и оценивать индивида за то, что он не делал сознательно и свободно.

4.4. Производство речи в теории речевого общения (Е.Ф. Тарасов)

Для построения коммуникативной модели языка излагаются ее онтологические предпосылки: речевая активность коммуникантов развертывается как инструмент организации общения, в ходе которого организуется совместная деятельность, которая детерминирует как развертывание речи, так и само речевое общение. К онтологическим предпосылкам также относится облигаторная общность сознаний, создающая предпосылки для знакового общения, в котором коммуниканты создают и воспринимают только тела языковых знаков при идентичности у коммуникантов знаний, ассоциированных с этими телами знаков. Излагается также теория производства речи А. А. Леонтьева как обладающая наибольшей объяснительной силой.

Эту статью следует рассматривать как вклад в решение проблемы «существует ли бессловесная мысль», полагая, что она исключит возможность лобовых решений, ведущих к неизбежной профанации проблемы.

Цель статьи – попытаться составить представление о внешних и внутренних процессах, при помощи которых говорящим/пишущим формируется содержание высказывания и затем отображается во внешней форме при помощи тел языковых знаков, составляющих речевую цепь в устной или письменной форме. Критерием отбора языковых единиц, из тел которых говорящий/пишущий формирует речевую цепь, служит определенное (но всегда опосредованное) соответствие содержания единиц мысли и содержанию языковых единиц.

Естественная презумпция этого отбора существует в общности сознаний коммуникантов, сформированной при присвоении в онтогенезе предметной и деятельностной форм этнической культуры, идентичной для коммуникантов, и в общности их этнического языка, значения языковых единиц которого с определенной адекватностью отображают (моделируют) содержание образов сознания коммуникантов, которое (содержание), в свою очередь, отображает объекты деятельностей, созданных членами этноса для обеспечения своего существования в определенном природном ландшафте. Иначе говоря, пытаясь описать речевые процессы, обеспечивающие совместную деятельность членов конкретного этноса, исследователь имеет дело со следующей феноменологией:

– *совместная деятельность* коммуникантов (цель которой – создание средств для их жизни), осуществляемая *по правилам конкретной этнической культуры*;

– *этническая культура*, созданная членами этноса для обеспечения своего бытования в конкретном природном ландшафте;

– *личности* коммуникантов, сформированные *в ходе присвоения своей этнической культуры*, которая доступна для них в *предметной* (совокупность предметов, изготовленных и потребляемых членами этноса), *деятельностной* (операции изготовления и потребления культурных предметов) и *идеальной* (знания о культурных предметах и способах их изготовления/потребления) формах;

– *коммуниканты как члены социума*, сформировавшие в ходе своей социализации способность к *изготовлению* (и потреблению) культурных предметов (в том числе, орудий-предметов и орудий-знаков), удовлетворяющих их потребности (витальные и социогенные), к *организации общения* и *совместной деятельности* по изготовлению культурных предметов, а также *языковую способность* – способность опосредовать речью свои психические процессы (сознание, логическое мышление, произвольная память, произвольное внимание и т.п.) и социальные отношения с другими членами этноса;

– *неязыковое сознание* коммуникантов, существующее в виде совокупности различных *образов сознания* (образов восприятия, воспоминания, представления), в форме которых реальная действительность существует для членов этноса, и обладающее качеством интерсубъектности, т.е. являющееся общим для всех носителей конкретной этнической культуры как результат ее присвоения;

– *языковое сознание* как совокупность языковых единиц, т. е. как совокупность специальных культурных предметов, употребляемых в качестве тел языковых знаков, ассоциированных с образами неязыкового сознания, отображающими культурные предметы и деятельности по их изготовлению/потреблению;

– *речь*, существующая в форме процессов производства и восприятия как *средство ориентировки субъекта* и *ориентирования объекта* речевого воздействия *в задачах речевого общения и задачах совместной деятельности*;

– *речевое общение* многоканальный и полисенсорный процесс регулирования коммуникантами внешнего и внутреннего

поведения друг друга при помощи вербальных и невербальных знаков (тембра, скорости, высоты, силы голоса, цвета предметов, запахов, знаковых характеристик предмета, улавливаемых *хеморецепторами*) и аудиального, визуального, осязательного, ольфакторного, феромононазального и *хеморецепторного* канала.

Наша попытка указать на сложную феноменологию речевого общения членов этноса ориентирована, в первую очередь, на формирование представления об облигаторности ее учета при создании адекватной модели речевого общения. Для лингвистики привычна редукционистская позиция изолирования процессов производства и восприятия речи не только от процесса речевого общения, но и от процесса совместной деятельности, что лишает исследователя возможности сформировать *смысл* речевой активности коммуникантов, который создается в ходе соотнесения *содержания* речевого сообщения, сконструированного реципиентом, с *целью говорящего* в совместной деятельности (это есть смысл для говорящего) и с *целью реципиента* в совместной деятельности (это есть смысл для реципиента). Если в модели речевого общения не отображаются реальные цели, достигаемые коммуникантами, то формирование смысла их речевых действий целиком зависит от произвола исследователя, приписывающего им собственные домыслы.

У любого исследователя процессов производства речи существует, по крайней мере, два способа формирования *объекта* анализа: или сформировать теоретическую картину речевых процессов, отображающую 1) говорящего/слушающего только как *субъекта*-производителя речи и *объекта*-реципиента речи, 2) *речь* в виде реплик и контрреплик коммуникантов, состоящую из языковых единиц, обладающих значением, а также 3) *потребности* «передавать и получать информацию», или построить теоретическую модель, отображающую 1) *двух субъектов совместной деятельности*, каждый из которых, руководствуясь собственным мотивом, преследует одинаковые цели (без этого совместная деятельность невозможна), 2) *их совместную деятельность* и, следовательно, 3) *их речевое общение*, которое развертывается ради ее организации, 4) *их языковое и неязыковое сознание*, общность которого позволяет сотрудничающим коммуникантам использовать 5) *специально изготовленные культурные предметы в качестве тел языковых*, способных благодаря общности образов сознания, ассоциированных с этими телами знаков, регулировать

6) *внутреннее и внешнее поведение коммуникантов*, побуждая их к активности путем построения в сознании *объекта* речевого воздействия 7) *образа этой активности* в форме ментальной картины их потребностного будущего.

Первый способ построения объекта исследования речевых процессов следует назвать редукционистским, а второй – антиредукционистским, первый способ практикуется в лингвистике, а второй, в частности, в теории речевой деятельности.

Лингвистика, ориентируясь на редукционистскую модель объекта исследования, рассматривает речь в качестве материала для построения системы языка как конструкта, отображающего синтагматические и парадигматические связи между языковыми единицами, упрощая свой объект исследования и делая его доступным для анализа.

Выражая более точно мысль о роли редукционистской модели объекта исследования в лингвистике, можно утверждать, что она фактически отказывается от научного анализа речи, ибо даже попытки построить новые модели в рамках таких дисциплин как прагмалингвистика, лингвистика текста, нарратология и даже дискурс-анализ исходят опять же из упрощенного представления о речевом общении, игнорируя его и социальные, и психические детерминанты, наиболее адекватно изучаемые пока только в сотрудничестве с социальной и общей психологией.

Сделаем промежуточное резюме.

В предыдущем разделе мы пытались показать чрезвычайно сложную феноменологию речевых процессов, которая должна, в первую очередь, предостеречь исследователя от поверхностных взглядов на процесс производства речи – казалось бы такой привычный и незагадочный, – и удержать от простых беллетристических описаний, практикуемых часто лингвистами при анализе речи (речевого общения).

Целесообразно исходить из представления, которому пока нет альтернативы, что лингвистика обладает научными знаниями только для описания языковых единиц и правилами организации речевой цепи, научные знания о внутренних процессах формирования содержания речевых единиц, сформированы только у психологов и, следовательно, механизм производства содержания формируемого речевого высказывания и его вербального овнешнения находится в руках психолингвистов, владеющих понятийным аппаратом психологии.

Коммуникативная модель языка в качестве альтернативы существующей структурной модели может быть построена только на основе научных экспериментально верифицированных теорий, а для такого построения требуется утилизация психолингвистических представлений о производстве/восприятии речи, созданных в теории речевой деятельности, ибо психолингвистики Ч. Осгуда и Миллера–Хомского не обладают экспериментально верифицированными теориями достаточной объяснительной силы.

Заранее отдавая предпочтение теории речевой деятельности А. А. Леонтьева вследствие ее экспликативных возможностей, мы должны заметить, что эта теория как всякая адекватная теория обладает достаточным потенциалом для ее фальсификации. Не случайны попытки построения альтернативных психолингвистических моделей, называемых социопсихолингвистикой, этнопсихолингвистикой и т. п. В «Основах теории речевой деятельности» – первом обобщающем труде по теории речевой деятельности – закономерно была помещена глава, названная «Социолингвистические проблемы теории речевой коммуникации», где была сделана попытка отрефлексировать социальные детерминанты (социальную интеракцию) речевого общения, не схватываемые общепсихологической теорией деятельности[1].

Феноменологическая сложность объекта исследования производства речи неизбежно вызывает необходимость комплексного (триангуляционного) подхода к анализу речевого общения, когда один объект исследуется 1) в рамках разных отдельных наук (лингвистика, филология, культурология, социология, коммуникативистика и т. д.) и в рамках уже сложившихся стыковых научных дисциплин (психолингвистика, социолингвистика, этнопсихолингвистика и т. д.), 2) разными научными коллективами, 3) при помощи разных научных теорий и 4) несовпадающими методами и методиками[2].

Теперь мы должны обратиться к анализу проблем внутренней речи в модели производства речевой деятельности (ТРД) А. А. Леонтьева как наиболее адекватной в наше время. Наиболее удачное решение проблемы внутренней речи было дано усилиями Л. С. Выготского и его ученика А. Р. Лурии и близкого к ним по своим взглядам на внутреннюю речь и ее функцию Н. И. Жинкина.

А. Р. Лурия, опираясь на идеи Л. С. Выготского, содержащиеся в известной работе «Мышление и речь», предлагает следующую модель производства речи:

1. *Тарасов Е. Ф.* Социолингвистические проблемы теории речевой коммуникации // Основы теории речевой деятельности. Отв. ред. д.ф.н. А.А.Леонтьев. М.: 1974. С. 225-274.

2. *Янчук В. А.* Методология, теория и метод в социальной психологии и персонологии: интеграционно-эклектический подход. Мн.: Бестпринт, 2000. 416 с.

– формирование мотива как побудительной причины производства речи;

– формирование мысли (замысла общей схемы содержания), которая должна быть воплощена в речи;

– внутренняя речь, в которой замысел перекодируется для реализации в развернутой речи;

– развернутое речевое высказывание[1].

Для понимания функции этапов производства речи интересно замечание А. Р. Лурии, что внутренняя речь направлена на себя, т. е. на говорящего, анализирующего степень соответствия сформированной мысли конструируемой внутренней речи.

Нельзя пройти мимо соображений А. Р. Лурии о полноте синтаксического оформления для диалогической и монологической речи: диалогическая речь развертывается на основе сокращенных схем внутренней речи, т. к. говорящие, опираясь на речь друг друга, используют сокращенные внешние речевые высказывания при естественно свернутой внутренней речи; устная монологическая речь, напротив, предполагает наличие развернутой внутренней речи при синтаксической неполноте, компенсируемой опорой на жесты, мимику, интонацию.

Несложный анализ показывает, что А. Р. Лурия в изложении проблемы внутренней и внешней речи следует, как мы увидим ниже, за Л. С. Выготским, который создал непротиворечивое представление о процессах производства речи для анализа эгоцентрической речи ребенка.

Самое существенное, что предложил А. Р. Лурия – это различение в речи «коммуникации событий (бытия)» и «коммуникации отношений», которые он соотнес с парадигматическими и синтагматическими связями слов в речевой цепи.

Еще одно замечание А. Р. Лурии должно привлечь внимание современного исследователя процессов языкового и неязыкового сознания. Исследователь, анализирующий путь мысли, сначала воплощенной в виде симультанной схемы, состоящей из образов сознания и отображающей объекты реальной действительности, оказывается перед необходимостью анализа внутренней речи, в форму которой субъект переводит невербальные схемы мысли и которая есть способ для него оценить адекватность этой перекодировки во внутреннюю речь, пока сориентированную только на себя, чтобы на следующем этапе внешней речи сформулировать первоначальную мысль-схему уже для других. Но

1. *Лурия А. Р.* Лекции по общей психологии. СПб.: Питер, 2006. 306 с.: ил. – (Серия «Мастера психологии»). С. 282.

здесь А. Р. Лурия делает интересное замечание, суть которого состоит в том, что кодирование мысли во внешнем слове имеет значение не только для слушающего, но и для самого говорящего, т. к. он имеет возможность оценить адекватность кодирования своей первоначальной мысли во внешнем слове и заявить или не заявить, что «мысль изреченная есть ложь».

Подготавливая онтологические предпосылки для своей теории производства речи, А. А. Леонтьев анализирует работы Н. И. Жинкина, взгляды которого на производство речи он оценивает в качестве близких как к Л. С. Выготскому, так и к А. Р. Лурии.

Представляет интерес обращение к мыслям Н. И. Жинкина, чтобы убедиться в определенной близости позиций Л. С. Выготского и Н. И. Жинкина о многозвенности человеческой речи, предполагающей оформление образов неязыкового сознания через фазу внутренней речи, овнешняемой затем в экспрессивной речи. Н. И. Жинкин пишет об этом в своей знаменитой статье «О кодовых переходах во внутренней речи»: «Применение натурального языка возможно только через фазу внутренней речи. Решить мыслительную задачу – это значит найти контролируемый выход из ситуации в определенном отношении. В языке это отображается в переосмыслении лексических значений. Слово не может обладать постоянным значением. Иначе при ограниченном количестве слов было бы ограниченное число высказываний, и вновь возникающее предметные ситуации не могли бы быть высказаны. Поэтому в процессе общения неизбежно меняется интерпретация лексики в силу того, что контекст определяет переосмысление лексических значений. Мысль в ее содержательном составе всегда пробивается в язык, перестраивает его и побуждает к развитию. Это продолжается непрерывно, так как содержание мысли больше, чем шаблонно-узуальные возможности языка. Именно поэтому зарождение мысли осуществляется в предметно-изобразительном коде: представление так же, как и вещь, которую оно представляет, может стать предметом бесконечного числа высказываний. Это затрудняет речь, но побуждает к высказыванию. Таким образом, механизм человеческого мышления реализуется в двух противостоящих динамических звеньях – предметно-изобразительном коде (внутренняя речь) и речедвигательном коде (экспрессивная речь). В первом мысль задается, во втором передается для первого звена»[1].

1. *Жинкин Н. И.* О кодовых переходах в внутренней речи // Вопросы языкознания. М., 1964. № 6. С. 26-38.

Эксперимент, проведенный Н. И. Жинкиным, позволил ему построить модель производства речи, состоящую из внутренней речи (предметно-схемный код) и внешней экспрессивной речи, хотя сам феномен кодовых переходов во внутренней речи, описанный им в этой знаменитой статье, дает ему возможность утверждать, что во внутренней речи присутствуют не только элементы предметно-схемного кода, т. е. образы сознания. Тем более, что ему наверняка была известна концепция внутренней речи Л. С. Выготского.

Л. С. Выготский описывает внутреннюю речь, отличную от внутренней речи Н. И. Жинкина, работая в абсолютно другой онтологии.

Онтология Л. С. Выготского – это внешняя речь взрослого человека, которую ребенок с помощью взрослого начинает усваивать, с трех лет у ребенка возникает эгоцентрическая речь, открытая Ж. Пиаже, но адекватно проинтерпретированная только Л. С. Выготским.

По Ж. Пиаже, эгоцентрическая речь – это речь ребенка, не обращенная к конкретному реципиенту, хотя наблюдается у детей, находящихся в группе. Ж. Пиаже полагал, что она афункциональна и только сопровождает внешние действия ребенка и интерпретировал ее в духе детского аутизма.

Для анализа внутренней речи у взрослых носителей языка как этапа при производстве речи Л. С. Выготский применил генетический анализ формирования речевых навыков у ребенка, показав, что развитие ребенка приходит к этапу эгоцентрической речи как к этапу владения речью, когда вокализация ребенка стала интеллектуальной. Эгоцентрическая речь, как экспериментально было показано Л. С. Выготским, выполняет функцию ориентировки в действительности. Последователи Л. С. Выготского уже после его смерти сформировали представление о том, что эгоцентрическая речь – это речевое мышление во внешней форме, пока у ребенка не сформировалась способность к речевому мышлению во внутренней, интериоризованной форме.

Л. С. Выготский не только обосновал генезис внутренней речи взрослых говорящих, возведя ее к эгоцентрической речи, но дал ей правдоподобное толкование. Он рассматривал ее «как особый внутренний план речевого мышления, опосредующий динамическое отношение между мыслью и словом <…> переход от внутренней речи к внешней представляет собой не прямой

перевод с одного языка на другой, не простое присоединение звуковой стороны к молчаливой речи, не простую вокализацию внутренней речи, а *переструктурирование речи*, превращение совершенно самобытного и своеобразного синтаксиса, смыслового и звукового строя внутренней речи в другие структурные формы, присущие внешней речи. <…> Переходы от внутренней к внешней речи есть сложная динамическая трансформация – превращение предикативной и идиоматической речи в синтаксически расчлененную и понятную для других речь»[1].

Таким образом, многозвенные модели Н. И. Жинкина, предложившего двухфазную модель речевых процессов – *предметно-схемный код*, овнешняемый в *экспрессивной речи*, и трехфазная модель Л. С. Выготского – *мысль*, отображаемая во *внутренней* (*свернутой, предикативной*) речи и репрезентированная субъекту мысли, и *внешняя речь*, репрезентирующая исходную мысль уже объекту речевого воздействия (реципиенту), показывают чрезвычайно сложный процесс производства человеческой речи.

Если, однако, учитывать многоканальность и полисенсорность речевого общения и принципиальное сосуществование в едином речевом потоке языковых и метаязыковых высказываний, то понимание процесса производства заметно усложняется.

Теория производства речи, разработанная в московской психолингвистической школе, была создана усилиями вначале А. А. Леонтьева и Т. В. Рябовой-Ахутиной, опубликовавшими первоначальный вариант модели производства речевого высказывания. Затем эта модель разрабатывалась А. А. Леонтьевым[2] и прежде всего Т. В. Ахутиной, опиравшейся на клинические исследования больных с афазиями, описанные в итоговой работе[3].

Собственно, производство речи начинается, по А. А. Леонтьеву, с ориентировки субъекта речи в индивидуальной деятельности с целью определения его возможностей решить индивидуально стоящую перед ним проблему, т. к. в противном случае ему нужно сотрудничество с другим человеком. Очевидно, что любое речепроизводство *целенаправленно*, т. е. ориентировано на более или менее определенного человека, и, что самое существенное, *мотивировано* необходимостью организовать сотрудничество с другим человеком.

Обосновывая необходимость построения в модели производства речи этапа ориентировки в ситуации и в собеседнике, А. А. Леонтьев опирается на идею Л. С. Выготского: «<…> мысль

1. *Выготский Л. С.* Собрание сочинений: в 6-ти т. Т.2. Проблемы общей психологии / Под ред. В. В. Давыдова. М.: Педагогика, 1982. – 504 с., ил. – (Акад. пед. наук СССР). С. 353.

2. *Леонтьев А. А.* Внутренняя речь и процессы грамматического порождения высказывания // Вопросы порождения речи и обучения языку. М., 1967; *Леонтьев А. А.* Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. М., 1969; Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность. М., 1969; *Леонтьев А. А.* Психофизиологические механизмы речи // Общее языкознание. М., 1970.

3. *Ахутина Т. В.* Нейролингвистический анализ лексики, семантики и прагматики. М.: Языки славянской культуры, 2014. 424 с. (Разумное поведение и язык. Language and Reasoning).

рождается <…> из мотивирующей сферы нашего сознания, которая охватывает наше влечение и потребности, наши интересы и побуждения, наши аффекты и эмоции»[1].

Этап формирования мотива будущего высказывания является облигаторным при любом подходе к анализу речевого общения и производству речи, в противном случае речь лишается своего социального основания и повисает в беспроблемной пустоте.

После этапа ориентировки и формирования мотива следует этап *внутреннего программирования*, которое А. А. Леонтьев отличает от *внутренней речи как средства программирования неречевых действий* и от *внутреннего проговаривания*. Следуя за Л. С. Выготским, А. А. Леонтьев так определяет внутреннюю программу: «Внутренняя программа соответствует только “содержательному ядру” будущего высказывания, а именно тем его компонентам, которые связаны отношением актуальной (выраженной в высказывании, например, глаголом) или латентной (выраженной прилагательным) предикативности. В современных терминах внутренняя программа высказывания представляет собой иерархию пропозиций, лежащих в его основе»[2].

В основе программы речевого высказывания лежит невербальный образ сознания (образ восприятия, воспоминания, представления). Н. И. Жинкин невербальную часть внутренней программы называл предметно-схемным или предметно-изобразительным кодом. «Изобразительность» этого кода подчеркивает аналоговый способ отображения объектов реальной действительности в сознании субъекта восприятия, а «схемность» указывает, что образ восприятия (воспоминания) в сознании человека существует в окружении (в схеме) других образов, отображающих констелляцию объектов в реальной действительности. В современных работах по психологии сознания существование образа сознания в констелляции с другими образами схватывается использованием понятия и «психическая репрезентация»[3].

Для того чтобы образ неязыкового сознания мог быть положен в основание будущего речевого высказывания, он должен приобрести некий предикат, которым в модели, предлагаемой А. А. Леонтьевым, служит личностный смысл, по А. Н. Леонтьеву[4].

В следующем этапе грамматико-семантической реализации внутренней программы А. А. Леонтьев, опираясь на многочисленные психолингвистические экспериментальные данные,

1. *Выготский Л. С.* Собрание сочинений: в 6-ти т. Т.2. Проблемы общей психологии / Под ред. В. В. Давыдова. М.: Педагогика, 1982. 504 с., ил. – (Акад. пед. наук СССР). С. 357.

2. *Леонтьев А. А.* Основы психолингвистики. Учебник для студ. Высш. Учеб. заведений. 4-е изд. испр. – М.: Смысл, Издательский центр «Академия», 2005. С. 114.

3. *Поляков С. Э.* Феноменология психических реакций. СПб.: Питер, 2011. 688 с.

4. *Леонтьев А. А.* Основы психолингвистики. Учебник для студ. Высш. Учеб. заведений. 4-е изд. испр. М.: Смысл, Издательский центр «Академия», 2005. С. 115.

предлагает различать *тектограмматический подэтап*, *феногрaмматический подэтап*, *подэтап синтаксического прогнозирования* и *подэтап синтаксического контроля*.

Содержание тектограмматического подэтапа – это операции перевода единиц внутренней программы на объективный языковой код. Центральной операцией этого подэтапа является подбор языковой единицы, набор семантических признаков которой в определенной степени отображает содержание образа сознания из внутренней программы, кроме того, в будущее высказывание вводятся дополнительные слова, уточняющие и предицирующие первоначально выбранное слово. Результатом действий говорящего является, по А. А. Леонтьеву, «<…> набор иерархически организованных единиц объективно-языкового кода, еще не обладающих полной семантической характеристикой <…>»[1].

1. Там же. С. 116.

Следующий подэтап – это феногрaмматический, где уже выстраивается некоторая цепочка грамматически неоформленный языковых единиц, содержание которых в распределенном виде отображает набор семантических признаков языковых единиц предыдущего подэтапа.

На подэтапе синтаксического прогнозирования речевая цепочка, сформированная на феногрaмматическом подэтапе выстраивается в соответствии с выбранной синтаксической структурой (что порождает так называемые «грамматические обязательства»). В процессе выстраивания речевой цепочки идет перебор каждого элемента высказывания и приписывания ему полной лексико-грамматической характеристики в соответствии с нормами конкретного языка, которая включает в себя: «<…> а) место в общей синтаксической схеме высказывания; б) грамматические обязательства <…> в) полный набор семантических признаков; г) полный набор акустико-артикуляционных (или графических) признаков»[2].

2. Леонтьев А. А. Основы психолингвистики. Учебник для студ. Высш. Учеб. заведений. 4-е изд. испр. М.: Смысл, Издательский центр «Академия», 2005. С. 117.

Синтаксический контроль позволяет, как полагает А. А. Леонтьев, обобщивший экспериментальные работы, соотнести результаты синтаксического прогнозирования с первоначальной программой высказывания, с физическими и социальными характеристиками ситуации общения, с горизонтальным и вертикальным речевым контекстом, с этическими нормами речевого общения, наконец[3].

3. Там же. С. 119.

Завершается подготовка высказывания к этапу внешней речи формированием моторной программы – программы движения артикуляторных органов.

Проанализированная теория производства речи А. А. Леонтьева есть гипотетическое построение большой объяснительной силы, предполагающее возможное осуществление или неосуществление рассмотренных операций. А. А. Леонтьев настаивает на том, что субъект речевого сообщения руководствуется эвристическим принципом, приспосабливая или даже опуская некоторые операции, заменяя их альтернативными. Поэтому свое гипотетическое построение А. А. Леонтьев считает теорией, которая может объяснить разные модели производства речевых высказываний и противоречивые результаты экспериментальных исследований[1].

Теория производства речи А. А. Леонтьева не стоит особняком, в своем движении от теоретических положений Л. С. Выготского он утилизовал достижения когнитивных психологов[2], нейрофизиологов[3], нейропсихологов[4] и даже лингвистов[5].

Вариант модели производства речи на основе многочисленных нейролингвистических экспериментов и клинических наблюдений предложен Т. В. Ахутиной, которая имеет наибольшие заслуги в деле разработки речевых проблем.

Приведем таблицу, содержащую схему процесса производства речи[6].

Мотив	
Преобразование мысленного образа прошедше-настоящего в образ потребного будущего	
Смысловое синтаксирование	Выбор внутренних слов по значению
Семантическое синтаксирование	Выбор слов по значению
Поверхностное синтаксирование	Выбор слов по форме
Кинетическое программирование	Выбор артикулем

Схема Т. В. Ахутиной почти полностью совпадает с моделью А. А. Леонтьева. В ней, как мы видим, сохранена идея

1. *Леонтьев А. А.* Основы психолингвистики. Учебник для студ. Высш. Учеб. заведений. 4-е изд. испр. М.: Смысл, Издательский центр «Академия», 2005. С. 120.
2. *Kintsch W., van Dijk T.A.* Towards a Model of Text Comprehension and Production // Psychological Review. V. 85. 1978.
3. *Черниговская Т. В., Деглин В. Л.* Проблема внутреннего диалога (Нейрофизиологические исследования языковой компетенции) // Труды по знаковым системам. Вып. 7. Тарту, 1984.
4. *Ахутина Т. В.* Порождение речи. Нейролингвистический анализ синтаксиса. М., 1989; *Ахутина Т. В.* Нейролингвистический анализ лексики, семантики и прагматики. М.: Языки славянской культуры, 2014. 424 с. (Разумное поведение и язык. Language and Reasoning).
5. *Кацнельсон С. Д.* Типология языка и речевое мышление. Л., 1972; Косевич В.Б. Семантика. Синтаксис. Морфология. М., 1988.
6. *Ахутина Т. В.* Нейролингвистический анализ лексики, семантики и прагматики. М.: Языки славянской культуры, 2014. 424 с. (Разумное поведение и язык. Language and Reasoning). С. 402.

Л. С. Выготского об укорененности речи в деятельности коммуниканта, в которой она имеет статус средства решения некоторой практической задачи, существующей в сознании коммуниканта как образ результата.

Для всех моделей производства речи, проанализированных и оставшихся за пределами нашего анализа[1] характерно понимание производства речи как движения от невербального образа сознания к его овнешнению при помощи вербальных моделей.

Прежде чем мы перейдем к заключению, необходимо обратить внимание всех настоящих и будущих создателей коммуникативной модели языка, которая мыслится как альтернатива существующей редукционистской модели языка, на чрезвычайную сложность объекта исследования, в котором собственно речь имеет статус элемента в системе, которая есть совместная деятельность коммуникантов, детерминирующая развертывание речевого общения как процесса организации этой совместной деятельности, и уже в этом общении появляется необходимость в речи в качестве инструмента организации как совместной деятельности, так и общения. Без учета такого статуса речи любая модель языка будет обречена на редукционизм и гадательные суждения.

1. *Зимняя И.А.* Функциональная психологическая схема формирования и формулирования мысли посредством языка // Исследование речевого мышления в психолингвистике. М., 1985.

Выводы

В заключение необходимо осмыслить требования к коммуникативной модели языка. Лингвистика своим объектом имеет такой идеальный объект как язык, для нее собственно речь в форме производства и восприятия есть только материал для наблюдения и анализа, хотя, кстати заметим, это единственная форма существования языка. Поэтому структурная модель языка как научное представление об универсальном средстве общения обладает поразительно ничтожными объяснительными возможностями для понимания речевых процессов.

Лингвистика, как показал В. М. Алпатов в своей «Истории лингвистических учений», возникла из нужд обучения иностранным языкам, и на ней лежит груз необходимости получения знаний о языке, которые нужны студенту, изучающему язык чужого этноса, хотя общество формирует социальные заказы на изучение и других проблем, возникающих при функционировании речевого общения в социуме. На эти социальные заказы лингвистика реагирует созданием стыковых дисциплин

(наиболее удачные – это психолингвистика, социолингвистика, нейролингвистика).

Таким образом, коммуникативная модель языка – это попытка создания концепции, объясняющей процесс общения людей при помощи производства и восприятия речи.

Если попытаться отрефлексировать чрезвычайную сложность и многоаспектность речевого общения как объекта анализа, то можно беспрепятственно прийти к выводу, что речевое общение должно быть объектом нескольких наук (психолингвистики, нейролингвистики, психологии совместной деятельности, психологии сознания, социальной психологии, культурологии, социологии и т. п.), нескольких теорий, объясняющих феномен совместной деятельности, социального взаимодействия людей, полисенсорного восприятия многоканального общения, общность сознаний коммуникантов (как предпосылку знакового общения), знакового регулирования внешним и внутренним поведением коммуникантов, психического воздействия коммуникантов друг на друга.

Сотрудничество при исследовании одного объекта разных наук, теорий, методик и методов получило название триангуляционного подхода[1].

Представляется, что для построения «Коммуникативной модели языка» триангуляционный подход – это единственно оптимальная форма анализа речевых процессов.

1. *Янчук В. А.* Психология на рубеже третьего тысячелетия – поиски парадигмальных координат, способа теоретизирования и метода исследования // Адукацыя і выхаванне. – 1999. № 8. С. 30-40; *Lazarus A. A.* Different types of eclecticism and integration: Let's be aware of the dangers // Journal of Psychotherapy Integration. 1995. Vol. 5(1), 27-39; *Morse J. M.* Approaches to Qualitative – Quantitative Methodological Triangulation // Nursing Research. 40 (2). 120-123 pp., March-April 1991.

Комментарии

И.В. Журавлев

Можно почти без оговорок согласиться как с общей идеей, отстаиваемой Е.Ф. Тарасовым в данной работе, так и с рядом ключевых формулировок. Принципиальное уточнение будет касаться вопросов методологии.

Е.Ф. Тарасов подчеркивает чрезвычайную сложность речевого общения как объекта анализа, делая справедливый вывод о том, что оптимальной формой анализа речевых процессов является триангуляционный подход. Но тут, на мой взгляд, нужно уточнить, в чем состоит упомянутая сложность объекта. Преимущества одного научного подхода перед другим должны быть связаны не только с тем, что один учитывает и объясняет больше дополнительных факторов: в этом состояло бы только количественное их различие. Более существенны различия в методологии. Действительно, подход к речевым процессам в теории речевой деятельности и теории речевого общения обладает преимуществами перед традиционным лингвистическим подходом. Однако сложность речи и речевого общения как объекта анализа не исчерпывается его многоаспектностью. Любая попытка непротиворечиво описать путь от мысли к слову наталкивается на фундаментальную *философскую проблему*, которую, конечно, наука может «не замечать», но которая, тем не менее, накладывает неизбежные ограничения на возможности научной методологии. Речь идет о *психофизической проблеме*.

Л.С. Выготский, прекрасно понимая, как эта проблема отражается на возможностях научного описания отношений между мыслью и словом, пытался нащупать пути ее решения, предлагая метафорические формулировки («мысль подобна нависшей туче», «мысль проливается дождем слов», «то, что в мысли содержится симультанно, то в речи развертывается сукцессивно») и представляя путь от мысли к слову как «живую драму». Исследователи описывают порождение речи как процесс, включающий ряд этапов. Но именно тут кроется загвоздка. Ведь порождение речи описывается как сукцессивный процесс (при всей его эвристичности, при встроенности одних этапов в другие). Но *переход* от симультанного (мысли) к сукцессивному (речи) представить как сукцессивный процесс

никак нельзя. Двигаясь от речи обратно к мысли, мы никогда мысли не найдем: мы всегда будем находить только свернутые формы речи. Мысль как таковая, поэтому, оказывается как бы за пределом речи, она представляется как некое «духовное» явление, ускользающее от любых научных процедур анализа. Здесь обнаруживает себя идеалистическая трактовка мышления, которая была для Л.С. Выготского неприемлемой.

Потому-то и нужно в разработке методологии исследований речевых процессов и речевого мышления прежде всего помнить о психофизической проблеме. Вот что писал об этом сам Л.С. Выготский: «Психофизическая проблема <…> заключается <…> не в отношении мозга и психики (может ли мысль сдвинуть на один микрон мозговой атом без затраты энергии), а в отношении мысли и речи, которая есть ее материализация, ее воплощение, *постоянно* совершающийся переход внешнего во внутреннее и внутреннего во внешнее, действительное, а не мнимое единство и борьба противоположностей (может быть, основное в развитии – историческом – сознания). <…> Это есть исторический материализм (принцип его конкретный) в психологии, а *мышление и речь – центральная проблема и via regia всей исторической психологии*»[1].

Решение психофизической проблемы, предложенное А.Н. Леонтьевым, заключается в отказе от противопоставления физического и психического: «действительная противоположность» – это противоположность образа и процесса. Процесс и образ связаны диалектическим отношением; процесс наполняет жизнью образ, а образ служит формой процесса. Отношение «образ—процесс» – это центральное отношение в любом сознательном явлении. Образ – это не «чувственная ткань плюс значение». Это чувственная ткань *внутри* значения, схваченная значением, или значение, *наполняемое* чувственной тканью. «Человек не “номинирует” чувственные образы – предметные значения есть компонент этих образов, то, что их цементирует для человека, то, что опосредует само существование этих образов»[2].

Поэтому некорректна формулировка, представляющая порождение речи как «движение от невербального образа сознания к его овнешнению». Это не движение из пункта А в пункт Б: это, скорее, жизнь А внутри Б. Не бывает не означенных образов сознания. Образ сознания – это *всегда* овнешненный образ

1. Записные книжки Л.С. Выготского. Избранное / Под общ. ред. Екатерины Завершневой и Рене ван дер Веера. М.: Издательство «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2018. С. 292-293.

2. *Леонтьев А.А.* Основы психолингвистики. М.: Смысл, 1997. С. 268-269.

(даже если он остается при этом внутренним). Образ сознания по сути своей – это форма социального взгляда на вещи, взгляда «глазами других». А такой взгляд – это неизбежно означивающий взгляд (нужно знать, что вещь *значит* для других, что она значит для социума). Итак, нет образа до означивания, до овнешнения. Другое дело, что овнешнение может происходить не только в средствах языка. Но язык, естественно, – это главная и с точки зрения развития психики первичная система средств овнешнения.

Комментарии

А.В. Вдовиченко

Статья Е.Ф. Тарасова «Производство речи в теории речевого общения» представляет собой пример попытки концептуализовать *речевое действие*, а не *семиотическое (коммуникативное) воздействие с участием вербального канала*: автору статьи, разделяющему и развивающему концепцию Московской психолингвистической школы (от Л.С. Выготского к А.Р. Лурии, А.Н. и А.А. Леонтьевым, Ю.А. Сорокину и др.), приходится приписывать речевому действию то, что в действительности свойственно комплексному семиотическому (воз)действию – феномену гораздо более обширному и сложному, чем его возможная вербальная составляющая. Высказанное автором в конце статьи пожелание ко «всем настоящим и будущим создателям коммуникативной модели языка» учитывать сложность объекта исследования относится как раз к несовершенству «Теории речевой деятельности» (А.А. Леонтьев и др.), которая видит слишком простой объект – *речевое действие* – и к нему пытается свести всю «чрезвычайную сложность и многоаспектность» многофакторной естественной семиотической процедуры.

Коммуникативная модель (в версии А.В. Вдовиченко) предлагает, наоборот, признать, что в естественных коммуникативных интеракциях производится и понимается *не речевое действие, а комплексное семиотическое воздействие*. В таком случае «сложность и многоаспектность» следует видеть не в вербальных данных (язык, речь, слово, языковое сознание и пр.), не имеющих тождества и автономности и не способных к смыслообразованию, а, наоборот, вербальные данные следует считать элементом «сложного и многоаспектного» *семиотического воздействия*, которое может производиться и пониматься коммуникантами (в том числе, оно может быть зачастую произведено и понято без привлечения вербального канала, то есть без *речевого* действия).

Таким образом, фундаментальная неточность статьи Е.Ф. Тарасова состоит в том, что внимание исследователя, несмотря на декларативное обвинение редукционистской языковой модели в неточности и наивности, оказывается по-прежнему *вербоцентричным и лингвоцентричным*, обращенным к слову и «языку», которые дезориентируют исследователя в поисках подлинных механизмов смыслообразования. Невербальное когнитивное состояние коммуниканта – альфа и омега, начальный

и конечный пункт семиотического воздействия, недвусмысленно психологический объект, отправная и конечная точка смыслообразования – скорее, подозревается и нащупывается автором интуитивно, с попыткой сохранения прежних вербоцентричных и лингвоцентричных воззрений. Поэтому когнитивный процесс в пространстве статьи слишком тесно увязывается с вербальными данными. Язык продолжает существовать как определенный объект со своими правилами и закономерностями. Значения языковых единиц отображают (моделируют) содержание образов сознания. Коммуникантов детерминируют единая культура, единое языковое сознание, единые вербальные знаки, культурные предметы, общая деятельность и пр.

В статье присутствуют все характерные для такого подхода несостыковки, которые, пользуясь случаем, удобнее изложить путем высказывания критических замечаний в адрес «Основ теории речевой деятельности», приведя список «претензий» коммуникативной модели к теории речевой деятельности, получивший оформление в статье[1]: *Вдовиченко А.В.* Чего нет в книге: Основы теории речевой деятельности (авт. коллектив: А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя, Б.Л. Гинзбург, А.М. Шахнарович, Р.М. Фрумкина, Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов и др.,). М.: «Наука», 1974. – 356 с. (см. также конкретные примеры замечаний к ОТРД в моих комментариях на статью в данном сборнике: *Тарасов Е.Ф.* Онтологические предпосылки теории речевого общения).

1. См. https://the-philosophy-of-language.org/

Коллективный труд «Основы теории речевой деятельности» (далее – ОТРД) представляет собой сумму воззрений Московской психолингвистической школы (от Л.С. Выготского, далее А.Р. Лурии, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, А.А. Леонтьева, Ю.А. Сорокина и др. до ныне здравствующих Е.Ф. Тарасова, Н.В. Уфимцевой, И.В. Журавлева и др.). Проецирование деятельности и действия на вербальный факт, так или иначе реализованное в идеологической программе этой книги (насколько можно видеть в ней целостность), нужно считать *наиболее перспективной возможностью создать адекватную модель вербального процесса*.

Однако в ОТРД, подобно многим другим попыткам видеть значения в предметных знаках и интерпретировать составленные из знаков структуры, создаваемая теоретическая модель вербального процесса сводится к описанию «производства и понимания слов (вербальных знаков, «речевых действий», «речевой деятельности»)», в то время как в естественном семиотическом процессе

порождаются и понимаются многофакторные и многоканальные коммуникативные (семиотические) воздействия коммуниканта, реализованные с привлечением или без привлечения слов. Ввиду этой фундаментальной неточности в ОТРД присутствуют не достаточно реалистичные – с точки зрения коммуникативной модели – способы концептуализации вербальных фактов:

1. «Язык» в ОТРД воспринимается как целостный объект и как эффективный концептуальный инструмент. Как в случае с «языком», сторонники теории речевой деятельности тратят значительные усилия на поиски различных *детерминант* сознания коммуниканта (единая культура, единые значения слов, единое языковое сознание, единые культурные предметы, единая картина мира, и пр.), в то время как реального коммуниканта, совершающего семиотическое воздействие, все время интересует *новизна* – привнесение *изменений в постороннее сознание*, чего еще не было и нет ни в культуре, ни в языке, ни в значениях слов, ни в языковой и неязыковой картине мира, ни где бы то ни было. Тем более что в сознаниях различных коммуникантов никакого реального единства и единообразия ни в знании «языка», ни в знании значения слов, ни в восприятии культуры и картины мира засвидетельствовать невозможно. Авторы, таким образом, скорее, пытаются найти общность «носителей языка и культуры» в области бессознательного, но в том то и дело, что любой семиотический акт (в том числе с привлечение вербального канала) – это заведомо *сознательный* процесс, предполагающий постановку целей, анализ ситуации воздействия, выбор способов воздействия, намеренное изменение когнитивного состояния адресата и пр.

Так, Е.Ф. Тарасов в «речевых процессах, обеспечивающих совместную деятельность членов конкретного этноса», находит, среди прочих, следующие детерминирующие факторы: *совместная деятельность* коммуникантов, осуществляемая *по правилам конкретной этнической культуры*; *этническая культура*, созданная членами этноса для обеспечения своего бытования в конкретном природном ландшафте; *неязыковое сознание* коммуникантов, существующее в виде совокупности различных *образов сознания* (образов восприятия, воспоминания, представления), в форме которых реальная действительность существует для членов этноса, и обладающее качеством интерсубъектности, т.е. являющееся общим для всех носителей конкретной этнической культуры как результат ее присвоения; *языковое сознание* как

совокупность языковых единиц, т. е. как совокупность специальных культурных предметов, употребляемых в качестве тел языковых знаков, ассоциированных с образами неязыкового сознания, отображающими культурные предметы и деятельности по их изготовлению/потреблению.

Если всё общее, и всё у всех есть (культура, язык, предметы, значения слов, языковое и неязыковое сознание), то зачем говорящие говорят – непонятно. При этом если попытаться тестировать говорящих на предмет общего осознанного знания «языка», культуры, предметов, личностей, сразу выясняется безбрежное поле различий. Если в мире никем не осознанных объектов и связей можно попытаться констатировать единство (например, признать, что слово «модель» все видят одинаково, и в единой культуре оно имеет одинаковый смысл), то в мире семиотических процессов нет неосознанных неинтенциональных неличных процедур, а, значит, фактор различия сознаний не может себя не проявлять. Теорию *семиотических* процессов приходится, таким образом, строить с учетом фактора нетождественности сознаний – в области интересов, выделяемых объектов, признаваемых значимыми связей, ситуативных фокусов внимания, личных опытов и пр. (именно поэтому само слово «модель» без обладателя сознания оказывается неизвестно чем: она одновременно ходит по подиуму, стоит неподвижно под стеклом, отражает значимые черты объекта, является синонимом «модуль», или вообще глаголом, и пр.). На снова возникающий вопрос «А как же тогда говорящие говорят?» ответ дает только коммуникативная модель: они не говорят, а производят семиотические воздействия, вернее, попытки таковых. Смыслы и значения происходящего в коммуникативных процедурах заключены не в статическом «ничьем» и «никаком» мире (культуре, словах, языках и пр.), а в попытках производимых сознательных изменений, тождество (смысл) которым придает вариативное и интенциональное личное сознание.

2. В ОТРД «язык» признается модулем, встроенным в порождение словесного высказывания, что заставляет исследователей вводить его как автономный фактор в модель описания вербального процесса. Ввиду того, что говорящие на родном «языке» не осознают его как грамматическую номенклатуру, не знают «язык» единообразно и не задумываются о письменном представлении того, что они говорят, – в коммуникативной модели вербального процесса принимается более реалистичная («более психологи-

ческая» и «более естественная») картина того, что по традиции называется «языком»: то, что известно говорящим на родном «языке», скорее, можно считать *знанием (некоторого сегмента) коммуникативной типологии и коммуникативных клише*. Не зная собственного «языка» ни в виде единого структурного тела, ни в виде написанных знаков, «носители» знают (в некотором объеме) *типологические ситуации коммуникативных взаимодействий*, которые совмещаются в их сознании с произнесением *вербальных комплексов различной протяженности (в том случае, когда в коммуникативное действие вовлекается вербальный канал)*. Из этих индивидуальных наборов, на основе все той же коммуникативной типологии, создаются затем «нормы» (грамматики и словари) в различных (искусственно обособленных) сферах коммуникации.

Так, в статье Е.Ф. Тарасова с одобрением цитируется Н.И. Жинкин, который на поверку репрезентирует как московскую психолингвистическую школу, так и всю «языковую» парадигму: «Применение натурального языка возможно только через фазу внутренней речи. Решить мыслительную задачу – это значит найти контролируемый выход из ситуации в определенном отношении. В языке это отображается в переосмыслении лексических значений. Слово не может обладать постоянным значением. Иначе при ограниченном количестве слов было бы ограниченное число высказываний, и вновь возникающее предметные ситуации не могли бы быть высказаны. Поэтому в процессе общения неизбежно меняется интерпретация лексики в силу того, что контекст определяет переосмысление лексических значений. Мысль в ее содержательном составе всегда пробивается в язык, перестраивает его и побуждает к развитию. Это продолжается непрерывно, так как содержание мысли больше, чем шаблонно-узуальные возможности языка. Именно поэтому зарождение мысли осуществляется в предметно-изобразительном коде: представление так же, как и вещь, которую оно представляет, может стать предметом бесконечного числа высказываний. Это затрудняет речь, но побуждает к высказыванию. Таким образом, механизм человеческого мышления реализуется в двух противостоящих динамических звеньях – предметно-изобразительном коде (внутренняя речь) и речедвигательном коде (экспрессивная речь). В первом мысль задается, во втором передается для первого звена»[1].

Как видно, в изложенной картине присутствует *характерная путаница*, свойственная любым попыткам сохранить «язык» в теоретической модели: в общении используется «натуральный

1. *Жинкин Н. И.* О кодовых переходах во внутренней речи // Вопросы языкознания. М., 1964. № 6. С. 26-38.

язык», говорит Н.И.Жинкин (заключаем, что, с его точки зрения, «язык» эффективен как теоретический конструкт. – *А.В.*). Но его единицы постоянно переосмысляются (тогда можно ли считать язык чем-то определенным (удобным теоретическим объектом), если конкретных единиц в нем нет? – *А.В.*). Слово не может обладать постоянным значением (значит, единиц языка просто не существует в тождественном виде? – *А.В.*). Значения определяются по контексту (значит, в самих единицах определенного значения нет, а, значит, нет и того, *что* считается составленным из этих единиц – определенного «языка»?) – *А.В.*). Мысль всегда перестраивает язык, мысль больше языка (значит, мысль не то же самое, что язык и речь? – *А.В.*). Несовпадение языка и мысли объясняется тем, что мысль зарождается в предметно-изобразительном коде (значит, мысль свободна от слов и языка? – *А.В.*). «Механизм человеческого мышления реализуется в двух противостоящих динамических звеньях – предметно-изобразительном коде (внутренняя речь) и речедвигательном коде (экспрессивная речь)» (значит, все же единый механизм мышления – и в первом звене речь, и во втором – тоже речь? – *А.В.*). Таким образом, язык есть, но его нет. Единицы есть, но они не обладают смыслом. Мысль больше языка, но она словесно-рече-языковая. Коммуникативная модель снимает эту запутанность: процедуры мышления не вербальны (см. эксперимент «Удар локтем»[1]); акты сознания не действенны (не акциональны, не могут привести к изменениям) во внешних когнитивных состояниях (процессах); семиотические акты (в том числе с вовлечением слов), наоборот, нужны обладателю сознания только для опосредованного воздействия на внешнее когнитивное состояние; они не совпадают с мыслью, пребывающей на стадии принятия решения о *воздействии*, которое затем совершается обладателем сознания в когнитивном пространстве (см. эксперимент «Запись последовательности знаков по памяти», в котором испытуемые – обладатели сознания – «записывали свои мысли» в виде «arnoleturah_grolta», «бдолутавегмар_жалми» и пр. Никаких слов и языков в этих «высказываниях» не было, но *эти записи были частью смыслообразующего коммуникативного акта*: испытуемые обнаруживали несловесное содержание собственного сознания и производили воздействие на внешнее когнитивное состояние – сознание экспериментатора).

3. Отсутствует идея семиотического воздействия (попытки воздействия) как кванта коммуникативного процесса. В теоретической программе ОТРД речь идет о «деятельности», о «совместной

1. *Вдовиченко А.В.* Факт сознания и коммуникативное действие: краткий эксперимент // Вопросы психолингвистики 2 (40) 2019. С. 30-41.

деятельности», об «организации совместной деятельности», но об изменениях когнитивного статуса адресата сторонники ТРД почти вообще не говорят. Можно назвать эту позицию марксистским отголоском, эхом диалектического материализма: «деятельность как совместный труд». Делается акцент на цели и результате какой-то предметной деятельности ради удовлетворения жизненно необходимых потребностей («деятельность ради конечного продукта»), в то время как главным и прямым результатом любого семиотического акта является *изменение когнитивного состояния адресата*. Оно и есть мыслимый коммуникантом результат его опосредованного коммуникативного воздействия (после чего, впрочем, может последовать и та самая «совместная деятельность», запуск «общего ритма труда» (А. Платонов), но может и не последовать, а изменения в сознании адресата все равно будут иметь место).

Так, Е.Ф. Тарасов дает характерный пример «деятельности как совместного труда», когда обращает внимание на «чрезвычайную сложность объекта исследования, в котором собственно речь имеет статус элемента в системе, которая есть *совместная деятельность коммуникантов*, *детерминирующая* развертывание речевого общения как процесса *организации этой совместной деятельности* и уже в этом общении появляется необходимость в речи в качестве *инструмента организации как совместной деятельности, так и общения* (курсив мой. – *А.В.*)».

Другой пример из статьи – очерченная Е.Ф. Тарасовым более правильная, чем языковая, теоретическая модель, которая отображает «1) *двух субъектов совместной деятельности*, каждый из которых, руководствуясь собственным мотивом, преследует одинаковые цели (без этого совместная деятельность невозможна), 2) *их совместную деятельность* и, следовательно, 3) *их речевое общение*, которое развертывается ради ее организации, 4) *их языковое и неязыковое сознание*, общность которого позволяет сотрудничающим коммуникантам использовать 5) *специально изготовленные культурные предметы в качестве тел языковых*, способных благодаря общности образов сознания, ассоциированных с этими телами знаков, регулировать 6) *внутреннее и внешнее поведение коммуникантов*, побуждая их к активности путем построения в сознании *объекта* речевого воздействия 7) *образа этой активности* в форме ментальной картины их потребностного будущего (курсив не мой. – *А.В.*)».

4. В ОТРД повсеместно коммуникативное действие (с участием слов) приравнивается к речевому компоненту коммуникативного (семиотического) действия, отождествляется с ним. Поэтому рассматривается такое «речевое действие» (как у Остина, Серля и др.), в котором не мыслится комплексности любого естественного коммуникативного (семиотического) воздействия. В речевом действии, по ОТРД, действующим компонентом являются грамматикализованные слова-значения.

Так, исключительно высоко оценивая программу порождения речевого высказывания А.А. Леонтьева, Е.Ф. Тарасов приводит ее этапы, из содержания которых ясно, что А.А. Леонтьев (как и иные представители школы – Выготский, Лурия, Жинкин) занят описанием вербального предложения, а не семиотического многофакторного воздействия, способного производить тождественное смыслообразование: от мотива (с неясным статусом, то ли вербальным, то ли полу-вербальным) до передачи задания артикуляторным органам.

Попытки Е.Ф. Тарасова видеть комплексность происходящего сводятся к указанию на сложность свойств самой вербальной структуры. Видится все тот же вербальный объект, в то время как реальный говорящий не говорит/пишет слова, а производит семиотические воздействия, в составе которых могут быть и вербальные элементы – факультативные элементы коммуникативного смыслообразования (см. эксперимент «Просмотр видеонарратива без слов»[1]): «Если, однако, учитывать *многоканальность и полисенсорность речевого общения* и *принципиальное сосуществование в едином речевом потоке* языковых и метаязыковых высказываний, то понимание процесса производства заметно усложняется» (курсив мой. – *А.В.*). Кардинальное отличие коммуникативного действия (с вовлечением вербальных клише) от вербального высказывания продемонстрировано в эксперименте «Точка смеха в анекдотах», а также в статье-эксперименте «Вербальные данные в составе коммуникативного действия: язык, текст, автор, интерпретатор»[2].

5. В ОТРД отсутствует разделение коммуникативного (семиотического) и некоммуникативного (воз)действий. Поэтому отсутствует идея об *опосредованности* семиотического воздействия и *непосредственности* некоммуникативного воздействия (ср.: *приветствовать коллегу*, который в своем сознании считывает когнитивное состояние приветствующего и интерпретирует его

1. *Вдовиченко А.В.* Акциональное смыслообразование: что порождается и понимается в естественном коммуникативном процессе // Вопросы психолингвистики 2018 № 3 (37). С. 112-125.

2. *Вдовиченко А.В., Тарасов Е.Ф.* Вербальные данные в составе коммуникативного действия: язык, текст, автор, интерпретатор // Вопросы психолингвистики 2017 № 4 (34). С.. 22-39.

«бесконтактный» семиотический поступок, *vs резать хлеб*, который не считывает и не интерпретирует, а подвергается прямому не опосредованному сознанием незнаковому воздействию). В ОТРД вся акциональная (смыслообразующая, «воздействующая») проблематика опосредованного семиотического воздействия «упрятана» в «совместную деятельность» («сотрудничество»), или коллективный трудовой процесс, и поглощена им (ср. говорение слов рабочими попутно с передаванием друг другу кирпичей, у Витгенштейна: главное – передавание кирпичей, а слова – где-то сбоку, но точно не главные). Говорение (письмо) рассматривается даже не как собственно деятельность, а как *средство* обеспечить совместную практическую деятельность. С точки зрения ОТРД, *ничего нового и полезного для жизнедеятельности в процессе «речевой деятельности» не создается*. Изменения сознания адресата как цель и результат коммуникативного воздействия (с участием слов) игнорируются, не замечаются (именно поэтому настоящая практическая «деятельность» отделяется от «речевого общения»). Деятельности семиотическая и несемиотическая в лучшем случае смешиваются, а чаще речевой акт рассматривается как придаток трудового процесса, как говорение без практического результата («общение»). Принципиальное отличие семиотического действия (и деятельности) от несемиотического – *опосредованность воздействия сознанием (то есть когда семиотический актор воздействует на адресата через посредство его сознания знаковым «бесконтактным» поведением, а не как нож воздействует на разрезаемый хлеб)* – фактически игнорируется в пространстве ОТРД. Такая семиотическая нечувствительность становится критичной для создания адекватной теории вербального и вообще семиотического процесса, поскольку теоретик ТРД невольно ориентируется на некорректно сконструированный объект: говорящий (вернее, семиотический актор) пытается произвести сложные изменения в сознании адресата, а теоретик ТРД видит в этом только желание говорящего вместе с адресатом попить чаю с бутербродами. В процессе говорения слов усматривается слишком утилитарная цель – совместная практическая («слишком практическая») деятельность. Вне принципиального разделения семиотического и несемиотического действий «посредники», то есть *индивидуальные сознания* семиотического актора и адресата (к последнему актор обратился с собственным планом изменений его статуса), примитивизируются, вульгаризируются, лишаются

творческого преобразующего начала, сводятся всего лишь к тому, чтобы быть автоматизированными передаточными механизмами (конвейерами), доставляющими внутренне-речные мотивы-мысли до точки внешне-речного обнаружения мысли (и обратно), что якобы помогает координировать совместную деятельность по удовлетворению потребностей в жизненно необходимом.

Так, Е.Ф. Тарасов устанавливает строгое «соответствие содержания единиц мысли и содержания языковых единиц»: «Критерием отбора языковых единиц, из тел которых говорящий/пишущий формирует речевую цепь, служит определенное (но всегда опосредованное) соответствие содержания единиц мысли и содержанию языковых единиц». Этот конвейерный процесс передачи коммуникантом значений через слова детерминируется общностью сознаний коммуникантов, общей деятельностью, общим этническим языком, связанностью значений языковых единиц с образами сознания: «Естественная презумпция этого отбора (отбора языковых единиц. – *А.В.*) существует в общности сознаний коммуникантов, сформированной при присвоении в онтогенезе предметной и деятельностной форм этнической культуры, идентичной для коммуникантов, и в общности их этнического языка, значения языковых единиц которого с определенной адекватностью отображают (моделируют) содержание образов сознания коммуникантов, которое (содержание), в свою очередь, отображает объекты деятельностей, созданных членами этноса для обеспечения своего существования в определенном природном ландшафте». В этой автоматизированной и детерминированной картине не остается места для новизны, но именно ее преследует и реализует коммуникант, обладающий диапазоном свободы, собственными интересами, вариативностью в выборе целей и способов воздействия, собственным видением, возможностью создавать объекты и актуальные множества, и пр. Несмотря на «единые для всех слова-значения», коммуникант совершает коммуникативные действия с их участием (и даже без). Иными словами, опосредованность коммуникативного воздействия состоит не в конвейерной функции сознания (перевод значения в знаки по правилам и обратно), а в вариативном действии сознания принятии свободного решения о необходимых изменениях постороннего когнитивного состояния и в не обусловленных физическими процессами семиотических воздействиях (и их интерпретациях).

6. Речевая деятельность в ОТРД воспринимается как выражение мысли, передача мысли, высказывание мысли, несмотря на то, что воздействие (напр., открывание двери, приказ) – это уже не мысль, а воздействие, или попытка воздействия. Мысль (принятие решения об открывании двери, о необходимости отдать приказ) остается на стадии планирования, определения объектов воздействия, анализа ситуации действия, и пр. (ср. намеренная ложь, в которой состояние сознания – «мысль» – и говоримый контент – элемент воздействия – разительным образом не совпадают). Идея воздействия в ОТРД последовательно не реализуется, поскольку теоретики заняты традиционным объектом «мысль, выражаемая (связанная со) словом». В тех немногочисленных эпизодах, где идея воздействия все же возникает, нет понимания того, что идея действия радикально перестраивает всю сложившуюся слово-ориентированную теорию вербального процесса.

Так, Е.Ф. Тарасов, говоря о модели речепорождения Н. И. Жинкина и Л.С. Выготского, дает всю характерную панораму слово-мысленного подхода к вербальному процессу, оставляя за бортом принципиальное разделение внутренней неакциональной невербальной «мысли» и акционального направленного вовне (возможно, с участием слов) семиотического действия: «Многозвенные модели Н. И. Жинкина, предложившего двухфазную модель речевых процессов – *предметно-схемный код*, овнешняемый в *экспрессивной речи*, и трехфазная модель Л. С. Выготского – *мысль*, отображаемая во *внутренней* (*свернутой, предикативной*) речи и репрезентированная субъекту мысли, и *внешняя речь*, репрезентирующая исходную мысль уже объекту речевого воздействия (реципиенту), показывают чрезвычайно сложный процесс производства человеческой речи». Теоретики (Л.С. Выготский, Н. И. Жинкин, Е.Ф. Тарасов), несмотря на декларированный психологизм вербального процесса, пытаются по традиционной лингвистической привычке утвердить его на единой мысле-словной территории.

7. Слишком тесное увязывание мысли и слова (мысле-словная парадигма) ведет авторов ОТРД к созданию (одобрению) концепции «внутренней речи», которая фактически отождествляется с мышлением. Различные оговорки (о стяженности и свернутости внутренней речи, о ее предметно-изобразительном характере, о ее «внутренности» и «не-овнешненности» и др.) не меняют сути концепции: мышление в итоге оказывается «про-

говариванием мыслей» (заметим, что нереалистичность такого взгляда демонстрируется в экспериментах «Удар локтем»[1], «Запись последовательности символов по памяти»[2], где процессы мышления с очевидностью обнаруживают свою невербальность, независимость от «проговаривания»).

Так, Е.Ф. Тарасов с одобрением ссылается на концепцию эгоцентрической детской речи Ж. Пиаже, проинтерпретированную Л.С. Выготским и для взрослой речи: «Эгоцентрическая речь, как экспериментально было показано Л. С. Выготским, выполняет функцию ориентировки в действительности. Последователи Л. С. Выготского уже после его смерти сформировали представление о том, что эгоцентрическая речь – это речевое мышление во внешней форме, пока у ребенка не сформировалась способность к речевому мышлению во внутренней, интериоризованной форме».

Ясно, что автор статьи так или иначе увязывает внутреннюю речь с процессами мышления, опираясь на концепцию Выготского: «Л. С. Выготский не только обосновал генезис внутренней речи взрослых говорящих, возведя ее к эгоцентрической речи, но дал ей правдоподобное толкование. Он рассматривал ее «как особый внутренний план речевого мышления, опосредующий динамическое отношение между мыслью и словом <…> переход от внутренней речи к внешней представляет собой не прямой перевод с одного языка на другой, не простое присоединение звуковой стороны к молчаливой речи, не простую вокализацию внутренней речи, а *переструктурирование речи*, превращение совершенно самобытного и своеобразного синтаксиса, смыслового и звукового строя внутренней речи в другие структурные формы, присущие внешней речи. <…> Переходы от внутренней к внешней речи есть сложная динамическая трансформация – превращение предикативной и идиоматической речи в синтаксически расчлененную и понятную для других речь»[3].

По-видимому, традиционная формула «в процессе говорения высказываются (передаются) мысли», «слово есть высказанная мысль» и пр. – принимаются Е.Ф. Тарасовым, вслед за Л.С. Выготским, по умолчанию, с незначительными оговорками.

Заметим, что мышление и реализация (попыток) воздействий – принципиально различные процедуры: внутренняя неакциональная *мысль* обращена к «положению дел», представляет собой констатацию *status quo*, анализ ситуации и планирование

1. *Вдовиченко А.В.* Факт сознания и коммуникативное действие: краткий эксперимент // Вопросы психолингвистики 2 (40) 2019. С. 30-41.

2. *Вдовиченко А.В.* Соотношение когнитивного процесса и семиотического действия в языковой и коммуникативной моделях: эксперимент «Запись последовательности знаков по памяти» // Вестник ПСТГУ Серия III «Филология», 3 (60) 2019. С. 29-42.

3. *Выготский Л. С.* Собрание сочинений: в 6-ти т. Т.2. Проблемы общей психологии / Под ред. В. В. Давыдова. М.: Педагогика, 1982. 504 с., ил. – (Акад. пед. наук СССР). С. 353.

действий самого «обладателя сознания», и пр.; в свою очередь, *воздействие* является результатом принятых в сфере когниции решений, направлено на достижение внешних изменений (как в коммуникативном, так и некоммуникативном пространстве). В коммуникативной модели (в версии А.В. Вдовиченко), в отличие от вербоцентричной модели ОТРД, семиотический процесс (и его возможные составляющие – вербальные и невербальные знаки) признаются необходимыми говорящему только для внешних воздействий на постороннее сознание. Его собственный когнитивный процесс не нуждается в знаках, в том числе «внутренней речи» (см. эксперимент «Удар локтем», «Запись последовательности символов по памяти»). На самого себя обладателю сознания в ходе когнитивных процедур не нужно производить те же воздействия, какие он производит на адресата (см. эксперимент «Удар локтем», «Запись последовательности символов по памяти»). Его когнитивный процесс не опосредован никакими знаками (смысл которых в том, чтобы представить внутреннее когнитивное состояние семиотического актора *кому-то*). Обращенный к себе, он находится в мире собственных образов, эмоций, представлений, интересов, связей, причинности, планов, ценностей и пр., каждое из которых не является «знаком, что-то обозначающим для постороннего». Все они не имеют вербальной (или какой-то иной) представленности до тех пор, пока нет необходимости осуществить воздействие на внешнего адресата (см. эксперимент «Удар локтем», «Запись последовательности символов по памяти»). Поэтому примеры эгоцентрической детской речи, якобы доказывающие процесс афункционального или какого-то еще *мышления*, представляются наивными: если констатируется ситуация «говорения ни для кого», это означает, что либо обладатель сознания в действительности *представляет себе* коммуникативный акт и пребывает в воображаемом коммуникативном пространстве (как происходит всегда, независимо от физического присутствия адресата; он «производит воздействие на мыслимого адресата»), либо, пользуясь свободой сознания, употребляет элементы коммуникативных воздействий (напр., слова) *не по назначению* – тестирует микрофон словами «раз, два, три», наслаждается прохождением чернильного пера по бумаге, выводя ни к кому не обращенные слова, произносит составленные из слов скороговорки, тренируя свой артикуляционный аппарат, и пр., – проявляя тем самым интерес к физической (физиологической) стороне вербальных

клише. Сами процессы мышления «говорящего» всегда остаются на невербальной стадии принятия решений, анализа ситуации, осознания собственных интересов и пр.

8. В ОТРД присутствует *избыточная увлеченность конкретным (физическим) предметом* как якобы главным объектом внимания коммуникантов. Любая экземплификация в ОТРД становится игрой с какими-то предметами («превращенными», «мыслимыми», «организуемыми», «известными всем», «обладающими своими свойствами», «достигаемыми», «представляющими потребность говорящего» и пр.). В этом смысле показательна невозможность найти какой-либо «предмет» в актуальном семиотическом действии, реализованном с вовлечением слов: «Да!», «Ну ты даешь!», «А почему?», «Послушай» и пр. Ясно, что объект любого семиотического воздействия – это состояние сознания мыслимого адресата. Объекты, вовлекаемые в коммуникацию (предметы) – скорее, глубоко вторичная нетождественная субъективно представленная сущность, необходимая коммуниканту для воздействия. Семиотические действия, в состав которых вовлечены какие-то мыслимые предметы, и такие, в которые предметы не вовлечены («Да!», «А почему?», «Послушай») – принципиально едины в своей воздейственной на постороннее сознание природе.

9. Присутствующая в ОТРД идея «достижения цели», «исполнения задачи» не осознается как прямая причина *изменения воззрений* на любые формы статического восприятия семиотической «деятельности». Так, понятие структуралистского (античного, соссюровского и пр.) «языка», сохраняемого в ОТРД, вводит полнейшую *статику*, непроцессуальность, но сохраняется в теоретической модели, которая, тем не менее, декларируется как «деятельностная», активная.

10. В рамках нединамического (недостаточно динамического) понимания семиотического процесса отсутствует идея *постоянного «рыскания» коммуниканта* (несмотря на мнимую «общность слов, языка, культуры и пр.»), который ищет способы добиться нужного ему эффекта воздействия на данного мыслимого адресата (адресатов). Так, говорить с данным ребенком, ища способов воздействия на его сознание, - не то же самое, что говорить с данным взрослым (специалистом, знакомым, дядей Васей и пр.). «Рыскание», поиск эффективного воздействия – творческое начало, заложенное в основании любой коммуника-

ции, ускользает от языка, общей культуры, языкового сознания и прочих инструментов вербоцентричного описания.

11. В ОТРД коммуникативный акт признается возможным при наличии как минимум *двух коммуникантов* (между которыми возникает «совместная деятельность» и «сотрудничество»). В такой констатации присутствует важная и критичная для адекватности модели аберрация: адресат коммуникативного воздействия в действительности *мыслится* семиотическим актором как в случае «физического» присутствия адресата, так и в случае его отсутствия. Именно поэтому порождать семиотическое действие можно при физическом отсутствии адресата (его нужно просто представить, помыслить как объект семиотического воздействия), но невозможно производить семиотическую процедуру без мыслимого (присутствующего в сознании) адресата.

12. В ОТРД отсутствует *идея назначенности и условности* выделяемых «единиц языка». Условность выделения единиц (букв, звуков, фонем, слов, словосочетаний, предложений) просто не замечается. В то же время невозможность найти смысловое тождество в отдельных «знаках» резко контрастирует с возможностью обретения смысла в *конкретном коммуникативном поступке* (со словами или без), где присутствует подлинный источник смыслообразования – индивидуальное сознание, состояния которого, или *когнитивные режимы* которого, можно понимать по совокупности параметров произведенного коммуникативного воздействия.

13. Отсутствует идея о том, что сознание семиотического актора и адресата «обрабатывает» *только одно коммуникативное действие*, попадающее в фокус сознания, и о том, что целый *текст* (как множество вербальных следов коммуникативных действий) пониматься – обрабатываться сознанием – единомоментно не может.

14. Отсутствует идея о том, что в естественных условиях коммуникации понимается не вербальная деятельность, а *комплексное семиотическое действие субъекта*, т.е. квант коммуникативного акционального поведения субъекта в представимой ситуации.

15. Отсутствует понимание того, что семиотическое воздействие с вовлечением слов представляет собой *частный случай* семиотического действия. У А.А. Леонтьева есть указание на «частный случай знаковой деятельности», но тотчас он ошибочно говорит о главенстве и первичности вербальной «знаковой системы», в то время как эта «знаковая система» никогда не бывает

автономной и изолированной от аудиальных, визуальных и пр. данных, от ресурсов индивидуальной долгосрочной и краткосрочной памяти, фреймов, ситуативных данных, фрагментов имеющегося (или отсутствующего) опыта и пр. Попытки ее обособления в теории приводят к концептуальному кризису, неадекватному навязыванию знакам собственных потенций смыслообразования.

16. Устная и письменная речь воспринимается как «*две подсистемы языка*», а не как составляющие модусов совершения семиотического воздействия, или различные «следы» семиотического воздействия, по которым восстанавливается само семиотическое воздействие[1]. Отношения устного и письменного режимов семиотического процесса с участием слов – гораздо сложнее, чем прямая корреляция «устные – письменные высказывания».

17. *Теория языкового знака* не претерпевает существенных трансформаций в коммуникативной перспективе (в том числе, не вводится понятие об условности выделения знака из состава целостного коммуникативного действия). Знак воспринимается в структуралистской парадигме (традиционно) как «единство означающего и означаемого в контексте», с опорой на физическую сторону («тело») знака.

18. По умолчанию присутствует *презумпция самостоятельного значения элемента*. Отсутствует идея несамотождественности элемента (знака) вне личного коммуникативного действия, которое одно может пониматься и интерпретироваться.

19. В ОТРД *отсутствуют реальные примеры* (в достаточной мере) естественного семиотического взаимодействия с участием слов. Реальные примеры не вписывались бы во многие объяснения ОТРД (напр., схема формирования вербального высказывания).

20. В ОТРД парадоксальным образом присутствует *стремление избежать психологической сути коммуникации* путем сведения к различным объективным детерминирующим факторам (подсознательные грамматика, язык, культура, значения слов, свойства предметов, языковое сознание и пр.), по образцу «точных» и «естественных» наук. Вектор в сторону концептуализации новизны – привнесения изменений в постороннее сознание (подлинно психологический когнитивный объект) – оставляется за пределами теории. Однако только свободное сознание (диапазон свободного сознания) может быть интересным и достойным объектом гуманитарной эвристики.

21. Отсутствует идея, что *личное когнитивное состояние* представляет собой последнее основание «значения» (которое

1. *Вдовиченко А.В.* Вербальный процесс в зеркале чтения и письма // Вестник ПСТГУ Серия III: «Филология» № 3 (52) 2017, с. 62-75.

становится акциональным, «воздейственным», интенциональным). В естественном семиотическом процессе интерпретируется не знак, а личное когнитивное состояние – психологический объект: на каких помысленных объектах семиотический актор фокусировал внимание, какие связи выстраивал, какие ценности обнаруживал, чье когнитивное состояние избрал для «внесения изменений» посредством коммуникативного воздействия и пр.

22. В ОТРД фактически вводится *разделение между деятельностью и коммуникацией*. Деятельность по-марксистски рассматривается как оперирование с предметами. Отсюда уводящее в сторону разделение на «общение» и «совместную деятельность»: первое, по-видимому, оценивается в ОТРД (Тарасов) как не обладающее свойством создавать какой-то продукт, в то время как вторая нацелена на сотрудничество и обеспечение каких-то потребностей. Коммуникация не рассматривается в ОТРД как «создающая деятельность», в то время как именно в коммуникации семиотический актор добивается изменений в постороннем когнитивном состоянии (процессе), производя «когнитивный продукт». Эти изменения – суть самой коммуникации – в ОТРД не замечаются. Вербальное действие рассматривается как довесок к предметному действию, добавление к оперированию с предметами. Отсюда же присутствующая в ОТРД идея подчинения речи какой-то иной деятельности как таковой (то же у Витгенштейна).

23. В ОТРД акцентируется *идея коллективности языка*, общественной значимости языка как средства обеспечения всеобщей деятельности, объективности языка. Однако это нереалистично: язык как объект не обнаруживает целостности и тождества в различных сознаниях; язык не может производить личное воздействие, поскольку в нем отсутствует конкретный семиотический актор со своим планом изменений чужого когнитивного статуса; язык невозможно понимать и рассчитывать на его понимание ввиду отсутствия в нем источника акционального («воздейственного») смысла – конкретного семиотического актора; пока «знаки» языка никто ни к чему не «приложил», у знаков нет никаких собственных потенций что-либо обозначать; коллективный язык, принципиально не обладающий личным сознанием, не может производить смыслообразования. Зато личное сознание при осуществлении смыслообразующего семиотического воздействия *может обходиться без языка* (см. указанные эксперименты и эксперименты-наблюдения).

24. В ОТРД *усвоение языка* прямолинейно интерпретируется как *процесс становления мышления.* На основании коммуникативных воздействий, осуществляемых в том числе с вовлечением слов, действительно можно судить о когнитивных способностях. Но эта связь косвенная. Подобным образом, нельзя заключать о том, что обладатель сознания не думает, когда ничего не говорит. Усвоение «языка», согласно *коммуникативной* модели, состоит в приобретении умения (навыков) реализовывать коммуникативные ситуации (действовать в коммуникативном пространстве) и узнавать соответствующие клише, употребленные в подобных (лично известных) когнитивных состояниях воздействия. Поэтому процесс усвоения «языка» ребенком, а также патологий речи, отличий детского и взрослого языков (Выготский и др.), в ОТРД трактуется нереалистично.

25. В ОТРД, вслед за языковой моделью, ввиду вербо- и лингвоцентричности (а также ввиду невольного игнорирования психологизма процессов смыслообразования в коммуникативном воздействии) даются *нереалистичные трактовки* грамматики, фонетики, синтаксиса, лексики, семантики, связного текста и пр.

БИБЛИОГРАФИЯ

Althusser L. Freud et Lacan // Althusser L. Positions. Paris, 1976.

Anscombe E. Intention. Basil Blackwell, 1979.

Baker A. Presupposition and types of clause // Mind 65, 1956; Lakoff G. Presuppositions and Relative Grammaticality // Studies in Philosophical Linguistics, v. 1, № 1, 1971.

Bateson G. Steps to an Ecology of Mind. N.Y.: Ballantine, 1972 (Бейтсон Г. Экология разума. Избранные статьи по антропологии, психиатрии и эпистемологии / Пер. с англ. Д. Я. Федотова, М. П. Папуша. М.: Смысл. 2000).

Carroll J.D. A review of the measurement of meaning // Language. 1959. Vol. 35, 58-77.

Chafe W. The Pear Stories: Cognitive, Cultural, and Linguistic Aspects of Narrative Production. Norwood: 1980.

Davidson D. Essays no actions and events. Oxford: Clarendon Press, 1980.

Derrida J. Positions. Paris: Editions de Minuit, 1972. P. 44-45.

Dick F., Dronkers N., Pizzamiglio L., Saygin A.P., Small S.L., & Wilson S. Language and the Brain. In M. Tomasello & D.I. Slobin, (Eds.) Beyond Nature-Nurture: Essays in honor of Elizabeth Bates. New Jersey: Erlbaum, 2005.

Fillmore Ch. The need for a frame semantics within linguistics // Statistical Methods in Linguistics. Stockholm: Skriptor. 1976. P. 5-29.

Firbas J. On defining the theme in functional sentence analysis, в сб.: Travaux linguistiques de Prague, v. 1, Prague, 1966.

Garfinkel H. Ethnomethodological Studies of Work. Studies in Ethnomethodology. London, 1986.

Goldstein K. Some experimental observations concerning the influence of colore on the function of the organism // Occupational therapy and re-habilitation. 1942.

Gregorii Nysseni Opera / Ed. by W. Jaeger and H. Langerbeck. 10 Vols. Leiden: E. J. Brill, 1952-1996.

Kintsch W., van Dijk T.A. Towards a Model of Text Comprehension and Production // Psychological Review. V. 85. 1978.

Lacan J. Ecrits. Paris, 1966.

Lakoff G. Linguistic gestalts // Beach W.A., Fox S.E., Philosoph S. (eds.), Papers from the Thirteenth Regional Meeting, Chicago Linguistic Society, April 14-16, 1977, Chicago Linguistic Society, University of Chicago, Chicago, Illinois 1977. P. 236-287.

Lampe G. W. H. A Patristic Greek Lexicon. Oxford, 1978.

Lazarus A. A. Different types of eclecticism and integration: Let's be aware of the dangers // Journal of Psychotherapy Integration. 1995. Vol. 5(1), 27-39.

Mazur I., Chmiel A. Towards common European audio description guidelines: Results of the Pear Tree Project, Perspectives: Studies in Translatology, 2012, Vol. 20 (1). P. 5–23.

Migne J.-P. Patrologiæ Cursus Completus. Series Græcæ. Vols. 44-46. Paris, 1857-1866. Vol. 44.

Minsky M. A Framework for Representing Knowledge. (M.I.T., Artificial Intelligence Laboratory, AI Memo 306). Cambridge, Mass., June 1974. (Минский М. Фреймы для представления знаний. М.: Энергия, 1979).

Morris C.W. Signs, Language and Behavior. N. –Y., 1946.

Morse J. M. Approaches to Qualitative – Quantitative Methodological Triangulation // Nursing Research. 40 (2). 120-123 pp., March-April 1991.

Osgood C.E. Psycholinguistics, Cross-Cultural Universals, and Prospects for Mankind. Praeger Publishers, 1988.

Osgood C.E. Semantic space revisited // Word. 1959. Vol. 15, 195-200.

Osgood Ch. Studies on Generality of affective meaning system // Amer. Psychol., 1962, v. 17, 10-28.

Osgood Ch., Suci G. J., Tannenbaum P. H. The measurement of meaning. Urbana, 1957. 342 pp.

Putnam H. Reason, Truth and History. Cambridge, 1981.

Schutz A. On Phenomenology and Social Relations. The University of Chicago Press, 1979.

Vdovichenko A.V. From Relative Words to Universal Acts. The Limit in Studying "Language". Proceedings of the 39th SLE (Societas Linguistica Europaea) Congress, Bremen, 2006. P. 32-33. http://www.fb10.uni-bremen.de/sle2006/pdf/Tagungsband.pdf.

Авва Дорофей, прп. Душеполезные поучения. Симферополь: Родное слово, 2013. 240 с.

Азылбекова Г.О. Речевая стратегия убеждения: утилитарный аспект // Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2011. №1. С. 133-136.

Андерсон Дж.Р. Когнитивная психология. 5-е изд. СПб.: Питер, 2002.

Аристотель. Сочинения в четырех томах. (Философское наследие, 65), М.: Мысль. 1976-1983. Метафизика. Т. 1, 1976.

Аристотель. Сочинения в четырех томах. (Философское наследие, 65), М.: Мысль. 1976-1983. Об истолковании. М.: «Мысль», 1978. т. 2.

Арутюнова Н.Д. Понятие пресуппозиции в лингвистике // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. – М.: Изд-во АН СССР, 1973. – Т. XXXII. Вып. 1. – С. 84-89.

Аскольдов С.А. Концепт и слово // Русская речь. Новая серия. П. М., 1928. Перепечатано в сб.: Русская словесность. Антология. М., 1997.

Афанасий Великий, свт. Слово на язычников (Oratio contra gentes) 32 // Творения иже во святых отца нашего Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. Ч. 1. СТСЛ: Собственная типография, 1902.

Ахутина Т. В. Нейролингвистический анализ лексики, семантики и прагматики. – М.: Языки славянской культуры, 2014. – 424 с. – (Разумное поведение и язык. Language and Reasoning).

Ахутина Т. В. Порождение речи. Нейролингвистический анализ синтаксиса. М., 1989; Ахутина Т. В. Нейролингвистический анализ лексики, семантики и прагматики. – М.: Языки славянской культуры, 2014. – 424 с. – (Разумное поведение и язык. Language and Reasoning).

Балукова Н.А., Веснина Л.Е. Коммуникативные стратегии и тактики в текстах религиозной организации «Великое белое братство “Юсмалос”» // Политическая лингвистика. 2013. №3 (45). С. 199-208.

Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989.

Барт Р. Смерть автора // Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 384-391.

Бенвенист Э. О субъективности в языке // Бенвенист Э. Общая лингвистика. Благовещенск: Благовещенский Гуманитарный колледж им. И.А. Бодуэна де Куртенэ, 1998. (Репринт 1974).

Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974.

Бернштейн Н.А. О построении движений. М., 1947.

Бернштейн Н.А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности. М., 1966.

Божиею милостию Святейший Правительствующий Всероссийский Синод всечестным братиям, во иночестве подвизающимся // Церковные ведомости. 1913. № 20. С. 277-286.

Бор Н. Квантовая физика и философия // Успехи физических наук. Т.67, вып.1., 1959.

Булгаков, о. Сергий. Философия имени. Париж, 1953.

Валлон А. Психическое развитие ребенка. СПб.: Питер, 2001.

Василий Великий, свт. Беседа 16. На слова: В начале бе Слово (Ин 1:1) 4 // Василий Великий, свт., архиеп. Кесарии Каппадокийской. Творения: В 2 т. М.: Сибирская Благозвонница, 2008. Т. 1: Догматико-полемические творения. Экзегетические сочинения. Беседы. 1136 с. (Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе; т. 3).

Василий Великий, свт. Беседа первая о сотворении человека по образу (De hominis structura) // Василий Великий, свт., архиеп. Кесарии Каппадокийской. Творения: В 2 т. М.: Сибирская Благозвонница, 2008. Т. 1: Догматико-полемические творения. Экзегетические сочинения. Беседы. 1136 с. (Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе; т. 3).

Василий Великий, свт. Опровержение на защитительную речь злочестивого Евномия (Contra Eunomium). Книги I-III // Он же. Творения. Т. 1. С. 169-266.

Вдовиченко А.В. «Примышление» и «порождение»: Евномий и каппадокийцы о современных проблемах философии языка // Языковые параметры современной цивилизации. Сборник трудов первой научной конференции памяти академика РАН Ю. С. Степанова / Под ред. В. З. Демьянкова, Н. М. Азаровой, В. В. Фещенко, С. Ю. Бочавер. М.: Ин-т языкознания РАН, 2013. 560 с. С. 314-321.

Вдовиченко А.В. «Разработка коммуникативной модели вербального процесса в условиях кризиса языковой модели»: проект, смыслообразование, общение // Вопросы психолингвистики. 2017. № 2 (32). С. 50-61.

Вдовиченко А.В. Акциональное смыслообразование: что порождается и понимается в естественном коммуникативном процессе // Вопросы психолингвистики. 2018. №3 (37). С. 112-125.

Вдовиченко А.В. Вербальный процесс в зеркале чтения и письма // Вестник ПСТГУ. Серия III: Филология. 2017. Вып. 52. С. 62-75.

Вдовиченко А.В. Грекоязычные библейские тексты в предметной и дискурсивной моделях описания. Дис. … докт. филол. н. М.: Ин-т языкознания РАН, 2013. 636 с.

Вдовиченко А.В. Казус «языка» Септуагинты и Нового Завета: Лингвистический метод «за» и «против» авторов. М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. 288 с.

Вдовиченко А.В. Коммуникативное оправдание грамматики. К вопросу о пределах условности грамматического описания // Русский язык за рубежом, 2016 № 4. С. 76-89.

Вдовиченко А.В. О несамотождественности языкового знака. Причины и следствия «лингвистического имяславия» // Вопросы философии, 2016. №6 С. 164-175.

Вдовиченко А.В. Проблема субъективности знания и естественный вербальный процесс // Вестник ПСТГУ. Серия III: Филология. 2016. Вып. 3 (48). С. 22-44.

Вдовиченко А.В. Расставание с «языком»: Критическая ретроспектива лингвистического знания. М.: Изд-во ПСТГУ, 2009.

Вдовиченко А.В. С возвращением, автор, но где же твой текст и язык? О вербальных данных в статике и динамике. Часть I // Вопросы философии 2018 № 6. С. 156-167: Часть II // Вопросы философии 2018 № 7. С. 57-69.

Вдовиченко А.В. Соотношение когнитивного процесса и семиотического действия в языковой и коммуникативной моделях: эксперимент «Запись последовательности знаков по памяти» // Вестник ПСТГУ Серия III «Филология», 3 (60) 2019. С. 29-42

Вдовиченко А.В. Текст и дискурс в свете коммуникативного смыслообразования, Рукопись. 2017.

Вдовиченко А.В. Факт сознания и коммуникативное действие: краткий эксперимент // Вопросы психолингвистики 2 (40) 2019. С. 30-41.

Вдовиченко А.В., Тарасов Е.Ф. Вербальные данные в составе коммуникативного действия: язык, текст, автор, интерпретатор // Вопросы психолингвистики. 2017. №4 (34). С. 22-39.

Вересов Н.Н. Выготский, Ильенков, Мамардашвили: опыты теоретической рефлексии и монизм в психологии // Вопросы философии. 2000. №12.

Веснина Л.Е. Коммуникативная стратегия запугивания в текстах религиозной организации «Свидетели Иеговы» // Политическая лингвистика. 2012. №2 (40). С. 66-70.

Витгенштейн Л. Философские работы / Пер. с нем. М.С. Козловой и Ю.А. Асеева. М., 1994. Ч. 2.

Вригт Г.Х. Объяснение и понимание действий // Логос. 2001. №2. С. 123-140.

Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6-ти т. Т.2. Проблемы общей психологии / Под ред. В. В. Давыдова. – М.: Педагогика, 1982. – 504 с., ил. – (Акад. пед. наук СССР).

Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. М.: Наука, 2000.

Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. В. 3-х тт. Том 1. Логика. М.: Мысль, 1974.

Глейтман Г., Фридлунд А., Райсберг Д. Основы психологии: / пер. с англ/ Под ред. В. Ю. Большакова, В. Н. Дружинина. СПб.: Речь, 2001. 1247 с.

Городецкий Б.Ю. От лингвистики текста – к лингвистике общения // Язык и социальное познание. М.: Изд-во АН СССР, 1990.

Грайс Г.П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. М., 1985.

Григорий Нисский, свт. О душе и воскресении, разговор с сестрою Макриною // ТСО, Т. 40 (Ч. 4). С. 214.

Григорий Нисский, свт. О совершенстве, и о том, каким должно быть христианину. К Олимпию монаху (De Perfectione christiana ad Olympium) // ТСО, Т. 44 (Ч. 7).

Григорий Нисский, свт. Об устроении человека (De opificio hominis) 8 // Творения святого Григория Нисского: В 8 ч. (Т. 37-45). М.: Типография В. Готье, 1861-1872. («Творения святых отцов Церкви»). Т. 37 (Ч. 1).

Григорий Нисский, свт. Опровержение Евномия (Contra Eunomium) // ТСО, Т. 41 (Ч. 5). С. 8-500; Т. 43 (Ч. 6). С. 1-510.

Григорий Нисский, свт. Опровержение Евномия (Contra Eunomium) 12.2 (13) // ТСО, Т. 43 (Ч. 6).

Григорий Палама, свт. Сто пятьдесят глав. Краснодар: Текст, 2006.

Григорий Палама, свт. Трактаты / Пер. с греч. и прим. архим. Нектария (Яшунского). Краснодар: Текст, 2007.

Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1984.

Гуссерль Э. Собрание сочинений. Т. III (1). Логические исследования: Исследования по феноменологии и теории познания. М.: Дом интеллектуальной книги, 2001.

Дацюк С.А. Коммуникационные стратегии // Гуманитарные технологии [Электронный ресурс]. 2006. https://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2006/2751.

Декомб В. Дополнение к субъекту: Исследование феномена действия от собственного лица. М.: Новое литературное обозрение, 2011.

Декомб В. Современная французская философия. М.: Издательство «Весь Мир», 2000.

Демьянков В. З. Логические аспекты семантического исследования предложения // Проблемы лингвистической семантики. – М.: ИНИОН АН СССР, 1981. – С. 115-132.

Демьянков В. З. Субъект», «тема», «топик» в американской лингвистике последних лет (Обзор II) // Изв. АН СССР. Сер. литературы и языка. 1979. Т. 38. № 4. – С. 368-380.

Дионисий Ареопагит, св. О божественных именах (De divivus nominibus) // Он же. Сочинения. Толкования Максима Исповедника / Пер. и предисл. Г. М. Прохорова. СПб.: Алетейя, 2002.

Жинкин Н. И. О кодовых переходах в внутренней речи // Вопросы языкознания. М., 1964. № 6. С. 26-38.

Жинкин Н. И. Речь как проводник информации. М.: Наука, 1982. 160 с.

Жинкин Н.И. Замысел речи <Тезисы доклада> // Общая психолингвистика: хрестоматия / Сост. К.Ф. Седов. М.: Лабиринт, 2004.

Журавлев И.В. Майское письмо. (Электронная рукопись).

Журавлев И.В. Мифологические аспекты профессионального общения // Организационная психолингвистика: Электронный научный журнал. 2018. №1 (1). С. 54-71.

Журавлев И.В. Органы сознания и механизм объективации // Вопросы психолингвистики. 2010. № 2 (12). С. 141-150.

Журавлев И.В. Философские проблемы современной психолингвистики и психологической теории деятельности // Язык и сознание: психолингвистические аспекты. Сборник статей / Под ред. Н.В. Уфимцевой, Т.Н. Ушаковой. М. – Калуга: Издательство «Эйдос», 2009. С. 32-41.

Журавлев И.В., Журавлева Ю.В. К построению коммуникативной модели речевого процесса: методологические проблемы // Вопросы психолингвистики. 2017. №2. №3 (33). С. 48-61.

Журавлев И.В., Журавлева Ю.В. Слово и объект (возможна ли бессловесная мысль) // Вопросы психолингвистики. 2018. №2 (36). С. 42-57.

Журавлева Ю.В. Мифологическое мышление и процесс психотерапии // Актуальные проблемы гуманитарных наук в работах молодых исследователей. М.: МГИ им. Е.Р. Дашковой, 2015. С. 130-135.

Журавлева Ю.В., Журавлев И.В. Коммуникативная стратегия: уточнение понятия // Междисциплинарность науки как фактор инновационного развития: Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции (Казань, 11 октября 2017). – Стерлитамак: АМИ, 2017. – 309 с. – С. 118-122.

Записные книжки Л.С. Выготского. Избранное / Под общ. ред. Екатерины Завершневой и Рене ван дер Веера. М.: Издательство «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2018.

Зернецкий В.П. Лингвистические аспекты теории речевой деятельности // Языковое общение: процессы и единицы. Межвузовский сборник научных трудов. Калинин: КГУ, 1988.

Зимняя И.А. Речевая деятельность и психология речи, в кн.: Основы теории речевой деятельности. Под ред. А.Н. Леонтьева, ИЯз РАН. М.: Наука. 1974. С. 65.

Зимняя И.А. Функциональная психологическая схема формирования и формулирования мысли посредством языка // Исследование речевого мышления в психолингвистике. М., 1985.

Зинченко В.П. От генезиса ощущений к образу мира // А.Н. Леонтьев и современная психология (Сборник статей памяти А.Н. Леонтьева). М.: Издательство Московского университета, 1983.

Зинченко В.П. Проблема «образующих» сознания в деятельностной теории психики // Вестник МГУ. Серия 14, Психология. 1988. Т.3. С. 25-34.

Игнатий (Брянчанинов), свт. Восемь главных страстей с их подразделениями и отраслями. О добродетелях, противоположных восьми главным греховным страстям // Игнатий (Брянчанинов), свт. Аскетические опыты: В 2 т. Т. I. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2010. 816 с. (Серия «Духовная сокровищница»). С. 144-156.

Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении. М.: РОССПЭН, 1997.

Ильенков Э.В. Идеальное // Философская энциклопедия. Т. 2. М.: Издательство «Большая Советская Энциклопедия», 1962. С. 219-227.

Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры (Expositio Fidei) 2.12 // Творения прп. Иоанна Дамаскина.

Источник знания / Пер. и ком. Д. Е. Афиногенова, А. А. Бронзова, А. И. Сагарды, Н. И. Сагарды. М.: Индрик, 2002. (ПСТБИ. Святоотеческое наследие. Т. 5). С. 208-212.

Иоанн Дамаскин, прп. Философские главы (Dialectica) 42 // Полное собрание творений св. Иоанна Дамаскина. Т. 1. СПб: Изд-е Императорской С.-Петербургской Духовной Академии, 1913. 441 с. (Приложение к журналам «Церковный вестник» и «Христианское чтение»).

Иоанн Кассиан Римлянин, прп. Писания. Пер. с лат. еп. Петра. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, РФМ, 1993. 660 с. Репр. 2-го изд-я Афонского Русского Пантелеимонова монастыря. М.: Типо-Литография И. Ефимова. Большая Якиманка, дом Смирновой, 1892.

Иоанн Лествичник, прп. Лествица, возводящая на небо. М.: Изд-во Сретенского монастыря; Правило веры, 1996. 674 с.

Исмагилова И.В. Формирование смысло-ценностных основ профессионального самоопределения студентов ссуза. Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Тюмень, 2006.

Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. Изд. 4-е, стер. М.: КомКнига, 2006.

Иустин Философ и Мученик, св. Отрывок о воскресении (De resurrectione) 8 // Он же. Творения / Пер., введ. и прим. прот. П. Преображенского. М.: Университетская типография, Страстной бульвар, 1892. (Репринт: М.: Паломник, Благовест, 1995).

Каллист Патриарх и сподвижник его Игнатий, Ксанфопулы // Добротолюбие в русском переводе, дополненное: В 5 т. Репр. изд. 1900 г. СТСЛ, 1992. Т. 5. С. 303-424.

Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М.: Гардарика, 1998.

Кассирер Э. Философия символических форм: В 3 т. Т. 1. Язык. – М.; СПб.: Университет. кн., 2002. – 272 с.

Кафкова О. О роли контекста в разных типах коммуникантов // Синтаксис текста: Сб. науч. тр. М., 1979. С. 236-247.

Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972.

Кацнельсон С.Д. Категории языка и мышления: Из научного наследия. М.: Языки славянской культуры, 2001.

Кибрик А.А. Когнитивные исследования по дискурсу // Вопросы языкознания, 1994. №4. С. 128.

Кибрик А.А. Когнитивный анализ дискурса: локальная структура // Язык и мысль. Современная когнитивная лингвистика. М.: Языки славянской культуры, 2015.

Косевич В.Б. Семантика. Синтаксис. Морфология. М., 1988.

Краснорядцева О.М. Психологический механизм «вписывания» информации в профессиональный образ мира // Теория деятельности: фундаментальная наука и социальная практика (к 100-летию А.Н. Леонтьева). М., 2003.

Кубрякова Е. С. Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века – (опыт парадигмального анализа) // Язык и наука конца XX века / под ред. Ю.С. Степанова.– М.: Российский гос. ун-т, 1995.– С. 144-238.

Курлов А.Б. Основы теории коммуникации. Уфа: РИО БашГУ, 2002.

Лакан Ж. «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа (Семинары. Книга II). М.: Гнозис, Логос, 1999.

Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном, или судьба разума после Фрейда. М., 1997.

Лакан Ж. Психозы (Семинары, Книга III). М.: Издательство «Гнозис», Издательство «Логос», 2014. С. 52-61.

Ларше Ж.-К. Исцеление психических болезней: Опыт христианского Востока первых веков / Пер. с фр. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2007. 224 с. (Православное богословие).

Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М.: УРСС, 2001.

Леонтьев А.А. Внутренняя речь и процессы грамматического порождения высказывания // Вопросы порождения речи и обучения языку. М., 1967.

Леонтьев А.А. Деятельный ум (Деятельность, Знак, Личность). – М.: Смысл, 2001. 392 с.

Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. М.: Смысл, 1997. 287 с.

Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. Учебник для студ. Высш. Учеб. заведений. 4-е изд. испр. – М.: Смысл, Издательский центр «Академия», 2005.

Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. М., 1969.

Леонтьев А.А. Психология общения. 5-е изд., стер. М.: Смысл; Издательский центр «Академия», 2008.

Леонтьев А.А. Психофизиологические механизмы речи // Общее языкознание. М., 1970.

Леонтьев А.А. Смысл как психологическое понятие // Психологические и психолингвистические проблемы владения и овладения языком. М., 1969.

Леонтьев А.А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психологии. М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2003.

Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. М., 1969.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность // Он же. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Смысл, Изд-кий центр «Академия», 2004. 352 с.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1975.

Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. Т. II. М.: Педагогика, 1983.

Леонтьев А.Н. К психологии образа // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 1986.

Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии / Под ред. Д. А. Леонтьева, Е. Е. Соколовой. М.: Смысл, 2001. 512 с.

Леонтьев А.Н. Методологические тетради // Он же. Деятельность. Сознание. Личность. С. 178-253.

Леонтьев А.Н. Общее понятие о деятельности // Основы теории речевой деятельности. М.: Наука, 1974.

Леонтьев А.Н. Проблемы психологии деятельности // Он же. Деятельность. Сознание. Личность. С. 303-317.

Леонтьев А.Н. Психология образа // Вестник МГУ. Серия 14. Психология. 1979. №2.

Леонтьев А.Н. Становление психологии деятельности: Ранние работы. М.: Смысл, 2003.

Леонтьев А.Н. Философия психологии. Из научного наследия. М.: Издательство Московского университета, 1994.

Леонтьев А.Н. Эволюция психики. М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 1999.

Леонтьев А.Н., Гиппенрейтер Ю.Б. О деятельности зрительной системы человека // Психологические исследования. М.: Издательство Московского университета, 1968.

Лосев А. Ф. Спор об именах в IV веке и его отношение к имяславию // Он же. Имя: Избр. работы, переводы, беседы, иссл-ия, архивн. мат-лы / Сост. и общ. ред. А. А. Тахо-Годи. СПб.: Алетейя, 1997.

Лукьянова Н.А. Коммуникативно-семиотические стратегии конструирования социальной реальности // Известия Томского политехнического университета. 2009. Т. 315. №6. С. 138-143.

Лурия А. Р. Лекции по общей психологии. – СПб.: Питер, 2006. – 306 с.: ил. – (Серия «Мастера психологии). С. 282.

Лурия А.Р. Травматическая афазия. М., 1947.

Максим Исповедник, прп. Вопросоответы к Фалассию (Quaestions ad Thalassium) XIII // Творения преподобного Максима Исповедника. Кн. II. Вопросоответы к Фалассию. Ч. 1. Вопросы I-LV / Пер. с др.-греч. и ком. С. Л. Епифановича, А. И. Сидорова. М.: «Мартис», 1993.

Максим Исповедник, прп. О недоумениях к Иоанну (Ambigua) 7 // Он же. О различных недоумениях у святых Григория и Дионисия (Амбигвы) / Пер. с греч. и прим. архим. Нектария. М.: Ин-т философии, теологи и истории св. Фомы, 2006.

Максим Исповедник, прп. О различных трудностях Богослова [Григория], глава 7 (Ambigua VII(II)) // Преп. Максим Исповедник: Полемика с оригенизмом и моноэнергизмом / Сост. Г. И. Беневич. Изд-е 2-е, испр. и доп. СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2014.

Мамардашвили М.К. Классический и неклассический идеалы рациональности. М.: Издательство «Логос», 2004.

Мамардашвили М.К. Опыт физической метафизики (Вильнюсские лекции по социальной философии). М.: Прогресс-Традиция, 2008.

Мамардашвили М.К. Эстетика мышления. М.: Московская школа политических исследований, 2000.

Мартынова Ю.А. Анализ коммуникативных стратегий в общественно-публицистическом дискурсе // Известия Саратовского университета. 2009. Т. 9. Сер.: Социология, политология, вып. 2. С. 96-101.

Матезиус В. О так называемом актуальном членении предложения, пер. с чеш., в сб.: Пражский лингвистический кружок, М., 1967.

Михаил (Грибановский), иером. Истина бытия Божия. Опыт уяснения основных христианских истин естественной

человеческой мыслью. Репр. изд. 1888 г. СПб.: Общество памяти игумении Таисии, 2004.

Михайлов Ф.Т. Избранное. М.: Индрик, 2001.

Морозов В.П. Невербальная коммуникация в системе речевого общения. Психофизиологические и психоакустические основы. М., ИП РАН, 1998.

Мыскин С.В. Психолингвистическая модель профессионального самоопределения личности // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 2. Языкознание. 2014. № 4 (23). С. 114-124.

Мыскин С.В. Формирование профессионального языкового образа мира // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2015. № 5 (47): в 2-х ч. Ч. II. С. 122-129.

Немезий Эмесский. О природе человека (De natura hominis) 2 / Пер. с греч. Ф. С. Владимирского. Сост., послесл., общ. ред. М. Л. Хорькова. М.: Канон+, РООИ «Реабилитация», 2011. 464 с.

Немезий Эмесский. О природе человека (De natura hominis) 3 // Указ. соч. С. 40-45; PG 40:590-608. Максим Исповедник, прп. Мистагогия (Mystagogia) 7 // Избранные творения прп. Максима Исповедника / Пер. с др.-гр. А. И. Сидорова. М.: Паломник, 2004. 497 с. (Серия «Библиотека отцов и учителей Церкви», т. XIV).

Нистратов А.А., Тарасов Е.Ф. Аксиологические аспекты языкового сознания в эпоху глобализации. // Актуальные этноязыковые и этнокультурные проблемы современности. Кн.1 М. 2014.164-180; Актуальные этноязыковые и этнокультурные проблемы современности. Кн.3 М. 2017.417-437.

Нистратов А.А., Тарасов Е.Ф. Контрастивное исследование лексики с социально сконструированным значением. // Сб. Контрастивные исследования языков мира. Вып. III. М.: 2009.161-171.

Нистратов А.А., Тарасов Е.Ф. Психосемантический эксперимент как инструмент анализа смысла и значения слова. // Вопросы психолингвистики 2017. № (32). 124-134.

Общая психология / Под ред. А.В. Петровского. М., 1970.

Остин Дж. Избранное / Перевод с англ. В.П. Руднева. М., 1999.

Отье-Ревю Ж. Явная и конститутивная неоднородность: к проблеме другого в дискурсе // Квадратура смысла: французская школа анализа дискурса. М.: ОАО ИГ «Прогресс», 1999.

Падучева Е.В. Понятие презумпции в лингвистической семантике // Семиотика и информатика. – 1977. – № 8.

Пешё М. Прописные истины. Лингвистика, семантика, философия // Квадратура смысла: французская школа анализа дискурса. М.: ОАО ИГ «Прогресс», 1999.

Пешё М., Фукс К. Итоги и перспективы по поводу автоматического анализа дискурса // Квадратура смысла: французская школа анализа дискурса. М.: ОАО ИГ «Прогресс», 1999.

Пиаже Ж. Схемы действия и усвоение языка // Семиотика: Антология / Сост. Ю.С. Степанов. М.: Академический проект, Екатеринбург: Деловая книга, 2001.

Платон. Сочинения в 4-х томах. Т. 1. М.: Мысль, 1990.

Поляков С.Э. Феноменология психических репрезентаций. СПб. : Питер, 2011. 688 с.

Попов А.А. Характеристика коммуникативных стратегий, реализуемых в блогах журналистов // Научные ведомости. Серия Гуманитарные науки. 2013. №6 (149). Выпуск 17. С. 161-171.

Попович М. В. Понимание как логико-гносеологическая проблема // Понимание как логико-гносеологическая проблема: Сб-к научн. тр. К.: Наукова думка, 1982. 272 с. С. 5-23.

Рикер П. Я-сам как другой. М.: Издательство гуманитарной литературы, 2008.

Рытникова Я.Т. Гармония и дисгармония в открытой семейной беседе // Русская разговорная речь как явление городской культуры. – Екатеринбург: Арго, 1996.

Святитель Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский. Творения: В 2-х т. Т. 2: Стихотворения. Письма. Завещание. М.: Сибирская Благозвонница, 2007. 944 с.

Сергеева И.В. Профессиональный образ мира, его формирование у студентов дефектологических специальностей в процессе обучения в педагогическом вузе // Вестник ТГПУ. 2010. Вып. 1 (91).

Серио П. Как читают тексты во Франции // Квадратура смысла: французская школа анализа дискурса. М.: ОАО ИГ «Прогресс», 1999.

Серль Дж. Что такое речевой акт? // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. М., 1986. С. 151-169.

Симеон Новый Богослов, прп. Слово первое (Oratio prima) // Творения преподобного Симеона Нового Богослова. Слова и гимны. В 3-х кн. М.: Сибирская Благозвонница, 2011. Кн. 1. С. 143-152.

Сковородников А.П. О необходимости разграничения понятий «риторический прием», «стилистическая фигура», «речевая тактика», «речевой жанр» в практике терминологической лексикографии // Риторика – Лингвистика. Вып. 5: сб. статей. Смоленск: СГПУ, 2004.

Смирнов С.Д. Понятие «образ мира» и его значение для психологии познавательных процессов // А.Н. Леонтьев и современная психология (Сборник статей памяти А.Н. Леонтьева). М.: Издательство Московского университета, 1983.

Смирнова Н.М. Интерсубъективность речевых коммуникаций // Интерсубъективность в науке и философии / Под ред. Н.М. Смирновой. М.: «Канон+» «РООИ Реабилитация», 2014. С. 226-248.

Степанова А.А. Решение задач общения при помощи речевых действий // Вопросы психолингвистики. 3 (33). 2017. С. 135-141.

Стернин И.А. Введение в речевое воздействие. Воронеж, 2001.

Стеценко А.П. Рождение сознания: становление значений на ранних этапах жизни. М.: ЧеРо, 2005.

Сухих С.А. Структура коммуникантов в общении // Языковое общение: процессы и единицы. Межвузовский сборник научных трудов. Калинин: КГУ, 1988.

Тарасов Е. Ф. Социолингвистические проблемы теории речевой коммуникации // Основы теории речевой деятельности. Отв. ред. д.ф.н. А.А.Леонтьев. – М.: 1974. – С. 225-274.

Тарасов Е.Ф. Актуальные проблемы анализа языкового сознания // Языковое сознание и образ мира / Отв. ред. Н.В. Уфимцева. М., 2000. С. 24-32.

Тарасов Е.Ф. Анализ речи в теории речевого общения // Человек и его дискурс – 4: коллективная монография / Отв. ред. М.Р.Желтухина; ВГСПУ, ИЯз РАН. М.: ИЯз РАН; Издательский центр «Азбуковник», 2014. С.28-34.

Тарасов Е.Ф. К построению теории речевой коммуникации // Сорокин Ю.А., Тарасов Е.Ф., Шахнарович А.М. Теоретические и прикладные проблемы речевого общения. М.: Наука, 1979. С. 5-147.

Тарасов Е.Ф. Онтологические предпосылки теории речевого общения // Вопросы психолингвистики. 2017. №2 (32). С. 160-167.

Тарасов Е.Ф. Соотношение деятельности и общения // Брагина М.А. Дронов В.В., Красс Н.А.., Синячкин В.П., Тарасов Е.Ф. Лингвокультуроведческие аспекты формирования языкового сознания иностранных студентов в процессе изучения русского языка. М., 2008.

Тарасов Е.Ф. Эскиз теории речевого общения // Языковая личность, текст, словарь, образ мира. К 70-летию чл.-корр. РАН Юрия Николаевича Караулова. М.: Изд-во РУДН, 2006. С. 256-265.

Творения преподобного Максима Исповедника. Кн. II. Вопросоответы к Фалассию. Ч. 1. Вопросы I-LV / Пер. с др.-греч. и ком. С. Л. Епифановича, А. И. Сидорова. М.: «Мартис», 1993.

Троицкий С. В. Учение св. Григория Нисского об именах Божиих и имябожники / Сост. А. Ковтун, К. Шахбазян. Краснодар: Библиотека Свято-Ильинского храма, 2002. 312 с.

Турен А. Возвращение человека действующего. М.: Научный мир, 1998.

Тхостов А.Ш. Психология телесности. М.: Смысл, 2002.

Улановский А.М. Феноменология разговора: метод конверсационного анализа // Вопросы психолингвистики. 2016. № 1(27). С. 218-237.

Федорова О.В. Интродукция референта в русских устных пересказах (на материале «рассказов о грушах» У.Чейфа) // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Материалы конференции, 2015 // http://www.dialog-21.ru/media/2777/dialogue-2015_vol1.pdf.

Феофан Затворник, свт. Добротолюбие в русском переводе, дополненное: В 5 т. Репр. изд. 1895 г. СТСЛ, 1992.

Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. М.: Правило веры, 2010. 687 с.

Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. Краткий очерк аскетики. Начертание христианского нравоучения. М.: Правило веры, 2008. 608 с.

Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Коринфянам первого. М.: Правило веры, 2006.

Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? М.: Отчий дом, 2006.

Флоренский П.А. Сочинения в 4-х томах. Т. 3. М.: Мысль, 2000.

Хайдеггер М. Письма о гуманизме / Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления. М., 1993. С. 192.

Харман Т. Современный факторный анализ. М, 1972.

Хомский Н. Синтаксические структуры / Пер. К.И. Бабицкого. Благовещенск, 1998.

Хомский Н. Синтаксические структуры // Новое в лингвистике. Вып. 1. М., 1962; Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. М., 1972.

Черниговская Т. В., Деглин В. Л. Проблема внутреннего диалога (Нейрофизиологические исследования языковой компетенции) // Труды по знаковым системам. Вып. 7. Тарту, 1984.

Шпет Г.Г. Введение в этническую психологию. М.: Издательство ЛКИ, 2010.

Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. М.: РОССПЭН, 2004.

Эдельштейн Ю.М. Проблемы языка в памятниках патристики / История лингвистических учений. Средневековая Европа. Ленинград, 1985. С. 156-206.

Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб.: «Симпозиум», 2004.

Эмилиан (Вафидис), схиархим. Трезвенная жизнь и аскетические правила. Толкование правил преподобных отцов Антония, Августина и Макария. – Эл. ресурс: https://azbyka.ru/otechnick/Emilian_Vafidis/trezvennaja-zhizn-i-asketicheskie-pravila/#header

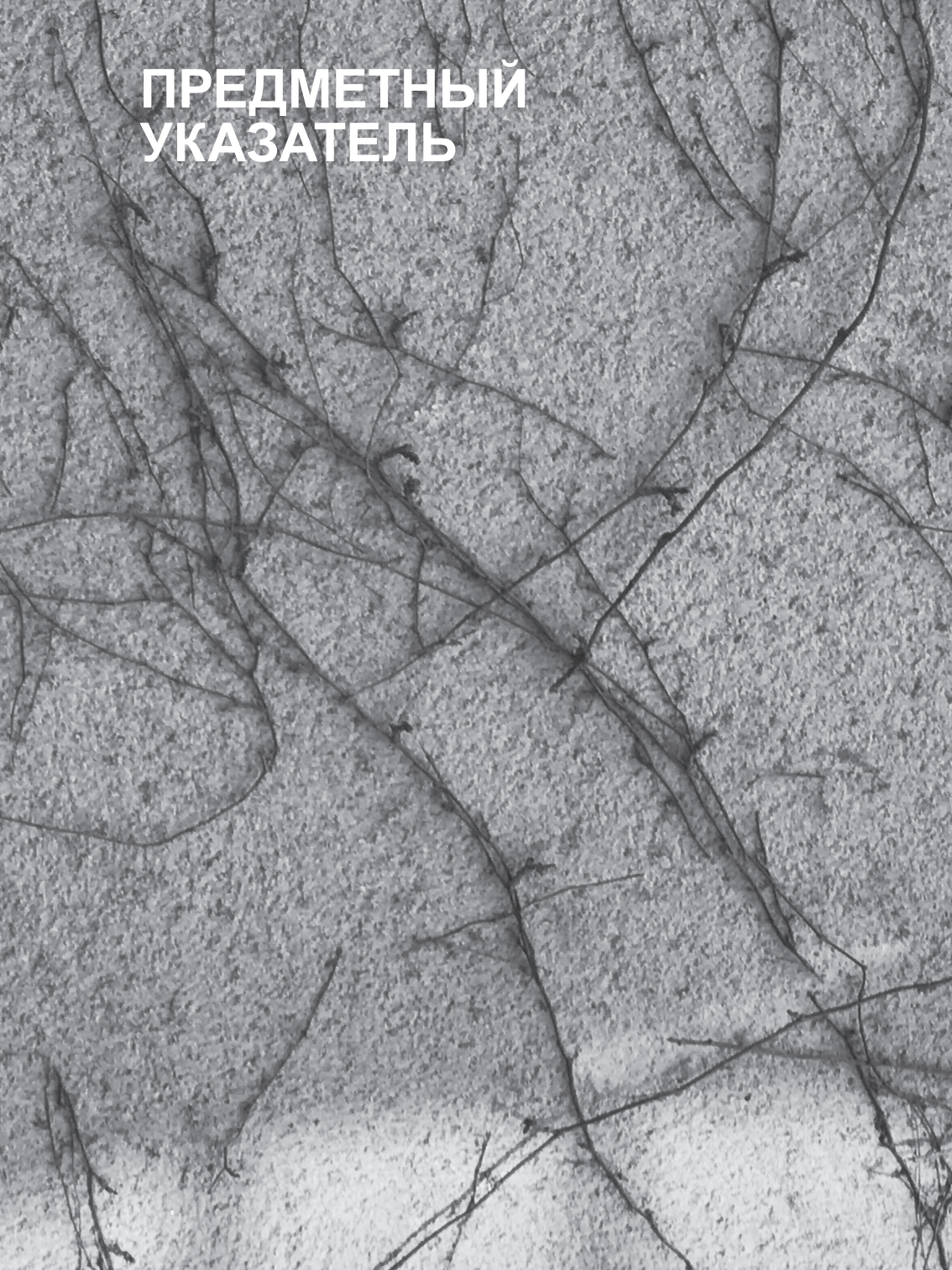
Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности: Методологические проблемы современной науки. М.: Наука, 1978.

Янчук В. А. Методология, теория и метод в социальной психологии и персонологии: интеграционно-эклектический подход. – Мн.: Бестпринт, 2000. – 416 с.

Янчук В. А. Психология на рубеже третьего тысячелетия – поиски парадигмальных координат, способа теоретизирования и метода исследования // Адукацыя і выхаванне. – 1999. № 8. С. 30-40.

Яньшин П.В. Эмоциональный цвет. Эмоциональный компонент в психологической структуре цвета. – Самара: СамГПУ, 1996.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ



аббревиатура, *152*
абстракция бытийного уровня сознания, *122*
автономное слово, *46, 251*
автономное слово как некоммуникативный объект, *50*
автономные единицы, *93*
автономный знак, *7*
автономный смысл знака, *48*
автор как предел смыслообразования, *160*
автор семиотического поступка, *54*
адресат, *43*
академическая этимология, *153*
акт апперцепции, *119*
акт сознания и акт коммуникации, *192*
активность субъекта, *60*, *62*
акциональное когнитивное состояние автора, *223*
акциональность, *40*, *44*, *45, 49, 53, 59, 100*
анализ дискурса, *60*, *65*
антикартезианская парадигма субъективности, *114*
антиномия отчуждения-присвоения, *60*, *63, 86*
антипсихологизм, *115*
антропологический синтез, *286*
антропоцентризм, *63*
арсенал говорящего, *28*
архаичная модель вербального процесса, *98*
аутентичный носитель, *95*
афонский спор, *97*

безличность языка, *96*
бессловесная мысль, *306*, *350*
бессмысленность языка, *27*, *79, 96, 106*
бессознательная коммуникация, *133, 170*
бессознательное говорит вместо коммуниканта, *66*
бестелесность мысли, *59*
ближайшее и дальнейшее значение, *62*
буква, *333*
буквы не представляют звуков в точности, *214*

вербальное клише, *151*, *196*, *297*
вербальность актов сознания, *7*
вербальность значения, *330*

вербальные знаки, *90*
вербальные клише, *18, 152*, *190*
вербальный канал, *61*
вербальный процесс, *57*
вербальный след, *15*
вербоцентризм, *367*
вещь в себе, *52*
взаимодействие языков, *105*
взаимосвязь слова и понятия, *205*
видеонарратив как коммуникативная процедура, *50*
визуализация контента, *199*
владение параметрами коммуникативной процедуры, *165*
внесубъектная речь, *129*
внешние когнитивные состояния, *73*
внутреннее программирование, *359*
внутренняя и внешняя деятельность, *259*
внутренняя речь, *276*, *354*, *355*
вовлеченность в коммуникативное действие, *31*
воздействие, *15, 43*
воздействие в описательной модели, *270*
воздействие на собственное сознание, *195*
воля, *291*
воплощение смысла в значениях, *72*
воспоминание, *290*
восприятие знака, *203*
восприятие текста, *203*
восхождение к когнитивному состоянию, *16, 221*
всеобщность знаков, культуры, картины мира, языковой картины мира, *283*
вторичность письма, *151*
выделение единиц, *22*
выделение знака, *208*
выделение объекта, *21*, *93*
вызывание из памяти фонетических клише, *211*
высказывание как сумма слов, *21*

гештальт, *11*
гипостазирование индивидуального сознания, *56*
главенство умной составляющей словесной деятельности, *296*
говорение (письмо) как воздействие, *34*

говорение как встраивание в форму, *66*
говорение как выражение мысли, *377*
говорение как частный случай семиотического действия, *381*
господство дискурса над субъектом, *68*
грамматика, *32*
грамматики и словари, *371*
грамматико-семантическая реализация, *359*
грамматические правила *16*, *27*, *95*
границы коммуникативных сообществ, *33*
графемы, *150*
графическая форма стиха, *213*
греческое письмо, *214*

данные, *11*
два коммуниканта, *65*, *381*
двучастная природа человека, *287*
действие, *15, 17, 293*
действие в неречевой и речевой деятельностях, *261*
действие и знак, *38*
действие производится только личностью (субъектом), *338*
действие согласно правилу, *119*
действия ошибочные, *114*
действует только мыслящий субъект, *349*
деконструкция, *11*
деструктивность языка, *80*
детерминанты сознания, *198*, *259*, *283*, *369*
детерминирование свободы, *74*
деэтимологизированность слова в коммуникации, *153*
деятельностная природа знака, *38*
деятельность, *331*
деятельность и производитель деятельности, *86*
деятельность индивидуального человека не может существовать, *258*
деятельность недоступна сознанию, *170*
деятельность с предметом, *177*
деятель, *15*
диапазона самостоятельности и свободы, *7*
динамика коммуникации, *74*
динамическая модель взаимовлияния и взаимодействия, *340*
динамическое понимание дискурса, *19*

дискретные объекты создаются сознанием, *338*
дискретный объект, *178*
дискурс, *19*, *35*, *54*, *92*, *166*
дискурс бессознательного, *67*
дискурс динамический, *10*
дискурсивные параметры коммуникации, *287*
дискурсная цепочка говорит вместо говорящего, *68*
добросовестная интерпретация, *81*
дух народа, *30*
душа и тело, *288*
душевное естество, *288*

единица смыслообразования, *61*, *103*, *93*
единицы вербального процесса, *21*
единицы коммуникативного (семиотического) процесса, *88*, *90, 208*
единицы языка, *208*
единство души и тела, *288*
единство знаков для участников коммуникативного коллектива, *339*
единство индивидуального и социального, *72*
единство мышления и речи, *172*
единство предмета и мысле-слова, *276*
единство слова и мысли, *283*
единство социального и индивидуального, *60*
естественная форма вербальных данных, *24*
естественное высказывание, *16*
естественное значение цвета, *200*
естественный вербальный процесс, *53*, *97*
естественный вербальный процесс, *40*, *91*
естественный и неестественный материал, *16*
естество чувствующее как посредник, *288*

жизненность, *289*

задача ориентации коммуниканта в самом себе, *268*
задачи организации общения, *238*, *264*
задачи организации совместной деятельности, *265*
закон исключенного третьего, *14*
звуки, *150*

знак, *15*, *148*, *333*
знак в коммуникативной модели, *106*
знак в структурной парадигме, *276*
знак двусмысленный, *138*
знак и действие, *38*
знак как воплощение формы деятельности, *178*
знак как единство общения и обобщения, *38*
знак как намек, *33*, *162*
знак как поведение коммуниканта, *49*
знак как превращенный предмет, *38*
знак как свернутое действие, *38*
знак как часть семиотического действия, *40*
знак языка как репрезентация, *185*
знаки как носители значения, *29*
знаки как элементы смыслообразования, *77*
знаки только для воздействия, *26*
знаковый код, *7*
знание, *10*
знание вербальное и невербальное, *10*
знание и говорение, *13*
знание коммуникативной типологии и коммуникативных клише, *371*
знание слова, *35*
знание языка, *10*, *20*, *91*
значение, *15*
значение действия, *89*
значение есть форма деятельности, *180*
значение знака, *61*
значение лингвистического элемента, *107*
значение свиста, *48*
значение слова, *25*, *203*

идеалистическая трактовка мышления, *365*
идеальное, *333*
идентичность, *29*, *31*, *33*
иерархические отношения души и тела, *288*
иерархия пропозиций, *359*
изменение внешнего когнитивного состояния, *42*, *44*, *53*, *73*, *195*, *373*
изменений в мыслимом коммуникативном пространстве, *18*

изолирование вербального канала, *336*
изолированность речевого действия, *283*
изолированный семиотический канал, *74*
иллюзия индивидуальности, *65*
имитация, *213*
импликация, *61*
имя, *78*, *98*, *105*, *110*
имя в сознании, *98*
имя как онтологический конституент, *78*
имяславие, *97*
индивид, *56*, *292*
индивид и личность, *70*
индивид и субъект, *37*
индивидуализация, *37*, *72*
индивидуальное сознание, *10*, *33*, *37*, *56*, *99*, *283*
интериоризация, *40*, *49*, *51*, *52*, *54*, *186*
интериоризация внешних когнитивных состояний, *339*
интерпретация, *7*, *81*
интерпретация воздействия, *24*
интерпретация коммуникативного и некоммуникативного воздействий, *52*
интерпретация посредством кода, *139*
интерпретация текста, *226*
интерпретация текста без автора, *252*
информация, *11*
ипостась, или лицо, человека, *292*
искусственный объект, *93*
исполнение коммуникативных задач, *340*
исторический материализм, *365*
источник смыслообразования, *25*, *29*, *61*, *62*, *106*, *189*

каналы и средства коммуникации, *79*
каналы коммуникации, *43*
картезианская парадигма субъективности, *114*
картина мира, *204*
категоризация ребенка и взрослого, *178*
категория отношения, *96*
квазиобъект, *178*
квазиобъект и идеальное, *181*
квант коммуникативного процесса, *275*, *373*

классическая онтология субъекта, *113*
клише, *73*
когнитивное состояние, *58*, *93*
когнитивное состояние, *15*
когнитивному состоянию актора, *19*
кодирование мысли во внешнем слове, *356*
коллектив, *86*
коллектив как субъект действия, *65*
коллективность деятельности, *170*
коллективность языка, *280*
коллективный субъект, *37*
коммуникант, *80*
коммуникативная лингвистика, *286*
коммуникативная модель, *23*, *60*, *73*, *287*, *334*
коммуникативная модель языка, *350*
коммуникативная природа смыслообразования, *103*
коммуникативная синтагма, *25*, *31*, *33*, *48*, *54*, *91*, *92*, *101*, *214*
коммуникативная ситуация как подлежащее, *36*
коммуникативная стратегия, *342*
коммуникативная типология, *24*, *27*, *32*, *91*, *94*, *95*, *105*, *193*, *196*
коммуникативная трактовка подлежащего, *224*
коммуникативная трактовка сказуемого, *225*
коммуникативная универсалия, *25*, *92*
коммуникативное (воз)действие, *73*
коммуникативное воздействие как носитель значения, *336*
коммуникативное действие, *20*, *60*, *173*, *208*
коммуникативное действие и его вербальный компонент, *40*, *269*
коммуникативное и некоммуникативное действие, *54*, *58*
коммуникативное и языковое смыслообразование, *165*
коммуникативное смыслообразование, *32*, *49*, *53*
коммуникативное событие, *104*
коммуникативная синтагма, *23*, *152*, *302*
коммуникативное действие, *14*, *38*
коммуникативный синтаксис, *18*, *222*
коммуникативные (неязыковые) признаки стиха, *210*
коммуникативные воздействия и вербальные формы, *17*
коммуникативные и некоммуникативные поступки, *47*
коммуникативные клише, *105*
коммуникативный и языковой процесс, *21*

коммуникативный контекст, *47*
коммуникативный синтаксис как объяснительный фундамент, *223*
коммуникация как обмен мыслями, *340*
коммуникация как стремление к тождеству сознаний, *10*
коммуникация отношений, *355*
коммуникация событий (бытия), *355*
комплексная коммуникация, *40*, *42*
комплексная ситуация коммуникации, *48*
комплексность объекта, *19*
комплексность коммуникативного (семиотического) действия, *283*
комплексность коммуникативного воздействия, *74*
комплексность коммуникативного процесса, *7*, *8*, *53*, *154*, *336*, *374*
комплексность семиотического действия, *199*
комплексные формы коммуникации, *152*
конвенциональный способ вызывания из памяти фонетических клише, *214*
конкретная семантика, *212*
конкретные коммуникативные действия, *34*
конситуация, *47*
контекст, *46*, *48*, *54*, *62*
контекст значения, *61*
континуум сознания-бытия, *333*
концепт, *33*
концепция знак-значение, *90*, *97*
концепция совершительного слова, *100*
корневая семантика, *152*
корреляции между коммуникативными синтагмами, *216*
креолизованные тексты, *199*
культура, *7*, *80*, *204*, *259*

лингвистическое доказательство Бытия Божия, *59*
лингвистическое имяславие, *97*, *105*
лингвоцентризм, *367*
личная коммуникативная процедура, *213*
личное когнитивное состояние как основание значения, *278*, *383*
личное коммуникативное действие, *10*, *212*

личное сознание, *165*
личность, *86*
личность в языке, *14*
личность и индивид, *70*
личность как результат присвоения культуры, *259*
Логос, *21*
логосы сущего, *59*
ложь, *15*, *44*, *54*, *335*
ложь как коммуникативная процедура, *100*

магические свойства имени, *98*, *100*
магия слова, *101*
машинный голос, *211*
метафора языка, *17*
метод контролируемых ассоциаций, *239*
метод семантического дифференциала, *236*
миф, *135*
мифологическое мышление, *176*
мнемотехническая и лингводидактическая польза языка, *29*, *106*
мнемотехническая схема, *56*, *61*
мнимая коллективность языка, *383*
многофакторные коммуникативные действия, *10*
множество мыслимых объектов и множество слов, *99*
модель вербального процесса, *10*
модель составляющих образа сознания, *260*
модель-репрезентация слова, *204*
модусы семиотического воздействия, *32*, *382*
момент сознания, *123*
монизм, *109*
морфология, *105*
мотив, *62*, *71*, *77*, *355*
мотивирующая сфера сознания, *359*
мотивы действий скрыты от деятеля, *345*
мысле-знаковая концепция, *334*
мыслесловие, *28*
мысли отражаются словами, *335*
мыслимый адресат, *381*
мысль, *15*, *191*, *289*
мысль и вербальное (воз)действие, *15*

мысль и действие, *59*, *73*
мысль и коммуникативное (семиотическое) воздействие, *40*, *45*, *53*, *99*
мысль и слово, *41*, *44*, *45*, *98*
мышление, *289*
мышление вербально, *174*
мышление вербально и невербально, *173*
мышление как внутренняя речь, *377*
мышление не знаковое, *340*
мышление невербально, *173*

назначение единиц, *21*
назначение критериев знака, *90*
назначение связей, *93*
назначения критериев знака, *23*
назначенность единиц языка, *275*
назначенность знака, *73*
намек, *297*
намек на фонетическое клише, *211*
намекание на параметры семиотического действия, *219*
народная этимология, *153*
научная психологическая теория мышления, *287*
националистическая риторика, *30*
национальное сознание, *30*
неавтономность знаков, *47*
неакциональность мысли, *45*
невербальность мышления, *378*
невербальность значений, *22*, *89*, *304*
невербальность сознания, *99*
невербальные основания семантического тождества, *96*
невербальные семиотические воздйествия, *77*
невозможность смыслового тождества в автономных знаках, *381*
недоступность смысла, *114*
независимость коммуникативных клише от письма, *214*
независимость состояний индивидуального сознания от языка, *198*
незнаковая деятельность сознание, *196*
незнаковый когнитивный процесс, *94*
неклассические концепции субъективности, *113*

некоммуникативное действие, *50*
некоммуникативные действия, *77*
нелинейность интерпретации, *49*
нелинейность процедуры смыслообразования, *166*
непонимание, *149*, *155*
непосредственность некоммуникативного воздействия, *375*
несамотождественности автономных знаков, *10*, *88*, *276*
несемиотический объект, *50*
несемиотический поступок (действие), *50*, *189*
неслитное и нераздельное срастворение, *288*
нетождественность знака, *74*
нетождественность мысли и звуко-буквенного комплекса, *296*
нетождественность понятий и слов, *13*
нетождественность сознаний, *12*
нетождественность элементов языка, *17*, *20*
нетожодественность вербальных данных, *92*
неэффективность метафоры, *20*, *28*
неэффективность понятия, *31*, *32*
новизна в привнесении изменений в постороннее сознание, *7*, *195*, *369*
новизна как смысл коммуникативного (воз)действия, *215*
номинализм, *17*
норма языка, *371*

обладатель сознания, *286*
обмен деятельностями, *38*
обособление канала коммуникации, *148*
образ и процесс, *332*
образ мира, *135*
образ сознания как форма социального взгляда на вещи, *366*
образ сознания овнешненный, *366*
образы воспоминания, *202*
образы восприятия, *202*
образы представления, *202*
обретение себя в другом, *268*
общая этническая культура, *259*
общение и совместная деятельность, *263*, *344*
общественное сознание, *37*
общность внутренней психической и внешней предметной

деятельности, *259*
общность сознаний, *350*
общность сознаний коммуникантов, *173*, *258*, *260*
общность сознаний носителей, *6*
объект исследования, *6*
оговорки, *114*
окончание, *152*
ономатодоксия, *97*
онтологизация вербальных единиц, *105*
онтология объектов, *176*
онтология слова, *109*
онтология субъекта, *112*
онтоцентризм, *63*, *115*
онтоцентризм и антропоцентризм, *60*
опосредованная связь мысли и слова, *335*
опосредованное воздействие на постороннее сознание, *74*, *339*, *348*
опосредованность семиотического воздействия, *374*
опредмечивание реальности, *178*
организация совместной деятельности, *238*
оречевленная мысль, *186*
орфография, *32*
осмысленные (воз)действия, *60*
осмысленные высказывания, *149*
основание семиотического взаимодействия, *339*
основные и вспомогательные слова, *102*
особенности артикулирования, *212*
особенности коммуникативной модели, *73*
осознать значит обозначить, *180*
отделение речи от субъекта, *128*
отличия святоотеческих воззрений от коммуникативной модели, *341*
относительность, *17*
отношение респондентов к тексту, *239*
отношение слова и мысли, *199*
отношения сознания и слова, *276*
отождествление мысли и слова, *98*
отрыв внутреннего от внешнего, *56*
отрыв интрасубъективного от интерсубъективного, *56*

отрыв речевой цепочки от субъекта, *114*

паламистские споры, *86*
память, *11*
парадигма, *28*
парадигма знак-значение, *279*
парадигматические и синтагматические связи, *355*
параметры коммуникативного (воз)действия, *34*, *219*
параметры коммуникативной ситуации, *154*, *163*
параметры смыслообразования, *24*
патология в семиотических и несемиотических (воз) действиях, *127*
первичность устной формы вербальных данных, *151*
переход от комплексного мышления к понятийному, *179*
переход от мысли к высказыванию, *56*
перформативность, *53*
перцептивный цвет и психический цвет, *200*
письменный язык, *32*
платонизм, *334*
поглощение языка коммуникацией, *74*, *222*
подбор вербальных клише, *191*
подлежащее, *11*, *35*, *224*
подлежащее в коммуникации, *35*
подлежащее как субъект и объект действия, *225*
подсознательное, бессознательное, *82*
подчинения речи иной деятельности, *280*
позитивное взаимодействие, *34*
позиция вульгарного материализма, *108*
позиция субъективного идеализма, *108*
познание и именование, *298*
поиск эффективного воздействия как творческое начало коммуникации, *381*
понимаемые действия коммуникантов, *79*
понимание, *15*
понимание автономного слова, *55*
понимание действия, *92*, *189*
понимание клише, *217*
понимание коммуникативного действия, *26*, *49*
понимание коммуникативной синтагмы, *217*

понимание комплексного семиотического действия, *275*
понимание конкретных коммуникативных действий, *27*
понимание лексемы, *217*
понимание некоммуникативного действия, *50*, *51*
понимание объекта (предмета), *54*, *93*
понимание одного (воз)действия, *166*
понимание предметами, *333*
понимание речевых действий, *236*
понимание слов, *25*, *93*
понимание слов в составе синтагмы, *219*
понятие, *203*
понятность слов, *91*
порождение смысла, *60*
поступок, *294*
поэтический текст, *208*
поэтическое семиотическое действие, *217*
правила, *18*
правила и коммуникативное смыслообразование, *18*
превращенный предмет, *39*
предел смыслообразования, *15*
предмет деятельности, *39*
предмет и объект, *331*
предмет-мотив, *238*
предметное и вербальное значение, *181*
предметы как органы восприятия, *333*
предметы как формы активности, *332*
презумпция, *11*
преодоление психологизма, *65*
пресуппозиция, *11*
примышление, *101*
принцип дополнительности, *262*
принцип кооперации, *62*
принцип монизма, *116*
принцип субъектности и процессуальности теоретической модели, *282*
природа вещей, *338*
присвоение этнической культуры, *350*
присвоение языка, *66*
проблема знаковости, *21*
проблема правил, *119*

проблема психологизма, *64*
проблема различия, *120*
проблема субъекта, *113*
проблема субъективности, *62*
проблематизация статуса субъекта как индивида, *65*
проблематизация субъекта, *128*
производство речи, *358*
противоположение, *116*
противоположение феномена и явления, *120*
противоположность образа и процесса, *109*, *133*
противоположность сознания и физического мира, *109*
противоречие новизны воздействия и общности сознаний, *273*
профессиональное общение, *133*
профессиональный язык, *141*
процесс порождения и понимания, *6*
процессуальность коммуникации, *348*
психические заболевания, *114*
психологизм, *60*
психологизм коммуникации, *277*
психологический феномен смыслообразования, *75*
психология деятельности, *116*
психология личности, *116*
психология образа, *116*
психология общения, *60*
психофизическая проблема, *109*, *364*
пустота языка, *79*

разбиение на элементы, *22*
развитие психики, *186*
разделение акта сознания и коммуникативного действия, *195*
разделение коммуникативного (семиотического) и некоммуникативного (воз)действий, *270*, *374*
разделение между деятельностью и коммуникацией, *279*, *383*
разделение работы сознания и коммуникативного (семиотического) процесса, *197*
разделение слова и мысли, *283*
разделенность субъекта, *67*
различение эмпирического и трансцендентального субъекта, *115*

различие мысли и говорения, *132*
различие объектов семиотического и несемиотического воздействий, *283*
различие феномена и явления, *120*
различия между сознаниями, *186*
рассечение действительности на значения, *286*
рассудок, *290*
расщепление объекта, *117*
расщепление субъекта, *112*, *114*, *117*, *170*
релятивизм, *17*
репрезентация, *185*
репрезентация и контент сознания, *43*
речевая цепь, *251*, *350*
речевое высказывание, *355*
речевое действие, *262*, *367*, *374*
речевое и неречевое воздействие, *135*
речевое мышление, *357*
речевое общение, *236*
речевые акты, *74*
речь без говорящего (вне субъекта), *127*, *129*
речь и патологические состояния сознания, *127*
речь как воздействие, *129*
речь как последовательность элементарных действий, *205*
речь как часть семиотического действия, *126*
речь не доступна самому говорящему, *68*
речь ребенка без адресата, *357*
речь самозначная, *126*
русский мир, *30*
рыскание коммуниканта, *340*, *380*

самозначность знаков, *130*
самозначные слова, *81*
самостоятельность, *289*
свернутые формы речи, *365*
свист, *47*
свобода когнитивных процедур, *74*
свобода коммуникации, *287*
свобода познания, *287*
свобода сознательных процессов, *283*
свободное выделение (определение) объектов и множеств, *338*

свободные действия, *83*
свойства объектов, *299*
свойства семиотического действия, *148*
связность и сохранность речи, *127*
связь онтологии субъекта и онтологии речи, *114*
связь слова, вещи, действия и мысли, *171*
семантема, *153*
семантика, *105*
семантическое воздействие невербальное, *47*
семиотическая деятельность, *47*
семиотическая и несемиотическая деятельность, *339*
семиотическая процедура, *42*
семиотический (коммуникативный) поступок, *165*
семиотическое (воз)действие (поступок), *34*, *61*, *73*, *373*
семиотическое действие как попытка воздействия, *377*
семиотическое действие как привнесение планируемых изменений, *282*
семиотическое действие коммуниканта, *48*
семиотическое действие с вербальным компонентом, *189*
семиотическое действие со словесным компонентом как частный случай семиотического действия, *276*
синтаксис, *222*
синтез средств и способов в коммуникативном действии, *336*
ситуативная детерминация значения, *61*
ситуация, *62*
ситуация коммуникативного действия, *31*, *89*
сказуемое, *35*
слова как физические предметы, *202*
слова словаря, *221*
слова формируют сумму смысла, *98*
словесная природа человека, *58*, *59*
словесность как разумность, *335*
слово, *300*, *333*
Слово в начале, *98*, *110*
слово в контексте, *46*
слово вне деятельности, *301*
слово вне коммуникативной синтагмы, *93*, *103*
слово и действие, *294*
слово и идея, *102*
слово и коммуникативное действие, *95*

слово и мысль, *41*, *44*
слово и понятие, *110*
слово как квазиобъект, *171*
слово как место хранения формы деятельности, *181*
слово как носитель значения, *336*
слово как превращенный предмет, *39*, *181*
слово как предмет в его отсутствие, *184*
слово как форма действия, *171*
слово не обладает самореференцией, *99*
слово как орудие психической деятельности, *183*
слово языка, *215*
словомыслие, *28*, *105*
смерть автора, *115*, *130*
смысл, *41*
смысл действия и смысл предмета, *38*
смысл и значение говоримого, *75*
смысл коммуникативного действия, *40*
смысл коммуникации, *71*
смысл речевой активности, *352*
смысл семиотического акта, *251*
смысловой предел интерпретации, *81*
смыслообразование, *15*, *24*, *35*, *40*
смыслообразование без вербального канала, *42*
смыслообразование в субъекте, *132*
смыслообразование и язык, *14*
смыслообразование как психический процесс, *284*
смыслообразование как языковой процесс, *284*
смыслообразование, *7*, *19*, *304*
смыслосуществование в знаке и языке, *74*
смыслы, порождаемые культурой, *63*
снятие антиномии субъективности, *115*
собственные валентности знаков, *108*
совершительность коммуникации, *74*
совесть, *289*
совместная деятельность, *236*
совместная деятельность как детерминант общения, *350*
согласие коммуникантов, *35*
содержание сознания, *43*
соединение значения и предмета, *182*
сознание, *11*, *12*, *72*, *73*, *289*

сознание в функции метасознания, *263*
сознание как живая система, *122*
сознание обрабатывает одно коммуникативное действие, *227*
сознательное действие в диапазоне свободы, *349*
сознательные и бессознательные формы коммуникации, *346*
сознательный акт, *112*
сон, *290*
соотношение вербальных данных и коммуникативного действия, *148*
соотношение предмета, значения и имени, *305*
сопоставление слов различных языков, *216*
социальная система вместо говорящего, *69*
социальное начало внутри личности, *70*
социальность личности, *70*
социальные (этические) ограничения общения, *262*
социальные вещи, *180*
социум, *259*
спонтанная модель вербального процесса, *97*
способ графической фиксации слов, *151*
способности и силы души, *289*
способности и силы ума, *289*
способы коммуникативного действия, *32*, *261*
средства коммуникации, *108*
срезание индивидуального, *63*
срезание общезначимого, *63*
становление мышления, *384*
статическая (языковая) модель вербального процесса, *7*, *272*
статические модели, *74*
стоики, *21*
структура речевого общения, *237*
субстанциализация, *72*
субъект, *37*, *57*
субъект и индивид, *37*
субъект в сети означающих, *68*
субъект в языке, *66*
субъект действует не сам, *170*
субъект деятельности, *39*, *115*
субъект и бессознательное, *66*
субъект не равен сознанию, актору, индивиду, *170*
субъективность знания, *10*, *37*

субъектная деятельность, *51*
субъектность высказывания, *129*
субъектность знания, *12*, *13*
сумма слов, *21*, *103*
суффикс, *152*
сущность (природа) вещи, *98*, *338*
сущность знака, *38*
схема моделирования реальности, *94*

твердая почва субъектного сознания, *78*
текст, *15*, *67*, *251*
текст в коммуникативной модели, *226*
текст в языковой модели, *226*
текст как мнимый объект, *228*
текст как последовательность намеков на коммуникативные действия, *162*
текст как псевдо-объект, *226*, *253*
текст с различных позиций, *241*
телесная часть коммуникативного действия, *90*
телесное естество, *288*
телесное проявление ума, *58*
тело, *289*
тело как инструмент души, *291*
тема, *11*
теория деятельности, *112*
теория речевого общения, *258*, *263*
теория речевой деятельности, *112*
типология коммуникативных синтагм, *32*
тождественная интерпретация, *16*
тождественность объектов, *176*
тождество знака, *148*
тождество знака и действия, *39*
тождество индивидуальных сознаний, *37*
тождество интер- и интрасубъективного, *333*
тождество когнитивного состояния субъекта, *130*
тождество когнитивных состояний, *339*
тождество коммуникативного действия, *381*
тождество слова, *109*
тождество субъекта, *118*, *119*

топик, *11*
трансцендентальный субъект, *119*
трехуровневость коммуникативного действия человека, *286*
триангуляционный подход, *363*
трихотомическая схема человека, *289*

увлеченность теории предметами, *271*
ударение в слове, *152*
ум (дух, разум), *289*
умная природа Слова, *110*
умственные деятельности, *289*
универсалии, *92*, *64*
употребление языка, *61*
управление собственными коммуникативными действиями, *60*
условное выделение знака, *73*
условность графического представления, *33*
условность единиц вербального процесса, *381*
условность знака, *283*
условные способы письменной фиксации, *209*
устная и письменная речь, *382*
устная коммуникативная типология, *152*
утилитарность выделения знака, *29*, *88*, *89*
участник языкового коллектива, *95*

факт совершения коммуникативной процедуры, *76*
факт сознания, *191*
фактор бессознательного, *82*
фантазия, *290*
фиксирование внимания адресата, *93*
финикийское письмо, *214*
фокус коммуникативного действия, *226*
фокус сознания коммуниканта, *166*
фонемы, *150*
фонетическая форма вербальных данных, *209*
фонетический комплекс, *94*
фонетическое основание письма, *32*
фоносемантика, *101*
формирование мысли, *355*
фрейм, *11*

христианская антропология, *86*, *287*, *334*
христианское богословие, *286*

цвет, *200*
целевая причина говорения (письма), *92*
цели коммуникативных актов различны, *339*
целостность и единство объектов, *338*
цель, *71*
ценностные основания коммуникативной модели, *74*
чувства, *290*
чувствующее естество души, *289*

шахматная аналогия, *108*
шкала интерпретации, *160*

эволюция языковой системы, *105*
эгоцентрическая речь, *357*
эгоцентрическая речь как речевое мышление во внешней форме, *357*
эгоцентрическая речь ребенка, *355*
эйдос, *98*
экспансионизм современной парадигмы лингвистики, *11*
эксперимент, *41*
эмерджентные смыслы, *61*
энергии имени, *98*
энергия ума, *59*
этимология, *81*, *105*, *153*
этимон, *153*
эффективной описательной модели, *11*
эффективность коммуникативного воздействия, *95*

язык, *73*, *86*, *105*, *149*, 369
язык говорит вместо говорящего, *66*, *69*
язык дом бытия, *7*, *30*, *34*
язык жестов, *74*
язык и смыслообразование, *14*
язык как главная семиотическая система, *172*
язык как единый коллективный инструмент общения, *337*
язык как мнемотехническая схема, *95*

язык как мнемотехническая схема, *27*
язык как образ мира, *184*
язык как превращенная форма предметной деятельности, *180*
язык как системы говорения, *6*, *79*, *277*
язык как система значений, *180*
язык как система овнешнения образов, *366*
язык как система ориентиров в предметном мире, *184*
язык как статическая форма моделирования, *380*
язык как субъект, *86*
язык как фантомный объект, *337*
язык как форма идеального, *172*
язык пиктограмм, *74*
языковая картина мира, *30*, *33*, *198*, *276*
языковая компетенция, *11*
языковая модель, *28*, *60*
языковая основа восприятия и обобщения, *180*
языковая структура и коммуникативное действие, *209*
языковое мышление, *276*
языковая картина мира, *6*, *7*
языковой фетишизм, *252*
языковые единицы, *350*

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Алпатов, *362*
Аристотель, *14*, *31*, *35*, *36*, *78*, *208*

Барт, *15*, *80*, *83*, *85*, *130*, *135*, *138*, *145*, *150*, *162*
Батищев, *109*
Бахтин, *63*, *146*
Бенвенист, *65*, *66*, *75*, *76*, *77*, *119*
Беркли, *109*
Бернштейн, *205*, *206*
Бор, *262*
Бродский, *69*, *83*, *84*
Булгаков, *102*, *103*, *104*

Валлон, *181*, *307*
Василий Кесарийский (Великий), *101*, *110*, *305*, *334*
Вдовиченко, *58*, *59*, *81*, *111*, *127*, *129*, *145*, *188*, *234*, *296*, *297*, *302*, *305*, *309*, *318*, *367*, *379*
Витгенштейн, *14*, *63*
Выготский, *38*, *146*, *171*, *172*, *174*, *176*, *177*, *178*, *181*, *183*, *186*, *187*, *205*, *259*, *270*, *277*, *287*, *307*, *318*, *354*, *355*, *356*, *357*, *359*, *364*, *365*, *367*, *368*, *374*, *377*, *378*

Гегель, *115*, *116*, *117*, *120*, *122*, *124*, *179*, *183*
Гинзбург, *368*
Гиппенрейтер, *306*
Глейтман, *201*
Гоббс, *332*
Грайс, *62*, *75*
Григорий Богослов, *305*
Григорий Нисский, *101*, *110*, *305*, *334*
Гумбольдт, *61*, *63*, *115*, *186*
Гуссерль, *64*, *75*, *115*, *332*

Дацюк, *344*
Декарт, *113*
Декомб, *75*, *84*
Деррида, *11*
Дьяченко, *334*

Евномий, *101*, *305*

Жинкин, *233*, *318*, *354*, *356*, *357*, *359*, *371*, *372*, *374*, *377*
Журавлев, *73*, *79*, *83*, *126*, *127*, *128*, *130*, *188*, *286*, *347*, *368*
Журавлева, *79*, *83*, *188*, *347*

Зейгарник, *186*
Зернецкий, *343*
Зимняя, *318*, *368*
Зинченко, *180*

Ильенков, *64*, *109*, *116*, *181*, *184*, *330*, *331*, *332*, *333*
Иоанн Дамаскин, *292*
Иоанн Златоуст, *305*
Исмагилова, *141*

Кант, *113*, *115*, *119*, *179*, *332*
Кассирер, *63*, *65*, *75*, *201*
Кацнельсон, *179*, *182*
Кирилл и Мефодий, *110*
Кубрякова, *11*
Кун, *141*

Лакан, *67*, *68*, *75*, *83*, *115*, *118*, *131*
Лангер, *344*
Леви-Стросс, *135*
Лейбниц, *216*, *234*
Лекторский, *267*, *331*
Леонтьев А.А. *114*, *116*, *131*, *186*, *202*, *205*, *206*, *258*, *262*, *267*, *271*, *279*, *283*, *318*, *350*, *354*, *356*, *358*, *359*, *367*, *368*, *374*, *381*
Леонтьев А.Н. *38*, *70*, *75*, *109*, *112*, *116*, *117*, *123*, *133*, *135*, *136*, *140*, *144*, *172*, *174*, *176*, *177*, *182*, *187*, *183*, *203*, *205*, *207*, *255*, *258*, *259*, *260*, *263*, *266*, *267*, *271*, *272*, *277*, *280*, *287*, *298*, *305*, *306*, *309*, *331*, *332, 333*, *365*, *368*
Липпс, *123*
Лукьянова, *344*
Лурия, *186*, *206*, *318*, *354*, *355*, *356*, *367*, *368*, *374*

Мамардашвили, *112*, *115*, *119*, *120*, *121*, *177*, *333*
Маркс, *116*, *179*
Мартынова, *344*
Матвеев, *250*
Миллер, *354*
Михайлов, *330*, *331*
Михалков, *248*, *254*
Морозов, *199*
Моррис, *168*

Нистратов, *250*
Ницше, *118*, *131*

Осгуд, *354*
Остин, *14*, *44*, *374*

Патнэм, *150*
Пешё, *67*, *68*, *75*
Пиаже, *184*, *357*, *378*
Пинкер, *173*
Пирс, *344*
Платон, *28*, *78*, *79*, *101*
Платонов, *373*
Поляков, *201*, *202*, *204*, *205*, *206*, *207*
Потебня, *62*, *182*
Пушкин, *162*, *252*, *253*

Райсберг, *201*
Рикер, *65*, *75*, *118*
Рябова-Ахутина, *318*, *358, 361*

Сергий Страгородский, *305*
Серль, *14*, *44*, *374*
Сковородников, *343*
Смоктуновский, *252*
Сорокин, *367*, *368*
Соссюр, *78*
Спиноза, *116*
Стернин, *343*
Стеценко, *277*

Тарасов, *81*, *129*, *250*, *269*, *279*, *282*, *283*, *330*, *364*, *367*, *371*, *373*, *374*, *376*, *377*
Троицкий, *305*
Турен, *118*, *120*

Уайтхед, *344*
Уфимцева, *368*

Феофан Затворник, *334*
Флоренский, *98*, *102*
Фодор, *173*
Фридлунд, *201*
Фрумкина, 368

Хайдеггер, *34*, *96*
Хомский, *149*, *223*, *354*

Чейф, *40*, *41*, *47*, *50*, *53*, *189*

Шахнарович, *368*
Шпет, *64*, *65*, *72*, *75*, *115*
Штейнталь, *180*
Шюц, *61*

Щедровицкий, *64*

Якобсон, *64*
Яньшин, *200*

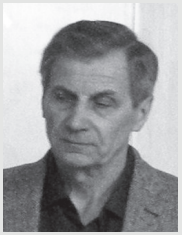
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Вдовиченко Андрей Викторович — д. филол. н., вед. н. с. сектора теоретического языкознания Института языкознания РАН, профессор кафедры славистики и теории языка филологического факультета ПСТГУ. Интересы: философия языка, семиотика, коммуникация, коммуникативная модель, сознание, вербальный процесс, эллинистическая лингвокультурная ситуация. Монографии: «Расставание с «языком». Критическая ретроспектива лингвистического знания» (М., 2008); «Казус «языка» Септуагинты и Нового Завета. Лингвистический метод за и против авторов» (М., 2016); «Коммуникативный ажиотаж стиха. Заметки о природе поэзии» (М., 2018). E-mail: an1vdo@mail.ru

Дьяченко Галина Викторовна — к. филол. наук, кандидат богословия, н. с. Отдела психолингвистики Института языкознания РАН. Область интересов: богословие и философия языка, святоотеческое богословие, дискурсивная и коммуникативная лингвистика. Монография: «Учение о слове (LOGOS) человека святителя Григория Нисского (М., 2019). E-mail: galya.dyachenko@gmail.com

Журавлев Игнатий Владимирович — к. психол. наук, с. н. с. Отдела психолингвистики Института языкознания РАН, доцент Московского городского педагогического университета. Научные интересы: философия сознания, философия языка, мышление и речь, культурно-историческая психология, коммуникация, патология коммуникации, воздействие на сознание. Основные монографии: «Семиотический анализ расстройств речемыслительной деятельности» (М., 2007, 2014), «Сознание и миф» (М., 2012, 2017), «От Фрейда к Выготскому: Очерки истории психологии в ее связях с философией и лингвистикой» (М., 2019). E-mail: zhuravlev@iling-ran.ru

Журавлева Юлия Валерьевна — клинический психолог, н. с. Отдела психолингвистики Института языкознания РАН, психотерапевт когнитивного направления. Научные интересы: сознание, коммуникация, рациональное и иррациональное мышление, коммуникативные стратегии, патология коммуникации, когнитивные искажения, речевое воздействие в психотерапии. E-mail: jv.clinic@yandex.ru



Матвеев Михаил Олегович — аспирант ИЯз РАН, преподаватель 2-й кафедры английского языка МГИМО, старший преподаватель Центра изучения иностранных языков первого МГМУ им. Сеченова. Научные интересы: психолингвистика, переводоведение, креолизованные тексты, влияние вербальных и невербальных составляющих на восприятие. E-mail: mike-matveev@mail.ru

Нистратов Александр Алексеевич — с. н. с. Отдела психолингвистики Института языкознания РАН. Научные интересы: психолингвистика, психосемантика, коммуникация, языковое сознание, кросскультурные исследования, математические модели в психосемантике и психолингвистике. E-mail: a.nistratov@mail.ru

Тарасов Евгений Федорович — д. филол. наук, профессор, зав. Отделом психолингвистики Института языкознания РАН. Научные интересы: речевая деятельность, речевое общение, образ мира, языковое и неязыковое сознание. Основные монографии: «Тенденции развития психолингвистики» (М., 1987), «Русский ассоциативный словарь» (в соавт. с Ю.Н. Карауловым, Г.А. Черкасовой, Н.В. Уфимцевой, Ю.А. Сорокиным; в 2-х т., М., 2002), «Теоретические и прикладные проблемы речевого общения» (в соавт. с Ю.А. Сорокиным и А.М. Шахнаровичем; 2-е изд.: М., 2009). E-mail: eft35@mail.ru

Подписано к печати 31.10.2019 г.
Сдано в набор 04.11.2019 г.
Формат бумаги 150х200 мм.
Тип гарнитуры “Таймс Нью Роман”, “Arial”.
Объем 27,2 усл.печ.л.
Тираж 500 экз.
Отпечатано в типографии «Канцлер»